This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

B 1,242,600

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
1817
LIBRARIES

33 в II
113

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

А. Н. ОСТРОВСКАГО.

Съ портретомъ и біографическимъ очеркомъ.

Составилъ Н. ДЕНИСЮКЪ.

Центральная Библ
СПЕЦФОН

Выпускъ второй.

(1860—1867 гг.)

Во второй выпускъ вошли статьи:

Ап. Григорьева, И. А. Гончарова, А. Д. Галахова, П. А. Плетнева, С. С. Дудышкина, П. В. Анненкова, Д. И. Писарева, Д. В. Аверкіева, А. С. Суворина, Н. Добролюбова, Е. Эдельсона и др.; статьи изъ „Русскаго Міра", „Отечественныхъ Записокъ", „Современника", „Русскаго Вѣстника", „Спб. Вѣдомостей", „Библіотеки для Чтенія", „Эпохи", „Русскаго Слова", „Современной Лѣтописи", „Русскаго Инвалида", „Голоса", „Москвы" и др.

Цѣна 1 р. 25 к.

МОСКВА.
ИЗДАНІЕ А. С. ПАНАФИДИНОЙ.
Покровка, Лялинъ переулокъ, собств. домъ.
1906.

941.78
O850
D38
v.2

ПОСТАВЩ. ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Т-ва СКОРОПЕЧ. А. А. ЛЕВЕНСОНЪ
МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, МЕЩАНСКІЙ ПЕР., СОБ. Д.

Exchange
ASLFL
8-31-77
1234302-293

Центральная Библиот
СПЕЦФОНД

ОГЛАВЛЕНІЕ

второго выпуска.

Стр.

Послѣ „Грозы“, Островскаго. **Ап. Григорьевъ.** *(Русскій Міръ, 1860 г., №№ 5, 6, 9 и 11-й)* 1

„Гроза“. Драма въ 5-ти дѣйствіяхъ. **И. А. Гончаровъ.** *(Письмо къ непремѣнному секретарю Имп. Акад. Наукъ, отъ 8 марта 1860 г.).* . 32

„Гроза„, Островскаго. **А. Галаховъ.** *(Отчетъ о четвертомъ присужденіи наградъ гр. Уварова. 1860 г.)* 35

Мнѣніе **акад. П. А. Плетнева** („Гроза“, Островскаго). *(Отчетъ о четвертомъ присужденіи наградъ гр. Уварова. 1860 г.)* 42

„Гроза“, др. въ 5-ти дѣйствіяхъ. **С. Дудышкинъ.** *(Отечественныя Записки, 1860 г., № 1)* 46

Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ („Гроза“, др. въ 5-ти дѣйствіяхъ, А. Н. Островскаго. Спб., 1860 г.). **Н. Добролюбовъ.** *(Современникъ, 1860 г., № 10)* 52

„Козьма Захарьичъ Мининъ-Сухорукъ“, драмат. хроника. **П. Анненковъ.** *(Русскій Вѣстникъ, 1862 г., № 9)* 111

Современная беллетристика („Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“). *(Спб. Вѣдомости, 1863 г., № 43)* 129

Русская литература („Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“). *(Библіотека для Чтенія, 1863 г., № 2)* 141

„Тяжелые дни“. Сцены изъ московской жизни, въ 3-хъ дѣйствіяхъ. **Е. Эдельсонъ.** *(Библіотека для Чтенія, 1864 г., № 1)* 163

„Шутники“. Карт. изъ московской жизни, въ 4-хъ дѣйствіяхъ. **Эн—ковъ.** *(Русская Сцена, 1864 г., № 10)* 170

А. Н. Островскій. **Е. Эдельсонъ.** *(Библіотека для Чтенія, 1864 г., № 1)* . 175

Длинныя, но печальныя разсужденія о нашей драматургіи и о нашихъ драматургахъ, съ воздаяніемъ чести и хвалы каждому по заслугамъ. **Ап. Григорьевъ.** *(Эпоха, 1864 г., № 3)* 189

Значеніе Островскаго въ нашей литературѣ. **Одинъ изъ почитателей Островскаго.** *(Эпоха, 1864 г., № 5)* 211

Мотивы русской драмы. **Д. И. Писаревъ.** *(Русское Слово, 1864 г., № 3)* . 224

„Шутники“, А. Островскаго. **Дм. Аверкіевъ.** *(Эпоха, 1864 г., № 9)* . . . 268

„Шутники“, А. Островскаго. **Е. Эдельсонъ.** *(Библіотека для Чтенія, 1865 г., № 1)* 276

„Воевода, или Сонъ на Волгѣ“. **П. Анненковъ.** *(Спб. Вѣдом., 1865 г., №№ 107 и 109)* 285

„Воевода“, Островскаго. **Дм. Писаревъ.** *(Русское Слово, 1865 г., № 2)* . . 301

„Воевода, или Сонъ на Волгѣ“. **Н. Н.** *(Современная Лѣтопись, 1865 г., № 35)* 305

„Воевода, или Сонъ на Волгѣ“. **А. И—нъ (А. Суворинъ).** *(Русскій Инвалидъ, 1865 г., № 44)* 322

„Воевода, или Сонъ на Волгѣ“. *(Голосъ, 1865 г., № 125)* 330

Стр.
„Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій". Драмат. хроника. **А. И—нъ** (**А. Суворинъ**). *(Русскій Инвалидъ, 1867 г., № 77)* 353
„Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій". **П. А.** *(Спб. Вѣдомости, 1867 г., № 83)* 363
„Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій". **Н. Б.** *(Москва, 1867 г., № 55).* 367

ОГЛАВЛЕНІЕ

примѣчаній о журналахъ и авторахъ, статьи которыхъ помѣщены во второмъ выпускѣ.

Стр.
И. А. Гончаровъ 32
А. Д. Галаховъ 35
П. А. Плетневъ 42
С. С. Дудышкинъ 46
П. В. Анненковъ 111
„Библіотека для Чтенія", журналъ 141
Д. И. Писаревъ 224
Д. В. Аверкіевъ 268
„Московскія Вѣдомости" („Современная Лѣтопись") 305
„Русскій Инвалидъ" 322
А. С. Суворинъ 323
„Голосъ" 330
„Москва" 367

ОГЛАВЛЕНІЕ

статей второго выпуска въ тематическомъ порядкѣ.

„Гроза". Статьи: Стр.
Ап. Григорьева 1, 15
И. Гончарова 32
А. Галахова 35
П. А. Плетнева 42
С. Дудышкина 46
Н. Добролюбова 52
„Библіотеки для Чтенія" 154
„Русской Сцены" 170
Е. Эдельсона 188
Д. Писарева 224

„Свои люди—сочтемся". Статьи:
Ап. Григорьева 11, 20, 21
Е. Эдельсона 177

„Семейная картина". Статьи:
Ап. Григорьева 11, 20

Стр.

итрій Самозванецъ и Василій Шуйскій". Статьи:
А. Суворина 353
„Спб. Вѣдомостей" 363
„Москвы" 367

дная невѣста". Статьи:
Ап. Григорьева 11, 12, 21, 23

въ свои сани не садись". Статьи:
Ап. Григорьева 12
„Библіотеки для Чтенія" 159

дность не порокъ". Статьи:
Ап. Григорьева 12, 22

такъ живи, какъ хочется". Статьи:
Ап. Григорьева 13, 22, 198
Е. Эдельсона 187

чужомъ пиру похмелье". Статьи:
Ап. Григорьева 13, 208

ходное мѣсто". Статьи:
Ап. Григорьева 13

ожиданный случай". Статьи:
Ап. Григорьева 21

зьма Захарьичъ Миннинъ-Сухорукъ". Статьи:
П. Анненкова 111
„Эпохи" 215

ѣхъ да бѣда на кого не живетъ". Статьи:
П. Анненкова 129
„Библіотеки для Чтенія" 141
Е. Эдельсона 179

елые дни". Статьи:
Е. Эдельсона 163
Ап. Григорьева 207

утники". Статьи:
„Русской Сцены" 170
Дм. Аверкіева 268
Е. Эдельсона 276

аздничный сонъ—до обѣда". Статьи:
Е. Эдельсона 185

вода, или Сонъ на Волгѣ". Статьи:
П. Анненкова 285
Дм. Писарева 301
„Современной Лѣтописи" 305
А. Суворина 322
„Голоса" 330

— — —

Послѣ „Грозы“ Островскаго [1]).

Я собираюсь, какъ я сказалъ, повести съ вами *долгія* и совершенно *искреннія* рѣчи о значеніи дѣятельности Островскаго по поводу его послѣдняго произведенія, возбуждающаго, по обыкновенію, какъ и всѣ предшествовавшія, различные толки, иногда, и даже очень часто, совершенно противоположные, иногда умные, иногда положительно дикіе, но, во всякомъ случаѣ, большею частью *неискренніе*, т.-е. къ дѣлу не относящіеся, — а по поводу дѣла высказывающіе тѣ или другія общественныя и нравственныя теоріи критиковъ-публицистовъ. Критики-публицисты—вообще люди въ высшей степени благонамѣренные, проникнутые самымъ законнымъ и серіознымъ сочувствіемъ къ общественнымъ вопросамъ; теоріи ихъ, если и подлежатъ спору во многихъ пунктахъ, какъ всякія теоріи, но тѣмъ не менѣе, проводя послѣдовательно извѣстныя точки зрѣнія на жизнь, содѣйствуютъ необходимо къ разъясненію существенныхъ вопросовъ жизни; но дѣло-то въ томъ, что эти теоріи, какъ бы умны онѣ ни были, изъ какихъ бы законныхъ точекъ ни отправились, въ художественномъ произведеніи слѣдятъ, да и могутъ слѣдить только *ту* жизнь, которую видятъ съ извѣстныхъ точекъ, а не ту, которая въ немъ, если оно есть истинно-художественное произведеніе, просвѣчиваетъ со всѣмъ своимъ многообъемлющимъ и въ отношеніи къ теоріямъ часто ироническимъ смысломъ. Художество, какъ дѣло синтетическое, дѣло того, что́ называется вдохновеніемъ, захватываетъ жизнь гораздо шире

---

[1]) Аполлонъ Григорьевъ. Статья „Послѣ *Грозы* Островскаго. Письма къ И. С. Тургеневу“. „Русскій Міръ“, 1860 г., №№ 5, 6, 9 и 11. Также въ „Сочиненіяхъ А. Григорьева“, т. I. (См. выпускъ I, стран. 130.)

всякой теоріи, такъ что теорія сравнительно съ нимъ остается всегда назади.

Такъ оставило назади послѣднее произведеніе Островскаго всѣ теоріи, повидимому, столь побѣдоносно и поистинѣ блистательно высказанныя замѣчательно даровитымъ публицистомъ „Современника“ въ статьяхъ о „Темномъ царствѣ“.

Статьи эти надѣлали много шуму; да и дѣйствительно, одна сторона жизни, отражаемой произведеніями Островскаго, захвачена въ нихъ такъ мѣтко, казнена съ такою безпощадною послѣдовательностью, заклеймена такимъ вѣрнымъ и типическимъ словомъ, что Островскій явился передъ публикой совершенно неожиданно обличителемъ и карателемъ самодурства. Оно, вѣдь, и такъ. Изображая жизнь, въ которой самодурство играетъ такую важную, трагическую въ принципѣ своемъ и послѣдствіяхъ и комическую въ своихъ проявленіяхъ, роль, Островскій не относится же къ самодурству съ любовью и нѣжностью. Не относится съ любовью и нѣжностью, слѣдственно относится съ обличеніемъ и карою,—заключеніе прямое для всѣхъ, любящихъ подводить мгновенные итоги подъ всякую полосу жизни, освѣщенную свѣтомъ художества, для всѣхъ теоретиковъ, мало уважающихъ жизнь и ея безграничныя тайны, мало вникающихъ въ ея ироническія выходки.

Прекрасно! Слово Островскаго — обличеніе самодурства нашей жизни. Въ этомъ его значеніе, его заслуга, какъ художника; въ этомъ сила его, сила его дѣйствія на массу, на эту послѣднюю для него, какъ для драматурга, инстанцію.

Да точно ли въ этомъ?

Беру фактъ самый яркій, не тотъ даже, съ котораго я началъ свои рапсодіи, а фактъ только возможный (увы! когда-то, наконецъ, возможный?) — беру возможное, или, пожалуй, невозможное, представленіе первой его комедіи: *Свои люди—сочтемся...*

Остроумный авторъ статей „Темное царство“ положительно, напримѣръ, отказываетъ въ своемъ сочувствіи Большову даже и въ трагическую минуту жизни этого послѣдняго... Откажетъ ли ему въ сожалѣніи и, стало-быть, извѣстномъ сочувствіи масса?.. Публицистъ—до чего не доведетъ человѣка теорія! — почти-что стоитъ на сторонѣ Липочки; по крайней мѣрѣ, она у него включена въ число протестантокъ и протестантовъ въ быту, обуреваемомъ и подавляе-

омъ самодурствомъ. Спрашиваю васъ: *какъ* масса отнесется ъ *протестанткѣ* Липочкѣ?.. пойметъ ли она Липочку, какъ *ротестантку?*

Въ другихъ комедіяхъ Островскаго симпатіи и антипатіи ассы такъ же точно разойдутся съ симпатіями и антипаіями г. — бова [1]), какъ постараюсь я доказать фактами и одробно впослѣдствіи. А, вѣдь, это вопросы неотразимые. Островскій, прежде всего, драматургъ: вѣдь, онъ создаетъ вои типы не для г.— бова, автора статей о „Темномъ царствѣ", не для васъ, не для меня, не для кого-нибудь,—а для ассы, для которой онъ, пожалуй, какъ поэтъ ея, поэтъ ародный, есть и учитель, но учитель съ тѣхъ высшихъ очекъ зрѣнія, которыя доступны ей, массѣ, а не вамъ, не нѣ, не г. — бову, съ точекъ зрѣнія, ею, массой, понимаеыхъ, ею раздѣляемыхъ.

Поэтъ — учитель народа только тогда, когда онъ судитъ рядитъ жизнь во имя идеаловъ, жизни самой присуцихъ, а не имъ, поэтомъ, сочиненныхъ. Не думайте, да ы, вѣроятно, и не подумаете, чтобы массою здѣсь звалъ одну какую-либо часть великаго цѣлаго, называемаго ародомъ. Я зову массою, чувствомъ массы то, что въ звѣстную минуту сказывается невольнымъ общимъ настроеіемъ вопреки частному и личному, сознательному или езсознательному настроенію въ васъ, во мнѣ, даже въ .— бовѣ, наравнѣ съ купцомъ изъ Апраксина ряда. Это то-то, сказывающееся въ насъ какъ нѣчто физіологическое, ростое, неразложимое, мы можемъ подавлять въ себѣ развѣ олько фанатизмомъ теоріи.

Зато, посмотрите, какія слѣдствія производитъ насильтвенное подавленіе въ себѣ этого простого, физіологичекаго чувства; полюбуйтесь, какъ души молодыя и горячія, влеченныя фанатизмомъ теоріи, скачутъ по всѣмъ поремъ вдогонку за первыми, высказавшими извѣстнымъ оложительнымъ образомъ извѣстную, имѣющую современое значеніе теорію, и не только вдогонку, а впереонку, ибо теорія есть идолъ неумолимо-жадный, постоянно ребующій себѣ новыхъ и новыхъ жертвенныхъ требъ.

Имѣете ли вы понятіе о статейкѣ, появившейся въ Московскомъ Вѣстникѣ" по поводу *Грозы* Островскаго?

---

[1]) Добролюбовъ.

Статейка принадлежитъ къ числу тѣхъ куріозовъ, которые будутъ дороги потомству и даже весьма недалекому потомству; будутъ имъ отыскиваемы, какъ замѣчательныя указанія на болѣзни нашей напряженной и рабочей эпохи. Авторъ ея еще прежде *удивилъ* читателей неистово-напряженною статьей о русской женщинѣ, по поводу ломаной натуры (если натурою называть это можно) Ольги въ романѣ „Обломовъ“. Но удивленіе, возбуждаемое статейкой о *Грозѣ*, превосходитъ многими степенями удивленіе, произведенное прежнею. Съ какою наивною, чисто *ученою*, т.-е. мозговою, а не сердечною вѣрою юный (по всей вѣроятности) рецензентъ „Московскаго Вѣстника“ усвоилъ остроумную и блистательно высказанную теорію автора статей „Темное царство!“ Не знаю, стало ли бы у самого г.—бова столько смѣлой послѣдовательности въ проведеніи его мысли, какъ у его ученика и сеида. Даже сомнѣваюсь, чтобы стало; авторъ статей „Темное царство“, судя по зрѣлому, мастерскому его изложенію, — человѣкъ взрослый *); даже готовъ подозрѣвать, что г.—бовъ втихомолку хохочетъ надъ усердіемъ своего сеида, втихомолку потому, что хохотать явно было бы недобросовѣстно со стороны г. — бова. Вѣдь, „его же добромъ, да ему же челомъ“, вѣдь, рецензентъ „Московскаго Вѣстника“, собственно, только прилагаетъ добросовѣстно въ *Грозѣ* идеи автора „Темнаго царства“, точно такъ же, какъ въ статьѣ о русской женщинѣ онъ только проводилъ послѣдовательно и съ горячимъ энтузіазмомъ холодно-желчныя идеи автора статей объ Обломовщинѣ. Г. Пальховскій — имя юнаго рецензента — глубоко увѣровалъ въ то, что Островскій каратель и обличитель самодурства и прочаго, и вотъ *Гроза* вышла у него только сатирою, и *только* въ смыслѣ сатиры придалъ онъ ей значеніе. Мысль и сама-по-себѣ дикая, но полюбуйтесь ею въ приложеніяхъ: въ нихъ-то вся сила, въ нихъ-то вся прелесть. Катерина не протестантка, а если и протестантка, то безсильная, не вынесшая сама своего *протеста*, — катай ее, Катерину! Мужъ ея ужъ совсѣмъ не протестантъ, — валяй же его, мерзавца! Извините за цинизмъ моихъ выраженій, но они мнѣ приходили невольно

*) *Увы, проницательность* обманула на этотъ разъ Григорьева: Добро*любову въ это время* было всего 23 года. Н. Д.

на языкъ, когда я съ судорожнымъ хохотомъ читалъ статью г. Пальховскаго, и каюсь вамъ, вслѣдствіе статьи юнаго сеида г. — бова, я невольно хохоталъ надъ множествомъ положеній серіозной и умной статьи публициста „Современника", разумѣется, взятыхъ только въ ихъ послѣдовательномъ приложеніи. Протестантка Липочка, протестантки Матрена Саввишна и Марья Антиповна, попивающія съ чиновниками мадеру на вольномъ воздухѣ подъ Симоновымъ... какъ хотите, а, вѣдь, такого рода протестантизмъ въ иную минуту невольно представится очень забавнымъ!

Но, вѣдь, смѣхъ смѣху рознь, и въ моемъ смѣхѣ было много грусти... и много тяжелыхъ вопросовъ выходило изъ-за логическаго комизма.

Мнѣ, право, иногда наше время представляется выраженнымъ читателю смѣло, но вѣрно, въ сценѣ высоко поэтическаго созданія „Komedia nieboska", въ которой поэтъ приводитъ своего героя въ сумасшедшій домъ, и гдѣ въ различныхъ голосахъ сумасшедшихъ слышны различные страшные вопли нашего времени, различныя теоріи, болѣе или менѣе уродливыя, болѣе или менѣе фантастическія; страшная и глубокаго смысла исполненная сцена!

Вѣдь, не только г.—бовъ, даже сеидъ его,—по всей вѣроятности, человѣкъ, глубокимъ, хоть и мозговымъ процессомъ вырабатывающій свои убѣжденія,—не только, говорю я, они не смѣшны своими увлеченіями,—они достойны за нихъ (разумѣется, не въ равной мѣрѣ) и сочувствія и уваженія. Вѣдь, мы ищемъ, мы просимъ отвѣта на страшные вопросы у нашей мало ясной намъ жизни; вѣдь, мы не виноваты ни въ томъ, что вопросы эти страшны, ни въ томъ, что жизнь наша, эта жизнь, насъ окружающая, намъ мало ясна съ незапамятныхъ временъ. Вѣдь, это поистинѣ страшная, затерявшаяся *гдѣ-то и когда-то* жизнь, та жизнь, въ которой разсказывается серіозно, какъ въ *Грозѣ* Островскаго, что „эта Литва, она къ намъ съ неба упала", и отъ которой, затерявшейся *гдѣ-то и когда-то*, отречься намъ нельзя безъ насилія надъ собою, противоестественнаго и потому почти преступнаго; та жизнь, съ которою мы всѣ сначала враждуемъ, и смиреніемъ передъ невѣдомою правдою которой всѣ люди съ сердцемъ, люди плоти и крови *кончали, кончаютъ и*, должно-быть, будутъ еще кончать, какъ

Ѳедоръ Лаврецкій, обрѣтшій въ ней свою искомую и созданную изъ ея соковъ Лизу; та жизнь, которую въ лицѣ Агаѳьи Матвѣевны приноситъ Обломовъ въ жертву дѣланную и изломанную, хотя внѣшне граціозную натуру Ольги, и въ которой онъ гибнетъ, единственно, впрочемъ, по волѣ своего автора, и не миря насъ притомъ нисколько своею гибелью съ личностью Штольца.

Да, страшна эта жизнь, какъ тайна страшна, и, какъ тайна же, она манитъ насъ и дразнитъ и тащитъ...

Но куда?—вотъ въ чемъ вопросъ.

Въ омутъ или на просторъ и на свѣтъ? Въ единеніи ли съ нею, или въ отрицаніи отъ нея, губящей обломовщины, съ одной стороны, безысходно темнаго царства, съ другой, заключается для насъ спасеніе?

*
* *

Мы дошли до того, что съ тѣми нравственными началами, съ которыми до сихъ поръ жили, или, лучше, прозябали, въ тѣхъ общественныхъ условіяхъ, въ которыхъ пребывали или, вѣрнѣе, кисли, жить болѣе не можемъ.

Мудрено ли, еще разъ, что у всѣхъ явленій *таинственной* нашей жизни мы доискиваемся смысла? Мудрено ли, что во всякомъ художественномъ созданіи, отразившемъ въ своемъ фокусѣ наибольшую сумму явленій извѣстнаго рода, мы ищемъ оправданія и подкрѣпленія того смысла, который мы сами болѣе или менѣе вѣрно, но во всякомъ случаѣ серіозно придали явленіямъ, вслѣдствіе законнаго раздраженія неправыми явленіями и еще болѣе законнаго желанія уяснить себѣ темныя для насъ явленія?

Все это не только не мудрено, но совершенно логично. Всѣмъ этимъ совершенно объясняются различныя отношенія нашей мысли къ произведеніямъ искусства, которыя сколько-нибудь сильно ее шевелятъ.

Кровныя или мозговыя, но (какъ тѣ, такъ и другія) сильныя и дѣйствительныя вражды и сочувствія вносимъ мы въ наши отношенія къ этимъ, повидимому, невиннымъ чадамъ творчества и фантазіи. И иначе быть не можетъ.

Чада, какъ всякія чада, дѣйствительно невинны, но они живыя порожденія жизни. Время, когда созданія искусства считались роскошью, увеселеніемъ безъ причинъ и послѣдствій, давно прошло. Еще мрачный монахъ Саванарола, сожи-

гая на площади Санъ-Марко во Флоренціи мадоннъ итальянскихъ художниковъ его времени, понималъ, что невинныя чада искусства могутъ возбуждать любовь и ненависть, какъ и виновныя чада жизни...

Наше время еще больше это понимаетъ. Фанатизмъ симпатій и антипатій прокрался даже и въ ту область художества, которая наиболѣе чужда нравственныхъ и жизненныхъ требованій, наименѣе къ чему-либо обязываетъ,—даже въ музыку, и фанатическая религія вагнеризма есть одинъ изъ яркихъ симптомовъ страшной напряженности умственнаго и нравственнаго настройства нашей эпохи.

Поэтому-то самому нельзя въ наше время отказать въ уваженіи и сочувствіи никакой честной теоріи, т.-е. теоріи, родившейся вслѣдствіе честнаго анализа общественныхъ отношеній и вопросовъ, и весьма трудно оправдать чѣмъ-либо дилетантское равнодушіе къ жизни и ея вопросамъ, прикрывающее себя служеніемъ какому-то чистому искусству. Съ теоретиками можно спорить; съ дилетантами нельзя, да и не надобно. Теоретики рѣжутъ жизнь для своихъ идоложертвенныхъ требъ, но это имъ, можетъ-быть, многаго стоитъ. Дилетанты тѣшатъ только плоть свою, и какъ имъ въ сущности ни до кого и ни до чего нѣтъ дѣла, такъ и до нихъ тоже никому не можетъ быть въ сущности никакого дѣла. Жизнь требуетъ порѣшеній своихъ жгучихъ вопросовъ, кричитъ разными своими голосами, голосами почвъ, мѣстностей, народностей, настроеній, нравственныхъ, въ созданіяхъ искусствъ, а они себѣ тянутъ вѣчную пѣсенку про бѣлаго бычка, про искусство для искусства, и принимаютъ невинность чадъ мысли и фантазіи въ смыслѣ какого-то безплодія. Они готовы закидать грязью Занда за неприличную тревожность ея созданій и манерою фламандской школы оправдывать пустоту и низменность чиновническаго взгляда на жизнь. То и другое имъ равно ничего не стоитъ!

Нѣтъ! я не вѣрю въ ихъ искусство для искусства не только въ нашу эпоху,—въ какую-угодно *истинную* эпоху искусства. Ни фанатическій гибеллинъ Дантъ, ни честный англійскій мѣщанинъ Шекспиръ, столь ненавистный пуританамъ всѣхъ странъ и вѣковъ *даже до сего дня*, ни мрачный инквизиторъ Кальдеронъ не были художниками въ томъ смыслѣ, какой хотятъ придать этому званію дилетанты. Понятіе объ искусствѣ для искусства является въ эпохи упадка,

въ эпохи разъединенія сознанія немногихъ лицъ, утонченнаго чувства дилетантовъ, съ народнымъ сознаніемъ, съ чувствомъ массъ... Истинное искусство было и будетъ всегда народное, демократическое, въ философскомъ смыслѣ этого слова. Искусство воплощаетъ въ образы, въ идеалы сознаніе массы. Поэты суть голоса массъ, народностей, мѣстностей, глашатаи великихъ истинъ и великихъ тайнъ жизни, носители словъ, которыя служатъ ключами къ уразумѣнію эпохъ,— организмовъ во времени, и народовъ,—организмовъ въ пространствѣ.

Но изъ этой же самой народной, демократической сущности истиннаго искусства слѣдуетъ, что теоріи не могутъ обнять всего живого смысла поэтическихъ произведеній. *Теоріи, какъ итоги, выведенные изъ прошедшаго разсудкомъ*, правы всегда только въ отношеніи къ прошедшему, на которое онѣ, какъ на жизнь, опираются; а прошедшее есть всегда только трупъ, покидаемый быстро текущею впередъ жизнью, трупъ, въ которомъ анатомія доберется до всего, кромѣ души. Теорія вывела изъ извѣстныхъ данныхъ извѣстные законы и хочетъ заставить насильственно жить всѣ послѣдующія, раскрывающіяся данныя по этимъ логически-правильнымъ законамъ. Логическое бытіе самыхъ законовъ несомнѣнно, мозговая работа по этимъ отвлеченнымъ законамъ идетъ совершенно правильно, да идетъ-то она въ отвлеченномъ, чисто-логическомъ мірѣ, мірѣ, въ которомъ все имѣетъ очевидную послѣдовательность, строгую необходимость, въ которомъ нѣтъ неисчерпаемаго творчества жизни, называемаго обыкновенно случайностью, называемаго *такъ* до тѣхъ поръ, пока она не станетъ прошедшимъ и пока логическая анатомія не разсѣчетъ этого трупа и не приготовитъ новаго аппарата въ видѣ новой теоріи.

Кого жъ любить, кому же вѣрить,
Кто не измѣнитъ намъ одинъ?..

имѣете право спросить меня и вы, и читатели моихъ писемъ къ вамъ, словами поэта.

Кого любить? Кому вѣрить? Жизнь любить—и въ жизнь одну вѣрить, подслушивать біеніе ея пульса въ массахъ, внимать голосамъ ея въ созданіяхъ искусства и религіозно радоваться, когда она приподнимаетъ свои покровы, разоблачаетъ свои новыя тайны и разрушаетъ наши старыя *теоріи*...

Это одно, что осталось намъ, это именно и есть „смиреніе передъ народною правдой“, которымъ такъ силенъ вашъ разбитый Лаврецкій.

Иначе, безъ смиренія передъ жизнью, мы станемъ непризванными учителями жизни, непрошенными печальниками народнаго благоденствія,—а главное, будемъ поставляемы въ постоянно ложныя положенія передъ жизнью.

***

Опять обращаясь къ фактамъ, породившимъ эти разсужденія, я указываю, какъ на больное мѣсто современныхъ теорій, на толки о дѣятельности Островскаго. Сколько времени эта, чисто уже свободная и со всѣми своими недостатками цѣлостная, органическая, живая дѣятельность ускользала изъ-подъ ножа теорій, не поддавалась ихъ опредѣленіямъ, была за это преслѣдуема, вовсе не признаваема или полупризнаваема.

Явился, наконецъ, остроумный человѣкъ, который втиснулъ ее въ такія рамки, что стало возможно помирить сочувствіе къ ней съ сочувствіемъ къ интересамъ и теоріямъ минуты, что она перестала выбиваться изъ общей колеи кары и обличенія. Совершилось на глазахъ читателей одно изъ удивительнѣйшихъ превращеній. Драматургъ, котораго обвиняли, иногда безъ основаній, иногда съ основаніями, во множествѣ недостатковъ, недодѣлокъ и недосмотровъ; писатель, которому въ одной изъ нахальнѣйшихъ статей одного погибшаго журнала отказывали въ истинномъ талантѣ; которому въ другой, не менѣе нахальной, хотя болѣе приличной статьѣ другого журнала совѣтовали преимущественно думать и думать,—превратился изъ народнаго драматурга въ чистаго сатирика, обличителя самодурства, но зато—положительно былъ оправданъ отъ всѣхъ обвиненій. Всѣ вины взвалены были на „Темное царство“, сатирикъ же явился рѣшительно безупречнымъ.

Повернетъ ли онъ круто, чтобы какъ-нибудь свести концы, характеръ какого-либо лица; оставитъ ли онъ какое драматическое положеніе въ видѣ намека; не достанетъ ли у него вѣры въ собственный замыселъ и смѣлости довершить по народному представленію то, что зачалось по народному представленію,—виноватъ не онъ, виновато „Темное царство“, *котораго безобразій* онъ каратель и обличитель.

Что за нужда, что, прилагая одну эту мѣрку, вы урѣзываете въ писателѣ его самыя новыя, самыя существенныя свойства, пропускаете или не хотите видѣть его положительныя, поэтическія стороны; что нужды, что вы заставляете художника итти въ его творчествѣ не отъ типовъ и ихъ отношеній, а отъ вопросовъ общественныхъ и юридическихъ! Мысль, взятая за основаніе, сама-по-себѣ вѣрна. Вѣдь—опять повторяю—не относится же драматургъ къ самодурству и безобразію изображаемой имъ жизни съ любовью и нѣжностью; не относится, такъ, стало-быть, относится съ казнью и обличеніемъ. Ergo pereat mundus, fiat justitia! Общее правило теоретиковъ дѣйствуетъ во всей силѣ, и дѣйствительно разрушается цѣлый міръ, созданный творчествомъ, и на мѣсто образовъ являются фигуры съ ярлыками на лбу: самодурство, забитая личность и т. д. Зато Островскій становится понятенъ, т.-е. теорія можетъ вывести его дѣятельность, какъ логическое послѣдствіе, изъ дѣятельности Гоголя.

Гоголь изобличилъ нашу напоказъ выставляемую, такъ-сказать, офиціальную дѣйствительность; Островскій подымаетъ покровы съ нашей таинственной, внутренней, бытовой жизни, показываетъ главную пружину, на которой основана ея многосложная машина,—самодурство; самъ даетъ даже это слово для опредѣленія своего безцѣннаго Кита Китыча... Что же?

Ужель загадку разрѣшили,
Ужели *слово* найдено?

то слово, которое непремѣнно несетъ съ собою и въ себѣ Островскій, какъ всякій истинно замѣчательный, истинно народный писатель?

Ежели такъ, то найденное *слово* не должно бояться никакой повѣрки, тѣмъ болѣе повѣрки жизнью. Ежели оно правильно, то всякую повѣрку выдержитъ. Ежели оно правильно, то изъ-подъ его широкой рамки не должны выбиваться никакія черты того міра, къ которому оно служитъ ключомъ. Иначе—оно или вовсе невѣрно, или вѣрно только на половину; къ однимъ явленіямъ подходитъ, къ другимъ не подходитъ. Позволю себѣ предложить разомъ всѣ недоумѣнія и вопросы, возникающіе изъ приложенія слова къ явленіямъ,—шагъ за шагомъ, драма за драмою.

1) Что правильное, народное сочувствіе, нравственное и гражданское, въ *Семейной картинѣ*—не на сторонѣ протестантокъ Матрены Саввишны и Марьи Антиповны,—это, я полагаю, несомнѣнно,—хотя изъ несочувствія къ нимъ нравственнаго народнаго сознанія не слѣдуетъ сочувствія къ самодурству Антипа Антипыча Пузатова и его матери, къ ханжеству и гнусности Ширялова. Но—*какъ* изображено самодурство Антипа Антипыча: съ злымъ ли юморомъ сатирика или съ наивною правдой народнаго поэта?—это еще вопросъ.

2) *Свои люди—сочтемся*, прежде всего, картина общества, отраженіе цѣлаго міра, въ которомъ проглядываютъ многоразличныя органическія начала, а не одно самодурство. Что человѣческое сожалѣніе и сочувствіе остается по ходу драмы за самодурами, а не за протестантами — это даже и не вопросъ, хотя, съ другой стороны,—не вопросъ же и то, что Островскій не поставлялъ себѣ задачею возбужденія такого сочувствія. Нѣтъ! онъ только не былъ сатирикомъ, а былъ объективнымъ поэтомъ.

3) Что въ *Утрѣ молодого человѣка* дѣло говоритъ самодуръ-дядя, а не протестантъ-племянникъ — тоже едва ли подлежитъ сомнѣнію.

4) Міръ *Бѣдной невѣсты* изображенъ съ такою симпатіей поэта и такъ мало въ немъ сатирическаго въ изображеніи того, что́ могло даже всякому другому подать поводъ къ сатирѣ, что нужна неимовѣрная логическая натяжка для того, чтобы сочувствовать въ этомъ мірѣ не высокой, приносящей себя въ жертву долгу, покоряющейся женской натурѣ, а одной только погибшей, хотя и дѣйствительно богатой силами личности Дуни, какъ сочувствуетъ г.—бовъ. Дуня—созданіе большого мастера и, какъ всякое созданіе истиннаго художества, носитъ въ себѣ высоко-нравственную задачу; но задача-то эта—съ простой, естественной, а не съ теоретической, насильственной точки зрѣнія — заключается вовсе не въ протестѣ. Въ Дунѣ правильнымъ образомъ сочувствуетъ масса не ея гибели и протесту, а тѣмъ лучшимъ качествамъ великодушія, которыя въ ней уцѣлѣли въ самомъ паденіи, тому высокому сознанію грѣха, которое свѣтится въ ней, той покорности жребію, которая въ ея сильной, широкой и размашистой натурѣ цѣнится вдвое дороже, чѣмъ въ натурѣ менѣе страстной и богатой.

Такъ, по крайней мѣрѣ, дѣло выходитъ съ точки зрѣнія простого смысла и простого чувства, а по-ученому тамъ, не знаю, выйдетъ, можетъ-быть, и иначе. О томъ, какъ вся манера изображенія и весь строй отношеній къ дѣйствительности въ *Бѣдной невѣстѣ* противорѣчитъ манерѣ Гоголя и его строю,—я еще здѣсь и не говорю. Я беру только самое очевидное, понятное, такое, въ чемъ теоретическій масштабъ положительно, на всякіе глаза, расходится съ настоящимъ дѣломъ.

5) Въ комедіи *Не въ свои сани не садись* никакими разсужденіями вы не добьетесь отъ массы ни пониманія вреда отъ самодурства почтеннаго Максима Ѳедотыча Русакова, ни сочувствія къ чему-либо иному, кромѣ какъ къ положенію того же Русакова, къ простой и глубокой любви Бородкина и къ жестокому положенію бѣдной дѣвушки, увлеченной простотой своей любящей души да совѣтами протестантки тетушки *).

6) *Бѣдность не порокъ*—не сатира на самодурство Гордѣя Карпыча, а опять-таки, какъ *Свои люди—сочтемся* и *Бѣдная невѣста*, поэтическое изображеніе цѣлаго міра съ весьма разнообразными началами и пружинами. Любимъ Торцовъ возбуждаетъ глубокое сочувствіе не протестомъ своимъ, а могучестью натуры, соединенной съ высокимъ сознаніемъ долга, съ чувствомъ человѣческаго достоинства, уцѣлѣвшими и въ грязи, глубиною своего раскаянія, искреннею жаждою жить честно, по-божески, по-земски. Любовь Гордѣевна—одинъ изъ прелестнѣйшихъ, хоть и слегка очерченныхъ женскихъ образовъ Островскаго—не забитая личность, возбуждающая только сожалѣніе, а высокая личность, привлекающая все наше сочувствіе, какъ незабитыя личности ни Марья Андреевна въ *Бѣдной невѣстѣ*, ни Пушкинская Татьяна, ни ваша Лиза. Бытъ, составляющій фонъ широкой картины, взятъ—на всякіе глаза, кромѣ глазъ теоріи—не сатирически, а поэтически, съ любовью, съ симпатіею очевидными, скажу больше—съ религіознымъ культомъ существенно-народнаго. За это даже вооружились на Островскаго во дни оны. Поэтическое, т.-е. прямое, а не косвенное отно-

*) Комедія „Не въ свои сани не садись“ даже явно страждетъ въ художественномъ отношеніи рѣзкостью лицепріятнаго сочувствія къ земскому быту, и никакія теоретическія натяжки этого не прикроютъ. *А. Г.*

шеніе къ быту и было камнемъ претыканія и соблазна для присяжныхъ цѣнителей Островскаго, причиною ихъ, въ отношеніи къ нему, ложнаго положенія, изъ котораго думалъ вывести ихъ всѣхъ г.—бовъ.

7) Набросанный очеркъ широкой народной драмы *Не такъ живи, какъ хочется*—столь мало сатира, что въ изображеніи главнаго самодура, старика Ильи Ильича, нѣтъ и тѣни комизма. Въ Петрѣ Ильичѣ далеко не самодурство—существенная сторона характера. Въ созданіи Груши и даже ея матери виденъ для всякаго, кромѣ теоретиковъ, народный поэтъ, а не сатирикъ. Груша въ особенности есть лицо, изображенное положительно, а не отрицательно, изображенное, какъ нѣчто живое и долженствующее жить.

8) Если бы *самодурство* Кита Китыча было одною цѣлью изображенія въ комедіи *Въ чужомъ пиру похмелье*, общественный смыслъ этой комедіи не былъ бы такъ широкъ, каковъ онъ представляется въ связи ея съ *Доходнымъ мѣстомъ*, съ *Праздничнымъ сномъ*, со сценами *Не сошлись характеромъ*.—Что Китъ Китычъ самодуръ, нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, но такого *милѣйшаго* Кита Китыча создалъ поэтъ, а не сатирикъ, какъ не сатирикъ создавалъ Фальстафа. Вѣдь, вамъ жаль разстаться съ Китомъ Китычемъ, вы желали бы видѣть его въ различныхъ подробностяхъ его жизни, въ различныхъ его подвигахъ... Да и смыслъ-то комедіи не въ немъ. Комедія эта, вмѣстѣ съ исчисленными мною другими, захватываетъ дѣло глубже идеи самодурства, представляетъ отношенія земщины къ чуждому и невѣдомому ей офиціальному міру жизни. Надъ Китомъ Китычемъ масса смѣется добродушнѣйшимъ смѣхомъ. Горькое и трагическое, но опять-таки не сатирическое, лежитъ на днѣ этой комедіи и трехъ послѣдующихъ въ идеѣ нашей таинственной и, какъ тайна, страшной, затерявшейся гдѣ-то и когда-то жизни. Горькое и трагическое въ судьбѣ тѣхъ, кого называетъ карасями Досужевъ *Доходнаго мѣста*, благороднѣйшая личность, которой практическій ея героизмъ не указываетъ иного средства жить самому и служить народу, какъ писать прошенія со вставленіемъ всѣхъ орнаментовъ. Горькое и трагическое въ томъ, что „царь Фараонъ изъ моря выходитъ“ и что „эта Литва—она къ намъ съ неба упала“. Горькое и трагическое въ томъ, что ученье и грамота сливаются въ представленіи отупѣлой

земщины съ тѣмъ, что „отдали мальчика въ ученье, а ему глазъ и выкололи“,—въ томъ, что земщина, въ лицѣ глупаго мужика Кита Китыча, предполагаетъ въ Сахарѣ Сахарычѣ власть и силу написать такое прошеніе, по которому можно троихъ человѣкъ въ Сибирь сослать, и въ лицѣ умнаго мужика Неуѣденова—справедливо боится всего, чтó не она, земщина; въ наивномъ письмѣ Серафимы Карповны къ мужу: „Что я буду значить, когда у меня не будетъ денегъ? Тогда я ничего не буду значить! Когда у меня не будетъ денегъ,— я кого полюблю, а меня, напротивъ того, не будутъ любить. А когда у меня будутъ деньги,—я кого полюблю, и меня будутъ любить, и мы будемъ счастливы“. Вотъ въ чемъ и истинно-горькое и закулисно-трагическое этого міра, а не въ самодурствѣ. Самодурство, это только накипь, пѣна, комическій отсадокъ; оно, разумѣется, изображается поэтомъ комически,—да какъ же иначе его и изображать?—Но не оно—ключъ къ его созданіямъ!

Для выраженія смысла всѣхъ этихъ, изображаемыхъ художникомъ съ глубиною и сочувствіемъ, странныхъ, затерявшихся гдѣ-то и когда-то жизненныхъ отношеній слово *самодурство* слишкомъ узко, и имя сатирика, обличителя, писателя отрицательнаго, весьма мало идетъ къ поэту, который играетъ на всѣхъ тонахъ, на всѣхъ ладахъ народной жизни, который создаетъ энергическую натуру Нади, страстно-трагическую задачу личности Катерины, высокое лицо Кулигина, Грушу, отъ которой такъ и пышетъ жизнью и способностью жить съ женскимъ достоинствомъ,—въ *Не такъ живи, какъ хочется*, старика Агаѳона въ той же драмѣ съ его безграничною, какою-то пантеистическою, даже на тварь простирающеюся любовью.

Имя для этого писателя, для такого большого, несмотря на его недостатки, писателя—не сатирикъ, а народный поэтъ. Слово для разгадки его дѣятельности не „самодурство“, а „народность“. Только это слово можетъ быть ключомъ къ пониманію его произведеній. Всякое другое—какъ болѣе или менѣе узкое, болѣе или менѣе теоретическое, произвольное— стѣсняетъ кругъ его творчества. Всякимъ другимъ словомъ теорія какъ-будто хочетъ сказать ему: „Вотъ въ этой колеѣ ты намъ совершенно понятенъ, въ этой колеѣ мы тебя узакониваемъ, потому что въ ней ты идешь къ той цѣли, которую мы предписываемъ жизни. Дальше не ходи. Если ты прежде

пытался ходить,—мы тебя, такъ и быть, прощаемъ: мы наложимъ на твою дѣятельность мысль, которую мы удачно сочинили для ея поясненія, и обрѣжемъ или скроемъ все, что выходитъ изъ-подъ ея уровня!

Чѣмъ же объяснить это, какъ не тѣмъ, что теоретики искали слова для загадочнаго явленія, нашли его по крайнему разумѣнію и включили Островскаго въ область фактовъ, поясняющихъ и подтверждающихъ ихъ начала? Что касается до эстетиковъ, они хвалили Островскаго за литературное поведеніе, съ большимъ вкусомъ—хотя не самостоятельно—указали на блестящія его стороны, да тѣмъ и ограничились. Явленіе же само осталось неразгаданнымъ, необъясненнымъ, почти-что такимъ же, какимъ оно было лѣтъ за восемь назадъ. Ни значеніе, ни особенность поэтической дѣятельности автора *Грозы* нисколько не опредѣлились, да и не могли опредѣлиться при такомъ воззрѣніи, которое видѣло не міръ, художникомъ создаваемый, а міръ, заранѣе начертанный теоріями, и судило міръ художника не по законамъ, въ существѣ этого міра лежащимъ, а по законамъ, сочиненнымъ теоріями.

Появленіе *Грозы* въ особенности обличило всю несостоятельность теоріи. Однѣми сторонами своими эта драма какъ-будто и подтверждаетъ остроумныя идеи автора „Темнаго царства", но зато съ другими сторонами ея теорія рѣшительно не знаетъ, что дѣлать: онѣ выбиваются изъ ея узкой рамки, онѣ говорятъ совершенно не то, что говоритъ теорія.

И вотъ, въ маломъ видѣ повторяется для мыслящаго наблюдателя вышеупомянутая мною сцена изъ Komedya nieboska. Кто, въ яромъ увлеченіи теоріей, гнетъ и ломаетъ всѣ отношенія драмы, чтобы сдѣлать изъ нея сатиру; кто, какъ рецензентъ „Русской Газеты" *), лавируя между Сциллою и Харибдою, между теоріею и жизнью, не можетъ дать никакого органическаго единства своимъ взглядамъ; кто, наконецъ—есть и такіе—винитъ чуть-что не въ безнравственности чистое созданіе художника? И—ou la verité vat-elle se nicher?—только въ какомъ-то листкѣ, въ какомъ-то мало кому извѣстномъ „Театральномъ и музыкальномъ Вѣст-

*) *Дараганъ „Русская* Газета", 1859 г., № 8. Н. Д.

никѣ“ *), вслѣдъ за представленіемъ *Грозы*, является горячая, полная вѣрнаго пониманія и глубокаго сочувствія статья, чуждая всякихъ теорій, относящаяся къ жизни, какъ къ жизни. Странные факты! но не скажу: горестные факты.

Теоріи все-таки къ чему-нибудь ведутъ и самою своею несостоятельностью раскрываютъ намъ шире и шире значеніе таинственной нашей жизни... Оказалась узка одна—явится другая. Одна только праздная игра въ мысль и самоуслажденіе этою игрою—незаконны въ наше кипящее тревожными вопросами время. Теоретикамъ можно пожелать только нѣсколько побольше религіозности, т.-е. уваженія къ жизни и смиренія передъ нею, а вѣдь эстетикамъ, право, и пожелать-то нечего!

***

Не знаю, насколько удачно,—но во всемъ предшествовавшемъ письмѣ я стремился доказать, что Островскій и его дѣятельность въ 1859 году, *несмотря* на остроумныя выкладки г.—бова и *вслѣдствіе* малоостроумныхъ, но зато послѣдовательныхъ итоговъ, подведенныхъ подъ выкладками юными послѣдователями новаго учителя, остается такимъ же, еще необъясненнымъ, еще загадочнымъ явленіемъ, какимъ они были въ 1852 или 1853 годахъ.—Чтобы быть совершенно искреннимъ и безпристрастнымъ въ отношеніи къ разсматриваемому мною дѣлу, я долженъ досказать то, чего не досказалъ въ предшествовавшемъ разсужденіи, а именно: что дѣятельность Островскаго сама представляется какъ-будто раздвоенною, что Островскій въ *Бѣдной невѣстѣ*, въ *Не такъ живи, какъ хочется* положительно не подходитъ *никакими* своими сторонами подъ начала теоріи г.—бова, и что Островскій въ комедіяхъ: *Въ чужомъ пиру похмелье*, *Доходное мѣсто*, *Не сошлись характеромъ*, *Воспитанница*,—наконецъ, въ самой *Грозѣ*,—многими сторонами какъ-будто вызвалъ теорію о „Темномъ царствѣ“, и что—опять повторяю—только крайняя искренность и горячая смѣлость послѣдователей г.—бова могла такъ рано обличить несостоятельность теоріи.

*) Дм. Исаевъ. „Музыкальный и Театральный Вѣстникъ“, 1859 г., № 6.

Н. Д.

Другими словами, обличеніе во внутренней бытовой сторонѣ нашей жизни міра самодурства, тупоумія, забитости и проч., не приложимое нисколько къ первому разряду исчисленныхъ драматическихъ произведеній, прилагается съ большимъ успѣхомъ ко второму. Я думаю даже такъ, что г.—бовъ, хотя и односторонне, но логически вѣрно. вывелъ теорію изъ внимательнаго изученія многихъ и притомъ весьма яркихъ сторонъ второго разряда комедій, и потомъ, увлеченный страстью къ логическимъ выводамъ quand même, вопреки самой жизни, подвелъ подъ логическій уровень и комедіи перваго разряда; иначе этого насилованія и объяснить себѣ невозможно. Не предполагать же со стороны критика, т.-е. общественнаго разъяснителя, обязаннаго своимъ званіемъ искать серіозно правды и серіозно же передавать результаты своихъ исканій,—не предполагать же, говорю я, сознательную, намѣренную уловку, деспотическое желаніе заставить жизнь и ея явленія жить, назло ихъ собственному существу, по законамъ теоріи? Или ужъ всѣ теоретики по натурѣ,—безсознательно деспоты, и обо всякомъ изъ нихъ можетъ быть сказано въ извѣстномъ отношеніи то, что Пушкинскій Мазепа говоритъ о Карлѣ XII-мъ:

Какъ полкъ, вертѣться онъ судьбу
Заставить хочетъ барабаномъ?

Видно, такъ! Но какъ бы то ни было, а передъ нами все-таки неразъясненное, даже—какъ кажется по приведенному мною раздѣленію слоевъ—раздвоенное, противорѣчащее само себѣ явленіе; передъ нами *дѣло*, переходившее нѣсколько инстанцій, въ каждой рѣшенное различнымъ образомъ, и само повидимому, подавшее поводъ къ такимъ различнымъ рѣшеніямъ.

Что же это такое? Въ самомъ ли дѣлѣ Островскій, начиная съ комедіи *Въ чужомъ пиру похмелье*, идетъ инымъ путемъ, а не тѣмъ, которымъ онъ пошелъ послѣ первой своей комедіи въ *Бѣдной невѣстѣ* и въ другихъ произведеніяхъ? И который изъ этихъ двухъ путей указывало ему его призваніе *если* два пути дѣйствительно были (а они, эти два пути являются необходимо, *если* только принять за объясненіе дѣятельности Островскаго теорію г.—бова)? И въ которомъ изъ двухъ первыхъ, равно капитальныхъ произведеній Островскаго, равно широко обнимающихъ изображенные въ нихъ

міры, въ *Свои люди—сочтемся* или въ *Бѣдной невѣстѣ*, выразилось въ особенности призваніе Островскаго, его задача, его художественно-общественное слово? И наконецъ, точно ли есть въ дѣятельности нашего перваго и единственнаго народнаго драматурга раздвоеніе?.. Вотъ вопросы, которые необходимо требуютъ разрѣшенія,—а между тѣмъ нисколько не разрѣшены, а скорѣе запутаны теоріей публициста „Современника“, и безъ разрѣшенія которыхъ Островскій остается, повторяю опять, все-таки загадочнымъ, непонятнымъ явленіемъ, какъ въ тѣ дни, когда выраженіе „новое слово“, употребленное вашимъ покорнѣйшимъ слугою по поводу *Бѣдной невѣсты*, возбуждало такія глумленія въ петербургскихъ критикахъ.

***

Дѣятельность Островскаго начинается, собственно, съ 1847 года. Для полноты моихъ критическихъ очерковъ привожу перечень всего имъ написаннаго до комедіи *Въ чужомъ пиру похмелье*, какъ грани второй полосы его развитія, въ хронологическомъ порядкѣ.

1) *Семейная картина.* Напечатана въ „Московскомъ Городскомъ Листкѣ“ 1847 г.; перепечатана безъ перемѣнъ въ полномъ собраніи сочиненій 1859 г. Въ этой же, только годъ издававшейся газетѣ напечатана сцена изъ комедіи: *Свои люди—сочтемся*, носившей тогда названіе: *Банкротъ*, сцена, подписанная буквами А. О. и Д. Г., буквами, подавшими впослѣдствіи поводъ къ жалкой исторіи, не малое время срамившей нѣкоторые журналы и газеты *).

2) *Очерки Замоскворѣчья*, небольшой разсказъ въ „Московскомъ Городскомъ Листкѣ“ 1847 г., не вошедшій, къ сожалѣнію, въ полное собраніе сочиненій 1859 г.

3) *Свои люди—сочтемся*, комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, въ „Москвитянинѣ“ 1850 г. и отдѣльною книжкой. Напечатана съ нѣкоторыми сокращеніями и измѣненіемъ конца (весьма неудачнымъ, кромѣ прибавки одной, яркой и въ высшей степени знаменательной черты въ характерѣ Лазаря) въ полномъ собраніи сочиненій.

---

*) Обвиненіе Островскаго въ присвоеніи себѣ чужого произведенія.
Н. Д.

4) *Утро молодого человѣка*,—въ „Москвитянинѣ“ 1850 года. Перепечатано безъ перемѣнъ въ полномъ собраніи сочиненій.

5) *Неожиданный случай*, сцены,—въ альманахѣ „Комета“ 1851 г. Не вошло въ собраніе сочиненій.

6) *Бѣдная невѣста*, комедія въ 5 дѣйствіяхъ,—въ „Москвитянинѣ“ 1852 г. Перепечатана въ первомъ томѣ сочиненій.

7) *Не въ свои сани не садись*, комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ,—въ „Москвитянинѣ“ 1853 г. и въ 1-мъ томѣ сочиненій.

8) *Бѣдность не порокъ*, комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ. Напечатана безъ перемѣнъ во 2-мъ томѣ сочиненій.

9) *Не такъ живи, какъ хочется*. Народная драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ,—въ „Москвитянинѣ“ 1855 года. Перепечатана во 2-мъ томѣ сочиненій, съ небольшими, но весьма интересными для мыслящаго критика поправками, обличающими странную шаткость отношеній поэта къ своему, можетъ-быть, любимому, но почему-то не выносившемуся дѣтищу.

На этомъ произведеніи я пока останавливаюсь. Здѣсь грань всего несомнѣннаго. За *Не такъ живи, какъ хочется*, т.-е. съ комедіи *Въ чужомъ пиру похмелье*, начинается область спорнаго.

Самое первое изъ этихъ исчисленныхъ мною, большихъ и небольшихъ, болѣе или менѣе удачныхъ произведеній носило на себѣ яркую печать самобытности таланта, выражавшейся и 1) въ новости быта, выводимаго поэтомъ и до него вовсе непочатаго, если исключить нѣкоторые очерки Луганскаго и Вельтмана *) („Приключенія, почерпнутыя изъ моря житейскаго“), очерки, набросанные этими даровитыми писателями, такъ-сказать, вскользь, мимоходомъ, и 2) въ новости отношеній автора къ дѣйствительности вообще, къ изображенному имъ быту и къ типамъ изъ этого быта въ особенности, и 3) въ новости манеры изображенія, и 4) въ новости языка, въ его цвѣтистости, особенности.

Изо всего этого новаго, что́ съ первой минуты своего появленія въ литературѣ приносилъ съ собою нашъ дра-

*) Алек. Ѳедор. Вельтманъ (1800—1860 гг.), русскій писатель, написавшій много фантаст. романовъ, сказокъ, историч. изслѣдов. и драматич. сочин. В. И. Даль (писавшій подъ псевд. Луганскій). Напечаталъ много разсказовъ изъ народнаго быта. Н. Д.

матургъ, критика въ состояніи была, да и теперь еще находится, понять только новость быта, который онъ изображалъ. *Семейная картина*, самое первое, но одно изъ оконченнѣйшихъ произведеній Островскаго, прошла при появленіи своемъ почти-что незамѣченною, да и немудрено: она и въ полномъ собраніи сочиненій, напечатанномъ весьма разгонистымъ шрифтомъ, занимаетъ немного болѣе полутора печатнаго листа. Еще менѣе замѣчена была новость отношеній къ дѣйствительности,—отношеній, радикально противоположныхъ тѣмъ сантиментально-желчно-болѣзненнымъ отношеніямъ, которыя свирѣпствовали тогда въ произведеніяхъ петербургской натуральной школы,—въ маленькомъ разсказѣ *Очерки Замоскворѣчья*, единственномъ произведеніи, вылившемся у Островскаго не въ драматической формѣ. Появленіе комедіи *Свои люди — сочтемся*, какъ событіе слишкомъ яркое, выдвигавшееся далеко изъ ряда обычныхъ, надѣлало много шуму, но не вызвало ни одной дѣльной критической статьи. Комедія изумила критику, и комическое отношеніе критики къ комедіи изображено смѣлыми, остроумными, хотя и рѣзкими чертами въ оригинальной шуткѣ Эраста Благонравова: „Сонъ по случаю одной комедіи“ *). Въ этой шуткѣ, написанной со всѣмъ благороднымъ пыломъ юности, со всѣмъ увлеченіемъ правды, въ шуткѣ, взбѣсившей донельзя тогдашнюю критику, высказанъ былъ впервые даровитымъ критикомъ-юмористомъ глубоко вѣрный взглядъ на различіе новаго таланта, появившагося въ нашей литературѣ, отъ таланта Гоголя...

Несмотря на то, что Эрастъ Благонравовъ предупреждалъ читателей, что онъ не раздѣляетъ всѣхъ убѣжденій, которыя высказываютъ дѣйствующія лица его фантазіи, даровитая шутка привела тогдашнюю критику въ совершенное остервенѣніе. Но, какъ сначала ни недоумѣвала, какъ, по появленіи шутки Эраста Благонравова, ни остервенилась критика, все-таки она должна была согласиться съ общественнымъ мнѣніемъ. Она признала (добрая, великодушная критика!), что явился новый талантъ, сильный, свѣжій и

*) Подъ этимъ псевдонимомъ писалъ въ это время въ „Москвитянинѣ“ извѣстный поэтъ-юмористъ Борисъ Никол. Алмазовъ (иногда онъ подписывался еще Адамантовымъ). А. Григорьевъ говоритъ здѣсь объ одной изъ пародій Алмазова на литературныхъ противниковъ „Москвитянина“.

Н. Д.

наиболѣе близкій къ таланту, нынѣ давно уже спящему въ могилѣ, къ таланту, первенствовавшему тогда по всѣмъ правамъ. Бѣдная критика! Вотъ именно въ этомъ-то, въ этой-то близости къ Гоголю, она тогда ошиблась и ошибается *даже до сего дне*; въ этомъ-то таился тогда и таится *даже до сего дне* источникъ всѣхъ ея недоразумѣній, натяжекъ и теорій.

„Новое слово" ускользнуло отъ опредѣленій старой критики, ускользнуло сначала, и съ этого-то пункта началась настоящая исторія новаго литературнаго явленія.

Комедію *Свои люди—сочтемся* критика еще могла какъ-нибудь, хотя и съ великами натяжками, связать съ мудрыми заключеніями своими обо всемъ предшествовавшемъ въ литературѣ и съ еще болѣе мудрыми гаданіями на счетъ будущаго. Вся послѣдующая дѣятельность Островскаго такъ уходила изъ-подъ этихъ заключеній, какъ расколы изъ-подъ общей Византійской нормы, и поневолѣ должна была разсердить критику, задѣть больныя ея мѣста, коснуться самыхъ ветхихъ ея построекъ.

И критика стала въ очевидно комическое положеніе къ новому явленію. Появилась *Бѣдная невѣста*, а она ждала совсѣмъ не того послѣ комедіи *Свои люди—сочтемся*. Еще прежде Островскій разсердилъ критику отсутствіемъ всякой желчи, всякой рѣзкости линій, всякой выпуклости въ маленькихъ, простенькихъ и, надобно сказать правду, весьма милыхъ сценахъ, извѣстныхъ подъ именемъ *Неожиданнаго случая*, отъ которыхъ совершенно напрасно отрекся авторъ, издавая полное собраніе своихъ сочиненій... Эту безпритязательно-простую и, между тѣмъ, психологически-тонкую шутку даровитаго человѣка критика встрѣтила воплями на безцвѣтность выведенныхъ въ ней характеровъ, упрекала за слабость пружинъ, двигающихъ въ ней отношенія, или, въ переводѣ на прямой языкъ, осердилась на то, что отношенія, сами-по-себѣ легкія, художникъ очеркнулъ легко, характеры, безосновные и безсодержательные, изобразилъ въ ихъ безосновности и безсодержательности, не выдумалъ гиперболическаго узла, не отнесся съ ядовитою насмѣшкой къ такимъ беззлобнымъ и безкровнымъ существамъ, какъ выведенные имъ Розовый и Дружнинъ.

Но съ появленія *Бѣдной невѣсты* критика положительно стала сердиться на лица, выводимыя поэтомъ, на манеру *отношеній поэта* къ изображаемому имъ быту, т.-е. на самый

быть, гостепріимно растворившій передъ ней свои широкія двери въ созданіяхъ поэта. Критика постоянно становилась то въ положеніе Мерича, или даже Милашина, то въ положеніе Виктора Аркадьевича Вихорева и жены Маломальскаго, или даже тетушки, набравшейся въ Таганкѣ образованія. Становясь на ихъ точки зрѣнія, она винила Хорькова въ *неблагородствѣ* поступковъ; Русакова и Бородкина хотѣла увѣрить, что они не существуютъ или, по крайней мѣрѣ, существовать не должны.

Бѣдность не порокъ, самая смѣлая, хотя и не самая оконченная изъ драмъ Островскаго, озлобила дряхлую критику,—озлобила и на *друга* ея, Гордѣя Карповича и на *врага* ея, Любима Торцова. Гордѣй Карповичъ—каковъ онъ ни на есть—все-таки представитель стремленій къ *образованію*, все-таки въ нѣкоторомъ родѣ человѣкъ, стремящійся выйти изъ *грубаго* и критикѣ совершенно непонятнаго быта, желающій „всякую моду подражать“. Любимъ Карповичъ въ глазахъ критики былъ только пьяница и ничего больше. Его стремленій выйти изъ „метеорскаго“ званія, войти снова въ семью, имѣть честный кусокъ хлѣба, жить по-Божески, по-земски, его раскаянія, его порывовъ—критика не хотѣла и не могла оцѣнить: трагическая сторона его положенія отъ нея ускользнула. На Митю критика осердилась за то, что Богъ создалъ его съ даровитою, нѣжною и простою душой; Любовь Гордѣевну опять обвинила за отсутствіе личности, какъ прежде Марью Андреевну. На второй актъ комедіи озлобилась критика за то, что авторъ безъ церемоніи ввелъ публику въ самый центръ нравовъ, обычаевъ, веселья того быта, который онъ изображаетъ, ввелъ съ любовью, съ благоговѣніемъ къ святынѣ народной жизни. Ложное положеніе критики дошло до крайности при появленіи драмы *Не такъ живи, какъ хочется*. Сколь ни стоитъ здѣсь выполненіе ниже геніальнаго замысла, все-таки замыселъ просвѣчиваетъ въ скудномъ очеркѣ выполненія, и замыселъ этотъ уже совершенно былъ непонятенъ критикѣ. Кромѣ того, критика начала изъявлять неудовольствіе на языкъ или, по ея выраженію, на *жаргонъ*, которымъ писаны драмы Островскаго.—Она и въ самомъ дѣлѣ наивно была увѣрена, что языкъ въ комедіяхъ Островскаго—мѣстный провинціализмъ, *странность*, нѣчто въ родѣ пейзанскаго жаргона, *употребляемаго*, напримѣръ, Мольеромъ въ Le Médecin mal-

gré lui, въ Le festin de Pierre и другихъ пьесахъ. Чего же бы хотѣла критика? Чтобы лица драмъ Островскаго говорили не языкомъ ихъ быта? Да, вѣдь, это противорѣчило бы эстетическимъ положеніямъ всякой критики, даже и той, о которой въ настоящую минуту мною припоминается, да и Островскій притомъ художникъ такого рода, которому типы, при самомъ ихъ созданіи, предстоятъ не иначе, какъ со своимъ языкомъ каждый: иначе для него типъ и немыслимъ.

Съ неудовольствіемъ на жаргонъ драмъ Островскаго тѣсно связано было неудовольствіе на самый бытъ, имъ изображаемый. Собственно, критика сама не знала, чего хотѣла; при появленіи *Бѣдной невѣсты* раздались ея сѣтованія, что Островскій оставилъ бытъ, который онъ такъ мастерски изображаетъ; потомъ она вопіяла на то, что этотъ бытъ говоритъ своимъ языкомъ, имѣетъ свои, ей невѣдомые нравы, представляетъ свои типы, которые она не желала видѣть выводимыми, и въ несуществованіи которыхъ она такъ жарко хотѣла убѣдить и себя и другихъ. *Непереносенъ* былъ ей этотъ бытъ,—употребляя выраженіе комедій Островскаго—*непереносенъ* его языкъ, *непереносны* его типы; вотъ и вся разгадка. Не было критикѣ дѣла ни до какихъ эстетическихъ вопросовъ.

„Новое слово!"—употребляю теперь съ нѣкоторою гордостью это выраженіе, высокопарность котораго выкуплена легкомысленнымъ или недобросовѣстнымъ посмѣяніемъ, которому оно подверглось,—вотъ коренная, основная причина негодованія старой критики на писателя, которому, по всему праву, по общему признанію массы, принадлежитъ, несмотря на его недавнее появленіе, несмотря на многіе недостатки, несомнѣнное первенство во всей драматической нашей литературѣ.

Съ 1847 до 1855 года (я беру пока все еще одну *первую* эпоху дѣятельности Островскаго) Островскій написалъ всего только 9 произведеній, и изъ нихъ только пять значительныхъ по объему и шесть по содержанію; только четыре изъ нихъ давались на театрѣ, но эти четыре, безъ церемоніи говоря, *создали* народный театръ; частію создали, частію выдвинули впередъ артистовъ, пробудили общее сочувствіе всѣхъ классовъ общества, измѣнили во многихъ взглядъ на русскій бытъ, познакомили насъ съ типами, которыхъ *существованія мы* не подозрѣвали и которые, тѣмъ не менѣе,

несомнѣнно существуютъ, съ отношеніями въ высшей степени новыми и драматическими, съ многоразличными сторонами русской души и глубокими, и трогательными, и нѣжными, и разгульными сторонами, до которыхъ никто еще не касался. Право гражданства литературнаго получило множество яркихъ, опредѣленныхъ образовъ, новыхъ, живыхъ созданій въ мірѣ искусства,—и все это прошло безъ урока для критики. Талантъ уже породилъ толпу подражателей, и грубыя подражанія въ родѣ „Жениха изъ Ножовой линіи“ печатались въ ея журналахъ, а она продолжала глумиться надъ новымъ словомъ таланта.

А между тѣмъ, новое слово Островскаго было не болѣе, не менѣе какъ *народность*, слово собственно уже *старое*, ибо стремленія къ народности начались въ литературѣ нашей не съ Островскаго, но дѣйствительно *новое*,—потому что въ его дѣятельности опредѣлилось оно точнѣе, яснѣе и проще, хотя, безъ сомнѣнія, еще неокончательно.

***

Я знаю очень хорошо, что слово *народность*, хоть оно, слава-Богу, мной и не придумано, загадочнаго явленія еще не объясняетъ: во-первыхъ, потому, что оно слишкомъ широко, а во-вторыхъ, и потому, что само еще требуетъ объясненія. Вѣдь, и сатирикъ можетъ быть народенъ, да еще какъ! Примѣръ—въ великомъ поэтѣ Аристофанѣ, великомъ поэтѣ, которому не осталось быть не чѣмъ инымъ, какъ только сатирикомъ посреди жизни, когда-то цѣльной и прекрасной, въ его время разлагавшейся; примѣръ—въ Грибоѣдовѣ, великомъ и страстномъ поэтѣ, которому еще не во что было вкоренить идеалы души, который былъ отторгнутъ общимъ развитіемъ верхнихъ слоевъ общества отъ почвы, отъ народа и тѣмъ же самымъ развитіемъ высоко поставленъ надъ поверхностью этихъ верхнихъ слоевъ общества...

Положимъ, что я выразился яснѣе: я народность противоположилъ чисто-сатирическому отношенію къ нашей внутренней бытовой жизни, слѣдовательно, и подъ народностью въ Островскомъ разумѣлъ объективное, спокойное, чисто-*поэтическое*, а не напряженное, не отрицательное, не сати-*рическое отношеніе* къ жизни. Положимъ, что я прежде

всего поспѣшилъ высказать, что и творчество, и строй отношеній къ жизни, и манеру изображенія, свойственныя Островкому, считаю я совершенно различными отъ таковыхъ же Гоголя. Все-таки народность—понятіе очень широкое и тѣмъ менѣе объясняющее дѣло начисто, что наши собственныя отношенія къ самому этому понятію, т.-е. къ народности, весьма шатки и неопредѣленны. Да вдобавокъ еще, народность—бранное слово, т.-е. не въ смыслѣ ругательнаго слова, въ смыслѣ слова битвы, лозунга брани,—битвы, кажется, единственной въ лѣтописяхъ умственныхъ браней человѣчества. Въ Германіи только разъ въ краткій періодъ, который называется Sturm und Drang, въ который Клопштокъ и его друзья возобновляли клятвы древнихъ германцевъ передъ Ирминовымъ дубомъ, тамъ только мысль отстаивала народность своего народа; но, вѣдь, тамъ это скоро и кончилось, у насъ вопросу о народности и конца какъ-то не предвидится. Не за то мы въ немъ боремся, за что боролись Клопштокъ и его друзья; тѣ свое дѣло скоро и отстояли, потому что дѣло-то самое была борьба не за сущность народной жизни, а противъ условныхъ формъ чужеземнаго французскаго искусства. Кабы наше дѣло было такое же, мы бы давно его выиграли и сдали въ архивъ. Да не такое оно—это наше дѣло. Вѣдь, даже клятвы передъ Ирминовымъ дубомъ представляютъ только внѣшнее сходство съ ношеніемъ нѣкоторыми изъ насъ народной, да еще старой народной одежды: глубже и существеннѣе основы самого внѣшняго нашего донкихотства, такъ что рукѣ тяжело подняться и даже назвать донкихотствомъ то, что́ внутренно считаешь почти необходимымъ, хотя и внѣшнимъ... Тяжелый вопросъ для насъ сѣхъ эта народность, вопросъ чрезвычайно мудреный, какъ жизнь сама—ироническій. Вѣдь, вы посмотрите,—я не хочу ока залѣзать въ глубь, указывать на то, чѣмъ онъ начался и чѣмъ кончается,—вы посмотрите на то, что́ вокругъ насъ, что́ теперь дѣлается. „Русскій Вѣстникъ“, нѣкогда точившій ядъ на народность, съ теченіемъ временъ становится все милостивѣе и милостивѣе къ вопросу о народности, а по выдѣленіи изъ его центральнаго единства кружка, сновавшаго „Атеней“ и павшаго (но увы! не со славою, а безъ славы) вмѣстѣ съ знаменитыми положеніями о томъ, что „австрійскій солдатъ является цивилизаторомъ славянскихъ *земель*“, — *все* болѣе и болѣе лишался своего анти-

національнаго цвѣта, и нынѣ, къ немалому удивленію всѣхъ насъ, поборниковъ народности въ жизни, искусствѣ и наукѣ,—печатаетъ лирическія выходки въ пользу народности Ник. Вас. Берга *), и отстаиваетъ развѣ только свою нелюбовь къ русской одеждѣ, да и то, я думаю, чтобы не совсѣмъ отступиться отъ своего первоначальнаго цвѣта. Почему не ожидать, послѣ этого обращенія къ народности автора, статей объ Обломовщинѣ и о темномъ царствѣ? „Ничего! можно!“ какъ говоритъ Антипъ Антипычъ Пузатовъ...

Но прежде всего, не для васъ, а для читающей публики долженъ я точнѣе опредѣлить смыслъ, въ которомъ принимаю слово: народность литературы.

Какъ подъ именемъ народа разумѣется народъ въ обширномъ смыслѣ и народъ въ тѣсномъ смыслѣ, такъ равномѣрно и подъ народностью литературы.

Подъ именемъ народа въ обширномъ смыслѣ разумѣется цѣлая народная личность, собирательное лицо, слагающееся изъ чертъ всѣхъ слоевъ народа, высшихъ и низшихъ, богатыхъ и бѣдныхъ, образованныхъ и необразованныхъ, слагающееся, разумѣется, не механически, а органически, носящее общую, типическую, характерную физіономію, физическую и нравственную, отличающую его отъ другихъ, подобныхъ ему собирательныхъ лицъ. Что такая личность слагается органически, а не механически, это я, кажется напрасно и прибавилъ. Государства, какъ Австрія, могутъ слагаться механически, народы—никогда: они могутъ быть плохіе народы, но никогда не бываютъ сочиненные народы.

Подъ именемъ народа въ тѣсномъ смыслѣ разумѣется та часть его, которая наиболѣе, сравнительно съ другими, находится въ непосредственномъ, неразвитомъ состояніи.

Литература бываетъ народна въ обширномъ смыслѣ, когда она, въ своемъ *міросозерцаніи* отражаетъ взглядъ на жизнь, свойственный *всему* народу, опредѣлившійся только съ большею точностью, полнотою и, такъ-сказать, художественностью въ передовыхъ его слояхъ; въ *типахъ*—разнообразные, но общіе, присущіе общему сознанію, сложившіеся цѣльно

*) Извѣстный беллетристъ, военный корреспондентъ, переводчикъ съ польскаго, чешскаго, сербскаго, болгарскаго и т. д. и путешественникъ (1823—1884 гг.). Сотрудничалъ, между прочимъ, въ „Москвитянинѣ“ и „*Русскомъ* Вѣстникѣ“ (1859 г.). *Н. Д.*

полно типы или стороны народной личности; въ *формахъ*— расоту по народному пониманію, выработавшемуся до худо- ественности представленія, будь это красота греческая, альянская, фламандская, все равно; въ *языкѣ*—весь общій зыкъ народа, развившійся на основаніи его коренныхъ имологическихъ и синтаксическихъ законовъ, слѣдова- ельно, не языкъ *касты*, съ одной стороны, не языкъ *мѣст- остей*, съ другой. Чтобы не оставить и малѣйшаго повода ъ недоразумѣніямъ, должно прибавить, что подъ передо- ыми слоями народа разумѣю я тоже не касты и не слои, лучайно выдвинувшіеся, а верхи самобытнаго народнаго азвитія, ростки, которые сама изъ себя дала жизнь народа.

Въ тѣсномъ смыслѣ литература бываетъ народна, когда на, или 1) приноровляется къ взгляду, понятіямъ и вку- амъ неразвитой массы для ея воспитанія, или 2) изучаетъ ту массу, какъ terram incognitam, ея нравы, понятія, языкъ, акъ нѣчто особенное, диковинное, чудно́е, ознакомливая о всѣмъ этимъ особеннымъ и чуднымъ развитые и, можетъ- ыть, пресытившіеся развитіемъ слои. Во всякомъ случаѣ, ъ томъ или въ другомъ, существованіе такого рода народ- ой литературы предполагаетъ историческій фактъ разроз- енности въ народѣ, предполагаетъ то обстоятельство, что ародное развитіе шло не путемъ общимъ, цѣльнымъ, а аздвоеннымъ.

Перваго рода народность есть то, что́ на точномъ и становившемся языкѣ цивилизаціи зовется nationalité; вто- ого рода—то, что на немъ же въ не слишкомъ давнія вре- ена получило опредѣленный терминъ: popularité, littérature opulaire.

Въ первомъ смыслѣ народность литературы, какъ націо- альность, является понятіемъ безусловнымъ, въ самой при- одѣ лежащимъ.

Во второмъ—народная литература, какъ littérature populaire, сть нѣчто относительное, нѣчто обязанное своимъ проис- ожденіемъ болѣзненному въ извѣстной степени состоянію бщественнаго организма, и притомъ—вовсе не искусство, оторое прежде всего свободно и никакихъ внѣшнихъ, оучительныхъ воспитательныхъ, научныхъ и соціальныхъ ѣлей не допускаетъ. Народная литература въ этомъ, т.-е. ъ тѣсномъ смыслѣ, относится не къ художеству, а къ едагогикѣ или естественной исторіи.

Опредѣленія эти, какъ вы видите, просты и ясны въ ихъ логической постановкѣ. Но опять-таки, логическая постановка—не жизненная постановка. Въ жизни нашей они, эти простыя опредѣленія, страшно запутались. Повидимому, нечего бы, кажется, и доказывать простую истину, что литература всякая, а слѣдственно, и наша, чтобы быть чѣмъ-нибудь, чтобы не толочь воды, не толкаться попусту, должна быть народна, т.-е. національна, равно какъ другія искусства, равно какъ наука, равно какъ жизнь,—а вѣдь къ этому результату, простому, какъ $2 \times 2 = 4$, мы только-что понемногу приходимъ послѣ многихъ и, надобно признаться, безобразныхъ споровъ о томъ, что $2 \times 2 = 4$, а не стеариновая свѣчка.

Съ другой стороны, дѣло въ высшей степени простое и ясное, что *народная* литература въ тѣсномъ смыслѣ является или вслѣдствіе пресыщенія цивилизаціей, какъ крестьянскіе романы Занда, деревенскіе разсказы Ауэрбаха, и въ XIX вѣкѣ служитъ отчасти повтореніемъ стремленій Жанъ-Жака Руссо къ дикимъ,—или, какъ у насъ, есть выраженіе насущной потребности сблизить два разрозненныхъ развитія въ народномъ организмѣ. Въ дѣйствительности, опять-таки это понятіе запуталось до того, что только безсердечные и безучастные къ жизни эстетики могутъ быть въ отношеніи къ нему послѣдовательны, могутъ отозваться съ высоты эстетическаго величія объ этой литературѣ, и въ ихъ эстетическомъ величіи выскажется для всякаго тупое равнодушіе къ великимъ вопросамъ жизни, если еще не что-либо худшее.

Вотъ тутъ подите и ставьте логическія опредѣленія, если вы человѣкъ изъ плоти и крови.

Ясно, напримѣръ, что, говоря о народности по отношенію къ Островскому или объ Островскомъ, какъ о народномъ писателѣ, я употребляю слова: народность, народный—въ смыслѣ словъ: національность, національный.

Но, вѣдь, на этомъ смыслѣ слова многіе не помирятся и будутъ правы, что не помирятся. Островскій,—скажутъ, конечно,—писатель, берущій содержаніе своей дѣятельности изъ извѣстнаго быта, народнаго въ тѣсномъ, а не въ обширномъ смыслѣ слова, быта *неразвитыхъ* слоевъ общества. Или, скажутъ мнѣ далѣе, вы считаете Островскаго народнымъ *писателемъ* въ смыслѣ писателя изъ народнаго быта, или

ı самый этотъ бытъ, изъ котораго Островскій беретъ ›держаніе для своего творчества, зовете единственно, ;ключительно, по крайней мѣрѣ преимущественно, народ-ымъ.

* * *

Прежде чѣмъ отвѣчать на эти вопросы прямо и поло-:ительно, я попрошу позволенія обыслѣдовать ихъ отри-ательнымъ способомъ, какъ легчайшимъ для вразумленія, спрошу: можно ли причислить Островскаго къ категоріи исателей изъ народнаго быта въ томъ смыслѣ, въ какомъ ы привыкли называть такъ хоть бы, напримѣръ, гг. Григо-овича, Потѣхина и другихъ?

Изъ прямого сопоставленія дѣятельности Островскаго ъ ихъ дѣятельностью, очевидна окажется несообразность акого сопоставленія.

Писателей изъ народнаго быта, спеціально посвяти-шихъ себя воспроизведенію этого быта въ литературѣ, ыло у насъ до сихъ поръ два рода.

Одни (и это были первые выступившіе и наиболѣе про-лавившіеся), какъ-будто заѣзжіе иностранцы, представляли убликѣ свои записныя книжки, куда вносили чудны́я, транныя рѣчи, описанія чудны́хъ, странныхъ нравовъ и . д. Таковъ г. Григоровичъ, о которомъ въ наше время аже и критической статьи не напишешь, ибо все, что ожно о немъ сказать дѣльнаго, выражается въ немногихъ ловахъ; то, въ чемъ онъ большой мастеръ — изображеніе етербургской мелочной и суетной жизни и анализъ болѣзни равственнаго лакейства—столь же мало стоило художе-твенной разработки, какъ очерки жизни дамъ петербург-жаго полусвѣта, предметъ постоянной и любимой дѣятель-ности другого, тоже даровитаго писателя, г. Панаева *). Зъ томъ же, что́ стоило художественной разработки, въ зображеніи типовъ и нравовъ крестьянскаго быта, г. Гри-оровичъ не только-что не мастеръ, а рѣшительно заѣзжій иностранецъ. Онъ не владѣетъ тоже языкомъ синтаксически свободно, и единственная критика на него была бы—пере-

*) Ив. Ив. Панаевъ (1812—1862 г.), беллетристъ и журналистъ, издававшій съ Некрасовымъ „Современникъ". Писалъ повѣсти изъ великосвѣтской петербургской жизни. *Н. Д.*

водъ любой изъ его страницъ якобы *народныхъ* разговоровъ на простой и свободный народный языкъ. Что касается до типовъ, то всѣ они сочинены по Жоржъ-Занду, да и вся-то дѣятельность г. Григоровича на этомъ поприщѣ пошла отъ Жоржъ-Занда. Тѣмъ только разнится отъ Занда г. Григоровичъ, что Занда всюду, даже въ самыхъ ложныхъ ея произведеніяхъ по этой части, занимаетъ человѣкъ, анализъ души человѣческой, а г. Григоровичъ—чисто-ландшафтный живописецъ, да и то не съ широкой кистью, и людскія фигурки у него большею частью поставлены для украшенія ландшафта. Прибавьте къ этому однообразную до противности *дѣланность* постройки произведеній г. Григоровича, и вы поймете нѣкоторое отвращеніе, которое дѣятельность этого, впрочемъ, весьма даровитаго въ другихъ отношеніяхъ сочинителя на поприщѣ изображеній народнаго быта возбуждала и возбуждаетъ въ людяхъ, знающихъ народный бытъ не по слуху. Вообще это *пейзанская*, а не народная литература. Несомнѣнное благородство стремленій и важность впервые поднятыхъ вопросовъ относятся къ гражданскимъ, а не къ поэтическимъ заслугамъ.

Другого рода писатели, выступившіе послѣ, были уже полными хозяевами въ изображаемомъ ими быту, были чистые спеціалисты, или, пожалуй, жанристы,—въ лучшемъ смыслѣ этого слова, какъ г. Максимовъ,—или въ худшемъ, какъ г. Потѣхинъ *). Послѣдній можетъ быть очевиднымъ доказательствомъ того, какъ крайность художественнаго спеціализма или жанризмъ, въ худшемъ смыслѣ этого слова, противорѣчатъ понятію объ искусствѣ; и его же, запечатлѣнная все-таки нѣкоторымъ и даже, пожалуй, сильнымъ талантомъ, обличающая не то что простое короткое знакомство съ изображаемымъ имъ бытомъ, а непосредственное съ нимъ сліяніе, дѣятельность, сопоставленная и сравненная съ дѣятельностью Островскаго, освѣщаетъ эту послѣднюю яркимъ свѣтомъ. Г. Потѣхинъ, выступившій въ своихъ первыхъ, грубыхъ, какъ и всѣ послѣдующія, но оригинальныхъ по содержанію и характерамъ повѣстяхъ,

*) С. В. Максимовъ печаталъ въ 50-хъ годахъ очерки изъ крестьянской жизни; прошелъ пѣшкомъ Вятскую и Владимірскую губ. и результ. путеш. изложилъ въ сборникѣ „Лѣсная глушь“ (1855 г.). Жилъ на Амурѣ, Бѣломъ морѣ, въ Сибири, на Уралѣ, въ Бѣлоруссіи, на Каспійск. морѣ. Писалъ въ „Отеч. Зап.“ и „Дѣлѣ“. А. Потѣхинъ—извѣстный драматургъ. Н. Д.

полнымъ хозяиномъ языка и нравовъ избранной имъ сферы, въ драмахъ своихъ сталъ, какъ спеціалистъ, какъ жанристъ, развивать общія народныя задачи или мотивы Островскаго. Островскій написалъ *Не въ свои сани не садись*; г. Потѣхинъ увлекся, разумѣется невольно, типомъ Русакова и драматическимъ отношеніемъ отца и дочери и далъ публикѣ „Людской судъ—не Божій", гдѣ типъ Русакова перевелъ въ жанръ, судьбу дочери въ печальную мелодраму, общедоступное патетическое въ отвратительный вой кликуши. Островскій въ личности Петра Ильича тронулъ нѣсколькими художественными чертами размашистую до безпутства широту русской натуры; г. Потѣхинъ поэтическій, хотя только слегка тронутый поэтомъ типъ Петра Ильича изуродовалъ въ неуемномъ мужикѣ, три акта пьянствующемъ и, наконецъ, въ четвертомъ доходящемъ съ пьяныхъ глазъ до уголовщины; въ драмѣ (!) „Чужое добро въ прокъ нейдетъ",—всѣхъ женщинъ Островскаго обратилъ въ бабъ, бабъ-кликушъ, бабъ-плакальщицъ, бабъ-завывальщицъ. Никто не заподозритъ меня, конечно, въ томъ, чтобъ я съ презрѣніемъ эстетиковъ-аристократовъ употреблялъ слова: *мужикъ и баба*,—я хотѣлъ только указаніемъ на жанризмъ пояснить дѣятельность Островскаго. Его типы—не жанръ, не спеціальность быта, не мужики, не бабы, хотя по мѣстамъ, гдѣ это нужно, мужики даже еще спеціальнѣе: ямщики, бабы разнаго рода—бабы-халды, бабы плакущія,—являются у него съ своею особенною физіономіей. У него русскіе люди и русскія женщины въ ихъ наиболѣе общихъ опредѣленіяхъ, въ ихъ существенныхъ чертахъ, являются какъ типы, а не какъ жанръ.

Аполлонъ Григорьевъ.

„Гроза“. Драма въ 5 дѣйствіяхъ [1]).

*) Вмѣнивъ себѣ въ особенную честь предложеніе Императорской Академіи Наукъ, сообщенное мнѣ вашимъ превосходительствомъ, въ отношеніи отъ 2-го минувшаго февраля, разсмотрѣть препровожденную ко мнѣ драму г. Островскаго *Гроза* и сказать о ней свое мнѣніе я располагалъ сдѣлать

---

1) И. А. Гончаровъ. „Отчетъ о четвертомъ присужденіи наградъ графа Уварова“. Спб. 1860 г. (Письмо къ непремѣнному секретарю Императорской Академіи Наукъ, отъ 8 марта 1860 г.).

*) При Академіи наукъ, въ 1857 г., извѣстнымъ археологомъ гр. Алексѣемъ Сергѣев. Уваровымъ была учреждена „Уваровская“ премія въ память отца его гр. Сергѣя Семеновича Уварова, бывшаго министра народнаго просвѣщенія (1833 г.) и президента Академіи (1818 г.). Какъ министръ, гр. Уваровъ придерживался политики „православія, самодержавія и народности“, но какъ президентъ Академіи (онъ имъ оставался до самой смерти) онъ много сдѣлалъ для этого института.

Появившаяся въ печати „Гроза“ Островскаго была привѣтствована одинаково литературною критикой всѣхъ направленій и лагерей: и крайняя правая въ лицѣ славянофиловъ, и крайняя лѣвая въ лицѣ Добролюбова, и партія „дикихъ“ въ лицѣ Ап. Григорьева нашли драму явленіемъ, выходящимъ изъ ряда вонъ. 2-е отдѣленіе Академіи наукъ, подъ давленіемъ общественнаго мнѣнія, тоже обнаружило интересъ къ новому произведенію и поручило Плетневу, Галахову и Гончарову дать отзывъ о „Грозѣ“. Благодаря этимъ отзывамъ драма Островскаго удостоена Уваровской преміи 29-го декабря 1860 г.

Изъ приводимаго здѣсь письма нашего извѣстнаго беллетриста И. А. Гончарова видно, что и ему, на ряду съ Плетневымъ и Галаховымъ предложено было высказаться по поводу пьесъ Островскаго.

Художникъ съ головы до ногъ, чуждый вопросамъ общественности, спокойный, уравновѣшенный, всегда чуждавшійся „гущи жизни“, И. А. Гончаровъ выше всего ставитъ пластичность изображаемыхъ художественныхъ типовъ, на которую онъ самъ былъ большой мастеръ. Въ нѣсколькихъ строкахъ приводимаго здѣсь письма онъ выдвигаетъ именно эту сторону новаго произведенія Островскаго. Онъ указываетъ на „классическія красоты“ „Грозы“, на „изящество отдѣлки“, на „языкъ художественно-вѣрный“.

Прим. Н. Денисюка.

полный, отчетливый, по крайнему моему разумѣнію, разборъ этого произведенія и ждалъ только облегченія отъ болѣзни, которою страдаю съ осени. Но облегченія до сихъ поръ нѣтъ, и я, опасаясь безъ пользы продлить время, спѣшу въ нѣсколькихъ словахъ изложить мое мнѣніе о драмѣ *Гроза*.

Не опасаясь обвиненія въ преувеличеніи, могу сказать по совѣсти, что подобнаго произведенія, какъ драмы, въ нашей литературѣ не было. Она безспорно занимаетъ и, вѣроятно, долго будетъ занимать первое мѣсто по высокимъ классическимъ красотамъ. Съ какой бы стороны она ни была взята,—со стороны ли плана созданія, или драматическаго движенія, или, наконецъ, характеровъ, всюду запечатлѣна она силою творчества, тонкостью наблюдательности и изяществомъ отдѣлки.

Прежде всего она поражаетъ смѣлостью созданія плана: увлеченіе нервной страстной женщины и борьба съ долгомъ, паденіе, раскаяніе и тяжкое искупленіе вины,—все это исполнено живѣйшаго драматическаго интереса и ведено съ необычайнымъ искусствомъ и знаніемъ сердца. Рядомъ съ этимъ, авторъ создалъ другое типическое лицо, дѣвушку, падающую сознательно и безъ борьбы, на которую тупая строгость и абсолютный деспотизмъ того семейнаго и общественнаго быта, среди котораго она родилась и выросла, подѣйствовали, какъ и ожидать слѣдуетъ, превратно, т.-е. повели ее веселымъ путемъ порока, съ единственнымъ, извлеченнымъ изъ даннаго воспитанія правиломъ: лишь бы все было шито да крыто. Мастерское сопоставленіе этихъ двухъ главныхъ лицъ въ драмѣ, развитіе ихъ натуръ, законченность характеровъ,—одни давали бы произведенію г. Островскаго первое мѣсто въ драматической литературѣ.

Но сила таланта повела автора дальше. Въ той же драматической драмѣ улеглась широкая картина національнаго быта и нравовъ, съ безпримѣрною художественною полнотою и вѣрностью. Всякое лицо въ драмѣ есть типическій характеръ, выхваченный прямо изъ среды народной жизни, облитый яркимъ колоритомъ поэзіи и художественной отдѣлки, начиная съ богатой вдовы Кабановой, въ которой воплощенъ слѣпой, завѣщанный преданіями деспотизмъ, уродливое пониманіе долга и отсутствіе всякой человѣчности,—до ханжи Ѳеклуши. Авторъ далъ цѣлый, разнообразный міръ живыхъ, существующихъ на каждомъ шагу личностей.

Языкъ дѣйствующихъ лицъ, какъ въ этой драмѣ, такъ и во всѣхъ произведеніяхъ г. Островскаго, давно всѣми оцѣненъ по достоинству, какъ языкъ художественно-вѣрный, взятый изъ дѣйствительности, какъ и самыя лица, имъ говорящія.

Не распространяясь далѣе въ справедливыхъ похвалахъ этому высокому, классическому произведенію, въ заключеніе долгомъ считаю присовокупить, что, по моему мнѣнію, драма г. Островскаго, на основаніи § 9, пункта 4 „Положенія о наградахъ графа Уварова“, заслуживаетъ преміи, независимо отъ всѣхъ прочихъ достоинствъ, и потому, что въ ней исчерпанъ и разработанъ богатый источникъ *русскаго современнаго народнаго быта.*

И. А. Гончаровъ.

„Гроза“, Островскаго [1]).

*) Не имѣя возможности, по случаю отъѣзда моего въ :оскву, заняться подробнымъ разсмотрѣніемъ драмы г. Островкаго *Гроза*, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, считая для себя особенымъ удовольствіемъ исполнить порученіе Академіи Наукъ, оторымъ ей угодно было почтить меня,—я долженъ ограичиться краткимъ отзывомъ объ упомянутой пьесѣ.

---

[1]) А. Галаховъ. „Отчетъ о четвертомъ присужденіи наградъ графа зарова“. (Мнѣніе А. Д. Галахова о драмѣ г. Островскаго „Гроза“). 1860 г.

*) Алексѣй Дмитріевичъ Галаховъ (род. въ 1807 г., ум. въ 1892 г.) извѣенъ и какъ литераторъ и какъ педагогъ. Писать началъ Галаховъ еще со кольной скамьи. Въ „Отечеств. Зап.“ Краевскаго онъ съ 1839 г. давалъ четъ о всѣхъ книгахъ, выходившихъ въ Москвѣ. Эта задача тогда не ыла такъ трудна и обширна. 30-е годы—время, когда русская журналиика и литература дѣлаютъ первые колеблющіеся шаги, сугубо оберегаемыя ъ паденій и публицистическихъ излишествъ цензурой и администраціей. Куда ни оглянемся,—пишетъ въ это время Полевой,—вездѣ литература ечественная представляетъ обширную степь, изрѣдка покрытую ковылемъ, старникомъ и немногими деревьями, сиротѣющими въ обширности стынной“.

Работа въ „Отеч. Зап.“ сблизила Галахова съ Бѣлинскимъ, историмъ и проф. моск. унив. Кудрявцевымъ, извѣст. учен. юристомъ и сотруд. Отеч. Зап.“ К. Д. Кавелинымъ и др. лицами тогдашней оппозиціонной ссіи. Критическія статьи Галахова носили яркій полемическій характеръ. ъ то время, какъ выразился Пушкинъ, „русская литература головою ыла выдана Булгарину и Гречу“. Въ 30-хъ годахъ арена литературы и рналистики очутилась въ рукахъ не дуумвирата, о которомъ говорилъ шкинъ, а тріумвирата: Греча, Булгарина и ихъ главы и вдохновителя нковскаго, растекавшагося по печатнымъ листамъ „Библіотеки для чте-ія“, подъ различными псевдонимами: барона Брамбеуса, Тютюнджи-Оглу, Бѣлкина и т. д. Въ распоряженіи этихъ „братьевъ-разбойниковъ“ ходились два журнала—„Библіотека для чтенія“, „Сынъ Отечества“ и едн. газета „Сѣверная Пчела“; кромѣ того, на сторонѣ этого литературго синдиката были энергія и капиталъ лучшаго въ то время издателя-*игопродавца—Смирдина*. На этотъ кружокъ и былъ направленъ, главнымъ

Прежде всего позволю себѣ сдѣлать два замѣчанія, говорящія въ пользу таланта г. Островскаго и достоинства его сочиненій. Упадокъ драматической поэзіи въ современной эпохѣ не подлежитъ сомнѣнію. Это фактъ, знакомый каждому, кто занимается литературой. Ни въ Англіи, ни въ Германіи, ни во Франціи давно уже не является такихъ пьесъ, которыя могли бы по праву стоять въ ряду истинно-изящныхъ произведеній. Гетнеръ въ сочиненіи своемъ: „Das moderne Drama" (1852), справедливо сѣтуетъ на внутреннюю скудость драмъ, написанныхъ поэтами такъ-называемой школы „Юная Германія" *). Онъ не отрицаетъ таланта въ ихъ авторахъ, но признаетъ, что произведенія ихъ далеко уступаютъ образцамъ Шиллера и Гёте; какъ послѣдніе поэты стоятъ на высотѣ художественнаго творчества, такъ послѣдователи ихъ заняли уровень посредственности. Этого уровня не подняла и драма Фрейтага: „Валентина", хотя дарованіе Фрейтага выходитъ изъ среды обыкновенныхъ. То же неутѣшительное явленіе замѣчается и во французскихъ драмахъ. Послѣ В. Гюго, А. Дюма, Скриба и нѣкоторыхъ другихъ наступило затишье или фабрикуются мело-

---

образомъ, полемическій огонь Галахова. Начиная съ 1848 г., Галаховъ напечаталъ рядъ критико-біографическихъ статей о писателяхъ XVIII и XIX стол. Кромѣ того, Галаховъ извѣстенъ своими педагогическими трудами: имъ составлена „Русская хрестоматія", „Историческая хрестоматія", „Исторія русской словесности", „Учебникъ исторіи русской словесности". Онъ читалъ курсъ русской словесности въ военной академіи и филологическомъ институтѣ.

Галаховъ—сынъ небогатаго помѣщика Рязанской губ.; учился въ рязанской гимназіи. Въ 1822 г. поступилъ въ моск. универ., сперва на этико-политическій (нынѣ юридическій) факультетъ, но вскорѣ перешелъ на физико-математическій. Въ 1826 г. окончилъ курсъ и причислился къ университету. Въ началѣ 30-хъ годовъ перемѣнилъ свою спеціальность, начавъ давать уроки русскаго языка сперва въ одномъ пріютѣ, а потомъ въ 1-мъ кадетскомъ корпусѣ и нѣкоторыхъ частныхъ домахъ. Въ 1856 г. былъ назначенъ преподавателемъ русской словесности въ академіи генеральнаго штаба. Въ 1865 г. былъ избранъ ординарн. профессор. въ спб. историко-филологическій институтъ. Съ 1868 г. состоялъ членомъ-корреспондентомъ академіи наукъ. *Прим. Н. Денисюка.*

*) Въ исторіи литературы названіе „Юной Германіи" утвердилось собственно за пятью писателями: Гуцковомъ, Лаубэ, Винбаргомъ, Кюне и Мундтомъ. Главами этихъ литературн. протестантовъ были избраны Гейне и Берне. „Юные германцы" открыли литературный походъ противъ устарѣвшихъ художественныхъ традицій и путемъ теоретическихъ разсужденій и беллетрическихъ произведеній рѣшили опрокинуть господство романтической школы. Н. Д.

рамы. Но и Скрибъ, въ отношеніи къ Мольеру и Гюго, ь А. Дюма, въ отношеніи къ Корнелю и Расину,—то же, то „юная Германія“ въ отношеніи къ Шиллеру и Гёте: въ омедіяхъ нѣтъ силы мольеровскаго комизма, въ трагедіяхъ ѣтъ силы трагизма, которая прославила Расина и Корнеля, отя и вращалась въ кругу ложно-классическаго искусства. овѣйшія попытки французовъ создать нѣчто оригинальное роизводятъ иногда блестящія пьесы, но блестящія не свѣомъ истиннаго художества, а внѣшними эффектами и нѣшнимъ же соприкосновеніемъ съ текущими новостями, ъ интересами дня (nouvelles du jour). Вездѣ мелодрама, и игдѣ настоящей драмы.

Вышесказанное не примѣняется къ современной русской омедіи, или, точнѣе, къ пьесамъ г. Островскаго, такъ какъ ъ нихъ единственно и нераздѣльно заключается вся наша овременная комедія. Положеніе г. Островскаго—иное. Въ яду извѣстнѣйшихъ нашихъ комиковъ онъ занялъ также идное мѣсто. Онъ достойно продолжаетъ дѣло Гоголя. Я е сравниваю ихъ талантовъ: я говорю только, что въ алантѣ, сравнительно низшемъ, бываютъ такія стороны, оторыя не выказывались въ талантѣ много высшемъ. Такъ, ъ пьесахъ г. Островскаго есть нѣчто свое, особенное, что́ мѣетъ вѣсъ послѣ „Ревизора“ и „Женитьбы“. А въ произведеніяхъ искусства, равно какъ и во всѣхъ произеденіяхъ духовной дѣятельности человѣка, эта особенность, своеобразность и цѣнится преимущественно. Она видѣтельствуетъ объ отличительныхъ свойствахъ таланта; ю объясняется сочувствіе къ таланту публики—и образованной, умѣющей сознавать то, что ей нравится, и необраованной, безсознательно воспринимающей эстетическое аслажденіе.

Вторая замѣтка имѣетъ въ виду указать врожденную аклонность г. Островскаго къ драмѣ. Онъ выступилъ въ итературный свѣтъ съ драматическою пьесой и до сихъ оръ не измѣнилъ выбранному имъ поэтическому роду. [ругіе авторы пробуютъ свои силы въ разныхъ родахъ, акъ бы назло своей природѣ. Г. Тургеневъ, напримѣръ, ыталcя, кромѣ повѣстей и романовъ, которыми онъ прібрѣлъ себѣ такую громкую и вполнѣ справедливую изѣстность, писать также драмы; но если и можно прича*ть относительное* достоинство и частныя красоты его

„Провинціалки“, „Нахлѣбника“, „Завтрака у предводителя“, то нельзя не видѣть, что онъ вошелъ не въ свою колею. Г. Островскій, напротивъ, и не пытался мѣнять драматическую форму на лирику или эпосъ. Одна изъ пьесъ его: *Воспитанница* (въ „Библіотекѣ для чтенія“) могла бы легко дать сюжетъ повѣствователю; однакожъ, онъ не увлекся этою легкостью. Ясно, что призваніемъ его служитъ драма. Неизмѣнность направленія нерѣдко, сама-собою, независимо отъ другихъ предметовъ, указываетъ на внутреннюю цѣну направленія, и неспособность свободно входить въ разнородныя области знанія или творчества тѣмъ ощутительнѣе выказываетъ способность правильно распоряжаться въ той области, къ которой авторъ, такъ-сказать, приписанъ отъ рожденія.

Спеціальность г. Островскаго—поэтическое представленіе купеческаго класса. Перемѣна во взглядѣ на характеръ явленій, которыми обнаруживаются сословныя отличія, производила нѣкоторую перемѣну и въ характерѣ представленія, такъ что драмы автора, написанныя въ небольшой періодъ времени, въ теченіе десяти или двѣнадцати лѣтъ, выказали уже нѣсколько направленій.

Первая его комедія, *Свои люди—сочтемся*, принадлежащая къ числу самыхъ блестящихъ литературныхъ дебютовъ, изображаетъ сущность купеческаго класса, насколько она раскрывается въ семействѣ и торговлѣ. Слѣдовательно, это комедія нравовъ извѣстнаго сословія въ извѣстную эпоху, комедія общественная, образцы которой даны у насъ Фонвизиномъ, Капнистомъ, Грибоѣдовымъ, Гоголемъ. Г. Островскій тѣсно примыкаетъ къ школѣ послѣдняго; его комедія указываетъ темныя стороны купеческаго быта: въ семействѣ—самоуправная власть отца, отъ которой страдаютъ жена, дѣти и прислуга и которая не знаетъ другихъ основаній, кромѣ личнаго произвола; въ торговлѣ—неправильное веденіе дѣлъ, поставляющее единственною цѣлью нажиться какъ можно скорѣе. Но развязка имѣетъ замѣчательную особенность: посредствомъ нея комедія переходитъ въ дѣйствительную трагедію, ибо семейный деспотъ и злостный банкрутъ пожинаетъ то, что посѣялъ; передъ лицомъ зрителя совершается его наказаніе, а въ перспективѣ готовятся другія наказанія—безчувственной дочери отъ ея будущихъ *дѣтей, и плуту* Подхалюзину отъ плута-слуги его, Тишки.

Какъ бы испугавшись темнаго колорита своей первой пьесы, авторъ отступилъ назадъ, и—подобно Гоголю, нарисовавшему во 2 томѣ „Мертвыхъ Душъ“ нѣсколько идеальныхъ лицъ, представителей свѣтлой стороны русскаго общества—рѣшился также создать идеалы, которые долженствовали примирить публику съ тѣмъ сословіемъ, въ жизни котораго такъ много комическаго, и комизмъ такъ часто разрѣшается трагическимъ концомъ. Желанное примиреніе найдено въ коренныхъ, стихійныхъ свойствахъ русскаго человѣка, преимущественно такого, который не подвергся еще дѣйствію цивилизаціи. Плодомъ такого воззрѣнія автора были пьесы: *Не въ свои сани не садись*, *Бѣдность не порокъ*, *Не такъ живи, какъ хочется*, имѣвшія большой успѣхъ на сценѣ какъ по артистической игрѣ актеровъ, такъ и по своимъ несомнѣннымъ достоинствамъ, какъ бы ни судили объ идеѣ, лежащей въ ихъ основаніи. Свѣтлымъ, идеальнымъ личностямъ въ нихъ противополагаются такіе русскіе люди, которыхъ добрыя начала, присущія русской природѣ, искажены цивилизаціей. Задача пьесъ—дать торжество первымъ лицамъ надъ вторыми, иначе—показать превосходство патріархальнаго быта надъ бытомъ ложной образованности, въ которомъ человѣкъ не замѣнилъ ничѣмъ существеннымъ утраченной имъ первобытной наивности, природной простоты. Превосходство это можетъ выразиться слѣдующимъ образомъ: въ простомъ русскомъ человѣкѣ, сохранившемъ всецѣло свои стихійныя начала, эти начала возобладаютъ нѣкогда надъ внѣшнею грубостью и необразованностью, тогда какъ человѣкъ, поведенный по дорогѣ поверхностной цивилизаціи, невольно подчиняется ей и теряетъ сочувствіе къ своимъ кореннымъ началамъ. Когда критика, недовольная этимъ направленіемъ г. Островскаго и подозрѣвая его въ славянофильскихъ тенденціяхъ, приняла на себя защиту цивилизаціи, тогда авторъ задумалъ отдать справедливость образованному классу и представленіемъ его хорошихъ сторонъ противопоставить имъ дурныя стороны необразованности. Явились двѣ новыя пьесы: *Въ чужомъ пиру похмелье* и *Доходное мѣсто*. Въ первой изъ нихъ идеалы изъ быта купеческаго и простонароднаго перенесены въ бытъ класса просвѣщеннаго. Нравственный героизмъ воплощенъ въ лицѣ учителя и его дочери; наоборотъ, богатый купецъ оказывается самодуромъ, со всѣми дикими выходками человѣка,

не озареннаго свѣтомъ знанія. Задача пьесы рельефно выставляется напоказъ читателямъ или зрителямъ. Такъ какъ задача, предположенная авторомъ, всегда почти вредитъ художественному исполненію, то комедія *Въ чужомъ пиру похмелье* вышла въ этомъ отношеніи неудачною.

Въ новой своей пьесѣ *Гроза* г. Островскій, по моему мнѣнію, возвратился къ пункту своего начальнаго отправленія. Онъ не покинулъ выбранной имъ спеціальности—поэтическаго представленія купеческаго быта въ существеннѣйшихъ его проявленіяхъ; но его не стѣсняла уже болѣе намѣренная постановка вопроса, не обязывало ни желаніе выставить однѣ темныя стороны, при которыхъ, по словамъ Гоголя, остается единственно честнымъ лицомъ пьесы—комическій смѣхъ, ни желаніе отыскивать идеалы тамъ, гдѣ они еще не выработаны историческимъ развитіемъ. Дѣйствительность является именно такою, какова она на самомъ дѣлѣ: въ смѣшеніи нравственнаго и умственнаго безобразія съ красотою души и сердца. И въ этой невымышленной дѣйствительности, съ одной стороны—исключительная преданность обычаю, какъ святому, непреложному догмату, обоготвореніе старины, понимаемое не иначе, какъ въ видѣ ненависти ко всему новому, свѣжему, молодому; съ другой—желаніе вырваться изъ душной атмосферы обычной, обрядовой жизни и заявить законное дѣйствіе жизни, кипящей избыткомъ силъ. Освобожденіе совершается различно, смотря по различію темпераментовъ и понятій; иногда это—грубая разнузданность, рѣзкое самоотрѣшеніе отъ семейныхъ и общественныхъ связей (какъ это и видимъ въ лицѣ Варвары), иногда же прерваніе ровнаго потока существованія, съ сожалѣніемъ и раскаяніемъ, съ внутреннею борьбою, стоящею слезъ и крови (что и представляетъ намъ Катерина), иногда же еще заглазная преданность разгулу и пьянству, которыми забитый (какъ сынъ Кабанихи) отводитъ себѣ душу. Различіемъ освобожденія условливается и различіе исхода драмы: въ однихъ случаяхъ столкновеніе враждебныхъ силъ начинается, продолжается и оканчивается смѣхомъ; въ другихъ оно—постоянная гроза, тайная или явная. Въ пьесѣ г. Островскаго, носящей имя *Грозы*, дѣйствіе и катастрофа трагическія, хотя многія мѣста и возбуждаютъ смѣхъ. Обрядовая жизнь выведена имъ съ суровыми послѣдствіями: она имѣетъ значеніе какъ бы греческой судьбы, сокрушаю-

щей всякую себѣ неподчиненность. Вѣрная хранительница обычаевъ, непрерывно протестующая противъ движенія жизни, Кабаниха даже надъ трупомъ жены своего сына не выговариваетъ слова примиренія. И между тѣмъ какъ она неумолимо ломаетъ все, что́ идетъ наперекоръ ея понятіямъ. Дико́й, по своенравію, которое для него служитъ рудіемъ преступать иногда обычаи, хотя въ другихъ онъ того не допускаетъ,—Дико́й заѣдаетъ также жизнь своего племянника (Бориса), отправляя его въ Кяхту, и неугомонную дѣятельность свою истощаетъ въ безпрерывной брани встрѣчному и поперечному. Міръ, изображенный г. Островскимъ, — тяжелый міръ, и впечатлѣніе, производимое его драмой, совершенно соотвѣтствуетъ характеру того, что въ немъ совершается. Въ этой нравственной тяжести, отъ которой прискорбно уму и чувству, я полагаю, яснѣйшее доказательство превосходства пьесы.

Въ заключеніе замѣчу, что драма *Гроза* принадлежитъ, по своему направленію и по своимъ художественнымъ достоинствамъ, къ той школѣ драматической, которая, по моему понятію, единственно законна въ настоящее время, равно какъ единственно законна и одна только школа повѣствовательная. Я называю эту школу двумя именами: *историческою,* потому что она относится ко всѣмъ явленіямъ такъ же, какъ исторія относится къ явленіямъ прошлой жизни, и *физіологическою,* потому что она изображаетъ отправленія нравственной и духовной жизни, какъ физіологія разсматриваетъ дѣйствія органовъ. Такая школа не влагаетъ въ жизнь того, чего въ ней нѣтъ, не населяетъ ее небывалыми идеалами добра или зла, и, конечно, не заглядываетъ въ будущее на томъ основаніи, что поэтъ и пророкъ—одно и то же. Дѣло поэзіи—созерцать дѣйствительно существующее, въ томъ дѣйствительно существующемъ подмѣчать законы явленій, ихъ сущность, ихъ идею, и схваченную идею выражать по-своему, конкретно, т.-е. влагая ее въ созданный творчествомъ образъ.

А. Галаховъ.

Мнѣніе академика П. А. Плетнева [1]).

*) Авторъ преимущественно посвятилъ свой талантъ драматическому роду поэзіи. Онъ особенно замѣчателенъ такъ-называемыми типическими лицами. Изучивъ бытъ русскаго купеческаго сословія, онъ постоянно выводитъ изъ него на сцену характеры, разнообразя свои сочиненія богатствомъ красокъ жизни и самыми вѣрными чертами домашняго быта.

---

[1]) „Отчетъ о четвертомъ присужденіи наградъ графа Уварова". Спб. 1860 г. („Мнѣніе академика П. А. Плетнева").

*) Петръ Александровичъ Плетневъ принадлежитъ къ типу литературныхъ критиковъ добраго стараго времени, до суевѣрія боявшихся всего, что́ удаляется отъ хорошаго тона и салоновъ временъ Людовика XIV. Для него важна форма произведенія, свидѣтельствующая о „дѣйствительно благородной литературной школѣ", и онъ чувствуетъ непреодолимый ужасъ передъ „геніально-литературной мерзостью"—такъ онъ отзывался о школѣ Гоголя и статьяхъ Бѣлинскаго. Далекій отъ современности и современныхъ формъ и интересовъ жизни, Плетневъ всегда и до избранія въ Академію Наукъ былъ академиченъ. Если его отношеніе къ современной литературѣ не вылилось въ формѣ ярой нетерпимости, то этимъ онъ обязанъ своему мягкому, уступчивому и деликатному характеру. Плетневъ навсегда остался мирнымъ эстетикомъ, ставившимъ выше всего форму. Оцѣнить Островскаго вполнѣ по достоинству Плетневъ не могъ все по той же причинѣ: отсутствію общественныхъ инстинктовъ, архаичности, неспособности понять, что въ художественномъ произведеніи, кромѣ вѣрнаго описанія картинъ быта и чисто-художественныхъ достоинствъ, есть и общественная идея. Онъ не въ состояніи былъ понять, что въ русской литературѣ выросъ уже художникъ-гражданинъ, хотя не чуждъ былъ убѣжденія, что художнику необходимы „краски и жизнь". Когда-то Плетневъ въ своемъ письмѣ къ Гроту вполнѣ опредѣленно высказалъ свои общественные взгляды: „Ты доискиваешься причинъ тѣхъ безумствъ, которыя нынѣ потрясаютъ Европу,—пишетъ Плетневъ по поводу революціонныхъ движеній на Западѣ,—эти причины въ постепенности, съ которою безостановочно, по странному ослѣпленію, всѣ стремились въ нынѣшнемъ столѣтіи къ уничтоженію такъ-*называемаго авторитета* во всемъ: въ религіи, въ политикѣ, въ наукахъ

Въ новой своей драмѣ онъ расширилъ сферу для дѣятельности таланта своего. Не семья одна съ обычными видоизмѣненіями лицъ и характеровъ ихъ составляетъ предметъ изученія поэта: ему захотѣлось воспользоваться, въ нѣкоторомъ отношеніи, общественною жизнью маленькаго русскаго городка, прекраснымъ его мѣстоположеніемъ на берегу Волги, особенностями полусельскихъ и полугородскихъ обычаевъ нашихъ, столкновеніями еще замѣтно господствующаго невѣжества и уже, хотя случайно, проглядывающей образованности. На такомъ основаніи, которое, во-первыхъ, крѣпко, потому что авторъ всегда описываетъ только то, что онъ дѣйствительно изучилъ, а во-вторыхъ, которое богато просторомъ, раздвинувшись на всю пестроту мѣстной жизни,— на такомъ основаніи г. Островскій постановилъ пятиактную драму. Главный интересъ сосредоточенъ на существѣ, по характеру, по воображенію и по сердцу самомъ поэтическомъ.

и въ литературѣ. Дерзость возстала съ такимъ безстыдствомъ, что достоинству осталось только отстраниться".

П. А. Плетневъ родился въ 1792 г., умеръ въ 1862 г. Происходилъ изъ духовнаго званія, воспитывался въ тверской семинаріи и въ главномъ педагогическомъ институтѣ. Это было высшее закрытое учебное заведеніе, куда принимались на казенный счетъ преимущественно воспитанники семинаріи. Онъ имѣлъ цѣлью приготовлять учителей и профессоровъ въ учебныя заведенія министерства народнаго просвѣщенія. Выйдя изъ института, Плетневъ занимался учительствомъ въ женскихъ институтахъ и кадетскихъ корпусахъ, преподавая словесность. Въ 1832 г. занялъ каѳедру русской словесности въ спб. университетѣ, а съ 1840 по 1861 г. состоялъ тамъ же ректоромъ. Съ 1841 г. Плетневъ принадлежалъ къ составу второго отдѣленія Академіи Наукъ.

Въ 1783 г. кн. Дашкова подала Екатеринѣ II докладъ о необходимости учрежденія въ Россіи академіи, которая занималась бы очищеніемъ слога и установленіемъ правилъ русскаго языка. Эта академія была названа „Россійской Императорской Академіей". Впослѣдствіи компетенція академіи была расширена. Въ 1841 г. экономный министръ финансовъ гр. Канкринъ прекратилъ самостоятельное существованіе этой академіи, и она была присоединена къ Академіи Наукъ, получивъ названіе второго ея отдѣленія русскаго языка и словесности. Въ составъ этихъ академиковъ попалъ въ первый же годъ присоединенія Россійской Академіи и Плетневъ. Между прочимъ, Плетневъ преподавалъ русскій языкъ и словесность Александру II въ бытность его наслѣдникомъ престола. Плетневъ былъ въ близкихъ отношеніяхъ съ Пушкинымъ и послѣ него редактировалъ „Современникъ", хотя въ его рукахъ журналъ имѣлъ еще меньшій успѣхъ, чѣмъ въ рукахъ нашего великаго поэта. Плетневъ близко зналъ всѣхъ нашихъ литературныхъ корифеевъ, и многіе изъ нихъ высоко цѣнили его совѣты и указанія.

Прим. Н. Денисюка.

Богатая купчиха, вдова, женщина грубая и самовластная, тяготѣетъ надъ своимъ семействомъ, какъ нестерпимое ярмо. Подъ деспотическою властью свекрови живетъ, ни откуда не видя ни утѣшенія ни защиты, молодая женщина, которой мужъ, въ безвыходномъ своемъ загонѣ и ничтожествѣ, только и услаждается, исподтишка предаваясь пьянству, а сестра его, лукавая со всѣми, никого не любитъ и всѣхъ обманываетъ. Надъ жертвою несчастнаго брака воображеніе автора умѣло совокупить черты привлекательныя и трогательныя, изъ которыхъ, въ сущности своей, ни одна не отходитъ отъ русскаго типа молоденькой несчастливицы въ ея убійственномъ положеніи. Въ домашнемъ быту она дѣтски покорна безжалостной свекрови своей, хотя и чувствуетъ всю несправедливость грубаго ея съ нею обхожденія. Въ мужѣ своемъ она не смѣетъ презирать даже пороковъ его, покоряясь судьбѣ своей, какъ предназначенію свыше. Сестру его она и не подозрѣваетъ ни въ какомъ дурномъ умыслѣ, чувствуя, что и надъ нею лежитъ тяжесть ихъ общей притѣснительницы.

Но въ тѣ мгновенія, когда мысль ея возвращается къ жизни прошлой, къ невиннымъ забавамъ ея дѣтства, къ тому счастію, которымъ ее окружала мать, и ко всѣмъ предметамъ, занимавшимъ ее до замужества, эта самая женщина представляется въ другомъ образѣ, оживленная, полная прелести ощущеній чистыхъ, не фантастическихъ, но послѣдовательно сопровождающихъ простую, мирную жизнь счастливой дѣвушки въ благочестивомъ и безбѣдномъ домѣ добрыхъ родителей, сохраняющихъ прародительскіе нравы. Обо всемъ этомъ она разсказываетъ такъ:

„Встану я, бывало, рано; коли лѣтомъ, такъ схожу на ключикъ, умоюсь, принесу съ собою водицы, и всѣ, всѣ цвѣты въ домѣ полью. У меня цвѣтовъ было много, много. Потомъ пойдемъ съ маменькой въ церковь, всѣ, и странницы—у насъ полонъ домъ былъ странницъ да богомолокъ. А придемъ изъ церкви, сядемъ за какую-нибудь работу, больше по бархату золотомъ, а странницы станутъ разсказывать, гдѣ онѣ были, что видѣли; житія разныя, либо стихи поютъ. Такъ до обѣда время и пройдетъ. Тутъ старухи уснутъ лягутъ, а я по саду гуляю. Потомъ къ вечернѣ, а вечеромъ опять разсказы да пѣніе. Таково хорошо было!“

Подъ вліяніемъ столь прекрасныхъ впечатлѣній, душа, въ сферѣ самой простой жизни, незамѣтно становится от*крытою поэтическимъ*, высшимъ внушеніямъ, и даже без*сознательно* чувствуетъ потребность въ сліяніи съ другою

душой, родственною съ нею по ощущеніямъ и желаніямъ. На этомъ законѣ естественной симпатіи одинаково мыслящихъ и одинаково чувствующихъ существъ основана завязка драмы, оканчивающейся самовольною смертью жертвы роковой любви. Въ драматической ея исторіи все идетъ постепенно и понятно. Въ изложеніи переходовъ ея сердца отъ одного чувства къ другому ничего нѣтъ ни ошибочно-придуманнаго, ни черезъ мѣру усиленнаго. Вы съ истиннымъ участіемъ входите въ положеніе ея; чувствуете, что въ ея отношеніяхъ къ мужу и прочимъ лицамъ семейства ничего нѣтъ неправильнаго, ничего вызывающаго укоризну. Наконецъ, самое заблужденіе ея, въ которомъ она дошла до возмутительнаго проступка, такъ связано съ неотвратимыми обстоятельствами ея семейнаго положенія, что оно вызываетъ одно невольное сожалѣніе — и тутъ-то выказывается полный успѣхъ драматическаго дарованія автора.

Прочія типическія лица сочиненія въ полномъ свѣтѣ представляютъ общественную жизнь городка, въ которомъ совершается драма. У сочинителя столько въ запасѣ характеровъ, ихъ странностей и поучительныхъ для наблюдателя чертъ, что сцены постоянно интересны и любопытны; драматическое движеніе нигдѣ не ослабѣваетъ, а, между тѣмъ, общественныя отношенія и естественный ходъ жизни никакимъ искусственнымъ усиліемъ не нарушены и не ослаблены. Самый языкъ дѣйствующихъ лицъ нигдѣ не вызываетъ сомнѣнія насчетъ вѣрности своей и не подлежитъ никакому спору относительно оборотовъ рѣчи и выбора выраженій.

Основываясь на несомнѣнныхъ достоинствахъ той и другой драмы, со стороны воспроизведенія въ нихъ жизни, полной глубокаго анализа души человѣческой, и со стороны характеровъ, вызванныхъ къ дѣятельности, столь неослабной и вмѣстѣ назидательной, принимая въ соображеніе независимость и силу дарованія сочинителей, ихъ вліяніе на успѣхи и искусства, преимущественно образующаго общество, я нахожу вполнѣ справедливымъ наградить г. Писемскаго и г. Островскаго тою преміей, какою, на основаніи „Положенія о драматическихъ наградахъ графа Уварова“, увѣнчивается каждое отлично-хорошее драматическое сочиненіе.

П. Плетневъ.

„Гроза“, драма въ 5 дѣйствіяхъ [1]).

*) Минувшій 1859 годъ былъ счастливъ на зрѣлыя литературныя произведенія, которыя долго заставляли говорить о себѣ и даже успѣли отвлечь дѣловое вниманіе русскаго читателя отъ текущихъ дѣлъ. Къ такимъ счастливымъ произведеніямъ принадлежатъ и двѣ драмы изъ русской жизни, появившіяся въ концѣ года, одна въ печати, другая на

---

[1]) „Отечественныя Записки“, 1860 г., № 1. Статья подъ заглавіемъ: „Двѣ новыя народныя драмы“.

*) Степанъ Семеновичъ Дудышкинъ родился въ 1820 г., а умеръ въ 1866 г.; принадлежитъ къ купеческой великорусской семьѣ. Въ 1841 г. окончилъ курсъ въ петербургскомъ университетѣ и занялся уроками и переводами, не сулившими ему никакой литературной славы. Знакомство съ семьей Майковыхъ измѣнило карьеру Дудышкина. Валеріанъ Майковъ, талантливый критикъ „Отечественныхъ Записокъ“, ввелъ Дудышкина въ редакцію журнала, гдѣ онъ и сталъ работать. Первая его большая статья о Фонвизинѣ, написанная добросовѣстно и съ знаніемъ дѣла, была одобрена Бѣлинскимъ. Это, собственно, не была критическая статья, а историко-литературное изслѣдованіе. По ней еще нельзя судить о критическомъ дарованіи ея автора, а только лишь о его фактической освѣдомленности въ отношеніи поднятаго вопроса.

Въ 1847 г. умираетъ неожиданно Валеріанъ Майковъ, а еще раньше, въ 1846 г., Бѣлинскій уходитъ изъ „Отечественныхъ Записокъ“, и Дудышкинъ занимаетъ ихъ мѣсто въ журналѣ, но, какъ потомъ оказалось, не замѣняетъ ихъ и въ слабой степени какъ критикъ. Дудышкинъ обладаетъ извѣстными знаніями, пишетъ гладко и совершенно въ интересахъ издателя журнала Краевскаго, т.-е. примѣняясь къ обстоятельствамъ, зорко наблюдая, съ одной стороны, за тѣмъ, что́ правительство и цензура въ данный моментъ считаютъ благонамѣренностью, а съ другой, за тѣмъ минимумомъ либерализма, который подписчикъ требуетъ отъ прогрессивнаго журнала.

Вскорѣ Дудышкинъ пріобрѣтаетъ полное довѣріе Краевскаго и становится его соредакторомъ, хотя de facto заправляетъ единолично журналомъ. Будучи толковымъ журнальнымъ работникомъ, Дудышкинъ не обладалъ административнымъ, организаторскимъ талантомъ, и потому „Отечественныя Записки“ при немъ стали быстро падать. *Прим. Н. Денисюка.*

ренѣ [1]). И та и другая носятъ на себѣ всѣ признаки сильго таланта; и въ той и въ другой авторы глубоко заглялли въ русскую жизнь, хотя обѣ драмы рѣзко отличаются мыми характеристическими особенностями. Мы восхиаемся и тою и другою, но сравнивать ихъ не можемъ, тому что таланты авторовъ далеко несходны. Во всякомъ учаѣ, мы рады не только сами за себя и за русскую тературу, но и за русскую Академію Наукъ, которая, наконецъ, выведена изъ затруднительнаго положенія: кому придить уваровскую премію. Теперь она смѣло можетъ раслагать двумя преміями, если не будетъ искать въ драмахъ го идеальнаго академическаго совершенства, которое послѣ сина, кажется, не существуетъ на землѣ—отчего на землѣ всѣмъ не такъ скучно, какъ можно было бы подумать. ы можемъ здѣсь подробнѣе говорить о драмѣ г. Писемаго, потому что она напечатана, и наши заключенія будутъ нованы на печатномъ текстѣ, а не на словахъ, часто теряюихся въ театрѣ, не на впечатлѣніи, часто испорченномъ рою актеровъ. И все-таки впечатлѣніе, сдѣланное на насъ *розою* г. Островскаго, такъ сильно, что мы не боимся шибокъ, не останавливаемся на подвижности театральнаго печатлѣнія и скажемъ о ней хотя нѣсколько словъ. Въ *розѣ* мы увидѣли въ г. Островскомъ, можетъ-быть, въ рвый разъ, поэта, глубоко заглянувшаго въ ту жизнь, торую онъ рисовалъ съ разныхъ сторонъ, надъ которою ъ много думалъ, много ошибался, многимъ увлекался и ъ которой вышелъ — побѣдителемъ. Честь ему и слава! алантъ и направленіе г. Островскаго, тѣсно связанные съ слѣднимъ направленіемъ русской литературы, отразили а себѣ всѣ колебанія споровъ западниковъ и славянофиовъ. Споры уклонялись то въ одну, то въ другую сторону— таланть г. Островскаго слѣдовалъ за этими колебаніями. . Островскій—виновникъ важнѣйшихъ литературныхъ наихъ споровъ и потому уже занимаетъ одно изъ первыхъ ѣстъ. Рѣдко съ чьимъ именемъ (за исключеніемъ одного Турнева) у насъ вопросъ о литературѣ такъ тѣсно связанъ, акъ съ именемъ г. Островскаго. Въ немъ отражались поеремѣнно разныя теоріи: сначала гоголевскаго взгляда— *гои люди—сочтемся*; потомъ крайности славянофильства—*Не*

[1]) „Горькая судьбина“ Писемскаго и „Гроза“ Островскаго. *Н. Д.*

такъ живи, какъ хочется; далѣе—какого-то безучастнаго индиферентизма къ той и другой сторонѣ—*Въ чужомъ пиру похмелье*; наконецъ, явленіе, проскользнувшее въ *Воспитанницѣ*, явленіе истинной, неподдѣльной поэзіи, выразилось блистательнѣйшимъ образомъ въ *Грозѣ*. За колебаніями споровъ литературныхъ слѣдовали колебанія таланта, а за ними и колебанія критики. По мѣрѣ того какъ вопросы славянофильскіе спадали съ ходуль и становились на истинную, неидеальную, народную русскую почву, и талантъ г. Островскаго, постоянно возбуждавшій и поддерживавшій эти споры, самъ становился опредѣленнѣе; большія задачи, которыя трудно вкладывались въ узкія рамы, исчезали изъ плановъ писателя; опредѣленные образы, одѣтые въ жизненные организмы, получали живой колоритъ; смѣлость идеальныхъ построеній уступала мѣсто трезвости неподдѣльнаго поэтическаго инстинкта. Шагъ за шагомъ талантъ писателя, который легко давался въ руки критика по множеству идеальныхъ отвлеченій, повидимому, дѣлался уже не такимъ философскимъ; въ сущности же, г. Островскій пріобрѣталъ истинные пріемы, необходимые для русской драмы, а вмѣсто славянофильскихъ утрированнныхъ положеній мѣтко началъ задѣвать звучащія струны русскаго человѣка. Въ трудной работѣ многіе видѣли одни колебанія и не хотѣли оцѣнить ея устойчивость въ начатомъ и безпрепятственный творческій трудъ... Поборники исключительно сатирическаго направленія (западники) восхваляли *Свои люди — сочтемся* и больше ничего не хвалили; поклонники патріархальнаго семейнаго начала и идеальной натуры русскаго человѣка падали ницъ передъ Русаковымъ и стариннымъ каноническимъ правомъ, господствовавшимъ въ драмѣ *Не такъ живи* и пр. Холодные наблюдатели были довольны, что г. Островскій въ первый разъ оказался безучастнымъ къ той и другой партіи въ своей комедіи *Въ чужомъ пиру похмелье*; а затѣмъ... затѣмъ всѣ теоріи были исчерпаны, и оказалось возможнымъ предположить, что дальше г. Островскому итти некуда. Г. Островскій въ это время пошелъ туда, куда давно хотѣли бы его провести дѣйствительные его поклонники,—къ истинной поэзіи русской жизни. Давно было сказано, что идеальничанье съ русскою жизнью исчерпано и что пора искать другого выхода. Въ *Грозѣ* мы привѣтствуемъ этотъ выходъ. Вотъ какъ добылъ этотъ резуль-

татъ г. Островскій.—Мы разскажемъ содержаніе драмы, какъ она насъ поразила на Александринской сценѣ (при этомъ просимъ у автора извиненія, если что-нибудь не такъ передадимъ; впрочемъ, мы надѣемся еще разъ воротиться къ этой драмѣ). Въ дрянномъ, затхломъ уѣздномъ городишкѣ, въ которомъ должны быть хорошіе лабазы и „нарочитая" торговля крупчаткой, въ городкѣ, въ которомъ, начальническою милостью, правитъ безапелляціонно какой-нибудь городничій, въ которомъ (городкѣ) есть достаточное число храмовъ Божіихъ и домы обывателей выстроены прочно, съ крѣпкими воротами, какъ у раскольниковъ, и болѣе крѣпкими засовами (впрочемъ, совсѣмъ не такими домами, какіе представлены на сценѣ); въ городкѣ, въ которомъ люди умѣютъ богатѣть, въ которомъ непремѣнно должна быть одна большая, грязная улица и на ней нѣчто въ родѣ гостинаго двора, и почетные купцы, о которыхъ г. Тургеневъ сказалъ, что они „трутся обыкновенно около своихъ лавокъ и притворяются, будто торгуютъ",—въ этакомъ-то городкѣ, какихъ мы съ вами видали много, а проѣзжали, не видавъ, еще болѣе, произошла та трогательная драма, которая насъ такъ поразила. Мы забыли сказать, что это городокъ приволжскій, опоясанный какъ лентой этою торговою, широкою рѣкой. Въ это благополучное мѣсто присылается изъ Москвы молодой человѣкъ въ приказчики къ вдовцу-дядѣ, торгующему хлѣбомъ (Дикой). Вдовца видѣли мы на сценѣ постоянно пьянымъ и потому ничего не говоримъ о немъ. Жить въ этомъ городѣ такъ пріятно, что одинъ молодой супругъ (Кабановъ), силою материнской власти обвѣнчанный съ неизвѣстною ему, но прекрасною дѣвушкой, надрывается отъ тоски и норовитъ, какъ бы найти случай уѣхать въ Москву, гдѣ есть и заведенія, и органы, и трактиры, съ утра до вечера набитые молодыми, туго-завитыми и сильно-напомаженными купеческими головами—тамъ и для молодого купца обѣтованный край. Жена Кабанова—главное дѣйствующее лицо драмы—молодая женщина, взятая изъ бѣднаго семейства и подведенная подъ материнское начало семейной жизни и всѣ ея послѣдствія—какъ-то: отсутствіе собственной воли, отсутствіе собственнаго уголка, собственной копейки, права имѣть собственный умъ и собственное чувство,—эта молодая женщина въ полгода пріобрѣтаетъ грустную наклонность измѣрить, глубока ли Волга. Таковы удо-

вольствія въ хлѣбородномъ губернскомъ городкѣ N. Естественное послѣдствіе, естественное до осязаемости по ходу пьесы—то, что молодая женщина, долго таившая въ себѣ божественную искру, попираемую и ногами строгой свекрови, и суровыми обычаями городскими, и непривѣтливостью мѣщанокъ, утоляющихъ незримую жажду жизни весьма практически,—что она не выдерживаетъ и чувствуетъ потребность любить. Чудный разсказъ ея о томъ, чтó грезилось и видѣлось ей, воспитанной старинными сказками и религіозными легендами странницъ, когда сердце ея требовало новой жизни, сначала до конца полонъ истинной русской поэзіи. Она влюбляется въ молодого человѣка, присланнаго изъ Москвы (племянника Дикóго). Нѣтъ ничего мудренаго, что и молодой человѣкъ чувствуетъ то же въ отношеніи къ ней; когда они стали въ такое положеніе, божественная искра, которая живетъ въ душѣ каждаго, въ комъ есть силы и жажда лучшаго, эта искра какъ молнія вдругъ освѣтила всю настоящую и ожидающую молодыхъ людей жизнь въ хлѣбородномъ, строго-нравственномъ городкѣ N. Этотъ трепетъ новой жизни, это познаніе красоты, прежде недоступной, вдругъ освѣщаетъ истиннымъ свѣтомъ всю картину, всю жизнь и всю натуру русскаго человѣка, которая не можетъ больше вынести наложенныхъ на нее путъ и разрываетъ ихъ. Куда дѣвались строгіе, старинные совѣты матери? куда пропала богобоязненность городка, которую никто не смѣетъ обойти? куда исчезла вѣра супружеская?.. Все это спрашиваетъ сама у себя молодая женщина и, съ ужасомъ, не находитъ отвѣта. Все ей кажется не такъ, какъ должно быть: и замужемъ-то она не такъ, какъ бы слѣдовало, и мать говоритъ по-книжному, сухо и не понимаетъ живой души, и мужъ-то не можетъ быть поддержкой ей, потому что не понимаетъ ни ея тоски, ни ея жажды. Все прахомъ разлетѣлось передъ молодою женщиной, и осталась она одна въ богоспасаемомъ городкѣ, со своею любовью, со своимъ сердцемъ, которое требуетъ отвѣта и которое не научили ничему и лишили всего. И въ это время инстинктъ натуры, заглушенный всѣми возможными средствами, вступаетъ въ права свои. Природа такъ хороша на привольномъ волжскомъ берегу, луна такъ мягко свѣтитъ въ оврагѣ, за садомъ; ключъ отъ калитки готовъ у сестры Варвары, которая давно знакома съ прелестью ночныхъ свиданій—и вотъ, молодая женщина, сама не зная,

что́ съ нею дѣлается, сходитъ въ этотъ оврагъ на свиданіе, и на берегу Волги, въ жаркихъ и запрещенныхъ поцѣлуяхъ молодого человѣка ищетъ отвѣта на вопросы, которыхъ не могли ей разрѣшить ни старуха-свекровь, ни чинный хлѣбородный городокъ, ни мужъ, ни древнія писанія на стѣнахъ византійскаго зданія. За увлеченіемъ начинается раскаяніе. Силой вѣковою встаютъ передъ молодою женщиной и угрызеніе совѣсти, и обманутый мужъ, и страхъ свекрови, и стыдъ передъ городкомъ, и древнія писанія въ старинныхъ книгахъ... Не устояла бѣдная женщина, да и гдѣ ей найти опору? Созналась въ винѣ передъ мужемъ и Богомъ, покаялась. Но сердцу отъ этого не легче, и, когда молодого человѣка услали въ далекую Сибирь по дѣламъ, невыносимъ показался ей городокъ, и она бросилась въ Волгу. Вотъ неудачно разсказанный нами скелетъ превосходной драмы. Нѣтъ поученія въ немъ, не доказывается истинъ новыхъ; но въ немъ все ново. Нова смѣлость постановки окружающихъ лицъ; нова обрисовка городка; нова драма, вышедшая изъ крѣпко поставленныхъ главныхъ основъ жизни. Въ этой страсти, въ этой драмѣ, разыгравшейся въ душѣ молодой, неопытной и слѣпо вѣрившей преданіямъ женщины— все красота, все правда. На самой безплодной, казалось бы, для поэзіи почвѣ выросла самая прекрасная сторона души человѣческой; мизернѣйшій изъ мизерныхъ городковъ русскихъ, въ которомъ мы съ вами не искали ничего, кромѣ плохихъ баранокъ и загнанныхъ почтовыхъ лошадей, нашли мы городокъ полнымъ жизни и страсти; на сухой почвѣ старинныхъ преданій, изъѣденныхъ формалистикой, мы нашли полные жизни побѣги и чувства и страсти.

С. Дудышкинъ.

Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ [1]).

(„Гроза". Драма въ пяти дѣйствіяхъ, А. Н. Островскаго. Спб. 1860.)

Незадолго до появленія на сценѣ *Грозы* мы разбирали очень подробно всѣ произведенія Островскаго *). Желая представить характеристику таланта автора, мы обратили тогда вниманіе на явленія русской жизни, воспроизводимыя въ его пьесахъ, старались уловить ихъ общій хара-

---

[1]) „Современникъ" 1860 г., № 10, стран. 232—292.

*) См. „Темное царство", выпускъ I, стран. 264.

Мастерски нарисовавъ „темное царство" въ своихъ предыдущихъ статьяхъ, съ его могильнымъ покоемъ и безпросвѣтностью, Добролюбовъ съ жадностью публициста ухватился за „Грозу", въ которой, по его мнѣнію, сверкнулъ „лучъ свѣта въ темномъ царствѣ". Неограниченная, увѣковѣченная власть самодурства поколеблена протестующимъ началомъ въ лицѣ Катерины. Въ ея лицѣ „данъ страшный вызовъ самодурной силѣ", „протестъ, доведенный до конца, провозглашенный и подъ домашней пыткой, и надъ бездной, въ которую бросилась бѣдная женщина". Идеализируя Катерину какъ „русскую живую силу", какъ предвозвѣстницу возникающаго движенія русской жизни, освобождающейся отъ началъ абсолютизма и патріархальнаго строя, Добролюбовъ надѣляетъ ее всевозможными нравственными достоинствами, присущими, по его мнѣнію, нашему народу, а внутреннія достоинства нашего народа Добролюбовъ ставилъ высоко. Историческій моментъ, въ который явилась въ свѣтъ эта статья, даетъ достаточное объясненіе, почему Добролюбовъ такъ щедро надѣлялъ народныя массы всѣми привлекательными свойствами души и такъ высоко превозносилъ „простое чувство, какимъ обладаетъ нашъ народъ" въ противоположность интеллигенціи. Тотъ, кто долженъ былъ бороться противъ крѣпостного права и ненавидѣть его въ такой мѣрѣ, какъ Добролюбовъ, тотъ не могъ не стать, въ большей или меньшей степени, „народникомъ", а отсюда уже недалеко и до „почвенниковъ", и до выводовъ во вкусѣ XVIII вѣка и Руссо, отъ которыхъ онъ, впрочемъ, воздержался.

Протестуя противъ общественнаго режима современнаго общества, жадно всматриваясь въ туманную даль, ища мысленнымъ взоромъ выхода изъ, казалось, безнадежнаго положенія, Добролюбовъ натыкается на страст-

ктеръ и допытаться, таковъ ли смыслъ этихъ явленій въ дѣйствительности, какимъ онъ представляется намъ въ произведеніяхъ нашего драматурга. Если читатели не забыли,—мы пришли тогда къ тому результату, что Островскій обладаетъ глубокимъ пониманіемъ русской жизни и великимъ умѣньемъ изображать рѣзко и живо самыя суще-

---

ную натуру Катерины, идущую наперекоръ окружающему гнету „темнаго царства" и гибнущую подъ давленіемъ темныхъ силъ, отстаивая пассивно свое право на самоопредѣленіе.

Съ опредѣленіемъ характера и роли Катерины въ „темномъ царствѣ" съ Добролюбовымъ не соглашаются многіе критики и въ особенности Писаревъ, рѣзко разошедшійся въ оцѣнкѣ личности Катерины. Писаревъ указываетъ на то, что Катерина—просто страстная натура и дѣйствуетъ подъ вліяніемъ этого сильнаго безотчетнаго слѣпого чувства, что онъ не видитъ въ ней элемента нравственной силы и развитого ума, являющихся непремѣнными признаками „свѣтлыхъ явленій". Катерина, по мнѣнію критиковъ, отрицательно относящихся къ ея характеристикѣ, сдѣланной Добролюбовымъ, есть плоть отъ плоти того „темнаго царства", среди котораго она живетъ; она также заражена всѣми его предразсудками, суевѣріями и только сильно развитой инстинктъ и врожденная страстность, вопреки ея волѣ толкаютъ на рядъ дѣйствій, противорѣчащій преданіямъ старины, нравамъ, обычаямъ и кодексу морали „темнаго царства".

Представитель утилитарнаго начала и безграничной вѣры въ положительныя знанія, какъ единственнаго пути къ достиженію общественнаго прогресса, понимая подъ этимъ матеріальное благосостояніе, Писаревъ не могъ смотрѣть глазами аскета-идеалиста Добролюбова, видѣвшаго въ актѣ возбужденія высокихъ нравственныхъ порывовъ и самопожертвованія одинъ изъ факторовъ этого прогресса. Эпикуреецъ Писаревъ считалъ никуда негоднымъ тотъ путь къ достиженію, который требовалъ жертвъ, и потому въ Катеринѣ, не овладѣвшей идеями матеріалистическаго вѣроученія и научными теоріями и вышедшей изъ того конфликта, который поставленъ былъ ей жизнью, путемъ самоубійства, Писаревъ видѣлъ не героиню, а глупую, невѣжественную, зараженную суевѣріями женщину. По его мнѣнію, самоубійство героини Островскаго только подчеркиваетъ ея полную несостоятельность и не можетъ ни въ какомъ случаѣ вызвать тѣ лирическіе восторги передъ ея подвигомъ, которымъ предается Добролюбовъ въ своей статьѣ, и отнюдь не указываетъ на попытку стряхнуть съ себя традиціонный гнетъ самодурства. Находясь постоянно въ поискахъ за сильнымъ человѣкомъ, Писаревъ съ презрѣніемъ отворачивается отъ всего пассивнаго романтическаго, отъ „лишнихъ людей", полагая, что только положительныя научныя теоріи могутъ дать „мыслящую личность", а эта послѣдняя путемъ разумнаго эгоизма, личной пользы приведетъ общество къ благополучію Поэтому Писаревъ глумится надъ безграмотною, неразвитою Катериной.

Писаревъ свободенъ отъ нравственныхъ мотивовъ и относится къ человѣку и обществу съ холодностью научнаго анализа, а Добролюбовъ исполненъ идеей служенія народу. *Прим. Н. Денисюка.*

ственныя ея стороны. *Гроза* вскорѣ послужила новымъ доказательствомъ справедливости нашего заключенія. Мы хотѣли тогда же говорить о ней, но почувствовали, что намъ необходимо пришлось бы при этомъ повторить многія изъ прежнихъ нашихъ соображеній, и потому рѣшились молчать о *Грозѣ*, предоставивъ читателямъ, которые поинтересовались нашимъ мнѣніемъ, провѣрить въ ней тѣ общія замѣчанія, какія мы высказали объ Островскомъ еще за нѣсколько мѣсяцевъ до появленія этой пьесы. Наше рѣшеніе утвердилось въ насъ еще болѣе, когда мы увидѣли, что по поводу *Грозы* появляется во всѣхъ журналахъ и газетахъ цѣлый рядъ большихъ и маленькихъ рецензій, трактовавшихъ дѣло съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія. Мы думали, что въ этой массѣ статеекъ скажется, наконецъ, объ Островскомъ и о значеніи его пьесъ что-нибудь побольше того, нежели что мы видѣли въ критикахъ, о которыхъ упоминали въ началѣ первой статьи нашей о „Темномъ царствѣ". Въ этой надеждѣ и сознаніи того, что наше собственное мнѣніе о смыслѣ и характерѣ произведеній Островскаго высказано уже довольно опредѣленно, мы и сочли за лучшее оставить разборъ *Грозы*.

Но теперь, снова встрѣчая пьесу Островскаго въ отдѣльномъ изданіи и припоминая все, что́ было о ней писано, мы находимъ, что сказать о ней нѣсколько словъ съ нашей стороны будетъ совсѣмъ нелишнее. Она даетъ намъ поводъ дополнить кое-что въ нашихъ замѣткахъ о „Темномъ царствѣ", провести далѣе нѣкоторыя изъ мыслей, высказанныхъ нами тогда.

Читатели „Современника" помнятъ, можетъ-быть, что мы поставили Островскаго очень высоко, находя, что онъ очень полно и многосторонне умѣлъ изобразить существенныя стороны и требованія русской жизни. Другіе авторы брали частныя явленія, временныя, внѣшнія требованія общества и изображали ихъ съ бо́льшимъ или меньшимъ успѣхомъ, какъ, напр., требованіе правосудія, вѣротерпимости, здравой администраціи, уничтоженія откуповъ, отмѣненія крѣпостного права и пр. Иные авторы брали *болѣе внутреннюю* сторону жизни, но ограничивались *очень тѣснымъ кругомъ* и подмѣчали такія явленія, кото-

ыя далеко не имѣли общенароднаго значенія. Таково, ıапр., изображеніе, въ безчисленномъ множествѣ повѣтей, людей, ставшихъ по развитію выше окружающей ихъ реды, но лишенныхъ энергіи, воли и погибающихъ въ ездѣйствіи. Повѣсти эти имѣли значеніе, потому что ясно ыражали собою негодность среды, мѣшающей хорошей ѣятельности, и хотя смутно-сознаваемое требованіе энерическаго примѣненія на дѣлѣ началъ, признаваемыхъ нами а истину въ теоріи. Смотря по различію талантовъ, и овѣсти этого рода имѣли больше или меньше значенія; но сѣ онѣ заключали въ себѣ тотъ недостатокъ, что попадали ишь въ небольшую (сравнительно) часть общества и не имѣли очти никакого отношенія къ большинству. Не говоря о ıассѣ народа, даже въ среднихъ слояхъ нашего общества ıы видимъ гораздо больше людей, которымъ еще нужно ріобрѣтеніе и уясненіе правильныхъ понятій, нежели такихъ, оторыя съ пріобрѣтенными идеями не знаютъ, куда дѣваться. Іоэтому значеніе указанныхъ повѣстей и романовъ остается есьма спеціальнымъ и чувствуется болѣе для кружка изѣстнаго сорта, нежели для большинства. Нельзя не сознаться, то дѣло Островскаго гораздо плодотворнѣе: онъ захватилъ акія общія стремленія и потребности, которыми проникнуто се русское общество, которыхъ голосъ слышится во всѣхъ вленіяхъ нашей жизни, которыхъ удовлетвореніе составляетъ необходимое условіе нашего дальнѣйшаго развитія.

Современныя стремленія русской жизни, въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ, находятъ свое выраженіе въ Островскомъ, акъ комикѣ, съ отрицательной стороны. Рисуя намъ въ ркой картинѣ ложныя отношенія со всѣми ихъ послѣдствіями, онъ черезъ то самое служитъ отголоскомъ стреленій, требующихъ лучшаго устройства. Произволъ, съ дной стороны, и недостатокъ сознанія правъ своей личности, ъ другой, — вотъ основанія, на которыхъ держится все безобразіе взаимныхъ отношеній, развиваемыхъ въ большей ıасти комедій Островскаго; требованія права, законности, важенія къ человѣку—вотъ что слышится каждому внимательному читателю изъ глубины этого безобразія. Что же, азвѣ вы станете отрицать обширное значеніе этихъ требованій въ русской жизни? Развѣ вы не сознаетесь, что подобный фонъ комедій соотвѣтствуетъ состоянію русскаго общества *болѣе, нежели* какого бы то ни было другого въ Европѣ?

Возьмите исторію, вспомните свою жизнь, оглянитесь вокругъ себя,—вы вездѣ найдете оправданіе нашихъ словъ. Не мѣсто здѣсь пускаться намъ въ историческія изысканія; довольно замѣтить, что наша исторія до новѣйшихъ временъ не способствовала у насъ развитію чувства законности (съ чѣмъ и г. Пироговъ согласенъ; зри—Положеніе о наказаніяхъ въ Кіевскомъ округѣ), не создавала прочныхъ гарантій для личности и давала обширное поле произволу. Такого рода историческое развитіе разумѣется, имѣло слѣдствіемъ упадокъ нравственности общественной: уваженіе къ собственному достоинству потерялось, вѣра въ право, а слѣдовательно, и сознаніе долга ослабли, произволъ попиралъ право, подъ произволъ подтачивалась хитрость. Нѣкоторые писатели, лишенные чутья нормальныхъ потребностей и сбитые съ толку искусственными комбинаціями, признавая эти несомнѣнные факты, хотѣли ихъ узаконить, прославить, какъ норму жизни, а не какъ искаженіе естественныхъ стремленій, произведенное неблагопріятнымъ историческимъ развитіемъ. Такъ, напримѣръ, произволъ хотѣли присвоить русскому человѣку, какъ особенное, естественное качество его природы, подъ названіемъ „широты натуры"; плутовство и хитрость тоже хотѣли узаконить въ русскомъ народѣ, подъ названіемъ смѣтливости и лукавства. Нѣкоторые критики хотѣли даже въ Островскомъ видѣть пѣвца широкихъ русскихъ натуръ; оттого-то и поднято было однажды такое бѣснованіе изъ-за Любима Торцова, выше котораго ничего не находили у нашего автора. Но Островскій, какъ человѣкъ съ сильнымъ талантомъ и, слѣдовательно, съ чутьемъ истины, съ инстинктивною наклонностью къ естественнымъ, здравымъ требованіямъ, не могъ поддаться искушенію, и произволъ, даже самый широкій, всегда выходилъ у него, сообразно дѣйствительности, произволомъ тяжелымъ, безобразнымъ, беззаконнымъ, — и въ сущности пьесы всегда слышался протестъ противъ него. Онъ умѣлъ почувствовать, что̀ такое значитъ подобная широта натуры, и заклеймилъ, ошельмовалъ ее нѣсколькими типами и названіемъ самодурства.

Но не онъ сочинилъ эти типы, такъ точно, какъ не онъ выдумалъ и слово „самодуръ". То и другое взялъ онъ въ *самой жизни*. Ясно, что жизнь, давшая матеріалы для такихъ *комическихъ положеній*, въ какихъ ставятся часто самодуры

Островскаго, жизнь, давшая имъ и приличное названіе, не поглощена уже вся ихъ вліяніемъ, а заключаетъ въ себѣ задатки болѣе разумнаго, законнаго, правильнаго порядка дѣлъ. И дѣйствительно, послѣ каждой пьесы Островскаго, каждый чувствуетъ внутри себя это сознаніе, и, оглядываясь кругомъ себя, замѣчаетъ то же въ другихъ. Слѣдя пристальнѣе за этою мыслью, всматриваясь въ нее дольше и глубже, замѣчаешь, что это стремленіе къ новому, болѣе естественному устройству отношеній заключаетъ въ себѣ сущность всего, что́ мы называемъ прогрессомъ, составляетъ прямую задачу нашего развитія, поглощаетъ всю работу новыхъ поколѣній. Куда вы ни оглянитесь, вездѣ вы видите пробужденіе личности, предъявленіе ею своихъ законныхъ правъ, протестъ противъ насилія и произвола, большею частью еще робкій, неопредѣленный, готовый спрятаться но все-таки уже дающій замѣтить свое существованіе. Возьмите хоть законодательную и административную сторону, которая хотя въ частныхъ своихъ проявленіяхъ всегда имѣетъ много случайнаго, но въ общемъ характерѣ все-таки служитъ указателемъ положенія народа. Особенно этотъ указатель вѣренъ тогда, когда законодательныя мѣры запечатлѣны характеромъ льготъ, уступокъ и расширенія правъ. Мѣры обременительныя, стѣсняющія народъ въ его правахъ, могутъ быть вызваны, вопреки требованію народной жизни, просто дѣйствіемъ произвола, сообразно выгодамъ привилегированнаго меньшинства, которое пользуется стѣсненіемъ другихъ; но мѣры, которыми уменьшаются привилегіи и расширяются общія права, не могутъ имѣть свое начало ни въ чемъ иномъ, какъ въ прямыхъ и неотступныхъ требованіяхъ народной жизни, неотразимо дѣйствующихъ на привилегированное меньшинство даже вопреки его личнымъ, непосредственнымъ выгодамъ. Взгляните же, что́ у насъ дѣлается въ этомъ отношеніи: крестьяне освобождаются, и сами помѣщики, утверждавшіе прежде, что еще рано давать свободу мужику, теперь убѣждаются и сознаются, что пора развязаться съ этимъ вопросомъ, что онъ дѣйствительно созрѣлъ въ народномъ сознаніи... А что же иное лежитъ въ основаніи этого вопроса, какъ не уменьшеніе произвола и не возвышеніе правъ человѣческой личности? То же самое и во всѣхъ другихъ реформахъ и улучшеніяхъ. Въ *финансовыхъ реформахъ*, во всѣхъ этихъ комиссіяхъ и

комитетахъ, разсуждавшихъ о банкахъ, о податяхъ и пр., что видѣло общественное мнѣніе, чего отъ нихъ надѣялось, какъ не опредѣленія болѣе правильной, отчетливой системы финансоваго управленія, и, слѣдовательно, введенія законности вмѣсто всякаго произвола? Что заставило предоставить нѣкоторыя права гласности, которой прежде такъ боялись,—что, какъ не сознаніе силы того общаго протеста противъ безправія и произвола, который въ теченіе многихъ лѣтъ сложился въ общественномъ мнѣніи и, наконецъ, не могъ себя сдерживать? Что сказалось въ полицейскихъ и административныхъ преобразованіяхъ, въ заботахъ о правосудіи, въ предположеніяхъ гласнаго судопроизводства, въ уменьшеніи строгостей къ раскольникамъ, въ самомъ уничтоженіи откуповъ?.. Мы не говоримъ о практическомъ значеніи всѣхъ этихъ мѣръ, мы только утверждаемъ, что самая попытка приступить къ нимъ доказываетъ сильное развитіе той общей идеи, на которую мы указали: хотя бы всѣ онѣ рушились или остались безуспѣшными, это могло бы показать только недостаточность или ложность средствъ, принятыхъ для ихъ исполненія, но не могло бы свидѣтельствовать противъ потребностей, ихъ вызвавшихъ. Существованіе этихъ требованій такъ ясно, что въ литературѣ нашей они выразились немедленно, какъ только оказалась фактическая возможность ихъ проявленія. Сказались они и въ комедіяхъ Островскаго, съ полнотою и силою, какую мы встрѣчали у немногихъ авторовъ. Но не въ одной только степени силы достоинство комедій его: для насъ важно и то, что онъ нашелъ сущность общихъ требованій жизни еще въ то время, когда они были скрыты и высказывались весьма немногими и весьма слабо. Первая его пьеса появилась въ 1847 году; извѣстно, что съ того времени до послѣднихъ годовъ, даже лучшіе наши авторы почти потеряли слѣдъ естественныхъ стремленій народныхъ и даже стали сомнѣваться въ ихъ существованіи, а если иногда и чувствовали ихъ вѣяніе, то очень слабо, неопредѣленно, только въ какихъ-нибудь частныхъ случаяхъ, и, за немногими исключеніями, почти никогда не умѣли найти для нихъ истиннаго и приличнаго выраженія. Общее положеніе отразилось, разумѣется, отчасти и на Островскомъ; оно, можетъ-быть, во многомъ *объясняетъ* ту долю неопредѣленности нѣкоторыхъ его пьесъ, *которая подала* поводъ къ такимъ нападкамъ на него въ

ıалѣ пятидесятыхъ годовъ. Но теперь, внимательно сообра-
я совокупность его произведеній, мы находимъ, что чутье
инныхъ потребностей и стремленій русской жизни ни-
да не оставляло его; оно иногда и не показывалось на
вый взглядъ, но всегда находилось въ корнѣ его произ-
еній. Зато, кто хотѣлъ безпристрастно доискаться корен-
о ихъ смысла, тотъ всегда могъ найти, что дѣло въ нихъ
дставляется не съ поверхности, а съ самаго корня. Эта
ота удерживаетъ произведенія Островскаго на ихъ высотѣ
теперь, когда уже всѣ стараются выражать тѣ же стре-
нія, которыя мы находимъ въ его пьесахъ. Чтобы не
пространяться объ этомъ, замѣтимъ одно: требованіе
ава, уваженіе личности, протестъ противъ насилія и про-
вола вы находите во множествѣ нашихъ литературныхъ
изведеній послѣднихъ лѣтъ; но въ нихъ, большею частью,
ло не проведено жизненнымъ, практическимъ образомъ,
чувствована отвлеченная, философская сторона вопроса
изъ нея все выведено: указывается *право*, а оставляется
ъ вниманія реальная *возможность*. У Островскаго не то:
него вы находите не только нравственную, но и житей-
ю, экономическую сторону вопроса, а въ этомъ-то и
ность дѣла. У него вы ясно видите, какъ самодурство
рается на толстой мошнѣ, которую называетъ „Божіимъ
агословеніемъ", и какъ безотвѣтность людей передъ
ъ опредѣляется матеріальною отъ него зависимостью.
ло того, вы видите, какъ эта матеріальная сторона во
ьхъ житейскихъ отношеніяхъ господствуетъ надъ отвле-
ною, и какъ люди, лишенные матеріальнаго обезпеченія,
ю цѣнятъ отвлеченныя права и даже теряютъ ясное
наніе о нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, сытый человѣкъ можетъ
суждать хладнокровно и умно, слѣдуетъ ли ему ѣсть
ое-то кушанье; но голодный рвется къ пищѣ, гдѣ ни
идитъ ее и какова бы она ни была. Это явленіе, повто-
ощееся во всѣхъ сферахъ общественной жизни, хорошо
ѣчено и понято Островскимъ, и его пьесы яснѣе всякихъ
суждеиій показываютъ внимательному читателю, какъ
стема безправія и грубаго, мелочного эгоизма, водворен-
и самодурствомъ, прививается и къ тѣмъ самымъ, кото-
е отъ него страдаютъ; какъ они, если мало-мальски
раняютъ въ себѣ остатки энергіи, стараются употребить
на пріобрѣтеніе возможности жить самостоятельно, и

уже не разбираютъ при этомъ ни средствъ ни правъ. Мы слишкомъ подробно развивали эту тему въ прежнихъ статьяхъ нашихъ, чтобъ опять къ ней возвращаться; притомъ же мы, припомнивъ стороны таланта Островскаго, которыя повторялись въ *Грозѣ*, какъ и въ прежнихъ его произведеніяхъ, должны все-таки сдѣлать коротенькій обзоръ самой пьесы и показать, какъ мы ее понимаемъ.

По-настоящему, этого бы и не нужно; но критики, до сихъ поръ написанныя на *Грозу*, показываютъ намъ, что наши замѣчанія не будутъ лишни.

Уже и въ прежнихъ пьесахъ Островскаго мы замѣчали, что это не комедіи интригъ и не комедіи характеровъ собственно, а нѣчто новое, чему мы дали бы названіе „пьесъ жизни", если бы это не было слишкомъ обширно и потому не совсѣмъ опредѣленно. Мы хотимъ сказать, что у него на первомъ планѣ является всегда общая, независящая ни отъ кого изъ дѣйствующихъ лицъ обстановка жизни. Онъ не караетъ ни злодѣя ни жертву; оба они жалки вамъ, нерѣдко оба смѣшны, но не на нихъ непосредственно обращается чувство, возбуждаемое въ васъ пьесою. Вы видите, что ихъ положеніе господствуетъ надъ ними, и вы вините ихъ только въ томъ, что они не выказываютъ достаточно энергіи для того, чтобы выйти изъ этого положенія. Сами самодуры, противъ которыхъ естественно должно возмущаться ваше чувство, по внимательномъ разсмотрѣніи, оказываются болѣе достойны сожалѣнія, нежели вашей злости: они и добродѣтельны, и даже умны по-своему, въ предѣлахъ, предписанныхъ имъ рутиною и поддерживаемыхъ ихъ положеніемъ; но положеніе это таково, что въ немъ невозможно полное, здоровое человѣческое развитіе. Мы видѣли это особенно въ анализѣ характера Русакова.

Такимъ образомъ, борьба, требуемая теоріею отъ драмы, совершается въ пьесахъ Островскаго не въ монологахъ дѣйствующихъ лицъ, а въ фактахъ, господствующихъ надъ ними. Часто сами персонажи комедіи не имѣютъ яснаго и вовсе никакого сознанія о смыслѣ своего положенія и своей борьбы; но зато борьба весьма отчетливо и сознательно совершается въ душѣ зрителя, который невольно возмущается противъ положенія, порождающаго такіе факты. И *вотъ почему* мы никакъ не рѣшаемся считать ненужными *и лишними тѣ* лица пьесъ Островскаго, которыя не уча-

ствуютъ прямо въ интригѣ. Съ нашей точки зрѣнія, эти лица столько же необходимы для пьесы, какъ и главныя: они показываютъ намъ ту обстановку, въ которой совершается дѣйствіе; рисуютъ положеніе, которымъ опредѣляется смыслъ дѣятельности главныхъ персонажей пьесы. Чтобы хорошо узнать свойства жизни растенія, надо изучать его на той почвѣ, на которой оно растетъ; оторвавъ отъ почвы, вы будете имѣть форму растенія, но не узнаете вполнѣ его жизни; точно такъ не узнаете вы жизни общества, если вы будете разсматривать ее только въ непосредственныхъ отношеніяхъ нѣсколькихъ лицъ, пришедшихъ почему-нибудь въ столкновеніе другъ съ другомъ: тутъ будетъ только дѣловая, офиціальная сторона жизни, между тѣмъ какъ намъ нужна будничная ея обстановка. Посторонніе, недѣятельные участники жизненной драмы, повидимому, занятые только своимъ дѣломъ каждый,—имѣютъ часто однимъ своимъ существованіемъ такое вліяніе на ходъ дѣла, что его ничѣмъ и отразить нельзя. Сколько горячихъ идей, сколько обширныхъ плановъ, сколько восторженныхъ порывовъ рушится при одномъ взглядѣ на равнодушную, прозаическую толпу, съ презрительнымъ индиферентизмомъ проходящую мимо насъ! Сколько чистыхъ и добрыхъ чувствъ замираетъ въ насъ, изъ боязни, чтобы не быть осмѣяннымъ и поруганнымъ этою толпой! А съ другой стороны, и сколько преступленій, сколько порывовъ произвола и насилія останавливается предъ рѣшеніемъ этой толпы, всегда какъ-будто равнодушной и податливой, но въ сущности весьма неуступчивой въ томъ, что́ разъ ею признано. Поэтому, чрезвычайно важно для насъ знать, каковы понятія этой толпы о добрѣ и злѣ, что у ней считается за истину и что за ложь. Этимъ опредѣляется нашъ взглядъ на положеніе, въ какомъ находятся главныя лица пьесы, а, слѣдовательно, и степень нашего участія къ нимъ.

Въ *Грозѣ* особенно видна необходимость такъ-называемыхъ „ненужныхъ“ лицъ: безъ нихъ мы не можемъ понять лица героини и легко можемъ исказить смыслъ всей пьесы, что́ и случилось съ большею частью критиковъ. Можетъ-быть, намъ скажутъ, что все-таки авторъ виноватъ, если его такъ легко не понять; но мы замѣтимъ на это, что авторъ пишетъ для публики, а публика если не сразу овладѣваетъ вполнѣ сущностью его пьесъ, то и не искажаетъ

ихъ смысла. Что же касается до того, что нѣкоторыя подробности могли быть отдѣланы лучше,—мы за это не стоимъ. Безъ сомнѣнія, могильщики въ „Гамлетѣ“ болѣе кстати и ближе связаны съ ходомъ дѣйствія, нежели, напримѣръ, полусумасшедшая барыня въ *Грозѣ*; но мы, вѣдь, не то толкуемъ, что нашъ авторъ—Шекспиръ, а только то, что его постороннія лица имѣютъ резонъ своего появленія и оказываются даже необходимыми для полноты пьесы, разсматриваемой какъ она есть, а не въ смыслѣ абсолютнаго совершенства.

Гроза, какъ вы знаете, представляетъ намъ идиллію „темнаго царства“, которое мало-по-малу освѣщаетъ намъ Островскій своимъ талантомъ. Люди, которыхъ вы здѣсь видите, живутъ въ благословенныхъ мѣстахъ: городъ стоитъ на берегу Волги, весь въ зелени; съ крутыхъ береговъ видны далекія пространства, покрытыя селеніями и нивами; лѣтній благодатный день такъ и манитъ на берегъ, на воздухъ, подъ открытое небо, подъ этотъ вѣтерокъ, освѣжительно вѣющій съ Волги... И жители, точно, гуляютъ иногда по бульвару надъ рѣкой, хоть ужъ и приглядѣлись къ красотамъ волжскихъ видовъ; вечеромъ сидятъ на заваленкахъ у воротъ и занимаются благочестивыми разговорами; но больше проводятъ время у себя дома, занимаются хозяйствомъ, кушаютъ, спятъ,—спать ложатся очень рано, такъ что непривычному человѣку трудно и выдержать такую сонную ночь, какую они задаютъ себѣ. Но что же имъ дѣлать, какъ не спать, когда они сыты? Ихъ жизнь течетъ такъ ровно и мирно, никакіе интересы міра ихъ не тревожатъ, потому что не доходятъ до нихъ; царства могутъ рушиться, новыя страны открываться, лицо земли можетъ измѣняться, какъ ему угодно, міръ можетъ начать новую жизнь на новыхъ началахъ,—обитатели городка Калинова будутъ себѣ существовать попрежнему въ полнѣйшемъ невѣдѣніи объ остальномъ мірѣ. Изрѣдка забѣжитъ къ нимъ неопредѣленный слухъ, что Наполеонъ съ двадесятью языкъ опять подымается или что антихристъ народился; но и это они принимаютъ болѣе какъ куріозную штуку, въ родѣ вѣсти о томъ, что есть страны, гдѣ всѣ люди съ песьими головами: покачаютъ головой, выразятъ удивленіе къ чудесамъ природы и пойдутъ себѣ закусить... Смолоду еще показываютъ нѣкоторую любознательность, но пищи взять ей неоткуда:

свѣдѣнія заходятъ къ нимъ, точно въ древней Руси временъ Даніила Паломника, только отъ странницъ, да и тѣхъ ужъ нынче немного настоящихъ-то; приходится довольствоваться такими, которыя „сами, по немощи своей, далеко не ходили, а слыхать много слыхали“, какъ Ѳеклуша въ *Грозѣ*. Отъ нихъ только и узнаютъ жители Калинова о томъ, что́ на свѣтѣ дѣлается; иначе они думали бы, что весь свѣтъ таковъ же, какъ и ихъ Калиновъ, и что иначе жить, чѣмъ они, совершенно невозможно. Но и свѣдѣнія, сообщаемыя Ѳеклушами, таковы, что неспособны внушить большого желанія промѣнять свою жизнь на иную. Ѳеклуша принадлежитъ къ партіи патріотической и въ высшей степени консервативной; ей хорошо среди благочестивыхъ и наивныхъ калиновцевъ: ее и почитаютъ, и угощаютъ, и снабжаютъ всѣмъ нужнымъ; она пресеріозно можетъ увѣрять, что самые грѣшки ея происходятъ оттого, что она выше прочихъ смертныхъ: „Простыхъ людей,—говоритъ,—каждаго одинъ врагъ смущаетъ, а къ намъ, страннымъ людямъ, къ кому шесть, къ кому двѣнадцать приставлено, вотъ и надо ихъ всѣхъ побороть“. И ей вѣрятъ. Ясно, что простой инстинктъ самосохраненія долженъ заставить ее не сказать хорошаго слова о томъ, что́ въ другихъ земляхъ дѣлается. И въ самомъ дѣлѣ, прислушайтесь къ разговорамъ купечества, мѣщанства, мелкаго чиновничества въ уѣздной глуши,—сколько удивительныхъ свѣдѣній о невѣрныхъ и поганыхъ царствахъ, сколько разсказовъ о тѣхъ временахъ, когда людей жгли и мучили, когда разбойники города грабили и т. п.,—и какъ мало свѣдѣній о европейской жизни, о лучшемъ устройствѣ быта! Даже въ такъ-называемомъ образованномъ обществѣ, въ объевропеившихся людяхъ, на множество энтузіастовъ, восхищающихся новыми парижскими улицами и мабилемъ *), развѣ вы не найдете почти такое же множество солидныхъ цѣнителей, которые запугиваютъ своихъ слушателей тѣмъ, что нигдѣ, кромѣ Австріи, во всей Европѣ порядка нѣтъ, и никакой управы найти нельзя!.. Все это и ведетъ къ тому, что Ѳеклуша высказываетъ такъ положительно: „Бла-алѣпіе, милая, бла-алѣпіе, красота дивная! Да что ужъ и говорить,—въ обѣтованной

*) *Мабиль*—особый родъ парижскихъ публичныхъ баловъ, посѣщаемыхъ *холостой молодежью и* женщинами легкаго поведенія. Н. Д.

землѣ живете!“ Оно несомнѣнно такъ и выходитъ, какъ сообразить, что́ въ другихъ-то земляхъ дѣлается. Послушайте-ка Ѳеклуши:

„Говорятъ, такія страны есть, милая дѣвушка, гдѣ и царей-то нѣтъ православныхъ, а салтаны землей правятъ. Въ одной землѣ сидитъ на тронѣ салтанъ Махнутъ турецкій, а въ другой—салтанъ Махнутъ персидскій, и судъ творятъ они, милая дѣвушка, надо всѣми людьми, и что ни судятъ они, все неправильно. И не могутъ они, милая дѣвушка, ни одного дѣла разсудить праведно,—такой ужъ имъ предѣлъ положенъ. У насъ законъ праведный, а у нихъ, милая, неправедный; что по нашему закону такъ выходитъ, а по ихнему все напротивъ. И всѣ судьи у нихъ, въ ихнихъ странахъ, тоже все неправедные; такъ имъ, милая дѣвушка, и въ просьбахъ пишутъ: „суди меня, судья неправедный!“ А то есть еще земля, гдѣ всѣ люди съ песьими головами...“

„За что же такъ съ песьими?“ спрашиваетъ Глаша. „За невѣрность“, коротко отвѣчаетъ Ѳеклуша, считая всякія дальнѣйшія объясненія излишними. Но Глаша и тому рада: въ томительномъ однообразіи ея жизни и мысли, ей пріятно услышать сколько-нибудь новое и оригинальное. Въ ея душѣ смутно пробуждается уже мысль, „что вотъ, однакоже, живутъ люди и не такъ, какъ мы; оно, конечно, у насъ лучше, а впрочемъ, кто ихъ знаетъ! Вѣдь, и у насъ нехорошо; а про тѣ земли-то мы еще и не знаемъ хорошенько; кое-что только услышишь отъ добрыхъ людей...“ И желаніе знать побольше да поосновательнѣе закрадывается въ душу. Это для насъ ясно изъ словъ Глаши, по уходѣ странницы: „Вотъ еще какія земли есть! Какихъ-то, какихъ-то чудесъ на свѣтѣ нѣтъ! А мы тутъ сидимъ, ничего не знаемъ. Еще хорошо, что добрые люди есть: нѣтъ-нѣтъ, да и услышишь, что́ на бѣломъ свѣтѣ дѣлается; а то бы такъ дураками и померли“. Какъ видите, неправедность и невѣрность чужихъ земель не возбуждаютъ въ Глашѣ ужаса и негодованія; ее занимаетъ только новое свѣдѣніе, которое представляется ей чѣмъ-то загадочнымъ,—„чудесами“, какъ она выражается. Вы видите, что она не довольствуется объясненіями Ѳеклуши, которыя возбуждаютъ въ ней только сожалѣніе о своемъ невѣжествѣ. Она, очевидно, на полдорогѣ къ скептицизму. Но гдѣ жъ ей сохранить свое недовѣріе, когда оно безпрестанно подрывается разсказами, подобными Ѳеклушинымъ? Какъ ей дойти до правильныхъ понятій, даже просто до разумныхъ вопросовъ, когда ея любознательность заперта въ такомъ *кругѣ,* который очерченъ около нея въ городѣ Калиновѣ?

еще мало того, какъ бы она осмѣлилась не вѣрить да
ытываться, когда старшіе и лучшіе люди такъ положи-
ьно успокоиваются въ убѣжденіи, что принятыя ими
нятія и образъ жизни—наилучшіе въ мірѣ, и что все новое
исходитъ отъ нечистой силы? Страшна и тяжела для
ждаго новичка попытка итти наперекоръ требованіямъ и
вжденіямъ этой темной массы, ужасной въ своей наивности
искренности. Вѣдь, она проклянетъ насъ, будетъ бѣгать,
съ зачумленныхъ, не по злобѣ, не по расчетамъ, а по
бокому убѣжденію въ томъ, что мы сродни антихристу;
рошо еще, если только полоумнымъ сочтетъ и будетъ
смѣиваться... Она ищетъ знанія, любитъ разсуждать, но
ько въ извѣстныхъ предѣлахъ, предписанныхъ ей основ-
ми понятіями, въ которыхъ путается разсудокъ. Вы можете
общить калиновскимъ жителямъ нѣкоторыя географиче-
я знанія; но не касайтесь того, что земля на трехъ китахъ
итъ и что въ Іерусалимѣ есть пупъ земли—этого они вамъ
уступятъ, хотя о пупѣ земли имѣютъ такое же ясное
нятіе, какъ о Литвѣ, въ *Грозѣ*. „Это, братецъ ты мой, что
кое?“ спрашиваетъ одинъ мирный гражданинъ у другого,
казывая на картину.—А это литовское разореніе, отвѣ-
етъ тотъ.—Битва! видишь! Какъ наши съ Литвой бились.—
то жъ это такое Литва?“—Такъ она Литва и есть, отвѣ-
етъ объясняющій.—„А говорятъ, братецъ ты мой, она на
съ съ неба упала“, продолжаетъ первый; но собесѣднику
мало до того нужды.—Ну, съ неба, такъ съ неба, отвѣ-
етъ онъ... Тутъ женщина вмѣшивается въ разговоръ:
олкуй еще! Всѣ знаютъ, что съ неба; и гдѣ былъ какой
съ ней, тамъ для памяти курганы насыпаны“.—А что,
атецъ ты мой! Вѣдь, это такъ точно! восклицаетъ вопро-
итель, вполнѣ удовлетворенный. И послѣ этого спросите
, что онъ думаетъ о Литвѣ! Подобный исходъ имѣютъ
ѣ вопросы, задаваемые здѣсь людямъ естественною любо-
ательностью. И это вовсе не оттого, чтобы люди эти были
упѣе, безтолковѣе многихъ другихъ, которыхъ мы встрѣ-
емъ въ академіяхъ и ученыхъ обществахъ. Нѣтъ, все дѣло
томъ, что они своимъ положеніемъ, своею жизнью подъ
етомъ произвола всѣ пріучены уже видѣть безотчетность
безсмысленность и потому находятъ неловкимъ и даже
рзкимъ настойчиво доискиваться разумныхъ основаній въ
мъ *бы то ни было*. Задать вопросъ—на это ихъ еще ста-

нетъ; но если отвѣтъ будетъ таковъ, что „пушка сама-по-себѣ, а мортира сама-по-себѣ“, то они уже не смѣютъ пытать дальше и смиренно довольствуются даннымъ объясненіемъ. Секретъ подобнаго равнодушія къ логикѣ заключается, прежде всего, въ отсутствіи всякой логичности въ жизненныхъ отношеніяхъ. Ключъ этой тайны даетъ намъ, напримѣръ, слѣдующая реплика Дикóго, въ *Грозѣ*. Кулигинъ, въ отвѣтъ на его грубости, говоритъ: „За что, сударь, Савелъ Прокофьичъ, честнаго человѣка обижать изволите?“ Дикóй отвѣчаетъ вотъ что:

„Отчетъ, что ли, я стану тебѣ давать? Я и поважнѣе тебя никому отчета не даю. Хочу такъ думать о тебѣ, такъ и думаю! Для другихъ ты честный человѣкъ, а я думаю, что ты разбойникъ—вотъ и все. Хотѣлось тебѣ это слышать отъ меня? Такъ вотъ слушай! Говорю, что разбойникъ, и конецъ! Что жъ ты судиться, что ли, со мной будешь? Такъ ты знай, что ты червякъ. Захочу—помилую, захочу—раздавлю“.

Какое теоретическое разсужденіе можетъ устоять тамъ, гдѣ жизнь основана на такихъ началахъ! Отсутствіе всякаго закона, всякой логики—вотъ законъ и логика этой жизни. Это не анархія, но нѣчто еще гораздо худшее (хотя воображеніе образованнаго европейца и не умѣетъ представить себѣ ничего хуже анархіи). Въ анархіи такъ ужъ и нѣтъ никакого начала: всякъ молодецъ на свой образецъ, никто никому не указъ, всякій на приказаніе другого можетъ отвѣчать, что я, молъ, тебя знать не хочу, и, такимъ образомъ, всѣ озорничаютъ и ни въ чемъ согласиться не могутъ. Положеніе общества, подверженнаго такой анархіи (если только она возможна), дѣйствительно ужасно. Но вообразите, что это самое анархическое общество раздѣлилось на двѣ части: одна оставила за собою право озорничать и не знать никакого закона, а другая принуждена признавать закономъ всякую претензію первой и безропотно сносить всѣ ея капризы, всѣ безобразія... Не правда ли, что это было бы еще ужаснѣе? Анархія осталась бы та же, потому что въ обществѣ все-таки разумныхъ началъ не было бы, озорничества продолжались бы попрежнему; но половина людей принуждена была бы страдать отъ нихъ и постоянно питать ихъ собою, своимъ смиреніемъ и угодливостью. Ясно, что при такихъ условіяхъ озорничество и беззаконіе приняли бы такіе размѣры, какихъ никогда не могли бы они имѣть при *всеобщей* анархіи. Въ самомъ дѣлѣ, что ни говорите, а человѣкъ *одинъ*, предоставленный самому себѣ, не много наду-

ритъ въ обществѣ и очень скоро почувствуетъ необходимость согласиться и сговориться съ другими въ видахъ общей пользы. Но никогда этой необходимости не почувствуетъ человѣкъ, если онъ во множествѣ подобныхъ себѣ находитъ обширное поле для упражненія своихъ капризовъ и если въ ихъ зависимомъ, униженномъ положеніи видитъ постоянное подкрѣпленіе своего самодурства. Такимъ образомъ, имѣя общимъ съ анархіею отсутствіе всякаго закона и права, обязательнаго для всѣхъ, самодурство въ сущности несравненно ужаснѣе анархіи, потому что даетъ озорничеству больше средствъ и простора и заставляетъ страдать большее число людей,—и опаснѣе ея еще въ томъ отношеніи, что можетъ держаться гораздо дольше. Анархія (повторимъ, если только она возможна вообще) можетъ служить только переходнымъ моментомъ, который самъ себя съ каждымъ шагомъ долженъ образумливать и приводить къ чему-нибудь болѣе здравому; самодурство, напротивъ, стремится узаконить себя и установить, какъ незыблемую систему. Оттого оно, вмѣстѣ съ такимъ широкимъ понятіемъ о своей собственной свободѣ, старается, однакоже, принять всѣ возможныя мѣры, чтобъ оставить эту свободу навсегда только за собой, чтобъ оградить себя отъ всякихъ дерзкихъ попытокъ. Для достиженія этой цѣли оно признаетъ какъ-будто нѣкоторыя высшія требованія, и хотя само противъ нихъ тоже проступается, но передъ другими стоитъ за нихъ твердо. Нѣсколько минутъ спустя послѣ реплики, въ которой Дикой такъ рѣшительно отвергалъ, въ пользу собственнаго каприза, всѣ нравственныя и логическія основанія для сужденія о человѣкѣ,—этотъ же самый Дикой напускается на Кулигина, когда тотъ для объясненія грозы выговорилъ слово „электричество".

„Ну, какъ же ты не разбойникъ,—кричитъ онъ,—гроза-то намъ въ наказаніе посылается, чтобъ мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, оборониться. Что ты, татаринъ, что ли? Татаринъ ты? А, говори, татаринъ?".

И ужъ тутъ Кулигинъ не смѣетъ отвѣтить ему: „Хочу такъ думать и думаю, и никто мнѣ не указъ". Куда тебѣ,—онъ и объясненій-то своихъ представить на можетъ: принимаютъ съ ругательствами, да и говорить-то не даютъ. Поневолѣ тутъ резонировать перестанешь, когда на всякій резонъ кулакъ отвѣчаетъ, и всегда въ концѣ-концовъ кулакъ *остается правымъ...*

Но—чудное дѣло!—въ своемъ непререкаемомъ, безотвѣтственномъ темномъ владычествѣ, давая полную свободу своимъ прихотямъ, ставя ни во что всякіе законы и логику, самодуры русской жизни начинаютъ, однакоже, ощущать какое-то недовольство и страхъ, сами не зная передъ чѣмъ и почему. Все, кажется, попрежнему, все хорошо: Дикой ругаетъ, кого хочетъ; когда ему говорятъ: „Какъ это на тебя никто въ цѣломъ домѣ угодить не можетъ!"—онъ самодовольно отвѣчаетъ: „Вотъ поди жъ ты!" Кабанова держитъ попрежнему въ страхѣ своихъ дѣтей, заставляетъ невѣстку соблюдать всѣ этикеты старины, ѣстъ ее, какъ ржа желѣзо, считаетъ себя вполнѣ непогрѣшимою и ублажается разными Ѳеклушами. А все какъ-то неспокойно, нехорошо имъ. Помимо ихъ, не спросясь ихъ, выросла другая жизнь, съ другими началами, и хоть далеко она, еще и не видна хорошенько, но уже даетъ себя предчувствовать и посылаетъ нехорошія видѣнія темному произволу самодуровъ. Они ожесточенно ищутъ своего врага, готовы напуститься на самаго невиннаго, на какого-нибудь Кулигина; но нѣтъ ни врага, ни виновнаго, котораго могли бы они уничтожить: законъ времени, законъ природы и исторіи беретъ свое, и тяжело дышатъ старые Кабановы, чувствуя, что есть сила выше ихъ, которой они одолѣть не могутъ, къ которой даже и подступить не знаютъ какъ. Они не хотятъ уступать (да никто покамѣстъ и не требуетъ отъ нихъ уступокъ), но съеживаются, сокращаются; прежде они хотѣли утвердить свою систему жизни, навѣки нерушимую, и теперь то же стараются проповѣдывать; но уже надежда измѣняетъ имъ, и они, въ сущности, хлопочутъ только о томъ, какъ бы на ихъ вѣкъ стало... Кабанова разсуждаетъ о томъ, что „послѣднія времена приходятъ", и когда Ѳеклуша разсказываетъ ей о разныхъ ужасахъ настоящаго времени—о желѣзныхъ дорогахъ и т. п.,—она пророчески замѣчаетъ: „И хуже, милая, будетъ".—Намъ бы только не дожить до этого,—со вздохомъ отвѣчаетъ Ѳеклуша. „Можетъ и доживемъ", фаталистически говоритъ опять Кабанова, обнаруживая свои сомнѣнія и неувѣренность. А отчего она тревожится? Народъ по желѣзнымъ дорогамъ ѣздитъ,—да ей-то что отъ этого? А вотъ видите ли: она, „хоть ты ее всю золотомъ осыпь", не *поѣдетъ* по дьявольскому изобрѣтенію; а народъ ѣздитъ, *все больше и больше*, не обращая вниманія на ея проклятія;

развѣ это не грустно, развѣ не служитъ свидѣтельствомъ ея безсилія? Объ электричествѣ провѣдали люди,—кажется, что тутъ обиднаго для Дикихъ и Кабановыхъ? Но, видите ли, Дикой говоритъ, что „гроза въ наказанье намъ посылается, чтобъ мы чувствовали", а Кулигинъ не чувствуетъ, или чувствуетъ совсѣмъ не то, и толкуетъ объ электричествѣ. Развѣ это не своеволіе, не пренебреженіе власти и значенія Дикого? Не хотятъ вѣрить тому, чему онъ вѣритъ,—значитъ, и ему не вѣрятъ, считаютъ себя умнѣе его; разсудите, къ чему же это поведетъ? Не даромъ Кабанова замѣчаетъ о Кулигинѣ: „Вотъ времена-то пришли, какіе учители проявились! Коли старикъ такъ разсуждаетъ, чего ужъ отъ молодыхъ-то требовать!" И Кабанова очень серіозно огорчается будущностью старыхъ порядковъ, съ которыми она вѣкъ изжила. Она предвидитъ конецъ ихъ, старается поддержать ихъ значеніе, но уже чувствуетъ, что нѣтъ къ нимъ прежняго почтенія, что ихъ сохраняютъ уже неохотно, только поневолѣ, и что при первой возможности ихъ бросятъ. Она уже и сама какъ-то потеряла часть своего рыцарскаго жара; уже не съ прежнею энергіей заботится она о соблюденіи старыхъ обычаевъ, во многихъ случаяхъ она ужъ махнула рукой, поникла предъ невозможностью остановить потокъ и только съ отчаяніемъ смотритъ, какъ онъ затопляетъ мало-по-малу пестрые цвѣтники ея прихотливыхъ суевѣрій. Точно послѣдніе язычники предъ силою христіанства, такъ поникаютъ и стираются порожденія самодуровъ, застигнутыя ходомъ новой жизни. Даже рѣшимости вступить на прямую открытую борьбу въ нихъ нѣтъ; они только стараются какъ-нибудь обмануть время, да разливаются въ безплодныхъ жалобахъ на новое движеніе. Жалобы эти всегда слышались отъ стариковъ, потому что всегда новыя поколѣнія вносили въ жизнь что-нибудь новое, противное прежнимъ порядкамъ; но теперь жалобы самодуровъ принимаютъ какой-то особенно мрачный, похоронный тонъ. Кабанова только тѣмъ и утѣшается, что еще какъ-нибудь, съ ея помощью, проживутъ старые порядки до ея смерти; а тамъ пусть будетъ, что угодно,—она ужъ не увидитъ. Провожая сына въ дорогу, она замѣчаетъ, что все дѣлается не такъ, какъ нужно по ея: сынъ ей и въ ноги не кланяется,—надо этого именно потребовать отъ него, а самъ не догадался; и *женѣ своей* онъ не „приказываетъ", какъ жить безъ него,

да и не умѣетъ приказать, и при прощаньѣ не требуетъ отъ нея земного поклона; и невѣстка, проводивъ мужа, не воетъ и не лежитъ на крыльцѣ, чтобы показать свою любовь. По возможности, Кабанова старается водворить порядокъ, но уже чувствуетъ, что невозможно вести дѣло совершенно по-старинѣ; напримѣръ, относительно вытья на крыльцѣ она уже только замѣчаетъ невѣсткѣ въ видѣ совѣта, но не рѣшается настоятельно требовать... Зато проводы сына внушаютъ ей такія грустныя размышленія:

„Молодость-то что́ значитъ! Смѣшно смотрѣть-то даже на нихъ! Кабы не свои, насмѣялась бы досыта. Ничего-то не знаютъ, никакого порядка. Проститься-то путемъ не умѣютъ. *Хорошо еще, у кого въ домѣ старшіе есть,*— ими домъ-то и держится, пока живы. *А вѣдь тоже, глупые, на свою волю хотятъ*, а выйдутъ на волю-то, такъ и путаются на покоръ да смѣхъ добрымъ людямъ. Конечно, кто и пожалѣетъ, а больше все смѣются. Да не смѣяться-то нельзя: гостей позовутъ—посадить не умѣютъ, да еще, гляди позабудутъ кого изъ родныхъ. Смѣхъ да и только! *Такъ-то вотъ старина-то и выводится.* Въ другой домъ и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, такъ плюнешь, да вонъ скорѣе. *Что будетъ, какъ старики-то перемрутъ, какъ будетъ свѣтъ стоять, ужъ я и не знаю. Ну, да ужъ хоть то хорошо, что не увижу ничего*“.

Пока старики перемрутъ, до тѣхъ поръ молодые успѣютъ состарѣться,—на этотъ счетъ старуха могла бы и не безпокоиться. Но ей, видите ли, важно не то собственно, чтобы всегда было кому смотрѣть за порядкомъ и научать неопытныхъ: ей нужно, чтобы всегда нерушимо сохранялись именно тѣ порядки, остались неприкосновенными именно тѣ понятія, которыя она признаетъ хорошими. Въ узости и грубости своего эгоизма, она не можетъ возвыситься даже до того, чтобы помириться на торжествѣ принципа, хотя бы и съ пожертвованіемъ существующихъ формъ; да и нельзя отъ нея ожидать этого, такъ какъ у нея собственно нѣтъ никакого принципа, нѣтъ никакого общаго убѣжденія, которое бы управляло ея жизнью. Она въ этомъ случаѣ гораздо ниже того сорта людей, которыхъ принято называть просвѣщенными консерваторами. Тѣ расширили нѣсколько свой эгоизмъ, сливъ съ нимъ требованіе порядка общаго, такъ что для сохраненія порядка они способны даже жертвовать нѣкоторыми личными вкусами и выгодами. На мѣстѣ Кабановой они бы, напримѣръ, не стали предъявлять уродливыхъ и унизительныхъ требованій земныхъ поклоновъ и оскорбительныхъ „наказовъ“ отъ мужа женѣ, а оза-

ботились бы только о сохраненіи общей идеи—что жена должна бояться своего мужа и покорствовать свекрови. Невѣстка не испытывала бы такихъ тяжелыхъ сценъ, хотя и была бы точно такъ же въ полной зависимости отъ старухи. И результатъ былъ бы тотъ, что какъ бы ни плохо было молодой женщинѣ, но терпѣніе ея продолжалось бы несравненно дольше, будучи испытываемо медленнымъ и ровнымъ гнетомъ, нежели когда оно раздражалось рѣзкими и жестокими выходками. Отсюда ясно, разумѣется, что для самой Кабановой и для той старины, которую она защищаетъ, гораздо выгоднѣе было бы отказаться отъ нѣкоторыхъ пустыхъ формъ и сдѣлать частныя уступки, чтобъ удержать сущность дѣла. Но порода Кабановыхъ не понимаетъ этого: они не дошли даже до того, чтобы представлять или защищать какой-нибудь принципъ внѣ себя,—они сами принципъ, и потому все, касающееся ихъ, они признаютъ абсолютно важнымъ. Имъ нужно не только, чтобъ ихъ уважали, но чтобъ уваженіе это выражалось именно въ извѣстныхъ формахъ: вотъ еще на какой степени стоятъ они! Оттого, разумѣется, внѣшній видъ всего, на что простирается ихъ вліяніе, болѣе сохраняетъ въ себѣ старины и кажется болѣе неподвижнымъ, чѣмъ тамъ, гдѣ люди, отказавшись отъ самодурства, стараются уже только о сохраненіи сущности своихъ интересовъ и значенія; но въ самомъ-то дѣлѣ внутреннее значеніе самодуровъ гораздо ближе къ своему концу, нежели вліяніе людей, умѣющихъ поддерживать себя и свой принципъ внѣшними уступками. Оттого-то такъ и печальна Кабанова, оттого-то такъ и бѣшенъ Дикой: они до послѣдняго момента не хотѣли укоротить своихъ широкихъ замашекъ и теперь находятся въ положеніи богатаго купца наканунѣ банкротства. Все у него попрежнему: и праздникъ онъ задаетъ сегодня, и милліонный оборотъ порѣшилъ поутру, и кредитъ еще не подорванъ; но уже ходятъ какіе-то темные слухи, что у него нѣтъ наличнаго капитала, что его аферы ненадежны, и завтра нѣсколько кредиторовъ намѣрены предъявить свои требованія; денегъ нѣтъ, отсрочки не будетъ, и все зданіе шарлатанскаго призрака богатства будетъ завтра опрокинуто.—Дѣло плохо... Разумѣется, въ подобныхъ случаяхъ, купецъ устремляетъ всю свою заботу на то, чтобы надуть своихъ кредиторовъ и заставить ихъ вѣрить въ его богатство: такъ точно Кабановы и Дикіе хло-

почутъ теперь о томъ, чтобы только продолжилась вѣра въ ихъ силу. Поправить свои дѣла они ужъ и не расчитываютъ; но они знаютъ, что ихъ своевольство еще будетъ имѣть довольно простора до тѣхъ поръ, пока всѣ будутъ робѣть передъ ними; и вотъ почему они такъ упорны, такъ высокомѣрны, такъ грозны даже въ послѣднія минуты, которыхъ уже немного осталось имъ, какъ они сами чувствуютъ. Чѣмъ менѣе чувствуютъ они дѣйствительной силы, тѣмъ сильнѣе поражаетъ ихъ вліяніе свободнаго, здраваго смысла, доказывающее имъ, что они лишены всякой разумной опоры, тѣмъ наглѣе и безумнѣе отрицаютъ они всякія требованія разума, ставя себя и свой произволъ на ихъ мѣсто. Наивность, съ которой Дикóй говоритъ Кулигину: „Хочу считать тебя мошенникомъ, такъ и считаю; и дѣла мнѣ нѣтъ до того, что ты честный человѣкъ, и отчета никому не даю, почему такъ думаю“,—эта наивность не могла бы высказаться во всей своей самодурной нелѣпости, если бы Кулигинъ не вызвалъ ея скромнымъ запросомъ: „Да за что же вы обижаете честнаго человѣка?..“ Дикóй хочетъ, видите, съ перваго же раза оборвать всякую попытку требовать отъ него отчета, хочетъ показать, что онъ выше не только отчетности, но и обыкновенной логики человѣческой. Ему кажется, что если онъ признаетъ надъ собою законы здраваго смысла, общаго всѣмъ людямъ, то его важность сильно пострадаетъ отъ этого. И, вѣдь, въ большей части случаевъ такъ дѣйствительно и выходитъ,—потому что его претензіи бываютъ противны здравому смыслу. Отсюда и развивается въ немъ вѣчное недовольство и раздражительность. Онъ самъ объясняетъ свое положеніе, когда говоритъ о томъ, какъ ему тяжело деньги выдавать.

„Что ты мнѣ прикажешь дѣлать, когда у меня сердце такое! Вѣдь, ужъ знаю, что надо отдать, а все добромъ не могу. Другъ ты мнѣ, и я тебѣ долженъ отдать, а приди ты у меня просить—обругаю. Я отдать—отдамъ, а обругаю. Потому только заикнись мнѣ о деньгахъ, у меня всю нутренную разжигать станетъ; всю нутренную разжигаетъ, да и только... Ну, и въ тѣ поры ни за что обругаю человѣка“.

Отдача денегъ, какъ фактъ матеріальный и наглядный, даже въ сознаніи самого Дикóго пробуждаетъ нѣкоторое размышленіе: онъ сознаетъ, какъ онъ нелѣпъ, и сваливаетъ вину на то, „что сердце у него такое“! Въ другихъ случаяхъ онъ даже и не сознаетъ хорошенько своей нелѣпости;

но, по сущности своего характера, непремѣнно долженъ при всякомъ торжествѣ здраваго смысла чувствовать такое же раздраженіе, какъ и тогда, когда приходитъ необходимость выдавать деньги. Ему тяжело расплачиваться вотъ почему: по естественному эгоизму онъ желаетъ, чтобъ ему было хорошо; все окружающее его убѣждаетъ, что это хорошее достается деньгами; отсюда прямая привязанность къ деньгамъ. Но тутъ его развитіе останавливается, эгоизмъ его остается въ предѣлахъ отдѣльной личности и знать не хочетъ ея отношеній къ обществу, къ своимъ ближнимъ. Ему надо побольше денегъ,—это онъ знаетъ, и потому желалъ бы ихъ только получать, а не отдавать. Когда же, по естественному ходу дѣлъ, доходитъ до отдачи, то онъ сердится и ругается: онъ принимаетъ это какъ несчастіе, наказаніе, въ родѣ пожара, наводненія, штрафа, а не какъ должную, законную расплату за то, что́ для него дѣлаютъ другіе. Такъ и во всемъ: по желанію себѣ добра, онъ хочетъ простора, независимости; но знать не хочетъ закона, опредѣляющаго пріобрѣтеніе и пользованіе всякими правами въ обществѣ. Онъ только хочетъ больше, какъ можно больше правъ для себя; когда же нужно признать ихъ за другими, онъ считаетъ это посягательствомъ на его личное достоинство, и сердится, и старается всячески оттянуть дѣло и воспрепятствовать ему. Даже когда онъ и знаетъ, что ужъ непремѣнно надо уступить и уступитъ потомъ, а все-таки прежде постарается напакостить. „Я отдать—отдамъ, а обругаю!“ И надо полагать, что чѣмъ значительнѣе выдача денегъ и чѣмъ настоятельнѣе необходимость ея, тѣмъ сильнѣе ругается Дико́й... Изъ этого слѣдуетъ, что, во-первыхъ, ругательство и все бѣшенство его, хотя и непріятны, но не особенно страшны; и кто, убоявшись ихъ, отступился бы отъ денегъ и подумалъ, что ихъ ужъ и получить нельзя, тотъ поступилъ бы очень глупо; во-вторыхъ, что напрасно было бы надѣяться на исправленіе Дико́го посредствомъ какихъ-нибудь вразумленій: привычка дурить ужъ въ немъ такъ сильна, что онъ подчиняется ей даже вопреки голосу собственнаго здраваго смысла. Ясно, что его никакія разумныя убѣжденія не остановятъ до тѣхъ поръ, пока съ ними не соединяется осязательная для него внѣшняя сила: Кулигина онъ ругаетъ, не внимая никакимъ резонамъ; а когда его самого однажды на перевозѣ, на Волгѣ, гусаръ обругалъ, такъ онъ съ гусаромъ не посмѣлъ

связаться, а опять-таки выместилъ свою обиду дома: двѣ недѣли послѣ этого всѣ прятались отъ него по чердакамъ да по чуланамъ...

Всѣ подобныя отношенія даютъ вамъ чувствовать, что положеніе Дикихъ, Кабановыхъ и всѣхъ подобныхъ имъ самодуровъ далеко уже не такъ спокойно и твердо, какъ было нѣкогда, въ блаженныя времена патріархальныхъ нравовъ. Тогда, если вѣрить сказаніямъ старыхъ людей, Дикой могъ держаться въ своей высокомѣрной прихотливости, не силою, а всеобщимъ согласіемъ. Онъ дурилъ, не думая встрѣтить противодѣйствія, и не встрѣчалъ его: все окружающее было проникнуто одной мыслью, однимъ желаніемъ— угодить ему; никто не представлялъ другой цѣли своего существованія, кромѣ исполненія его прихотей. Чѣмъ больше сумасбродствовалъ какой-нибудь дармоѣдъ, чѣмъ наглѣе попиралъ онъ права человѣчества, тѣмъ довольнѣе были тѣ, которые своимъ трудомъ кормили его и которыхъ онъ дѣлалъ жертвами своихъ фантазій. Благоговѣйные разсказы старыхъ лакеевъ о томъ, какъ ихъ вельможные бары травили мелкихъ помѣщиковъ, надругались надъ чужими женами и невинными дѣвушками, сѣкли на конюшнѣ присланныхъ къ нимъ чиновниковъ и т. п.,—разсказы военныхъ историковъ о величіи какого-нибудь Наполеона, безстрашно жертвовавшаго сотнями тысячъ людей для забавы своего генія, воспоминанія галантныхъ стариковъ о какомъ-нибудь Донъ-Жуанѣ ихъ времени, который „никому спуску не давалъ“ и умѣлъ опозорить всякую дѣвушку и перессорить всякое семейство,—всѣ подобные разсказы доказываютъ, что еще и не очень далеко отъ насъ это патріархальное время. Но, къ великому огорченію самодурныхъ дармоѣдовъ,—оно быстро отъ насъ удаляется, и теперь положеніе Дикихъ и Кабановыхъ далеко не такъ пріятно: они должны заботиться о томъ, чтобъ укрѣпить и оградить себя, потому что отвсюду возникаютъ требованія, враждебныя ихъ произволу и грозящія имъ борьбою съ пробуждающимся здравымъ смысломъ огромнаго большинства человѣчества.—Отсюда возникаетъ постоянная подозрительность, щепетильность и придирчивость самодуровъ: сознавая внутренно, что ихъ не за что уважать, но не признаваясь въ этомъ даже самимъ себѣ, они обнаруживаютъ недостатокъ увѣренности въ себѣ мелочностью своихъ требованій и постоянными, кстати и некстати,

напоминаніями и внушеніями о томъ, что ихъ должно уважать. Эта черта чрезвычайно выразительно проявляется въ *Грозѣ*, въ сценѣ Кабановой съ дѣтьми, когда она, въ отвѣтъ на покорное замѣчаніе сына: „Могу ли я, маменька, васъ ослушаться"—возражаетъ: „Не очень-то нынче старшихъ-то уважаютъ!" и затѣмъ начинаетъ пилить сына и невѣстку, такъ что душу вытягиваетъ у посторонняго зрителя.

Кабановъ. Я, кажется, маменька, изъ вашей воли ни на шагъ.

Кабанова. Повѣрила бы я тебѣ, мой другъ, кабы своими глазами не видала, да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтеніе родителямъ отъ дѣтей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болѣзней отъ дѣтей переносятъ.

Кабановъ. Я, маменька...

Кабанова. Если родительница что когда и обидное по вашей гордости скажетъ, такъ, я думаю, можно бы перенести! А, какъ ты думаешь?

Кабановъ. Да когда же я, маменька, не переносилъ отъ васъ?

Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны съ насъ, дураковъ, и взыскивать

Кабановъ *(вздыхая,—въ сторону).* Ахъ ты, Господи! *(Матери.)* Да смѣемъ ли мы, маменька, подумать!

Кабанова. Вѣдь, отъ любви родители и строги-то къ вамъ бываютъ, отъ любви васъ и бранять-то, все думаютъ—добру научатъ. Ну, а это нынче не нравится. И пойдутъ дѣтки-то по людямъ славить, что мать ворчунья, что мать проходу не даетъ, со свѣту сживетъ... А, сохрани Господи, какимъ-нибудь словомъ снохѣ не угодить,—ну, и пошелъ разговоръ, что свекровь заѣла совсѣмъ.

Кабановъ. Нешто, маменька, кто говоритъ про васъ?

Кабанова. *Не слыхала, мой другъ, не слыхала, лгать не хочу. Ужъ кабы я слышала, я бы съ тобой, мой милый, тогда не такъ заговорила.*

И послѣ этого сознанія, старуха все-таки продолжаетъ на цѣлыхъ двухъ страницахъ пилить сына. Она не имѣетъ на это никакихъ резоновъ, но у ней сердце неспокойно: сердце у нея вѣщунъ, оно даетъ ей чувствовать, что что-то неладно, что внутренняя, живая связь между нею и младшими членами семьи давно рушилась, и теперь они только механически связаны съ нею и рады были бы всякому случаю развязаться.

Мы очень долго останавливались на господствующихъ лицахъ *Грозы*, потому что, по нашему мнѣнію, исторія, разыгравшаяся съ Катериною, рѣшительно зависитъ отъ того положенія, какое неизбѣжно выпадаетъ на ея долю между этими лицами, въ томъ бытѣ, который установился подъ ихъ вліяніемъ. *Гроза* есть, безъ сомнѣнія, самое рѣшительное произведеніе Островскаго; взаимныя отношенія самодур-

ства и безгласности доведены въ ней до самыхъ трагическихъ послѣдствій; и при всемъ томъ большая часть читавшихъ и видѣвшихъ эту пьесу соглашается, что она производитъ впечатлѣніе менѣе тяжкое и грустное, нежели другія пьесы Островскаго (не говоря, разумѣется, объ его этюдахъ чисто-комическаго характера). Въ *Грозѣ* есть даже что-то освѣжающее и ободряющее. Это „что-то" и есть, по нашему мнѣнію, фонъ пьесы, указанный нами и обнаруживающій шаткость и близкій конецъ самодурства. Затѣмъ, самый характеръ Катерины, рисующійся на этомъ фонѣ, тоже вѣетъ на насъ новою жизнью, которая открывается намъ въ самой ея гибели.

Дѣло въ томъ, что характеръ Катерины, какъ онъ исполненъ въ *Грозѣ*, составляетъ шагъ впередъ, не только въ драматической дѣятельности Островскаго, но и во всей нашей литературѣ. Онъ соотвѣтствуетъ новой фазѣ нашей народной жизни, онъ давно требовалъ своего осуществленія въ литературѣ, около него вертѣлись наши лучшіе писатели; но они умѣли только понять его надобность и не могли уразумѣть и почувствовать его сущности: это сумѣлъ сдѣлать Островскій. Ни одна изъ критикъ на *Грозу* не хотѣла, или не умѣла, представить надлежащей оцѣнки этого характера: поэтому мы рѣшаемся еще продлить нашу статью, чтобы съ нѣкоторой обстоятельностью изложить, какъ мы понимаемъ характеръ Катерины и почему созданіе его считаемъ такъ важнымъ для нашей литературы.

Русская жизнь дошла, наконецъ, до того, что добродѣтельныя и почтенныя, но слабыя и безличныя существа не удовлетворяютъ общественнаго сознанія и признаются никуда негодными. Почувствовалась неотлагаемая потребность въ людяхъ, хотя бы и менѣе прекрасныхъ, но болѣе дѣятельныхъ и энергичныхъ. Иначе и невозможно: какъ скоро сознаніе правды и права, здравый смыслъ проснулись въ людяхъ, они непремѣнно требуютъ не только отвлеченнаго съ ними согласія (которымъ такъ блистали всегда добродѣтельные герои прежняго времени), но и внесенія ихъ въ жизнь и въ дѣятельность. Но чтобы внести ихъ въ жизнь, надо побороть много препятствій, подставляемыхъ Дикими, Кабановыми и т. п.; для преодолѣнія препятствій нужны характеры предпріимчивые, рѣшительные, настойчивые. Нужно, чтобы въ нихъ воплотилось, съ ними слилось то

общее требованіе правды и права, которое, наконецъ, прорывается въ людяхъ сквозь всѣ преграды, поставленныя Дикими-самодурами. Теперь большая задача представлялась въ томъ, какъ же долженъ образоваться и проявиться характеръ, требуемый у насъ новымъ поворотомъ общественной жизни. Задачу эту пытались разрѣшать наши писатели, но всегда болѣе или менѣе неудачно. Намъ кажется, что всѣ ихъ неудачи происходили оттого, что они простологическимъ процессомъ доходили до убѣжденія, что такого характера ищетъ русская жизнь, и затѣмъ кроили его сообразно съ своими понятіями о требованіяхъ доблести, вообще, и русской, въ особенности. Такимъ образомъ и явился, напримѣръ, Калиновичъ, чуть не таскающій купца за бороду, чтобъ тотъ пожертвовалъ десять тысячъ на пользу общества, и истязающій въ тюрьмѣ стараго князя, на любовницѣ котораго женился, чтобы составить себѣ карьеру. Такъ явился и Штольцъ, отлично управляющій имѣніями и умѣющій живо уничтожать фальшивые векселя, при помощи благодѣтельнаго начальства. Явился Инсаровъ, бросающій нѣмца въ воду, не соглашающійся жить даромъ, въ гостяхъ, на дачѣ у пріятеля и даже рѣшающійся жениться на любимой дѣвушкѣ! Явилась и княжна Зинаида, нѣчто среднее между Печоринымъ и Ноздревымъ въ юбкѣ... Все это были претензіи на сильные, цѣльные характеры. Но верхъ ихъ представлялъ въ прошломъ году Ананій Яковлевъ, по поводу котораго московскій господинъ Аполлонъ Майковъ напечаталъ такую удивительную статейку въ „Санктпетербургскихъ Вѣдомостяхъ", что я не постигаю, какъ Кузьма Прутковъ до сихъ поръ не составилъ изъ нея новой серіи афоризмовъ. Вамъ извѣстно, можетъ-быть, что Ананій Яковлевъ, извѣстясь о младенцѣ, котораго въ его отсутствіе прижила жена его съ помѣщикомъ, воспаляется гнѣвомъ и, весьма почтительно объясняясь съ помѣщикомъ, грубитъ, однакоже, бурмистру, колотитъ свою жену и, наконецъ, разъярившись донельзя, хватаетъ младенца объ уголъ головой, послѣ чего бѣжитъ въ лѣсъ, но, проголодавшись, предаетъ себя въ руки правосудія. Лицо, очевидно, сильное, хотя болѣе въ физическомъ, нежели въ нравственномъ и литературномъ смыслѣ. Но не эта сила рвется наружу изъ тайниковъ русской жизни, и не таково должно быть ея проявленіе. Оттого-то мы вовсе не понимаемъ, какимъ обра-

зомъ можно „Горькую судьбину“ возвышать надъ уровнемъ безчисленнаго множества повѣстей, комедій и драмъ, обличающихъ крѣпостное право, тупость чиновничества и грубость русскаго мужика. Если вы даете ее намъ, какъ пьесу безъ особенныхъ претензій, просто мелодраматическій случай, въ родѣ жестокихъ произведеній Сю, то мы ничего не говоримъ и останемся даже довольны: все-таки это лучше, нежели, напр., умильныя представленія г. Н. Львова и графа Соллогуба, поражающія васъ полнымъ искаженіемъ понятій о долгѣ и чести. Но если вы претендуете на какое-то болѣе высокое и общее значеніе этой пьесы, то мы рѣшительно не видимъ никакой возможности согласиться съ вами. Ананій Яковлевъ, взятый не какъ малодушное исключеніе, а какъ типъ, представляется намъ клеветою на русскую натуру и русскую жизнь, которая такъ же мало способна развивать характеры, подобные Ананію, какъ и помѣщиковъ, подобныхъ Чеглову. Одно изъ двухъ: если Ананій точно сильная натура, какъ его и хочетъ представить авторъ, тогда онъ гнѣвъ свой долженъ обратить прямо на причину своего несчастія, либо совсѣмъ преодолѣть себя по соображенію, что тутъ никто невиноватъ; такія развязки постоянно мы и видимъ въ русской жизни, когда сильные характеры сталкиваются съ враждебными обстоятельствами. Если же онъ просто малодушный и безтолковый озорникъ, какъ выходитъ по сущности дѣла, то нужно признаться, что положеніе, взятое для него въ пьесѣ, вовсе нейдетъ къ этому типу, да и развито совсѣмъ не такъ, чтобъ ярко обозначить его существенныя черты. Впрочемъ,—Богъ съ ней, съ этою пьесой: она уже забыта теперь, какъ забытъ князь Луповицкій и другія благонамѣренныя, но фальшивыя произведенія, имѣвшія претензію на представленіе характеристическихъ народныхъ типовъ. Мы остановились на минуту передъ нею потому только, что многіе принимали Ананія за чисто-русскій типъ. А намъ, напротивъ, показалось, что въ немъ просто дается намъ утрировка того, что у нѣкоторыхъ писателей называется „широтою русской натуры“. Авторъ „Горькой судьбины“, по нашему мнѣнію, ненамѣренно достигаетъ результата, подобнаго тому, какой достигался комедіями, писанными по повелѣнію Петра Великаго противъ раскольниковъ. Извѣстно, что въ тѣхъ комедіяхъ раскольникъ *всегда выставлялся* какимъ-то дикимъ и безсмысленнымъ

чудовищемъ, и, такимъ образомъ, комедія говорила: „Смотрите, вотъ они каковы; можно ли довѣряться ихъ ученію и соглашаться на ихъ требованія?“ Такъ точно и „Горькая судьбина“, рисуя намъ Ананія Яковлева, говоритъ: „Вотъ каковъ русскій человѣкъ, когда онъ почувствуетъ немножко свое личное достоинство и, вслѣдствіе того, расходится!“ И критики, признающіе за „Горькою судьбиной“ общее значеніе и видящіе въ Ананіи типъ, дѣлаются соучастниками этой клеветы, конечно, не намѣренной со стороны автора.

Не такъ понятъ и выраженъ русскій сильный характеръ въ *Грозѣ*. Онъ прежде всего поражаетъ насъ своею противоположностью всякимъ самодурнымъ началамъ. Не съ инстинктомъ буйства и разрушенія, но и не съ практическою ловкостью—улаживать для высокихъ цѣлей свои собственныя дѣлишки—не съ безсмысленнымъ, трескучимъ паѳосомъ, но и не съ дипломатическимъ, педантскимъ расчетомъ является онъ передъ нами. Нѣтъ, онъ сосредоточенно-рѣшителенъ, неуклонно вѣренъ чутью естественной правды, исполненъ вѣры въ новые идеалы и самоотверженъ, въ томъ смыслѣ, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тѣхъ началахъ, которыя ему противны. Онъ водится не отвлеченными принципами, не практическими соображеніями не мгновеннымъ паѳосомъ, а просто *натурою*, всѣмъ существомъ своимъ. Въ этой цѣльности и гармоніи характера заключается его сила и существенная необходимость его въ то время, когда старыя, дикія отношенія, потерявъ всякую внутреннюю силу, продолжаютъ держаться внѣшнею механическою связью. Человѣкъ, только логически понимающій нелѣпость самодурства Дикихъ и Кабановыхъ, ничего не сдѣлаетъ противъ нихъ уже потому, что предъ ними всякая логика исчезаетъ; никакими силлогизмами вы не убѣдите цѣпь, чтобъ она распалась на узникѣ, кулакъ, чтобъ отъ него не было больно прибитому; такъ не убѣдите вы и Дикого поступать разумнѣе, да не убѣдите и его домашнихъ—не слушать его прихотей: приколотитъ онъ ихъ всѣхъ, да и только, что съ этимъ дѣлать будешь? Очевидно, что характеры, сильные одною логическою стороной, должны развиваться очень убого и имѣть весьма слабое вліяніе на общую дѣятельность тамъ, гдѣ всею жизнью управляетъ не логика, а чистѣйшій произволъ. Не очень

благопріятно господство Дикихъ и для развитія людей, сильныхъ такъ-называемымъ практическимъ смысломъ. Что ни говорите объ этомъ смыслѣ, но въ сущности онъ есть не что иное, какъ умѣнье пользоваться обстоятельствами и располагать ихъ въ свою пользу. Значитъ, практическій смыслъ можетъ вести человѣка къ прямой и честной дѣятельности только тогда, когда обстоятельства располагаются сообразно съ здравою логикой и, слѣдовательно, съ естественными требованіями человѣческой нравственности. Но тамъ, гдѣ все зависитъ отъ грубой силы, гдѣ неразумная прихоть нѣсколькихъ Дикихъ или суевѣрное упрямство какой-нибудь Кабановой разрушаетъ самые вѣрные логическіе расчеты и нагло презираетъ самыя первыя основанія взаимныхъ правъ, тамъ умѣнье пользоваться обстоятельствами, очевидно, превращается въ умѣнье примѣняться къ прихотямъ самодуровъ и поддѣлываться подъ всѣ ихъ нелѣпости, чтобъ и себѣ проложить дорожку къ ихъ выгодному положенію. Подхалюзины и Чичиковы—вотъ сильные практическіе характеры „темнаго царства“: другихъ не развивается между людьми чисто-практическаго закала, подъ вліяніемъ господства Дикихъ. Самое лучшее, о чемъ можно мечтать для этихъ практиковъ, это уподобленіе Штольцу, т.-е. умѣнье обдѣлывать кругленько свои дѣлишки безъ подлостей; но общественный живой дѣятель изъ нихъ не явится. Не больше надеждъ можно полагать и на характеры патетическіе, живущіе минутою и вспышкою. Ихъ порывы случайны и кратковременны; ихъ практическое значеніе опредѣляется удачей. Пока все идетъ согласно ихъ надеждамъ, они бодры, предпріимчивы; какъ скоро противодѣйствіе сильно, они падаютъ духомъ, охладѣваютъ, отступаются отъ дѣла и ограничиваются безплодными, хотя и громкими восклицаніями. И такъ какъ Дико'й и ему подобные вовсе неспособны отдать свое значеніе и свою силу безъ сопротивленія, такъ какъ ихъ вліяніе врѣзало уже глубокіе слѣды въ самомъ бытѣ и потому не можетъ быть уничтожено однимъ разомъ, то на патетическіе характеры нечего и смотрѣть, какъ на что-нибудь серіозное. Даже при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, когда бы видимый успѣхъ ободрялъ ихъ, т.-е. когда бы самодуры могли понять шаткость своего положенія и стали дѣлать уступки,—и тогда патетическіе люди не очень много бы *сдѣлали*! Они отличаются тѣмъ, что, увлекаясь внѣшнимъ

видомъ и ближайшими послѣдствіями дѣла, никогда почти не умѣютъ заглянуть въ глубину, въ самую сущность дѣла. Оттого они очень легко удовлетворяются, обманутые какими-нибудь частными, ничтожными признаками успѣха ихъ началъ. Когда же ошибка ихъ станетъ ясною для нихъ самихъ, тогда они дѣлаются разочарованными, впадаютъ въ апатію и ничегонедѣланіе. Дикой и Кабанова продолжаютъ торжествовать.

Такимъ образомъ, перебирая разнообразные типы, являвшіеся въ нашей жизни и воспроизведенные литературою, мы постоянно приходили къ убѣжденію, что они не могутъ служить представителями того общественнаго движенія, которое чувствуется у насъ теперь и о которомъ мы—по возможности подробно—говорили выше. Видя это, мы спрашивали себя: какъ же, однако, опредѣлятся новыя стремленія въ отдѣльной личности? Какими чертами долженъ отличаться характеръ, которымъ совершится рѣшительный разрывъ съ старыми, нелѣпыми и насильственными отношеніями жизни? Въ дѣйствительной жизни пробуждающагося общества мы видѣли лишь намеки на рѣшеніе нашихъ вопросовъ, въ литературѣ—слабое повтореніе этихъ намековъ; но въ „*Грозѣ*“ составлено изъ нихъ цѣлое, уже съ довольно ясными очертаніями; здѣсь является передъ нами лицо, взятое прямо изъ жизни, но выясненное въ сознаніи художника и поставленное въ такія положенія, которыя даютъ ему обнаруживаться полнѣе и рѣшительнѣе, нежели какъ бываетъ въ большинствѣ случаевъ обыкновенной жизни. Такимъ образомъ, здѣсь нѣтъ дагерротипной точности, въ которой нѣкоторые критики обвиняли Островскаго; но есть именно художественное соединеніе однородныхъ чертъ, проявляющихся въ разныхъ положеніяхъ русской жизни, но служащихъ выраженіемъ одной идеи.

Рѣшительный, цѣльный русскій характеръ, дѣйствующій въ средѣ Дикихъ и Кабановыхъ, является у Островскаго въ женскомъ типѣ, и это не лишено своего серіознаго значенія. Извѣстно, что крайности отражаются крайностями и что самый сильный протестъ бываетъ тотъ, который поднимается, наконецъ, изъ груди самыхъ слабыхъ и терпѣливыхъ. Поприще, на которомъ Островскій наблюдаетъ и показываетъ намъ русскую жизнь, не касается отношеній чисто общественныхъ и государственныхъ, а ограничивается семей-

ствомъ; въ семействѣ же кто болѣе всего выдерживаетъ на себѣ весь гнетъ самодурства, какъ не женщина? Какой приказчикъ, работникъ, слуга Дикóго можетъ быть столько загнанъ, забитъ, отрѣшенъ отъ своей личности, какъ его жена? У кого можетъ накипѣть столько горя и негодованія противъ нелѣпыхъ фантазій самодура? И, въ то же время, кто менѣе ея имѣетъ возможности высказать свой ропотъ, отказаться отъ исполненія того, чтó ей противно? Слуги и приказчики связаны только матеріально, людскимъ образомъ: они могутъ оставить самодура тотчасъ, какъ найдутъ себѣ другое мѣсто. Жена, по господствующимъ понятіямъ, связана съ нимъ неразрывно, духовно, посредствомъ таинства; что бы мужъ ни дѣлалъ, она должна ему повиноваться и раздѣлять съ нимъ безсмысленную жизнь. Да если бы, наконецъ она и могла уйти, то куда она дѣнется, за что примется? Кудряшъ говоритъ: „Я нуженъ Дикóму, поэтому я не боюсь его и вольничать ему надъ собою не дамъ". Легко человѣку, который пришелъ къ сознанію того, что онъ дѣйствительно нуженъ для другихъ; но женщина, жена? Къ чему нужна она? Не сама ли она, напротивъ, все беретъ отъ мужа? Мужъ ей даетъ жилище, поитъ, кормитъ, одѣваетъ, защищаетъ ее, даетъ ей положеніе въ обществѣ... Не считается ли она, обыкновенно, обремененіемъ для мужчины? Не говорятъ ли благоразумные люди, удерживая молодыхъ людей отъ женитьбы: „Жена-то, вѣдь, не лапоть, съ ноги не сбросишь!" И въ общемъ мнѣніи самая главная разница жены отъ лаптя въ томъ и состоитъ, что она приноситъ съ собою цѣлую обузу заботъ, отъ которыхъ мужъ не можетъ избавиться, тогда какъ лапоть даетъ только удобство, а если неудобенъ будетъ, то легко можетъ быть сброшенъ... Находясь въ подобномъ положеніи, женщина, разумѣется, должна позабыть, что и она такой же человѣкъ, съ такими же самыми правами, какъ и мужчина. Она можетъ только деморализоваться, и если личность въ ней сильна, то получитъ наклонность къ тому же самодурству, отъ котораго она столько страдала. Это мы и видимъ, напримѣръ, въ Кабанихѣ, точно такъ, какъ мы видѣли въ Уланбековой. Ея самодурство только у́же и мельче и оттого, можетъ-быть, еще безсмысленнѣе мужского: размѣры его меньше, но зато въ своихъ предѣлахъ, на тѣхъ, кто ужъ ему попался, она дѣйствуетъ еще несноснѣе. Дикóй ругается, Кабанова ворчитъ; тотъ

прибьетъ, да и кончено, а эта грызетъ свою жертву долго и неотступно; тотъ шумитъ изъ-за своихъ фантазій и довольно равнодушенъ къ вашему поведенію, покамѣстъ оно до него не коснется; Кабаниха создала себѣ цѣлый мірокъ особенныхъ правилъ и суевѣрныхъ обычаевъ, за которые стоитъ со всѣмъ тупоуміемъ самодурства. Вообще—въ женщинѣ, даже достигшей положенія независимаго и con amore упражняющейся въ самодурствѣ, видно всегда ея сравнительное безсиліе, слѣдствіе вѣкового ея угнетенія: она тяжеле, подозрительнѣй, бездушнѣй въ своихъ требованіяхъ; здравому разсужденію она не поддается уже не потому, что презираетъ его, а скорѣе потому, что боится съ нимъ не справиться: „Начнешь, дескать, разсуждать, а еще что изъ этого выйдетъ,—оплетутъ какъ разъ",—и, вслѣдствіе того, она строго держится старины и различныхъ наставленій, сообщенныхъ ей какою-нибудь Ѳеклушею...

Ясно изъ этого, что если ужъ женщина захочетъ высвободиться изъ подобнаго положенія, то ея дѣло будетъ серіозно и рѣшительно. Какому-нибудь Кудряшу ничего не стоитъ поругаться съ Дикимъ; оба они нужны другъ-другу, и, стало-быть, со стороны Кудряша не нужно особеннаго героизма для предъявленія своихъ требованій. Зато его выходка и не поведетъ ни къ чему серіозному: поругается онъ, Дикой погрозитъ отдать его въ солдаты, да не отдастъ; Кудряшъ будетъ доволенъ тѣмъ, что отгрызся, а дѣла опять пойдутъ попрежнему. Не то съ женщиной: она должна имѣть много силы характера уже и для того, чтобы заявить свое недовольство, свои требованія. При первой же попыткѣ, ей дадутъ почувствовать, что она ничто, что ее раздавить могутъ. Она знаетъ, что это дѣйствительно такъ, и должна смириться; иначе надъ нею исполнятъ угрозу—прибьютъ, запрутъ, оставятъ на покаяніи, на хлѣбѣ и на водѣ, лишатъ свѣта дневного, испытаютъ всѣ домашнія исправительныя средства добраго стараго времени и приведутъ-таки къ покорности. Женщина, которая хочетъ итти до конца въ своемъ возстаніи противъ угнетенія и произвола старшихъ въ русской семьѣ, должна быть исполнена героическаго самоотверженія, должна на все рѣшиться и ко всему быть готова. Какимъ образомъ можетъ она выдержать себя? Гдѣ взять ей столько характера? На это только и можно отвѣчать тѣмъ, что естественныхъ стремленій человѣческой

природы совсѣмъ уничтожить нельзя. Можно ихъ наклонять въ сторону, давить, сжимать, но все это только до извѣстной степени. Торжество ложныхъ положеній показываетъ только, до какой степени можетъ доходить упругость человѣческой натуры; но чѣмъ положеніе неестественнѣе, тѣмъ ближе и необходимѣе выходить изъ него. И значитъ, ужъ оно очень неестественно, когда его не выдерживаютъ даже самыя гибкія натуры, наиболѣе подчинявшіяся вліянію силы, производившей такія положенія. Если ужъ и гибкое тѣло дитяти не поддается какому-нибудь гимнастическому фокусу, то очевидно, что онъ невозможенъ для взрослыхъ, которыхъ члены болѣе тверды. Взрослые, конечно, и не допустятъ съ собою такого фокуса; но надъ дитятею легко могутъ его попробовать. Гдѣ беретъ дитя характеръ для того, чтобъ ему воспротивиться всѣми силами, хотя бы за сопротивленіе обѣщано было самое страшное наказаніе? Отвѣтъ одинъ: въ невозможности выдержать то, къ чему его принуждаютъ... То же самое надо сказать и о слабой женщинѣ, рѣшающейся на борьбу за свои права: дѣло дошло до того, что ей ужъ невозможно дальше выдерживать свое униженіе, вотъ она и рвется изъ него, уже не по соображенію того, что́ лучше и что́ хуже, а только по инстинктивному стремленію къ тому, что́ выносимо и возможно. *Натура* замѣняетъ здѣсь и соображенія разсудка, и требованія чувства и воображенія: все это сливается въ общемъ чувствѣ организма, требующаго себѣ воздуха, пищи, свободы. Здѣсь-то и заключается тайна цѣльности характеровъ, появляющихся въ обстоятельствахъ, подобныхъ тѣмъ, какія мы видѣли въ *Грозѣ*, въ обстановкѣ, окружающей Катерину.

Такимъ образомъ, возникновеніе женскаго энергическаго характера вполнѣ соотвѣтствуетъ тому положенію, до какого доведено самодурство въ драмѣ Островскаго. Оно дошло до крайности, до отрицанія всякаго здраваго смысла; оно болѣе, чѣмъ когда-нибудь, враждебно естественнымъ требованіямъ человѣчества и ожесточеннѣе прежняго силится остановить ихъ развитіе, потому что въ торжествѣ ихъ видитъ приближеніе своей неминуемой гибели. Черезъ это оно еще болѣе вызываетъ ропотъ и протестъ даже въ существахъ самыхъ слабыхъ. А вмѣстѣ съ тѣмъ, самодурство, какъ мы видѣли, потеряло свою самоувѣренность, лишилось и твердости въ дѣйствіяхъ, утратило и значительную долю той силы, кото-

рая заключалась для него въ наведеніи страха на всѣхъ. Поэтому протестъ противъ него не заглушается уже въ самомъ началѣ, а можетъ превратиться въ упорную борьбу. Тѣ, которымъ еще сносно жить, не хотятъ теперь рисковать на подобную борьбу, въ надеждѣ, что и такъ недолго прожить самодурству. Мужъ Катерины, молодой Кабановъ, хоть и много терпитъ отъ старой Кабанихи, но все же онъ свободнѣе: онъ можетъ и къ Савелу Прокофьичу выпить сбѣгать, онъ и въ Москву съѣздитъ отъ матери и тамъ развернется на волѣ, а коли плохо ему ужъ очень придется отъ старухи, такъ есть на комъ вылить свое сердце—онъ на жену вскинется... Такъ и живетъ себѣ и воспитываетъ свой характеръ, ни на что не годный, все въ тайной надеждѣ, что вырвется какъ-нибудь на волю. Женѣ его нѣтъ никакой надежды, никакой отрады, передышаться ей нельзя; если можетъ, то пусть живетъ безъ дыханія, забудетъ, что есть вольный воздухъ на свѣтѣ, пусть отречется отъ своей природы и сольется съ капризнымъ деспотизмомъ старой Кабанихи. Но вольный воздухъ и свѣтъ, вопреки всѣмъ предосторожностямъ погибающаго самодурства, врываются въ келью Катерины; она чувствуетъ возможность удовлетворить естественной жаждѣ своей души и не можетъ долѣе оставаться неподвижною: она рвется къ новой жизни, хотя бы пришлось умереть въ этомъ порывѣ. Что ей смерть? Все равно—она не считаетъ жизнью и то прозябаніе, которое выпало ей на долю въ семьѣ Кабановыхъ.

Такова основа всѣхъ дѣйствій характера, изображеннаго въ *Грозѣ*. Основа эта надежнѣе всѣхъ возможныхъ теорій и паѳосовъ, потому что она лежитъ въ самой сущности даннаго положенія, влечетъ человѣка къ дѣлу неотразимо, не зависитъ отъ той или другой способности или впечатлѣнія въ частности, а опирается на всей сложности требованій организма, на выработкѣ всей натуры человѣка. Теперь любопытно, какъ развивается и проявляется подобный характеръ въ частныхъ случаяхъ. Мы можемъ прослѣдить его развитіе по личности Катерины.

Прежде всего, васъ поражаетъ необыкновенная своеобразность этого характера. Ничего нѣтъ въ немъ внѣшняго, чужого, а все выходитъ какъ-то изнутри его; всякое впечатлѣніе перерабатывается въ немъ и затѣмъ срастается съ нимъ органически. Это мы видимъ, напримѣръ, въ просто-

душномъ разсказѣ Катерины о своемъ дѣтскомъ возрастѣ и о жизни въ домѣ у матери. Оказывается, что воспитаніе и молодая жизнь ничего не дали ей: въ домѣ ея матери было то же, что у Кабановыхъ,—ходили въ церковь, шили золотомъ по бархату, слушали разсказы странницъ, обѣдали, гуляли по саду, опять бесѣдовали съ богомолками и сами молились... Выслушавъ разсказъ Катерины, Варвара, сестра ея мужа, съ удивленіемъ замѣчаетъ: „Да, вѣдь, и у насъ то же самое". Но разница опредѣляется Катериною очень быстро въ пяти словахъ: „Да здѣсь все какъ-будто изъ-подъ неволи!" И дальнѣйшій характеръ показываетъ, что во всей этой внѣшности, которая такъ обыденна у насъ повсюду, Катерина умѣла находить свой особенный смыслъ, примѣнять ее къ своимъ потребностямъ и стремленіямъ, пока не налегла на нее тяжелая рука Кабанихи. Катерина вовсе не принадлежитъ къ буйнымъ характерамъ, никогда не довольнымъ, любящимъ разрушать, во что бы то ни стало. Напротивъ, это характеръ, по преимуществу, созидающій, любящій, идеальный. Вотъ почему она старается все осмыслить и облагородить въ своемъ воображеніи; то настроеніе, при которомъ, по выраженію поэта,

Весь міръ мечтою благородной
Передъ нимъ очищенъ и омытъ,—

это настроеніе до послѣдней крайности не покидаетъ Катерину. Всякій внѣшній диссонансъ она старается согласить съ гармоніей своей души, всякій недостатокъ покрываетъ изъ полноты своихъ внутреннихъ силъ. Грубые, суевѣрные разсказы и безсмысленныя бредни странницъ превращаются у ней въ золотые, поэтическіе сны воображенія, не устрашающіе, а ясные, добрые. Бѣдны ея образы, потому что матеріалы, представляемые ей дѣйствительностью, такъ однообразны; но и съ этими скудными средствами ея воображеніе работаетъ неутомимо и уноситъ ее въ новый міръ, тихій и свѣтлый. Не обряды занимаютъ ее въ церкви: она совсѣмъ и не слышитъ, что́ тамъ поютъ и читаютъ; у ней въ душѣ иная музыка, иныя видѣнія, для нея служба кончается непримѣтно, какъ-будто въ одну секунду. Ее занимаютъ деревья, странно нарисованныя на образахъ, и она воображаетъ себѣ цѣлую страну садовъ, гдѣ все такія деревья, и все это цвѣтетъ, благоухаетъ, все полно райскаго пѣнія. А *то увидитъ она* въ солнечный день, какъ „изъ купола свѣт-

лый такой столбъ внизъ идетъ, и въ этомъ столбѣ ходитъ дымъ, точно облака",—и вотъ она уже видитъ, „будто ангелы въ этомъ столбѣ летаютъ и поютъ". Иногда представится ей,—отчего бы и ей не летать? И когда на горѣ стоитъ, то такъ ее и тянетъ летѣть: вотъ такъ бы разбѣжалась, подняла руки, да и полетѣла. Она странная, сумасбродная, съ точки зрѣнія окружающихъ; но это потому, что она никакъ не можетъ принять въ себя ихъ воззрѣній и наклонностей. Она беретъ отъ нихъ матеріалы, потому что иначе взять ихъ не откуда; но не беретъ выводовъ, а ищетъ ихъ сама, и часто приходитъ вовсе не къ тому, на чемъ успокаиваются они. Подобное отношеніе къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ мы замѣчаемъ и въ другой средѣ, въ людяхъ, по своему воспитанію привыкшихъ къ отвлеченнымъ разсужденіямъ и умѣющихъ анализировать свои чувства. Вся разница въ томъ, что у Катерины, какъ личности непосредственной, живой, все дѣлается по влеченію натуры, безъ отчетливаго сознанія, а у людей, развитыхъ теоретически и сильныхъ умомъ, главную роль играетъ логика и анализъ. Сильные умы именно и отличаются тою внутреннею силой, которая даетъ имъ возможность не поддаваться готовымъ воззрѣніямъ и системамъ, а самимъ создавать свои взгляды и выводы на основаніи живыхъ впечатлѣній. Они ничего не отвергаютъ сначала, но ни на чемъ не останавливаются, а только все принимаютъ къ свѣдѣнію и перерабатываютъ по-своему. Аналогическіе результаты представляетъ намъ и Катерина, хотя она и не резонируетъ и даже не понимаетъ сама своихъ ощущеній, а водится прямо натурою. Въ сухой, однообразной жизни своей юности, въ грубыхъ и суевѣрныхъ понятіяхъ окружающей среды, она постоянно умѣла брать то, что соглашалось съ ея естественными стремленіями къ красотѣ, гармоніи, довольству, счастію. Въ разговорахъ странницъ, въ земныхъ поклонахъ и причитаніяхъ она видѣла не мертвую форму, а что-то другое, къ чему постоянно стремилось ея сердце. На основаніи ихъ она строила себѣ иной міръ, безъ страстей, безъ нужды, безъ горя, міръ, весь посвященный добру и наслажденію. Но въ чемъ настоящее добро и истинное наслажденіе для человѣка, она не могла опредѣлить себѣ; вотъ отчего эти внезапные порывы какихъ-то безотчетныхъ, неясныхъ стремленій, о которыхъ она вспоминаетъ:

„Иной разъ, бывало, рано утромъ въ садъ уйду, еще только солнышко восходитъ—упаду на колѣни, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чемъ молюсь и о чемъ плачу; такъ меня и найдутъ. И объ чемъ я молилась, тогда, чего просила—не знаю; ничего мнѣ ненадобно, всего у меня было довольно".

Бѣдная дѣвочка, не получившая широкаго теоретическаго образованія, не знающая всего, что на свѣтѣ дѣлается, не понимающая хорошенько даже своихъ собственныхъ потребностей, не можетъ, разумѣется, дать себѣ отчета въ томъ, что ей нужно. Покамѣстъ она живетъ у матери, на полной свободѣ, безъ всякой житейской заботы, пока еще не обозначились въ ней потребности и страсти взрослаго человѣка, она не умѣетъ даже отличить своихъ собственныхъ мечтаній, своего внутренняго міра—отъ внѣшнихъ впечатлѣній. Забываясь среди богомолокъ въ своихъ радужныхъ думахъ и гуляя въ своемъ свѣтломъ царствѣ, она все думаетъ, что ея довольство происходитъ именно отъ этихъ богомолокъ, отъ лампадокъ, зажженныхъ по всѣмъ угламъ въ домѣ, отъ причитаній, раздающихся вокругъ нея: своими чувствами она одушевляетъ мертвую обстановку, въ которой живетъ, и сливаетъ съ нею внутренній міръ души своей. Это періодъ дѣтства, для многихъ тянущійся долго, очень долго, но все-таки имѣющій свой конецъ. Если конецъ приходитъ очень поздно, если человѣкъ начинаетъ понимать, чего ему нужно, тогда уже, когда большая часть жизни изжита,—въ такомъ случаѣ ему ничего почти не остается, кромѣ сожалѣнія о томъ, что такъ долго принималъ онъ собственныя мечты за дѣйствительность. Онъ находится тогда въ печальномъ положеніи человѣка, который, надѣливъ въ своей фантазіи всѣми возможными совершенствами свою красавицу и связавъ съ нею жизнь свою, вдругъ замѣчаетъ, что всѣ совершенства существовали только въ его воображеніи, а въ ней самой нѣтъ и слѣда ихъ. Но характеры сильные рѣдко поддаются такому рѣшительному заблужденію: въ нихъ очень сильно требованіе ясности и реальности, и оттого они не останавливаются на неопредѣленностяхъ и стараются выбраться изъ нихъ во что бы то ни стало. Замѣтивъ въ себѣ недовольство, они стараются прогнать его; но, видя, что оно не проходитъ, кончаютъ тѣмъ, что даютъ полную свободу высказаться новымъ требованіямъ, возникающимъ въ душѣ, и затѣмъ уже не успокоятся, пока

не достигнуть ихъ удовлетворенія. А тутъ и сама жизнь приходитъ на помощь—для однихъ благопріятно, расширеніемъ круга впечатлѣній, а для другихъ трудно и горько—стѣсненіями и заботами, разрушающими гармоническую стройность юныхъ фантазій. Послѣдній путь выпалъ на долю Катеринѣ, какъ выпадаетъ онъ на долю большей части людей въ „темномъ царствѣ" Дикихъ и Кабановыхъ.

Въ сумрачной обстановкѣ новой семьи начала чувствовать Катерина недостаточность внѣшности, которою думала довольствоваться прежде. Подъ тяжелою рукой бездушной Кабанихи нѣтъ простора ея свѣтлымъ видѣніямъ, какъ нѣтъ свободы ея чувствамъ. Въ порывѣ нѣжности къ мужу, она хочетъ обнять его,—старуха кричитъ: „Что на шею-то виснешь, безстыдница? Въ ноги кланяйся!" Ей хочется остаться одной и погрустить тихонько, какъ бывало, а свекровь говоритъ: „Отчего не воешь?" Она ищетъ свѣта, воздуха, хочетъ помечтать и порѣзвиться, полить свои цвѣты, посмотрѣть на солнце, на Волгу, послать свой привѣтъ всему живому,—а ее держатъ въ неволѣ, въ ней постоянно подозрѣваютъ нечистые, развратные замыслы. Она ищетъ прибѣжища попрежнему въ религіозной практикѣ, въ посѣщеніи церкви, въ душеспасительныхъ разговорахъ, но и здѣсь не находитъ уже прежнихъ впечатлѣній. Убитая дневною заботой и вѣчною неволей, она уже не можетъ съ прежнею ясностью мечтать объ ангелахъ, поющихъ въ пыльномъ столбѣ, освѣщенномъ солнцемъ, не можетъ вообразить себѣ райскихъ садовъ съ ихъ невозмущаемымъ видомъ и радостью. Все мрачно, страшно вокругъ нея, все вѣетъ холодомъ и какою-то неотразимою угрозой: и лики святыхъ такъ строги, и церковныя чтенія такъ грозны, и разсказы странницъ такъ чудовищны... Они все тѣ же, въ сущности, они нимало не измѣнились, но измѣнилась она сама: въ ней уже нѣтъ охоты строить воздушныя видѣнія, да ужъ и не удовлетворяетъ ее то неопредѣленное воображеніе блаженства, которымъ она наслаждалась прежде. Она возмужала, въ ней проснулись другія желанія, болѣе реальныя; не зная иного поприща, кромѣ семьи, иного міра, кромѣ того, какой сложился для нея въ обществѣ ея городка, она, разумѣется, и начинаетъ сознавать изъ всѣхъ человѣческихъ стремленій то, которое всего неизбѣжнѣе и всего ближе къ ней,—стремленіе любви и преданности. Въ прежнее время ея

сердце было слишкомъ полно мечтами; она не обращала вниманія на молодыхъ людей, которые на нее заглядывались, а только смѣялась. Выходя замужъ за Тихона Кабанова, она и его не любила, она еще и не понимала этого чувства; сказали ей, что всякой дѣвушкѣ надо замужъ выходить, показали Тихона, какъ будущаго мужа, она и пошла за него, оставаясь совершенно индиферентною къ этому шагу. И здѣсь тоже проявляется особенность характера: по обычнымъ нашимъ понятіямъ, ей бы слѣдовало противиться, если у ней рѣшительный характеръ; но она и не думаетъ о сопротивленіи, потому что не имѣетъ достаточно основаній для этого. Ей нѣтъ особенной охоты выходить замужъ, но нѣтъ и отвращенія отъ замужества; нѣтъ въ ней любви къ Тихону, но нѣтъ любви и ни къ кому другому. Ей все равно покамѣстъ, вотъ почему она и позволяетъ дѣлать съ собою что угодно. Въ этомъ нельзя видѣть ни безсилія ни апатіи, а можно находить только недостатокъ опытности, да еще слишкомъ большую готовность дѣлать все для другихъ, мало заботясь о себѣ. У ней мало знанія и много довѣрчивости, вотъ отчего до времени она не выказываетъ противодѣйствія окружающимъ и рѣшается лучше терпѣть, нежели дѣлать назло имъ. Но когда она пойметъ, что́ ей нужно, и захочетъ чего-нибудь достигнуть, то добьется своего во что бы то ни стало: тутъ-то и проявится вполнѣ сила ея характера, не растраченная въ мелочныхъ выходкахъ. Сначала, по врожденной добротѣ и благородству души своей, она будетъ дѣлать всевозможныя усилія, чтобы не нарушить мира и правъ другихъ, чтобы получить желаемое съ возможно-большимъ соблюденіемъ всѣхъ требованій, какія на нее налагаются людьми, чѣмъ-нибудь связанными съ нею; и если они сумѣютъ воспользоваться этимъ первоначальнымъ настроеніемъ и рѣшатся дать ей полное удовлетвореніе,—хорошо тогда и ей и имъ. Но если нѣтъ,—она ни передъ чѣмъ не остановится,—законъ, родство, обычай, людской судъ, правила благоразумія—все исчезаетъ для нея предъ силою внутренняго влеченія; она не щадитъ себя и не думаетъ о другихъ. Такой именно выходъ представился Катеринѣ, и другого нельзя было ожидать среди той обстановки, въ которой она находится.

Чувство любви къ человѣку, желаніе найти родственный *отзывъ* въ другомъ сердцѣ, потребность нѣжныхъ насла-

жденій естественнымъ образомъ открылись въ молодой женщинѣ и измѣнили ея прежнія, неопредѣленныя и безплодныя мечты.

„Ночью, Варя, не спится мнѣ,—разсказываетъ она,—все мерещится шопотъ какой-то: кто-то такъ ласково говоритъ со мной, точно голубь воркуетъ. Ужъ не снятся мнѣ, Варя, какъ прежде, райскія деревья да горы; а точно меня кто-то обнимаетъ такъ горячо-горячо, и ведетъ меня куда-то, и я иду за нимъ, иду"...

Она сознала и уловила эти мечты уже довольно поздно; но, разумѣется, онѣ преслѣдовали и томили ее задолго прежде, чѣмъ она сама могла дать себѣ отчетъ въ нихъ. При первомъ ихъ появленіи она тотчасъ же обратила свое чувство на то, что́ всего ближе къ ней было,—на мужа. Она долго усиливалась сроднить съ нимъ свою душу, увѣрить себя, что съ нимъ ей ничего не нужно, что въ немъ-то и есть блаженство, котораго она такъ тревожно ищетъ. Она со страхомъ и недоумѣніемъ смотрѣла на возможность искать взаимной любви въ комъ-нибудь, кромѣ него. Въ пьесѣ, которая застаетъ Катерину уже съ началомъ любви къ Борису Григорьичу, все еще видны послѣднія, отчаянныя усилія Катерины—сдѣлать себѣ милымъ своего мужа. Сцена ея прощанія съ нимъ даетъ намъ чувствовать, что и тутъ еще не потеряно для Тихона, что онъ еще можетъ сохранить права свои на любовь этой женщины; но эта же сцена въ короткихъ, но рѣзкихъ очеркахъ передаетъ намъ цѣлую исторію истязаній, которыя заставили вытерпѣть Катерину, чтобы оттолкнуть ея первое чувство отъ мужа. Тихонъ является здѣсь простодушнымъ и пошловатымъ, совсѣмъ не злымъ, но до крайности безхарактернымъ существомъ, не смѣющимъ ничего сдѣлать вопреки матери. А мать—существо бездушное, кулакъ-баба, заключающая въ китайскихъ церемоніяхъ—и любовь, и религію, и нравственность. Между нею и между своею женой Тихонъ представляетъ одинъ изъ множества тѣхъ жалкихъ типовъ, которые обыкновенно называются безвредными, хотя они въ общемъ-то смыслѣ столь же вредны, какъ и сами самодуры, потому что служатъ ихъ вѣрными помощниками. Тихонъ самъ-по-себѣ любитъ жену и готовъ бы все для нея сдѣлать; но гнетъ, подъ которымъ онъ выросъ, такъ его изуродовалъ, что въ немъ никакого сильнаго чувства, никакого рѣшительнаго стремленія развиться не можетъ. Въ немъ есть совѣсть, есть жела-

ніе добра, но онъ постоянно дѣйствуетъ противъ себя, и служитъ покорнымъ орудіемъ матери, даже въ отношеніяхъ своихъ къ женѣ. Еще въ первой сценѣ появленія семейства Кабановыхъ на бульварѣ мы видимъ, каково положеніе Катерины между мужемъ и свекровью. Кабаниха ругаетъ сына, что жена его не боится; онъ рѣшается возразить: „Да зачѣмъ же ей бояться? Съ меня и того довольно, что она меня любитъ". Старуха тотчасъ же вскидывается на него: какъ, зачѣмъ бояться? Какъ, зачѣмъ бояться! Да ты рехнулся, что ли? *Тебя не станетъ бояться, меня и подавно*: какой же это порядокъ-то въ домѣ будетъ! Вѣдь ты, чай, съ ней въ законѣ живешь. Али, по-вашему, законъ ничего не значитъ?" Подъ такими началами, разумѣется, чувство любви въ Катеринѣ не находитъ простора и прячется внутрь ея, сказываясь только по временамъ судорожными порывами. Но и этими порывами мужъ не умѣетъ пользоваться: онъ слишкомъ забитъ, чтобы понять силу ея страстнаго томленія. „Не разберу я тебя, Катя,—говоритъ онъ ей:—то отъ тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то такъ сама лѣзешь". Такъ обыкновенно дюжинныя и испорченныя натуры судятъ о натурѣ сильной и свѣжей: они, судя по себѣ, не понимаютъ чувства, которое схоронилось въ глубинѣ души, и всякую сосредоточенность принимаютъ за апатію; когда же, наконецъ, не будучи въ состояніи скрываться долѣе, внутренняя сила хлынетъ изъ души широкимъ и быстрымъ потокомъ,—они удивляются и считаютъ это какимъ-то фокусомъ, причудою, въ родѣ того, какъ имъ самимъ приходитъ иногда фантазія впасть въ паѳосъ или кутнуть. А между тѣмъ, эти порывы составляютъ необходимость въ натурѣ сильной и бываютъ тѣмъ разительнѣе, чѣмъ они дольше не находятъ себѣ выхода. Они не умышленны, не соображены, а вызваны естественною необходимостью. Сила натуры, которой нѣтъ возможности развиваться дѣятельно, выражается и пассивно—терпѣніемъ, сдержанностью. Но только не смѣшивайте *этою* терпѣнія съ тѣмъ, которое происходитъ отъ слабаго развитія личности въ человѣкѣ и которое кончаетъ тѣмъ, что привыкаетъ къ оскорбленіямъ и тягостямъ всякаго рода. Нѣтъ, Катерина не привыкнетъ къ нимъ никогда; она еще не знаетъ, на что и какъ она рѣшится, она ничѣмъ не нарушаетъ своихъ обязанностей къ свекрови, дѣлаетъ все возможное, чтобы хорошо уладиться съ мужемъ, но по всему

видно, что она чувствуетъ свое положеніе и что ее тянетъ вырваться изъ него. Никогда она не жалуется, не бранитъ свекрови; сама старуха не можетъ на нее взвести этого; и, однакоже, свекровь чувствуетъ, что Катерина составляетъ для нея что-то неподходящее, враждебное. Тихонъ, который, какъ огня, боится матери и притомъ не отличается особенною деликатностью и нѣжностью, совѣстится, однако, передъ женою, когда по повелѣнію матери долженъ ей наказывать, чтобъ она безъ него „въ окна глазъ не пялила" и „на молодыхъ парней не заглядывалась". Онъ видитъ, что горько оскорбляетъ ее такими рѣчами, хотя хорошенько и не можетъ понять ея состоянія. По выходѣ матери изъ комнаты, онъ утѣшаетъ жену такимъ образомъ: „Все къ сердцу-то принимать, такъ въ чахотку скоро попадешь. Что ее слушать-то! Ей, вѣдь, что-нибудь надо же говорить. Ну, и пущай она говоритъ, а ты мимо ушей пропущай!" Вотъ этотъ индиферентизмъ точно плохъ и безнадеженъ. Но Катерина никогда не можетъ дойти до него, хотя по наружности она даже меньше огорчается, нежели Тихонъ, меньше жалуется, но, въ сущности, она страдаетъ гораздо больше. Тихонъ тоже чувствуетъ, что онъ не имѣетъ чего-то нужнаго; въ немъ тоже есть недовольство; но оно находится въ немъ на такой степени, на какой, напримѣръ, можетъ быть влеченіе къ женщинѣ у десятилѣтняго мальчика съ развращеннымъ воображеніемъ. Онъ не можетъ очень рѣшительно добиваться независимости и своихъ правъ—уже и потому, что онъ не знаетъ, что съ ними дѣлать; желаніе его больше головное, внѣшнее, а собственно натура его, поддавшись гнету воспитанія, такъ и осталась почти глухою къ естественнымъ стремленіямъ. Поэтому самое исканіе свободы въ немъ получаетъ характеръ уродливый и дѣлается противнымъ, какъ противенъ цинизмъ десятилѣтняго мальчика, безъ смысла и внутренней потребности повторяющаго гадости, слышанныя отъ большихъ. Тихонъ, видите, наслышанъ отъ кого-то, что онъ „тоже мужчина", и потому долженъ въ семьѣ имѣть извѣстную долю власти и значенія; поэтому онъ себя ставитъ гораздо выше жены и, полагая, что ей ужъ такъ и Богъ судилъ терпѣть и смиряться,—на свое положеніе подъ началомъ у матери смотритъ какъ на горькое и унизительное. Затѣмъ онъ наклоненъ къ разгулу, и въ немъ-то, главнымъ образомъ, и ставитъ свободу: точно какъ тотъ же мальчикъ,

не умѣющій постигнуть настоящей сути, отчего такъ сладка женская любовь, и знающій только внѣшнюю сторону дѣла, которая у него и превращается въ сальности! Тихонъ, собираясь уѣзжать, съ безстыднѣйшимъ цинизмомъ говоритъ женѣ, упрашивающей его взять ее съ собою:

„Съ этакой-то неволи отъ какой хочешь красавицы-жены убѣжишь! Ты подумай то: *какой ни на есть, а я все-таки мужчина,*—всю жизнь вотъ этакъ жить, какъ ты видишь, такъ убѣжишь и отъ жены. Да какъ я знаю теперича, что недѣли двѣ никакой грозы на меня не будетъ, кандаловъ этихъ на ногахъ нѣтъ, такъ до жены ли мнѣ?"

Катерина только и можетъ отвѣтить ему на это: „Какъ же мнѣ любить-то тебя, когда ты такія слова говоришь?" Но Тихонъ не понимаетъ всей важности этого мрачнаго и рѣшительнаго упрека; какъ человѣкъ, уже махнувшій рукою на свой разсудокъ, онъ отвѣчаетъ небрежно: „Слова—какъ слова! Какія же мнѣ еще слова говорить!"—и торопится отдѣлаться отъ жены. А зачѣмъ? Что онъ хочетъ дѣлать, на чемъ отвести душу, вырвавшись на волю? Онъ объ этомъ самъ разсказываетъ потомъ Кулигину: „На дорогу-то маменька читала-читала мнѣ наставленія-то, а я, какъ выѣхалъ, такъ загулялъ. *Ужъ очень радъ, что на волю-то вырвался.* И всю дорогу пилъ, и въ Москвѣ все пилъ; такъ это кучу́, что на́поди. *Такъ, чтобы ужъ на цѣлый годъ отгуляться!..*" Вотъ и все! И надо сказать, что въ прежнее время, когда еще сознаніе личности и ея правъ не поднялось въ большинствѣ, почти только подобными выходками и ограничивались протесты противъ самодурнаго гнета. Да и нынче еще можно встрѣтить множество Тихоновъ, упивающихся если не виномъ, то какими-нибудь разсужденіями и спичами и отводящихъ душу въ шумѣ словесныхъ оргій. Это именно люди, которые постоянно жалуются на свое стѣсненное положеніе, а, между тѣмъ, заражены гордою мыслью о своихъ привилегіяхъ и о своемъ превосходствѣ надъ другими: „Какой ни на есть, а все-таки я мужчина,—такъ каково мнѣ терпѣть-то", то-есть: „Ты терпи, потому что ты баба и, стало-быть, дрянь, а мнѣ надо волю,—не потому, чтобъ это было человѣческое, естественное требованіе, а потому, что таковы права моей привилегированной особы"... Ясно, что изъ подобныхъ людей и замашекъ никогда и не могло и не можетъ ничего выйти.

Но непохоже на нихъ новое движеніе народной жизни, о которомъ мы говорили выше и отраженіе котораго нашли въ характерѣ Катерины. Въ этой личности мы видимъ уже

возмужалое, изъ глубины всего организма возникающее требованіе права и простора жизни. Здѣсь уже не воображеніе, не наслышка, не искусственно возбужденный порывъ являются намъ, а жизненная необходимость натуры. Катерина не капризничаетъ, не кокетничаетъ своимъ недовольствомъ и гнѣвомъ,—это не въ ея натурѣ; она не хочетъ импонировать на другихъ, выставиться и похвалиться. Напротивъ, живетъ она очень мирно и готова всему подчиниться, что только непротивно ея натурѣ; принципъ ея, если бъ она могла сознать и опредѣлить его, былъ бы тотъ, чтобы какъ можно менѣе своею личностью стѣснять другихъ и тревожить общее теченіе дѣлъ. Но зато, признавая и уважая стремленія другихъ, она требуетъ того же уваженія и къ себѣ, и всякое насиліе, всякое стѣсненіе возмущаетъ ее кровно, глубоко. Если бъ она могла, она бы прогнала далеко отъ себя все, что́ живетъ неправо и вредитъ другимъ; но, не будучи въ состояніи сдѣлать этого, она идетъ обратнымъ путемъ — сама бѣжитъ отъ губителей и обидчиковъ. Только бы не подчиниться ихъ началамъ, вопреки своей натурѣ, только бы не помириться съ ихъ неестественными требованіями, а тамъ что выйдетъ — лучшая ли доля для нея или гибель, — на это она ужъ не смотритъ: въ томъ и другомъ случаѣ для нея избавленіе... О своемъ характерѣ Катерина сообщаетъ Варѣ одну черту еще изъ воспоминаній дѣтства: „Такая ужъ я зародилась, горячая! Я еще лѣтъ шести была, не больше,—такъ что́ сдѣлала! Обидѣли меня чѣмъ-то дома, а дѣло было къ вечеру, ужъ темно—я выбѣжала на Волгу, сѣла въ лодку, да и отпихнула ее отъ берега. На другое утро ужъ нашли, верстъ за десять...“ Эта дѣтская горячность сохранилась въ Катеринѣ; только, вмѣстѣ съ общею возмужалостью, прибавилась въ ней и сила выдерживать впечатлѣнія и господствовать надъ ними. Взрослая Катерина, поставленная въ необходимость терпѣть обиды, находитъ въ себѣ силу долго переносить ихъ, безъ напрасныхъ жалобъ, полусопротивленій и всякихъ шумныхъ выходокъ. Она терпитъ до тѣхъ поръ, пока не заговоритъ въ ней какой-нибудь интересъ, особенно близкій ея сердцу и законный въ ея глазахъ, пока не оскорблено въ ней будетъ такое требованіе ея натуры, безъ удовлетворенія котораго она не можетъ оставаться спокойною. Тогда она ужъ ни на что не посмотритъ. Она не будетъ прибѣгать къ дипломатическимъ

уловкамъ, къ обманамъ и плутнямъ—не такова она. Если ужъ нужно непремѣнно обманывать, такъ она лучше постарается перемочь себя. Варя совѣтуетъ Катеринѣ скрывать свою любовь къ Борису; она говоритъ: „Обманывать-то я не умѣю, скрыть-то ничего не могу", и вслѣдъ за тѣмъ дѣлаетъ усиліе надъ своимъ сердцемъ и опять обращается къ Варѣ съ такою рѣчью: „Не говори мнѣ про него, сдѣлай милость, не говори! Я его и знать не хочу! *Я буду мужа любить. Тиша, голубчикъ мой, ни на кого тебя не промѣняю!*" Но усиліе уже выше ея возможности; черезъ минуту она чувствуетъ, что ей не отдѣлаться отъ возникшей любви: „Развѣ я хочу о немъ думать,—говоритъ она:—да что дѣлать, коли изъ головы нейдетъ". Въ этихъ простыхъ словахъ очень ясно выражается, какъ сила естественныхъ стремленій, непримѣтно для самой Катерины, одерживаетъ въ ней побѣду надъ всѣми внѣшними требованіями, предразсудками и искусственными комбинаціями, въ которыхъ запутана жизнь ея. Замѣтимъ, что теоретическимъ образомъ Катерина не могла отвергнуть ни одной изъ этихъ комбинацій, не могла освободиться ни отъ какихъ отсталыхъ мнѣній; она пошла противъ всѣхъ нихъ, вооруженная единственно силой своего чувства, инстинктивнымъ сознаніемъ своего прямого, неотъемлемаго права на жизнь, счастіе и любовь... Она нимало не резонируетъ, но съ удивительною легкостью разрѣшаетъ всѣ трудности своего положенія. Вотъ ея разговоръ съ Варварой.

Варвара. Ты какая-то мудреная, Богъ съ тобой! А по-моему—дѣлай, что хочешь, только бы шито да крыто было.

Катерина. Не хочу я такъ, да и что хорошаго! *Ужъ я лучше буду терпѣть, пока терпится.*

Варвара. А не стерпится, что жъ ты сдѣлаешь?

Катерина. Что я сдѣлаю?

Варвара. Да, что сдѣлаешь?

Катерина. *Что мнѣ только захочется, то и сдѣлаю.*

Варвара. Сдѣлай, попробуй, такъ тебя здѣсь заѣдятъ.

Катерина. А что мнѣ! Я уйду, да и была такова.

Варвара. Куда ты уйдешь! Ты мужняя жена.

Катерина. Эхъ, Варя, не знаешь ты моего характеру! *Конечно, не дай Богъ этому случиться! А ужъ коли очень мнѣ здѣсь опостынетъ, такъ не удержатъ меня никакою силой. Въ окно выброшусь, въ Волгу кинусь. Не хочу здѣсь жить, такъ не стану, хоть ты меня рѣжь.*

Вотъ истинная сила характера, на которую во всякомъ случаѣ можно положиться! Вотъ высота, до которой доходитъ наша народная жизнь въ своемъ развитіи, но до которой

въ литературѣ нашей умѣли подниматься весьма немногіе, и никто не умѣлъ на ней такъ хорошо держаться, какъ Островскій. Онъ почувствовалъ, что не отвлеченныя вѣрованія, а жизненные факты управляютъ человѣкомъ, что не образъ мыслей, не принципы, а натура нужна для образованія и проявленія крѣпкаго характера; и онъ умѣлъ создать такое лицо, которое служитъ представителемъ великой народной идеи, не нося великихъ идей ни на языкѣ ни въ головѣ, самоотверженно идетъ до конца въ неравной борьбѣ и гибнетъ, вовсе не обрекая себя на высокое самоотверженіе. Ея поступки находятся въ гармоніи съ ея натурой, они для нея естественны, необходимы, она не можетъ отъ нихъ отказаться, хотя бы это имѣло самыя гибельныя послѣдствія. Претендованные въ другихъ твореніяхъ нашей литературы сильные характеры похожи на фонтанчики, бьющіе довольно красиво и бойко, но зависящіе въ своихъ проявленіяхъ отъ посторонняго механизма, подведеннаго къ нимъ; Катерина, напротивъ, можетъ быть уподоблена большой, многоводной рѣкѣ: она течетъ, какъ требуетъ ея природное свойство; характеръ ея теченія измѣняется сообразно съ мѣстностью, черезъ которую она проходитъ, но теченіе не останавливается; ровное дно, хорошее—она течетъ спокойно, камни большіе встрѣтились — она черезъ нихъ перескакиваетъ, обрывъ — льется каскадомъ, запружаютъ ее — она бушуетъ и прорывается въ другомъ мѣстѣ. Не потому бурлитъ она, чтобы водѣ вдругъ захотѣлось пошумѣть или разсердиться на препятствія, а просто потому, что это ей необходимо для выполненія ея естественныхъ требованій, для дальнѣйшаго теченія. Такъ и въ томъ характерѣ, который воспроизведенъ намъ Островскимъ: мы знаемъ, что онъ выдержитъ себя, несмотря ни на какія препятствія; а когда силъ не хватитъ, то погибнетъ, но не измѣнитъ себѣ. Высокіе ораторы правды, претендующіе на „отреченіе отъ себя для великой идеи“, весьма часто оканчиваютъ тѣмъ, что отступаются отъ своего служенія, говоря, что борьба со зломъ еще слишкомъ безнадежна, что она повела бы только къ напрасной гибели, и пр. Они справедливы, и нельзя ихъ упрекать въ малодушіи; но во всякомъ случаѣ нельзя не видѣть въ этомъ, что „идея“, которой они хотятъ служить, составляетъ для нихъ что-то внѣшнее, безъ чего они могутъ обойтись, что́ они умѣютъ очень хорошо отдѣлить отъ сво-

ихъ личныхъ, прямыхъ потребностей. Ясно, что какъ бы ни былъ великъ ихъ азартъ въ пользу идеи, онъ всегда будетъ гораздо слабѣе и ниже того простого, инстинктивнаго, неотразимаго влеченія, которое управляетъ поступками личностей въ родѣ Катерины, даже и не думающихъ ни о какихъ высокихъ „идеяхъ".

Въ положеніи Катерины мы видимъ, что, напротивъ, всѣ „идеи", внушенныя ей съ дѣтства, всѣ принципы окружающей среды—возстаютъ *противъ* ея естественныхъ стремленій и поступковъ. Страшная борьба, на которую осуждена молодая женщина, совершается въ каждомъ словѣ, въ каждомъ движеніи драмы, и вотъ гдѣ оказывается вся важность вводныхъ лицъ, за которыхъ такъ упрекаютъ Островскаго. Всмотритесь хорошенько: вы видите, что Катерина воспитана въ понятіяхъ одинаковыхъ съ понятіями среды, въ которой живетъ, и не можетъ отъ нихъ отрѣшиться, не имѣя никакого теоретическаго образованія. Разсказы странницъ и внушенія домашнихъ хоть и переработывались ею по-своему, но не могли не оставить безобразнаго слѣда въ ея душѣ: и дѣйствительно, мы видимъ въ пьесѣ, что Катерина, потерявъ свои радужныя мечты и идеальныя, выспреннія стремленія, сохранила отъ своего воспитанія одно сильное чувство—*страхъ* какихъ-то темныхъ силъ, чего-то невѣдомаго, чего она не могла ни объяснить себѣ хорошенько, ни отвергнуть. За каждую мысль свою она боится, за самое простое чувство она ждетъ себѣ кары; ей кажется, что гроза ее убьетъ, потому что она грѣшница: картина геенны огненной на стѣнѣ церковной представляется ей уже предвѣстіемъ ея вѣчной муки... А все окружающее поддерживаетъ и развиваетъ въ ней этотъ страхъ: Ѳеклуши ходятъ къ Кабанихѣ толковать о послѣднихъ временахъ; Дикой твердитъ, что гроза въ наказаніе намъ посылается, чтобы мы чувствовали; пришедшая барыня, наводящая страхъ на всѣхъ въ городѣ, показывается нѣсколько разъ съ тѣмъ, чтобы зловѣщимъ голосомъ прокричать надъ Катериною: „Всѣ въ огнѣ горѣть будете, въ неугасимомъ". Всѣ окружающіе полны суевѣрнаго страха, и всѣ окружающіе, согласно съ понятіями и самой Катерины, должны смотрѣть на ея чувство къ Борису какъ на величайшее преступленіе. Даже удалой Кудряшъ, esprit-fort этой среды, и тотъ находитъ, что дѣвкамъ можно гулять съ парнями, сколько хочешь,—это ничего, а

бабамъ надо ужъ взаперти сидѣть. Это убѣжденіе такъ въ немъ сильно, что, узнавъ о любви Бориса къ Катеринѣ, онъ, несмотря на свое удальство и нѣкотораго рода безчинство, говоритъ, что „это дѣло бросить надо". Все противъ Катерины, даже и ея собственныя понятія о добрѣ и злѣ; все должно заставить ее—заглушить свои порывы и завянуть въ холодномъ и мрачномъ формализмѣ семейной безгласности и покорности, безъ всякихъ живыхъ стремленій, безъ воли, безъ любви,—или же научиться обманывать людей и совѣсть. Но не бойтесь за нее, не бойтесь даже тогда, когда она сама говоритъ противъ себя: она можетъ на время или покориться повидимому, или даже пойти на обманъ, какъ рѣчка можетъ скрыться подъ землею или удалиться отъ своего русла; но текучая вода не остановится и не пойдетъ назадъ, а все-таки дойдетъ до своего конца, до того мѣста, гдѣ можетъ она слиться съ другими водами и вмѣстѣ бѣжать къ водамъ океана. Обстановка, въ которой живетъ Катерина, требуетъ, чтобъ она лгала и обманывала: „Безъ этого нельзя,—говоритъ ей Варвара,—ты вспомни, гдѣ ты живешь; у насъ на этомъ весь домъ держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало". Катерина поддается своему положенію, выходитъ къ Борису ночью, прячетъ отъ свекрови свои чувства въ теченіе десяти дней... Можно подумать: вотъ и еще женщина сбилась съ пути, выучилась обманывать домашнихъ и будетъ развратничать втихомолку, притворно лаская мужа и нося отвратительную маску смиренницы! Нельзя было бы строго винить ее и за это: положеніе ея такъ тяжело! Но тогда она была бы однимъ изъ дюжинныхъ лицъ того типа, который такъ уже изношенъ въ повѣстяхъ, показывавшихъ, какъ „среда заѣдаетъ хорошихъ людей". Катерина не такова: развязка ея любви при всей домашней обстановкѣ видна заранѣе, еще тогда, какъ она только подходитъ къ дѣлу. Она не занимается психологическимъ анализомъ и потому не можетъ высказывать тонкихъ наблюденій надъ собою; что она о себѣ говоритъ, такъ ужъ это, значитъ, сильно даетъ ей знать себя. А она, при первомъ предложеніи Варвары о свиданіи ея съ Борисомъ, вскрикиваетъ: „Нѣтъ, нѣтъ, не надо! что ты, сохрани Господи: *если я съ нимъ хоть разъ увижусь, я убѣгу изъ дому, я ужъ не пойду домой ни за что на свѣтъ!*" Это въ ней не разумная предосторожность говоритъ,

это—страсть; и ужъ видно, что какъ она себя ни сдерживала, а страсть выше ея, выше всѣхъ ея предразсудковъ и страховъ, выше всѣхъ внушеній, слышанныхъ ею съ дѣтства. Въ этой страсти заключается для нея вся жизнь; вся сила ея натуры, всѣ ея живыя стремленія сливаются здѣсь. Къ Борису влечетъ ее не одно то, что онъ ей нравится, что онъ и съ виду и по рѣчамъ не похожъ на остальныхъ, окружающихъ ее,—къ нему влечетъ ее и потребность любви, не нашедшая себѣ отзыва въ мужѣ, и оскорбленное чувство жены и женщины, и смертельная тоска ея однообразной жизни, и желаніе воли, простора, горячей, беззапретной свободы. Она все мечтаетъ, какъ бы ей „полетѣть невидимо, куда бы захотѣла"; а то такая мысль приходитъ: „Кабы моя воля, каталась бы я теперь на Волгѣ, на лодкѣ, съ пѣснями, либо на тройкѣ на хорошей, обнявшись"... „Только не съ мужемъ", подсказываетъ ей Варя, и Катерина не можетъ скрыть своего чувства и сразу ей открывается вопросомъ: „А ты почемъ знаешь?" Видно, что замѣчаніе Варвары для нея самой объяснило многое: разсказывая такъ наивно свои мечты, она еще не понимала хорошенько ихъ значенія. Но одного слова достаточно, чтобы сообщить ея мыслямъ ту опредѣленность, которую она сама боялась имъ дать. До сихъ поръ она еще могла сомнѣваться, точно ли въ этомъ новомъ чувствѣ то блаженство, которое она такъ томительно ищетъ. Но, разъ произнесши слово тайны, она уже и въ мысляхъ своихъ отъ нея не отступится. Страхъ сомнѣнія, мысль о грѣхѣ и о людскомъ судѣ,—все это приходитъ ей въ голову, но уже не имѣетъ надъ нею силы; это уже такъ, формальности, для очистки совѣсти. Въ монологѣ съ ключомъ (послѣднемъ во второмъ актѣ) мы видимъ женщину, въ душѣ которой опасный шагъ уже сдѣланъ, но которая хочетъ только какъ-нибудь „заговорить" себя. Она дѣлаетъ попытку стать нѣсколько въ сторону отъ себя и судить поступокъ, на который она рѣшилась, какъ дѣло постороннее; но мысли ея всѣ направлены къ оправданію этого поступка. „Вотъ,—говоритъ,—долго ли погибнуть-то... Въ неволѣ-то кому весело... Вотъ хоть я теперь—живу, маюсь, просвѣту себѣ не вижу... свекровь сокрушила меня..." и т. д.—все оправдательныя статьи. А потомъ еще облегчительныя соображенія: „Видно, ужъ судьба такъ хочетъ... Да какой же и грѣхъ въ этомъ, если я на него взгляну разъ... Да хоть и

поговорю-то, такъ все не бѣда. А можетъ, такого случая-то еще во всю жизнь не выйдетъ...“ Этотъ монологъ возбудилъ въ нѣкоторыхъ критикахъ охоту иронизировать надъ Катериною, какъ надъ безстыжею ипокриткой; но мы не знаемъ бо́льшаго безстыдства, какъ увѣрять, будто бы мы или кто-нибудь изъ нашихъ идеальныхъ друзей непричастны такимъ сдѣлкамъ съ совѣстью... Въ этихъ сдѣлкахъ не личности виноваты, а тѣ понятія, которыя имъ вбиты въ голову съ малолѣтства и которыя такъ часто противны бываютъ естественному ходу живыхъ стремленій души. Пока эти понятія не выгнаны изъ общества, пока полная гармонія идей и потребностей природы не возстановлена въ человѣческомъ существѣ, до тѣхъ поръ подобныя сдѣлки неизбѣжны. Хорошо еще и то, если, дѣлая ихъ, приходятъ къ тому, что представляется натурою и здравымъ смысломъ, и не падаютъ подъ гнетомъ условныхъ наставленій искусственной морали. Именно на это и стало силы у Катерины, и чѣмъ сильнѣе говоритъ въ ней натура, тѣмъ спокойнѣе смотритъ она въ лицо дѣтскимъ бреднямъ, которыхъ бояться пріучили ее окружающіе. Поэтому намъ кажется даже, что артистка, исполняющая роль Катерины на петербургской сценѣ, дѣлаетъ маленькую ошибку, придавая монологу, о которомъ мы говоримъ, слишкомъ много жара и трагичности. Она, очевидно, хочетъ выразить борьбу, совершающуюся въ душѣ Катерины, и съ этой точки зрѣнія она передаетъ трудный монологъ превосходно. Но намъ кажется, что сообразнѣе съ характеромъ и положеніемъ Катерины въ этомъ случаѣ—придавать ея словамъ больше спокойствія и легкости. Борьба собственно уже кончена, остается лишь небольшое раздумье, старая ветошь покрываетъ еще Катерину, и она мало-по-малу сбрасываетъ ее съ себя... Окончаніе монолога выдаетъ ея сердце: „Будь, что́ будетъ, а я Бориса увижу“, заключаетъ она, и въ забытьи предчувствія восклицаетъ: „Ахъ, кабы ночь поскорѣй!“

Такая любовь, такое чувство не уживется въ стѣнахъ Кабановскаго дома съ притворствомъ и обманомъ. Катерина хоть и рѣшилась на тайное свиданіе, но въ первый же разъ, въ восторгѣ любви, говоритъ Борису, увѣряющему, что никто ничего не узнаетъ:

„Э, что меня жалѣть, никто не виноватъ,—сама на то пошла. Не жалѣй, губи меня! Пусть всѣ знаютъ, пусть всѣ видятъ, что́ я дѣлаю... Коли я для тебя грѣха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?..“

И точно, она ничего не боится, кромѣ лишенія возможности видѣть ея избраннаго, говорить съ нимъ, наслаждаться съ нимъ этими лѣтними ночами, этими новыми для нея чувствами. Пріѣхалъ мужъ, и жизнь ей стала не въ жизнь. Надо было таиться, хитрить; она этого не хотѣла и не умѣла: надо было опять воротиться къ своей черствой, тоскливой жизни,—это ей показалось горче прежняго. Да еще надо было бояться каждую минуту за себя, за каждое свое слово, особенно передъ свекровью; надо было бояться еще и страшной кары для души... Такое положеніе невыносимо было для Катерины: дни и ночи она все думала, страдала, экзальтировала свое воображеніе и безъ того горячее, и конецъ былъ тотъ, что она не могла вытерпѣть—при всемъ народѣ, столпившемся въ галлереѣ старинной церкви, покаялась во всемъ мужу. Первое движеніе его было страхъ, что́ скажетъ мать. „Не надо, *не говори, матушка* здѣсь", шепчетъ онъ, растерявшись. Но мать уже прислушалась и требуетъ полной исповѣди, въ заключеніе которой выводитъ свою мораль: „Что, сынокъ, *куда воля-то ведетъ?*"

Трудно, конечно, болѣе насмѣяться надъ здравымъ смысломъ, чѣмъ какъ дѣлаетъ это Кабаниха въ своемъ восклицаніи. Но въ „темномъ царствѣ" здравый смыслъ ничего не значитъ: съ „преступницею" приняли мѣры, совершенно ему противныя, но обычныя въ томъ быту: мужъ, по повелѣнію матери, побилъ маленько свою жену, свекровь заперла ее на замокъ и начала ѣсть поѣдомъ... Кончены воля и покой бѣдной женщины: прежде хоть ее попрекнуть не могли, хоть могла она чувствовать свою полную правоту передъ этими людьми. А теперь, вѣдь, такъ или иначе, она передъ ними виновата: она нарушила свои обязанности къ нимъ, принесла горе и позоръ въ семью; теперь самое жестокое обращеніе съ нею имѣетъ уже поводы и оправданіе. Что остается ей? Пожалѣть о неудачной попыткѣ вырваться на волю и оставить свои мечты о любви и счастіи, какъ уже покинула она радужныя грезы о чудныхъ садахъ съ райскимъ пѣніемъ. Остается ей покориться, отречься отъ самостоятельной жизни и сдѣлаться безпрекословною угодницей свекрови, кроткою рабой своего мужа и никогда уже не дерзать на какія-нибудь попытки опять обнаружить свои требованія... Но нѣтъ, не таковъ характеръ Катерины не затѣмъ отразился въ ней новый типъ, создаваемый рус-

скою жизнью,—чтобы сказаться только безплодною попыткой и погибнуть послѣ первой неудачи. Нѣтъ, она уже не возвратится къ прежней жизни: если ей нельзя наслаждаться своимъ чувствомъ, своей волею вполнѣ законно и свято, при свѣтѣ бѣлаго дня, передъ всѣмъ народомъ, если у нея вырываютъ то, что нашла она и что ей такъ дорого, она ничего тогда не хочетъ въ жизни, она и жизни не хочетъ. Пятый актъ *Грозы* составляетъ апоѳеозу этого характера, столь простого, глубокаго и такъ близкаго къ положенію и къ сердцу каждаго порядочнаго человѣка въ нашемъ обществѣ. Никакихъ ходуль не подставилъ художникъ своей героинѣ; онъ не далъ ей даже героизма, а оставилъ ее тою же простою, наивною женщиной, какою оно являлась передъ нами и до „грѣха" своего. Въ пятомъ актѣ у ней всего два монолога, да разговоръ съ Борисомъ; но они полны въ своей сжатости такой силы, такихъ многозначительныхъ откровеній, что, принявшись за нихъ, мы боимся закомментироваться еще на цѣлую статью. Постараемся ограничиться нѣсколькими словами.

Въ монологахъ Катерины видно, что у ней и теперь нѣтъ ничего формулированнаго; она до конца водится своею натурой, а не заданными рѣшеніями, потому что для рѣшеній ей бы надо было имѣть логическія, твердыя основанія, а между тѣмъ всѣ начала, которыя ей даны для теоретическихъ разсужденій, рѣшительно противны ея натуральнымъ влеченіямъ. Оттого она не только не принимаетъ геройскихъ позъ и не произноситъ изреченій, доказывающихъ твердость характера, а даже, напротивъ, является въ видѣ слабой женщины, не умѣющей противиться своимъ влеченіямъ, и старается *оправдывать* тотъ героизмъ, какой проявляется въ ея поступкахъ. Она рѣшилась умереть, но ее страшитъ мысль, что это грѣхъ, и она какъ бы старается доказать намъ и себѣ, что ее можно и простить, такъ какъ ей ужъ очень тяжело. Ей хотѣлось бы пользоваться жизнью и любовью; но она знаетъ, что это—преступленіе, и потому говоритъ въ оправданіе свое: „Что жъ, ужъ все равно, ужъ душу свою я, вѣдь, погубила?" Ни на кого она не жалуется, никого не винитъ, и даже на мысль ей не приходитъ ничего подобнаго; напротивъ, она предъ всѣми виновата, даже Бориса она спрашиваетъ, не сердится ли онъ на нее, не проклинаетъ ли... Нѣтъ въ ней ни злобы,

ни презрѣнія, ничего, чѣмъ такъ красуются обыкновенно разочарованные герои, самовольно покидающіе свѣтъ. Но не можетъ она жить больше, не можетъ, да и только; отъ полноты сердца говоритъ она:

„Ужъ измучилась я... Долго ль мнѣ еще мучиться? Для чего мнѣ теперь жить,—ну, для чего? Ничего мнѣ не надо, ничего мнѣ не мило, и свѣтъ Божій не милъ!—а смерть не приходитъ! Ты ее кличешь, а она не приходитъ. Что ни увижу, что ни услышу, только тутъ (*показывая на сердце*) больно".

При мысли о могилѣ ей дѣлается легче,—спокойствіе какъ-будто проливается ей въ душу.

„Такъ тихо, такъ хорошо... А о жизни и думать не хочется... Опять жить?.. Нѣтъ, нѣтъ, не надо... нехорошо. И люди мнѣ противны, и домъ мнѣ противенъ, и стѣны противны! Не пойду туда! Нѣтъ, нѣтъ, не пойду... Придешь къ нимъ—они ходятъ, говорятъ,—а на что мнѣ это?.."

И мысль о горечи жизни, какую надо будетъ терпѣть, до того терзаетъ Катерину, что повергаетъ ее въ какое-то полугорячечное состояніе. Въ послѣдній моментъ особенно живо мелькаютъ въ ея воображеніи всѣ домашніе ужасы. Она вскрикиваетъ: „А поймаютъ меня да воротятъ домой насильно!.. Скорѣй, скорѣй!.." И дѣло кончено: она не будетъ болѣе жертвою бездушной свекрови, не будетъ болѣе томиться взаперти, съ безхарактернымъ и противнымъ ей мужемъ. Она освобождена!..

Грустно, горько такое освобожденіе; но что же дѣлать, когда другого выхода нѣтъ... Хорошо, что нашлась въ бѣдной женщинѣ рѣшимость хоть на этотъ страшный выходъ. Въ томъ и сила ея характера, оттого-то *Гроза* и производитъ на насъ впечатлѣніе освѣжающее, какъ мы сказали выше. Безъ сомнѣнія, лучше бы было, если бъ возможно было Катеринѣ избавиться другимъ образомъ отъ своихъ мучителей или ежели бы эти мучители могли измѣниться и примирить ее съ собою и съ жизнью. Но ни то ни другое—не въ порядкѣ вещей: Кабанова не можетъ оставить того, съ чѣмъ она воспитана и прожила цѣлый вѣкъ; безхарактерный сынъ ея не можетъ вдругъ, ни съ того ни съ сего, пріобрѣсти твердость и самостоятельность до такой степени, чтобъ отречься отъ всѣхъ нелѣпостей, внушаемыхъ ему старухой; все окружающее не можетъ перевернуться вдругъ такъ, чтобы сдѣлать сладкою жизнь молодой женщины. Самое большее, что́ они могутъ сдѣлать,—это простить ее,

облегчить нѣсколько тягость ея домашняго заключенія, сказать ей нѣсколько милостивыхъ словъ, можетъ-быть, подарить право имѣть голосъ въ хозяйствѣ, когда спросятъ ея мнѣнія. Можетъ-быть, этого и достаточно было бы для другой женщины, забитой, безсильной, и въ другое время, когда самодурство Кабановыхъ покоилось на общемъ безгласіи и не имѣло столько поводовъ выказывать свое наглое презрѣніе къ здравому смыслу и всякому праву. Но мы видимъ, что Катерина не убила въ себѣ человѣческой природы и что она находится только внѣшнимъ образомъ, по положенію своему, подъ гнетомъ самодурной жизни; внутренно же, сердцемъ и смысломъ, сознаетъ всю ея нелѣпость, которая теперь еще увеличивается тѣмъ, что Дикіе и Кабановы, встрѣчая себѣ противорѣчіе и не будучи въ силахъ побѣдить его, но желая поставить на своемъ, прямо объявляютъ себя противъ логики, то-есть ставятъ себя дураками предъ большинствомъ людей. При такомъ положеніи дѣлъ само-собою разумѣется, что Катерина не можетъ удовлетвориться великодушнымъ прощеніемъ отъ самодуровъ и возвращеніемъ ей прежнихъ правъ въ семьѣ; она знаетъ, что́ значитъ милость Кабановой и каковы могутъ быть права невѣстки при такой свекрови... Нѣтъ, ей бы нужно было не то, чтобъ ей что-нибудь уступили и облегчили, а то, чтобы свекровь, мужъ, всѣ окружающіе сдѣлались способны удовлетворить тѣмъ живымъ стремленіямъ, которыми она проникнута, признать законность ея природныхъ требованій, отречься отъ всякихъ принудительныхъ правъ на нее и переродиться до того, чтобы сдѣлаться достойными ея любви и довѣрія. Нечего и говорить о томъ, въ какой мѣрѣ возможно для нихъ такое перерожденіе...

Менѣе невозможности представляло бы другое рѣшеніе— бѣжать съ Борисомъ отъ произвола и насилія домашнихъ. Несмотря на строгость формальнаго закона, несмотря на ожесточенность грубаго самодурства, подобные шаги не представляютъ невозможности сами-по-себѣ, особенно для такихъ характеровъ, какъ Катерина. И она не пренебрегаетъ этимъ выходомъ, потому что она не отвлеченная героиня, которой хочется смерти по принципу. Убѣжавъ изъ дому, чтобы свидѣться съ Борисомъ, и уже задумывая о смерти, она, однако, вовсе не прочь отъ побѣга: узнавъ, что Борисъ ѣдетъ далеко, въ Сибирь, она очень просто говоритъ ему:

„Возьми меня съ собой отсюда“. Но тутъ-то и всплываетъ передъ нами на минуту камень, который держитъ людей въ глубинѣ омута, названнаго нами „темнымъ царствомъ“. Камень этотъ—матеріальная зависимость. Борисъ ничего не имѣетъ и вполнѣ зависитъ отъ дяди—Дико́го: Дико́й съ Кабановыми уладили, чтобъ его отправить въ Кяхту, и, конечно, не дадутъ ему взять съ собою Катерину. Оттого онъ и отвѣчаетъ ей: „Нельзя, Катя; не по своей волѣ я ѣду, дядя посылаетъ, ужъ и лошади готовы“, и пр. Борисъ—не герой, онъ далеко не сто́итъ Катерины, она и полюбила-то его больше на безлюдьѣ. Онъ хватилъ „образованія“ и никакъ не справится ни съ старымъ бытомъ, ни съ сердцемъ своимъ, ни съ здравымъ смысломъ,—ходитъ, точно потерянный. Живетъ онъ у дяди потому, что тотъ ему и сестрѣ его долженъ часть бабушкина наслѣдства отдать, „если они будутъ къ нему почтительны“. Борисъ хорошо понимаетъ, что Дико́й никогда не признаетъ его почтительнымъ и, слѣдовательно, ничего не дастъ ему; да этого мало,—Борисъ такъ разсуждаетъ: „Нѣтъ, онъ прежде наломается надъ нами, наругается всячески, какъ его душѣ угодно, а кончитъ все-таки тѣмъ, что не дастъ ничего или такъ, какую-нибудь малость, да еще станетъ разсказывать, что изъ милости далъ, что и этого бы не слѣдовало“. А все-таки онъ живетъ у дяди и сноситъ его ругательства. Зачѣмъ?—неизвѣстно. При первомъ свиданіи съ Катериной, когда она говоритъ о томъ, что ее ждетъ за это, Борисъ прерываетъ ее словами: „Ну, что объ этомъ думать, благо намъ теперь хорошо“. А при послѣднемъ свиданіи плачется: „Кто жъ это зналъ, что намъ за нашу любовь такъ мучиться съ тобою! Лучше бы бѣжать мнѣ тогда!“ Словомъ, это одинъ изъ тѣхъ весьма нерѣдкихъ людей, которые не умѣютъ дѣлать того, что понимаютъ, и не понимаютъ того, что дѣлаютъ. Типъ ихъ много разъ изображался въ нашей беллетристикѣ—то съ преувеличеннымъ состраданіемъ къ нимъ, то съ излишнимъ ожесточеніемъ противъ нихъ. Островскій даетъ ихъ намъ такъ, какъ они есть, и съ особеннымъ, свойственнымъ ему умѣньемъ рисуетъ двумя-тремя чертами ихъ полную незначительность, хотя, впрочемъ, не лишенную извѣстной степени душевнаго благородства. О Борисѣ нечего распространяться; онъ, собственно, долженъ быть отнесенъ *тоже къ обстановкѣ*, въ которую попадаетъ героиня пьесы.

Онъ представляетъ одно изъ обстоятельствъ, дѣлающихъ необходимымъ фатальный конецъ ея. Будь это другой человѣкъ и въ другомъ положеніи, тогда бы и въ воду бросаться не надо. Но въ томъ-то и дѣло, что среда, подчиненная силѣ Дикихъ и Кабановыхъ, производитъ обыкновенно Тихоновъ и Борисовъ, неспособныхъ воспрянуть и принять свою человѣческую природу, даже при столкновеніи съ такими характерами, какъ Катерина. Мы сказали выше нѣсколько словъ о Тихонѣ; Борисъ—такой же, въ сущности, только „образованный". Образованіе отняло у него силу дѣлать пакости,—правда; но оно не дало ему силы противиться пакостямъ, которыя дѣлаютъ другіе; оно не развило даже въ немъ способности такъ вести себя, чтобъ оставаться чуждымъ всему гадкому, что́ кишитъ вкругъ него. Нѣтъ, мало того, что не противодѣйствуетъ,—онъ подчиняется чужимъ гадостямъ, онъ волей-неволей участвуетъ въ нихъ и долженъ принимать всѣ ихъ послѣдствія. Но онъ понимаетъ свое положеніе, толкуетъ о немъ и нерѣдко даже обманываетъ, на первый разъ, истинно-живыя и крѣпкія натуры, которыя, судя по себѣ, думаютъ, что если человѣкъ такъ думаетъ, такъ понимаетъ, то такъ долженъ и дѣлать. Смотря съ своей точки, этакія натуры не затруднятся сказать „образованнымъ" страдальцамъ, удаляющимся отъ горестныхъ обстоятельствъ жизни: „Возьми и меня съ собой, я пойду за тобою всюду". Но тутъ-то и окажется безсиліе страдальцевъ; окажется, что они и не предвидѣли, и что они проклинаютъ себя, и что они рады бы, да нельзя, и что воли у нихъ нѣтъ, а главное—что у нихъ нѣтъ ничего за душою, и что для продолженія своего существованія они должны служить тому же самому Дико́му, отъ котораго вмѣстѣ съ нами хотѣли бы избавиться.

Ни хвалить ни бранить этихъ людей нечего; но нужно обратить вниманіе на ту практическую почву, на которую переходитъ вопросъ; надо признать, что человѣку, ожидающему наслѣдства отъ дяди, трудно сбросить съ себя зависимость отъ этого дяди, и затѣмъ надо отказаться отъ излишнихъ надеждъ на племянниковъ, ожидающихъ наслѣдства, хотя бы они и были „образованы" по самое нельзя. Если тутъ разбирать виноватаго, то виноваты окажутся не столько племянники, сколько дяди или, лучше сказать, ихъ наслѣдство.

Впрочемъ, о значеніи матеріальной зависимости, какъ главной основы всей силы самодуровъ въ „темномъ царствѣ“, мы пространно говорили въ нашихъ прежнихъ статьяхъ. Поэтому здѣсь только напоминаемъ объ этомъ, чтобъ указать рѣшительную необходимость того фатальнаго конца, какой имѣетъ Катерина въ *Грозѣ*, и, слѣдовательно, рѣшительную необходимость характера, который бы, при данномъ положеніи, готовъ былъ къ такому концу.

Мы уже сказали, что конецъ этотъ кажется намъ отраднымъ; легко понять, почему: въ немъ данъ страшный вызовъ самодурной силѣ, онъ говоритъ ей, что уже нельзя итти дальше, нельзя долѣе жить съ ея насильственными, мертвящими началами. Въ Катеринѣ видимъ мы протестъ противъ кабановскихъ понятій и нравственности, протестъ, доведенный до конца, провозглашенный и подъ домашнею пыткой, и надъ бездной, въ которую бросилась бѣдная женщина. Она не хочетъ мириться, не хочетъ пользоваться жалкимъ прозябаніемъ, которое ей даютъ въ обмѣнъ за ея живую душу. Ея погибель—это осуществленная пѣснь плѣна вавилонскаго: играйте и пойте намъ пѣсни сіонскія,—говорили Іудеямъ ихъ побѣдители; но печальный пророкъ отозвался, что не въ рабствѣ можно пѣть священныя пѣсни родины, что лучше пусть языкъ ихъ прилипнетъ къ гортани и руки отсохнутъ, нежели примутся они за гусли и запоютъ сіонскія пѣсни на потѣху владыкъ своихъ. Несмотря на все свое отчаяніе, эта пѣснь производитъ высоко-отрадное, мужественное впечатлѣніе: чувствуешь, что не погибъ бы народъ еврейскій, если бъ весь и всегда одушевленъ былъ такими чувствами...

Но и безъ всякихъ возвышенныхъ соображеній, просто по человѣчеству, намъ отрадно видѣть избавленіе Катерины—хоть черезъ смерть, коли нельзя иначе. На этотъ счетъ мы имѣемъ въ самой драмѣ страшное свидѣтельство, говорящее намъ, что жить въ „темномъ царствѣ“ хуже смерти. Тихонъ, бросаясь на трупъ жены, вытащенный изъ воды, кричитъ въ самозабвеніи: „Хорошо тебѣ, Катя! А я-то зачѣмъ остался жить на свѣтѣ да мучиться!“ Этимъ восклицаніемъ заканчивается пьеса, и намъ кажется, что ничего нельзя было придумать сильнѣе и правдивѣе такого окончанія. Слова Тихона даютъ ключъ къ уразумѣнію пьесы для тѣхъ, *кто бы даже* и не понялъ ея сущности ранѣе; они заста-

вляютъ зрителя подумать уже не о любовной интригѣ, а обо всей этой жизни, гдѣ живые завидуютъ умершимъ, да еще какимъ—самоубійцамъ! Собственно говоря, восклицаніе Тихона глупо: Волга близко, кто же мѣшаетъ и ему броситься, если жить тошно? Но въ томъ-то и горе его, то-то ему и тяжко, что онъ ничего, рѣшительно ничего сдѣлать не можетъ, даже и того, въ чемъ признаетъ свое благо и спасеніе. Это нравственное растлѣніе, это уничтоженіе человѣка дѣйствуетъ на насъ тяжелѣе всякаго, самаго трагическаго происшествія: тамъ видишь гибель одновременную, конецъ страданій, часто избавленіе отъ необходимости служить жалкимъ орудіемъ какихъ-нибудь гнусностей; а здѣсь—постоянную, гнетущую боль, разслабленіе, полутрупъ, въ теченіе многихъ лѣтъ согнивающій заживо... И думать, что этотъ живой трупъ—не одинъ, не исключеніе, а цѣлая массса людей, подверженныхъ тлетворному вліянію Дикихъ и Кабановыхъ, и не чаять для нихъ избавленія—это, согласитесь, ужасно! Зато какою же отрадною, свѣжею жизнью вѣетъ па насъ здоровая личность, находящая въ себѣ рѣшимость покончить съ этою гнилою жизнью во что бы то ни стало!..

На этомъ мы и кончаемъ. Мы не говорили о многомъ—о сценѣ ночного свиданія, о личности Кулигина, не лишенной тоже значенія въ пьесѣ, о Варварѣ и Кудряшѣ, о разговорѣ Дикого съ Кабановой и пр. и пр. Это оттого, что наша цѣль была указать общій смыслъ пьесы, и, увлекаясь общимъ, мы не могли достаточно входить въ разборъ всѣхъ подробностей. Литературные судьи останутся опять недовольны: мѣра художественнаго достоинства пьесы недостаточно опредѣлена и выяснена, лучшія мѣста не указаны, характеры второстепенные и главные не отдѣлены строго, а всего пуще—искусство опять сдѣлано орудіемъ какой-то посторонней идеи!.. Все это мы знаемъ и имѣемъ только одинъ отвѣтъ: пусть читатели разсудятъ сами (предполагаемъ, что всѣ читали или видѣли *Грозу*),—*точно ли идея, указанная нами, совсѣмъ посторонняя „Грозѣ“*, навязанная нами насильно, *или же она дѣйствительно вытекаетъ изъ самой пьесы*, составляетъ ея сущность и опредѣляетъ прямой ея смыслъ?.. Если мы ошиблись, пусть намъ это докажутъ, дадутъ другой смыслъ пьесѣ, болѣе къ ней подходящій... Если же наши мысли сообразны съ пьесою, то мы просимъ отвѣтить еще на одинъ вопросъ: *точно ли русская живая*

натура выразилась въ Катеринѣ, точно ли русская обстановка во всемъ, ее окружающемъ, точно ли потребность возникающаго движенія русской жизни сказалась въ смыслѣ пьесы, какъ она понята нами? Если „нѣтъ“, если читатели не признаютъ здѣсь ничего знакомаго, родного ихъ сердцу, близкаго къ ихъ насущнымъ потребностямъ, тогда, конечно, нашъ трудъ потерянъ. Но ежели „да“, ежели наши читатели, сообразивъ наши замѣтки, найдутъ, что точно русская жизнь и русская сила вызваны художникомъ въ *Грозѣ* на рѣшительное дѣло, и если они почувствуютъ законность и важность этого дѣла, тогда мы довольны, чтó бы ни говорили наши ученые и литературные судьи.

„Козьма Захарьичъ Мининъ-Сухорукъ“.

Драматич. хроника (1611—1612), въ 2 дѣйствіяхъ съ эпилогомъ, въ стихахъ [1].

*) Въ жизни каждаго народа есть всегда какое-либо святое воспоминаніе, какое-либо событіе, отдѣляемое отъ всѣхъ прочихъ, и по преимуществу чтимое народною памятью. Къ числу такихъ святыхъ дѣлъ, безъ сомнѣнія, принадлежитъ въ русской исторіи эпоха 1611—12 г., когда народъ единодушно возсталъ для очищенія земли своей отъ внѣшнихъ

---

[1]) П. Анненковъ. „Русскій Вѣстникъ“ 1862 года, № 9. „О Мининѣ г. Островскаго и его критикахъ“.

*) Павелъ Васильевичъ Анненковъ родился въ Москвѣ 19-го іюля 1813 г. Отецъ его- богатый симбирскій помѣщикъ. Павелъ Васильевичъ учился сначала въ Горномъ институтѣ, гдѣ и дошелъ до спеціальныхъ классовъ; затѣмъ былъ вольнослушателемъ на историко-филологическомъ факультетѣ въ Петербургскомъ университетѣ. Въ 1833 г. поступилъ, было, на службу, но вскорѣ бросилъ ее и въ 1840 г. уѣхалъ за границу. Оттуда онъ посылаетъ въ „Отечеств. Записки“ свои путевыя письма, и они печатаются тамъ на протяженіи 1840—42 гг. Возвратившись въ Россію, онъ принимается за изданіе сочиненій Пушкина и въ 1850 г. выпускаетъ ихъ въ свѣтъ, присовокупивъ къ нимъ матеріалы для біографіи великаго поэта. Знакомый близко со всѣми выдающимися литераторами того времени Анненковъ считается среди нихъ тонкимъ знатокомъ искусства и умнымъ, хорошимъ цѣнителемъ. Къ его совѣтамъ прислушивается даже такой большой эстетикъ, какъ И. С. Тургеневъ, и согласно замѣчаніямъ Павла Васильевича исправляетъ свои произведенія. Съ 1865 г. онъ снова уѣзжаетъ за границу и „десяти-пудовой бабочкой,—какъ пишетъ въ одномъ изъ писемъ Тургеневъ,—порхаетъ по сѣверной Италіи и запускаетъ хоботъ своего наблюденія въ цвѣтки общественной жизни“. Въ это же время онъ печатаетъ въ „Вѣстн. Европы“ въ высшей степени интересныя воспоминанія о дѣятеляхъ литературы 40-хъ годовъ. Въ 1887 г. 8-го марта Анненковъ умираетъ въ Дрезденѣ.

Флоберъ въ одномъ изъ своихъ писемъ говоритъ, что „*вкусъ*—рѣдкое качество даже въ лучшей критикѣ, настолько рѣдкое, что о немъ даже

и внутреннихъ враговъ. Эту эпоху и выбралъ г. Островскій предметомъ для драмы. Драма эта возбудила самые разнорѣчивые толки. Извѣстно, что г. Островскій въ своемъ *Мининѣ* принужденъ былъ дать почти одинаковое мѣсто и значеніе лирическому элементу съ драматическимъ: отсюда и противорѣчащіе толки. Всѣ тѣ, которые сильно потрясены были лирическою частью пьесы, этою попыткой воспроизвести строй мысли и духъ поэзіи XVII вѣка, стали на сторонѣ новаго произведенія; напротивъ, непріязненно отнеслись къ нему всѣ тѣ, которые обратили главное вниманіе на его драматическую сторону: они не нашли драмы въ томъ смыслѣ, въ какомъ ожидали. Споръ о *Мининѣ* г. Островскаго, въ

больше не говорятъ". Въ отношеніи статей Анненкова какъ разъ должно сказать обратное: въ нихъ на каждомъ шагу вы сталкиваетесь съ критикомъ, „расцѣнивающимъ произведенія и всѣ ихъ детали, какъ ювелиръ драгоцѣнные камни, съ изумительной тонкостью вкуса и чутьемъ къ малѣйшей погрѣшности". Живя долго въ Италіи и посвящая всю свою жизнь цѣлямъ самосовершенствованія и самообразованія, Анненковъ развилъ художественный вкусъ, а пребываніе среди лучшаго французскаго общества сдѣлало его человѣкомъ европейски просвѣщеннымъ безъ той узости и партійности, которою отличалось, въ силу извѣстнаго общественнаго уклада, большинство тогдашнихъ русскихъ литераторовъ. Будучи любознательнымъ человѣкомъ отъ природы и, кромѣ того, матеріально обезпеченнымъ, Анненковъ много читалъ и многимъ интересовался, начиная отъ вопросовъ чистаго искусства и кончая К. Марксомъ.

По своимъ литературнымъ склонностямъ Анненковъ представитель той группы литераторовъ, которая проповѣдывала принципъ: „Искусство для искусства". Будучи болѣе просвѣщеннымъ, чѣмъ Дружининъ, Анненковъ не дошелъ до вывода теоріи, оцѣнивающей искусство какъ забаву; однако, онъ полагалъ, что забота автора художественнаго произведенія о *мысли* сообщаетъ этому произведенію педагогическій характеръ, сказывается непріятно дѣйствующее на читателя умничанье, пропадаетъ свѣжесть пониманія явленій, исчезаетъ смѣлость обращенія съ ними; критика предъявляетъ уже только требованія не художнической мысли, а мысли или философской или педагогической, что́ совершенно чуждо природѣ художественной литературы. Такой задачей художникъ будетъ связанъ по рукамъ и ногамъ и превратится въ няньку для своихъ дѣйствующихъ лицъ, „наблюдая, чтобы каждое шло прямо по начертанной дорогѣ и по сторонамъ не зѣвало". Произведеніе такого художника будетъ походить на „вывѣску съ изображеніемъ вытянутаго перста". Каждая изъ группъ изящнаго имѣетъ свой строго очерченный циклъ идей, совершенно не сходный съ тѣми идеями, которыя свойственны публицистикѣ, наукѣ, философіи и т. д. Кромѣ того, музыкѣ свойственны свои музыкальныя мысли, живописи свои, скульптурѣ свои, а также и художественной литературѣ свои. Слѣдовательно, требованіе, чтобъ изящная литература бралась за темы философ-

сущности, былъ споръ двухъ воззрѣній: одно изъ нихъ цѣнитъ выше всего воспроизведеніе внутренней духовной жизни эпохи, примиряясь съ однообразіемъ, тишиной и скромностью картины; другое, напротивъ, требуетъ, чтобъ обнаружены были причины событій, ищетъ разнообразія личностей и отъ ихъ столкновенія ждетъ главнаго интереса. Должно жалѣть, что споръ этотъ шелъ преимущественно въ обществѣ и не былъ поддержанъ литературою, которая, кажется, окончательно пристрастилась къ мнѣнію противниковъ г. Островскаго, на основаніяхъ, впрочемъ, не вполнѣ обнаруженныхъ ею. А между тѣмъ, ставъ между этихъ двухъ воззрѣній, литература могла бы присоединить нѣсколько сообра-

---

скаго, публицистическаго или какого-либо другого вида, ей не свойственнаго, абсурдъ. Такая замѣна идей художественныхъ—идеями другого порядка, чуждыми изящной литературѣ, какъ бы эти идеи сами-по-себѣ ни были глубоки и общественно цѣнны, не дастъ истиннаго художественнаго произведенія. Положенныя въ основаніе такія идеи вызовутъ ложныя безжизненныя явленія искусства, увлекая за собою на путь умствованія и критику. „Желаніе сохранить рядомъ другъ подлѣ друга требованія искусства съ настоящимъ, жесткимъ ходомъ жизни,—говоритъ Анненковъ,—произвести эстетическій эффектъ и вмѣстѣ цѣликомъ выставить бытъ, мало подчиняющійся вообще эффекту,—желаніе это кажется намъ неисполнимымъ". Отсюда понятно, что онъ строго отдѣляетъ дѣйствительность отъ литературы, связывая воедино понятіе о дѣйствительности съ понятіемъ исключительной прозы, а понятіе литературы съ понятіемъ чистѣйшей, безпримѣсной поэзіи. Дѣйствительность—мракъ и страданіе, искусство—свѣтъ и и наслажденіе. Отсюда выводъ: просто народная жизнь не можетъ быть цѣликомъ выведена въ литературѣ, потому что она въ бо́льшей своей части неэстетична, нечистоплотна и мрачна, а потому, „что бы ни дѣлалъ авторъ для тщательнаго сохраненія истины и оригинальности въ своихъ лицахъ, онъ принужденъ наложить краску искусственности на нихъ, какъ только принялся за литературное описаніе". Такимъ образомъ, Анненковъ—рѣшительный сторонникъ чисто-эстетическаго направленія, и въ своемъ письмѣ къ Огарёву онъ говоритъ, что „мысль убиваетъ искусство и женщину". Повѣствовательное искусство должно воспроизводить „развитіе психологическихъ сторонъ лица или многихъ лицъ"—это и составляетъ „основную идею повѣствованія, которое черпаетъ жизнь и силу въ наблюденіи душевныхъ оттѣнковъ, тонкихъ характерныхъ отличій, игры безчисленныхъ волненій человѣческаго нравственнаго существа, въ соприкосновеніи его съ другими людьми. Никакой другой „мысли не можетъ дать повѣствованіе и не обязано къ тому".

Словомъ, Анненковъ принадлежалъ къ числу литературныхъ критиковъ, для которыхъ живая связь искусства съ дѣйствительностью была закрытою книгой. У него было много литературнаго вкуса и никакого публицистическаго чутья. *Прим. Н. Денисюка.*

женій объ особенныхъ условіяхъ, которыя вытекали для автора изъ того обстоятельства, что онъ избралъ предметомъ своего труда историческое явленіе, получившее въ сознаніи народа характеръ, размѣры и атрибуты „святого дѣла“.

Прежде всего надо замѣтить, что событіе, возведенное на эту степень народнымъ представленіемъ, ограждено отъ критики, повѣрки и суда писателя. Къ нему можетъ вести его только одна торная дорога, отступить отъ которой искусство не въ состояніи. Какія бы открытія ни дѣлала наука по поводу эпохи, въ которую совершилось святое дѣло, какія бы новыя черты ни вводила она въ физіономію главныхъ лицъ, ни событія ни лица ничего отъ этого не теряютъ, равно какъ ничего и не выигрываютъ; сложившимся народнымъ убѣжденіемъ они, такъ-сказать, ограждены отъ всѣхъ возможныхъ открытій и измѣненій. Примѣровъ этому много. Говорите, что́ хотите, объ эпохѣ des états généraux 89 года во Франціи, судите какъ угодно о настоящихъ поводахъ, вызвавшихъ утвержденіе парламентской власти въ Англіи, разъясняйте съ любой точки зрѣнія сожженіе папской буллы Лютеромъ: народъ тѣхъ сторонъ, гдѣ совершились эти событія, а за нимъ, разумѣется, и искусство, будутъ относиться къ нимъ не иначе, какъ съ благоговѣніемъ. Также можно отыскивать свидѣтельства, что нижегородское ополченіе и вообще движеніе 1611 г. не вполнѣ имѣли характеръ самоотверженія, безкорыстія и единодушія, сообщенный ему преданіемъ, что руководители этого движенія похитили въ исторіи себѣ роль, которой не играли въ дѣйствительности (хотя убѣдительныхъ документовъ въ пользу такого предположенія врядъ ли позволительно ожидать), все-таки толчокъ, данный изъ Нижняго Русской землѣ, и люди, управлявшіе силами народа въ то время, не утратятъ ни одного луча изъ окружающаго ихъ ореола. Для того, чтобы наука могла сократить въ глазахъ народа преувеличенные размѣры преданія или отнять у событія всѣ украшенія, сообщенныя ему воодушевленною рѣчью современниковъ и добавками потомства, надо сперва, чтобы самъ народъ запамятовалъ первоначальный смыслъ подвига и пересталъ видѣть въ немъ законную причину для своей гордости. Тогда святое дѣло распадается въ сознаніи народа при малѣйшемъ скептическомъ прикосновеніи къ нему, а вмѣстѣ съ тѣмъ падаютъ и всѣ личности, съ которыми было оно неразрывно связано,

какъ это случилось, напримѣръ, во Франціи относительно облика Іоанны д'Аркъ и его чудодѣйственной орифламмы *). Такихъ потухшихъ свѣтилъ на горизонтѣ исторіи можно насчитать почти столько же, сколько и свѣтилъ, блестящихъ еще полнымъ свѣтомъ. Въ свое время не нужно бываетъ даже и большого ума или особенной проницательности для разрѣшенія отживающаго преданія. Тогда орудіемъ окончательнаго его паденія можетъ быть одно простое слово, одна простая шутка. Большею частью случается такъ, что литература и наука приступаютъ къ скептическому анализу событія уже тогда, когда остались отъ него одни потухшія воспоминанія.

Возвышеніе извѣстнаго событія на степень святого дѣла и паденіе его съ этой высоты зависятъ всегда отъ религіознаго созерцанія народа и отъ того нравственнаго идеала, который онъ имѣетъ передъ собою. Это вѣрно даже относительно народовъ наиболѣе положительныхъ, наиболѣе огражденныхъ отъ мистическихъ увлеченій. Святое дѣло, это духъ народа, нѣкогда явившійся воочію; въ немъ народъ, сквозь призму своего религіознаго настроенія, видитъ самого себя въ лучшемъ, блистательнѣйшемъ, идеальномъ видѣ, въ какомъ только онъ можетъ самъ представить себя. Поэтому не всякое событіе, важное по своимъ результатамъ и по жертвамъ, принесеннымъ для ихъ достиженія, восходитъ на степень святыни для народа и становится частью его духовной жизни. Всѣ усилія искусственно поднять событіе на такую степень оказываются обыкновенно напрасными. Нужно, чтобы событіе было тѣсно связано съ общимъ религіознымъ настроеніемъ, и чтобъ оно отвѣчало въ свое время внутреннимъ надеждамъ и стремленіямъ народа, удовлетворяло невысказаннымъ потребностямъ его жизни и соотвѣтствовало наклонностямъ всей нравственной его природы. Читатель замѣтитъ, конечно, что мы ничего не говоримъ о достоинствѣ или недостаткахъ, о широтѣ или ограниченности самого идеала, какой представляется народу въ данное время: это очень важно, но сюда не относится. Мы только говоримъ о томъ, какъ зарождается благоговѣніе къ извѣстнымъ историческимъ событіямъ, и почему, до времени, оно остается незыблемо при всевозможныхъ нападеніяхъ скептицизма и

*) Прежнее государственное знамя Франціи. *Н. Д.*

отрицанія. Чтобы развѣнчалось въ глазахъ народа его великое событіе, нужно, чтобъ измѣнилась та религіозная призма, сквозь которую смотритъ народъ, нужно, чтобы предсталъ предъ нимъ другой идеалъ: бывшее святое дѣло представится тогда умственному взору его съ другими красками и въ другихъ очертаніяхъ. А до того—оно заговорено противъ всѣхъ непріязненныхъ покушеній. Стороннему зрителю приходится только наблюдать самый ростъ событія, предназначеннаго къ этой роли, и его постепенный ходъ отъ простого факта до легенды съ характеромъ неприкосновенной святыни. Это зрѣлище, по нашему мнѣнію, представляетъ одно изъ поучительнѣйшихъ въ исторіи.

Изъ сказаннаго нами истекаетъ самъ-собою весьма важный выводъ, котораго никакъ не слѣдуетъ упускать изъ вида при оцѣнкѣ поэтическихъ произведеній. Когда въ произведеніи изображается событіе, благоговѣйно чтимое народною памятью, тогда не столько авторъ владѣетъ своимъ предметомъ, сколько предметъ владѣетъ авторомъ. Прежде всего писатель не имѣетъ права дѣлать выборъ между причинами, которыя участвовали въ событіи; онъ обязанъ ограничиться только тѣми или тою, которая указывается преданіемъ и одна изъ всѣхъ уцѣлѣла въ народномъ воспоминаніи. Въ дѣлѣ освобожденія земли Русской отъ поляковъ, казаковъ и боярской крамолы, напримѣръ, вмѣстѣ съ главнымъ побужденіемъ возстановить вѣру и государство, играло, безъ сомнѣнія, еще множество другихъ побужденій, въ числѣ которыхъ, конечно, не послѣднее мѣсто занимали надежды личнаго и областного возвышенія, стремленіе къ возстановленію отжившихъ порядковъ и т. д. Но поэтъ не имѣетъ права вызывать на смотръ всѣ элементы, изъ которыхъ сложилось событіе. Такого рода добросовѣстность превратила бы тотчасъ же его произведеніе въ ревизію историческихъ свидѣтельствъ, а при нѣкоторомъ своеволіи фантазіи ввела бы его въ тяжбу съ принятымъ мнѣніемъ и лѣтописью, тѣмъ болѣе несчастную, что она велась бы не въ той формѣ, въ какой должны быть ведены тяжбы подобнаго рода. Въ поэтическомъ произведеніи должна быть соблюдена другого рода добросовѣстность. Оно обязано сохранить преданіе во всей его цѣлости и воспроизвести его для народа въ томъ же блескѣ, достоинствѣ и величіи, въ какомъ держитъ его самъ народъ. Поэтому первою забо-

той должна быть разработка той стороны событія, которой общимъ голосомъ приписывается наибольшая творческая сила. Художнику, такимъ образомъ, заранѣе указаны основной тонъ и главный мотивъ произведенія. Ему ничего не остается болѣе, какъ, обрабатывая готовый матеріалъ, дать лишь слегка почувствовать постороннія силы и второстепенныхъ двигателей событія.

Изъ сказаннаго не слѣдуетъ, чтобы преданіе было совершенно неприкосновенно для повѣрки и изслѣдованія. Сохрани насъ Богъ отъ этой мысли: мы говоримъ только объ условіяхъ воспроизведенія преданія въ искусствѣ, ни о чемъ болѣе. Услуги, какія можетъ оказать обществу тщательное историческое изслѣдованіе предмета, принимаемаго всѣми на вѣру, безъ сомнѣнія, огромны. Оно иногда полагаетъ основаніе новому, болѣе совершенному пониманію прошедшей и настоящей жизни общества, хотя бываетъ иногда и то, что оно только сильнѣе укрѣпляетъ способъ прежняго представленія. То достовѣрно, однакоже, что пока длится критическая разработка прошедшаго, плодотворная для общества, къ какимъ бы окончательнымъ результатамъ она ни привела,—а длится она, какъ извѣстно, немалое время,—люди, занятые ею, становятся поодаль отъ другихъ и поневолѣ обрекаютъ себя на нѣкоторое нравственное одиночество; таково условіе ихъ положенія. Художникъ-писатель неспособенъ къ такой жертвѣ, и она отъ него не требуется. Умственная жизнь его всегда течетъ между живыхъ людей, живыхъ образовъ и живыхъ преданій; къ этимъ живымъ преданіямъ онъ обращается за свидѣтельствами и доказательствами даже тогда, когда становится обличителемъ и, повидимому, врагомъ окружающаго. Скептиковъ-художниковъ нѣтъ и не было, не исключая и такихъ именъ, какъ Вольтеръ или Байронъ. Въ каждомъ изъ нихъ любой рьяный отрицатель найдетъ множество, по его мнѣнію, слѣпыхъ убѣжденій, пустыхъ надеждъ, неоправдываемыхъ симпатій и пр. Серіозный скептицизмъ можетъ увлекать писателя-художника и служить для него предметомъ удивленія и поэтическихъ думъ. Но собственно создать своимъ скептицизмомъ онъ ничего не въ силахъ, а поэтому не въ силахъ и измѣнить смыслъ историческаго событія и лица сообразно съ скептическимъ воззрѣніемъ; его достанетъ только на то, чтобы лишить то и другое смысла и образа.

Люди и дѣянія превратятся у него въ химерическія существа, не имѣющія себѣ подобія на землѣ. Нѣчто похожее на такое превращеніе случилось и съ Козьмой Захарьичемъ Мининымъ, когда, по поводу новаго произведенія г. Островскаго, часть нашего общества обратилась съ любопытствомъ къ этой личности и принялась дѣлать въ ней психическія открытія, на основаніи догадокъ и темныхъ намековъ собственнаго опыта. Если бы собрать въ одинъ образъ всѣ представленія, которыя возникали въ этихъ толкахъ, то знаменитый мясникъ Нижняго-Новгорода вышелъ бы какою-то невообразимою смѣсью вдохновенія и плутовства, святости и добродушнаго коварства, идеаломъ патріотизма, основаннаго на корыстныхъ расчетахъ и купеческой смѣткѣ,— словомъ, личностью совершенно невозможною.

Къ числу неблагопріятныхъ условій для писателя, изображающаго святыню народныхъ воспоминаній, принадлежитъ необходимое однообразіе въ выраженіи всѣхъ лицъ, участвовавшихъ въ событіи. Однообразная духовная физіономія есть своего рода помазаніе, налагаемое на всѣ лица, пріобщенныя къ святому дѣлу. Характеристическія отличія ихъ другъ отъ друга едва-едва, и то изрѣдка, успѣваютъ проглянуть сквозь единство настроеній, намѣреній и поступковъ. За исключеніемъ немногихъ главныхъ лицъ, всѣ прочія разнятся только такими общими отличіями, каковы полъ, возрастъ, степень образованія и достатка; по духу никто изъ нихъ ни выше ни ниже.

Являются новыя лица, другой оборотъ рѣчи, даже оригинальные, своеобычные характеры, но развернуться вполнѣ передъ зрителемъ никому нѣтъ ни мѣста ни времени: всѣ торопятся собраться въ одну группу и вторить пѣснѣ, уже начатой другими прежде нихъ. Изъ этого дѣйствительно образуется громадный, великолѣпный хоръ, который способенъ потрясти чувство самое притупленное и устранить всякое желаніе узнавать силу и объемъ каждаго отдѣльнаго голоса въ его составѣ. Но тѣмъ не менѣе творческая дѣятельность принуждена бываетъ ограничивать себя и изъ уваженія къ главной задачѣ отказываться отъ употребленія своихъ силъ въ возможной для нихъ полнотѣ. По той же самой причинѣ нельзя ожидать и драматическаго движенія въ такихъ произведеніяхъ, хотя бы они и приняли форму драмы; борьба и столкновеніе интересовъ, составляющія

жизнь драмы, поглощены здѣсь единодушіемъ общаго настроенія. Если оно и нарушается, то нарушается не драматически. Въ драмѣ обыкновенно хотятъ видѣть борьбу насмерть двухъ или многихъ несовмѣстныхъ между собою началъ, но это опредѣленіе не полное. Борьба, напримѣръ, патріотизма съ подкупленною измѣной не можетъ сдѣлаться достояніемъ истинной драмы. Драма развивается только тогда, когда для нея найдена нейтральная почва, а страсти, вступившія въ борьбу, имѣютъ одинаково свои корни въ нравственной природѣ и одинаково могутъ быть поддерживаемы доводами нравственнаго же свойства. Но историческое дѣйствіе, въ которомъ народъ видитъ свой высочайшій подвигъ, и притомъ подвигъ, запечатлѣнный всенароднымъ одушевленіемъ, по самому существу своему, не можетъ допустить противодѣйствія себѣ иначе, какъ въ смыслѣ величайшаго нравственнаго и даже физическаго безобразія. Какая драма тамъ, гдѣ съ перваго раза являются люди, имѣющіе всѣ права на своей сторонѣ, и противопоставляются людямъ, не имѣющимъ сказать въ свою пользу ничего разумнаго? Вмѣсто драмы, тутъ устраивается нѣчто похожее на тріумфальное шествіе, въ которомъ одни владѣютъ всѣми правами на торжество, похвалу и сочувствіе, а другіе отданы на презрѣніе,—презрѣніе, ничѣмъ не смягченное, какъ оно смягчается въ настоящей драмѣ, гдѣ еще можно удивляться, хотя бы силѣ воли или ума и другимъ качествамъ души самаго закоренѣлаго преступника. Преданіе о великомъ народномъ дѣлѣ не знаетъ такого снисхожденія; оно беретъ и охраняетъ только своихъ почетныхъ дѣятелей. Зато они растутъ сами, и все вокругъ нихъ растетъ неимовѣрно скоро.

Съ перваго же ихъ появленія въ произведеніи всѣ сторонятся передъ ними, всѣ руки указываютъ на нихъ какъ на избранниковъ, всѣ умы и сердца знаютъ, чего ожидать отъ нихъ. Вскорѣ и весь народъ, убѣжденный ими, сознаетъ себя какъ лицо, исполняющее великое призваніе на землѣ и освящается въ собственныхъ глазахъ. Понятно, что поэтъ не можетъ не итти съ народомъ. Покинуть народъ или преданіе въ то время, когда они дѣлаютъ самое Небо участникомъ подвига, значило бы измѣнить собственному знамени.

Великое чудо, не нарушая нисколько правдоподобія, должно просто и естественно явиться въ произведеніи, какъ просто и свободно явилось оно нѣкогда въ самой жизни:

чудо обязано стать въ рядъ дѣйствующихъ пружинъ событія и, наравнѣ съ другими, добросовѣстно исполнить свое назначеніе по отношенію къ святому дѣлу.

Таковы условія, ограниченія и трудности, представляемыя драматическою хроникой, которая имѣетъ своимъ предметомъ священныя воспоминанія народа; а что теорія нами не выдумана, тому служитъ доказательствомъ довольно плодовитый отдѣлъ европейской литературы, именно отдѣлъ религіозной испанской драмы. Драма эта преимущественно посвящена „святымъ дѣламъ", и главныя черты ея всегда будутъ повторяться въ произведеніяхъ того же рода. Спрашивается, какихъ же результатовъ достигла религіозная драма? Они извѣстны. Несмотря на однообразіе всѣхъ ея пріемовъ, на постоянно героическій складъ мыслей, царствующій въ рѣчахъ и поступкахъ лицъ, выводимыхъ ею, несмотря на отсутствіе чего-либо похожаго на колебаніе или движеніе жизни въ иную сторону, несмотря на то, что нѣсколько яркихъ, одинаково лучезарныхъ доблестей постоянно вращаются передъ глазами вашими,—религіозная испанская драма одолѣваетъ читателя съ неотразимою силой. Читатель одинаково покоряется ей и тогда, когда расположенъ считать идею драмы мрачнымъ явленіемъ историческаго процесса, и тогда, когда согласенъ признавать ея высокое значеніе въ человѣческомъ развитіи. На чемъ же основывается эта сила? На невидимомъ дѣйствіи того глубокаго энтузіазма, съ которымъ относится драма къ предмету, ею избранному, на могучемъ чувствѣ благоговѣнія къ вѣрѣ, представленіямъ, идеаламъ народа,—чувствѣ, которое она прививаетъ и зрителю. Драма становится раскрытіемъ поэтической думы цѣлой страны и выражаетъ въ одномъ мгновеніи всю ея нравственную жизнь, которая многочисленными каналами проходитъ по ея исторіи. Точно ту же цѣль могъ имѣть въ виду и г. Островскій, когда писалъ своего *Козьму Минина*, и его произведеніе, по характеру и особенностямъ своимъ, носитъ признаки такого родства съ отдѣломъ испанской религіозной драмы, что можетъ быть признано, безъ всякаго укоризненнаго намѣренія, явленіемъ совершенно аналогическимъ съ нею.

Здѣсь мы встрѣчаемся въ возраженіемъ, которое обойти невозможно, потому что оно часто слышится въ разныхъ кругахъ общества. „Прежде чѣмъ заниматься поэтиче-

ою думой народа,—говорятъ намъ,—надо, по крайней мѣрѣ, остовѣриться, есть ли самый народъ, понятый, разумѣется, въ смыслѣ сборища единицъ, живущихъ, какъ пришлось, дъ одними и тѣми же обязательными законами, а въ ыслѣ нравственнаго лица, хранящаго свои дорогія пре-нія, имѣющаго свой взглядъ на исторію, свой кодексъ рали и своеобычное представленіе доблести и героизма. ь народѣ испанскомъ не одна драма показываетъ извѣст-ія ноты; испанскій народъ является тѣмъ же самымъ при якомъ случаѣ, иначе и драма его не могла бы явиться. о отношенію къ русскому обществу предстоитъ еще просъ: существуютъ ли у него духовныя стремленія, ему ному принадлежащія, и можно ли дѣйствительно распо-ать въ немъ народъ, помнящій свою исторію и имѣющій ь ней свои глубокія симпатіи и антипатіи? Вотъ вопросъ! оселѣ еще никто не могъ сказать порядочно, къ какому торическому дѣятелю особенно лежитъ сердце народа, въ мъ и въ чемъ находитъ онъ свой идеалъ красоты и бра, и, наконецъ, точно ли онъ такъ связанъ съ поэзіей лигіознаго созерцанія, какъ увѣряютъ писатели. Возра-еніе это намъ знакомо. Оно обыкновенно слышится отъ й стороны, которая, основываясь на внѣшнихъ фактахъ, же всю старую цивилизацію Россіи, наравнѣ съ Петров-имъ періодомъ ея исторіи, считаетъ заимствованіемъ и редоставляетъ народной самодѣятельности только созданіе ѣсенъ да бытовыхъ общественныхъ и семейныхъ понятій, олѣе и менѣе не выдерживающихъ критики.

Если бы возраженіе было справедливо, то пропала бы йствительно не только возможность поэтическаго возсо-анія нашей прошедшей жизни, но была бы утрачена и ѣль общественнаго развитія.

Намъ, кажется, однакожъ, что это возраженіе не заклю-етъ въ себѣ ничего болѣе, кромѣ скептическихъ отвлечен-остей. Противъ него достаточно простого довода. Кому еизвѣстно, что только неорганическое тѣло можетъ слу-ить матеріаломъ для совершенно чуждыхъ ему, нисколько еоднородныхъ съ нимъ произведеній, а тѣло органическое и ивое производитъ только такія явленія (физическія и нрав-твенныя—все равно), основный типъ которыхъ носитъ въ амомъ себѣ. Достаточно одного этого соображенія, чтобы въ ародѣ, добывшемъ себѣ мѣсто и роль въ исторіи, предполагать

присутствіе духовныхъ силъ, хотя бы мы мало знали ихъ сущность.

Одновременно съ этимъ возраженіемъ, возникло въ публикѣ неудовольствіе на автора *Козьмы Минина* за то, что онъ предпочелъ ограничиться одною религіозною стороной событія, а не произвелъ исторической хроники по образцу Шекспировскихъ. При этомъ случаѣ появился запросъ на русскую историческую хронику, во вкусѣ Шекспира. Отовсюду послышались голоса: давайте намъ такую хронику; только она способна отнестись безпристрастно ко всѣмъ живымъ силамъ древней Руси, не давая скучнаго предпочтенія которой-либо изъ нихъ; только такая хроника позволяетъ намъ угадывать смыслъ историческихъ явленій, помимо монашескихъ или придворныхъ свидѣтельствъ лѣтописи, и безъ вмѣшательства народныхъ повѣрій и преданій, затемняющихъ истину.

Но хроника, въ родѣ Шекспировской, представляетъ у насъ свои трудности не менѣе тѣхъ, какія встрѣчаетъ и художественная разработка „преданія". Мы уже имѣемъ довольно многочисленные образцы, и участь Шекспира въ гостяхъ у русской исторіи, должно признаться, нисколько не была завидна.

Мы не только взяли себѣ за образецъ ту свободу, съ которою Шекспиръ относится къ историческимъ дѣятелямъ, но мы и употребили во зло эту свободу, прежде чѣмъ успѣли понять ее. Рука наша не дрогнетъ замѣшать любое историческое лицо въ какую-угодно шалость или, при риторическомъ настроеніи духа, въ какую-угодно чудовищность. Со времени Пушкина мы еще не видѣли у себя драматическаго писателя, который бы поднялся вровень съ историческими лицами, входящими въ его произведеніе, а видѣли только весьма успѣшныя старанія низвести ихъ до той среды, гдѣ возможно фамильярное обращеніе съ ними. Нельзя жаловаться также, чтобы мы были очень скромны въ вымыслѣ или чтобы для фантазіи нашей недоставало смѣлости и развязности. Никто не отступитъ у насъ передъ заманчивою мыслью пустить на арену историческаго событія плодъ собственнаго воображенія, какое-нибудь темное лицо, которое безъ зазрѣнія совѣсти перепутываетъ и оскорбляетъ; историческую тему своевольнымъ участіемъ въ ея развитіи; *ы,* напротивъ, нуждаемся теперь болѣе всего въ противо-

вѣсіи, въ ограниченіи черезчуръ усвоенной нами независимости: намъ нужно пріобрѣсть ту глубину созерцанія, которая даетъ возможность художнику прожить нѣсколько мгновеній одною жизнью съ великими людьми исторіи; нуженъ даръ угадывать тѣ живые разнообразные типы, въ которыхъ представляется древнее общество, а къ этому ведетъ только долгое изученіе исторій. До тѣхъ поръ не помогутъ никакая пестрота красокъ, никакія претензіи и размахи кисти. За ними дѣло не станетъ у насъ, а дѣло станетъ только за истинною силой изображенія и, преимущественно, за умѣніемъ прилично держать себя въ сферѣ свободнаго творчества.

Будемъ ли удивляться послѣ того, что г. Островскій, для перваго своего опыта въ исторической драмѣ, выбралъ тотъ родъ ея, который представлялъ гораздо болѣе надежныхъ основаній, несмотря на всю стѣснительность условій, налагаемыхъ имъ на творчество? Нѣтъ сомнѣнія, что оковы, неизбѣжныя въ этомъ родѣ драмы, не остались безъ видимыхъ послѣдствій въ произведеніи: онѣ дали ему тотъ однообразный родъ, то принужденное выраженіе покорности и подчиненія своей темѣ, которыхъ должно было ожидать. Но взамѣнъ того, авторъ получилъ многое, чего никогда не получилъ бы, рѣшившись на иной выборъ. Оставивъ за Мининымъ и земскимъ дѣломъ 1611 года все, что укрѣплено за ними преданіемъ, принявъ относительно къ нимъ положеніе, въ какомъ стоитъ къ нимъ народъ, увѣровавъ въ нихъ, какъ самый простой, непосредственный слушатель лѣтописей, авторъ оставилъ за собою замѣчательную *цѣльность* вдохновенія, столь рѣдкую въ нашемъ искусствѣ. А это помогло ему сразу отыскать стройную рѣчь, весьма выразительный и живописный стихъ, такъ же точно, какъ помогло выдержать произведеніе во всѣхъ его частяхъ, съ одинаковою силой и теплотой убѣжденія. Нашлись, однако, люди, которые приписали это желанію автора написать пьесу, годную для офиціальнаго употребленія, и мы лично имѣли удовольствіе слышать, какъ она уподоблялась драмамъ, скропаннымъ на случай праздниковъ. Конечно, приговоръ этотъ ничего не опредѣляетъ, кромѣ эстетическаго образованія тѣхъ лицъ, которыя рѣшились его высказать; но онъ допускаетъ и нѣсколько общихъ выводовъ. Можно спросить, въ какомъ образованномъ государствѣ, имѣющемъ судъ обще-

ственнаго мнѣнія, возможно было бы заподозрѣть благородство побужденій и чистоту патріотическаго чувства въ авторѣ за то только, что онъ обратился къ поэтическому возсозданію идеаловъ семейнаго и гражданскаго быта, нѣкогда существовавшихъ въ странѣ? Гдѣ и въ какомъ обществѣ мѣриломъ достоинства и честности намѣреній признается только болтовня на современные мотивы, а серіозная попытка осмыслить преданіе и отыскать глубоко нравственныя стороны его вызываетъ только сомнѣніе въ чистотѣ нравственныхъ побужденій? Впрочемъ, надо сказать, приговоры въ родѣ того, о которомъ идетъ рѣчь, произносились и у насъ украдкой, какъ бы избѣгая свѣта и разъясненій...

Содержаніе драмы г. Островскаго, кромѣ собственно историческаго преданія, составляютъ семейныя и общественныя представленія древней Руси, возведенныя до идеаловъ, вмѣстѣ съ поэтическимъ изображеніемъ тѣхъ нравственныхъ силъ, которыя проявлялись у нея въ минуты высшаго напряженія. Исторія является въ его драмѣ не цѣликомъ, какъ въ плохихъ ея передѣлкахъ на романы, а только въ своемъ отраженіи на нравахъ, понятіяхъ и вѣрованіяхъ эпохи. Исторія только исполняетъ, такъ-сказать, атмосферу, въ которой движутся лица его драмы; но сами эти лица являются совсѣмъ не затѣмъ, чтобы разъяснить какой-либо историческій вопросъ, а единственно затѣмъ, чтобы жизнью и дѣйствіями своими обнаружить поэтическую сторону и нравственный смыслъ современнаго имъ быта. Горенка вдовы Марѳы Кириловны—такое же важное звено въ драмѣ г. Островскаго, какъ и слезное моленіе народа въ соборѣ и избраніе Минина въ повѣренные отъ земли Русской. Первое совѣщаніе вождей народнаго возстанія происходитъ въ этой горенкѣ, между пѣснями сѣнныхъ дѣвушекъ, при заботливомъ угощеніи хозяйки. Самый девизъ ополченія: „За спасеніе вѣры и земли“, повторяемый всѣми, имѣетъ свое особенное содержаніе. За этою формулой слышится убѣжденіе въ необходимости крѣпкаго строя и великаго единства для государства, которые могутъ быть достигнуты совѣтомъ, участіемъ и приговоромъ всего народа. Знамя съ этимъ девизомъ уже нѣсколько разъ подымалось и прежде; но только тогда, когда оно перешло въ руки Минина, уяснился настоящій смыслъ его, который и помогъ уничтожить всѣ ложныя представленія государственнаго единства, выдуманныя

партіями и наполнившія страну измѣнами, преступленіями и бѣдствіями всякаго рода. Съ этой минуты политическая формула начинаетъ производить чудеса, а вчерашніе злодѣи отечества торжественно исповѣдуютъ ее; она исправляетъ негодяевъ, вразумляетъ маловѣрующихъ и быстро поднимаетъ общій уровень нравственности. Такое толкованіе исторіи стоитъ кропотливаго разбора той или другой черты въ лѣтописяхъ, опущенной, можетъ-быть, авторомъ.

Кстати о чертахъ. Лицо Минина въ пьесѣ г. Островскаго показалось для многихъ лицомъ отвлеченнымъ, созданнымъ для выраженія патріотическаго и религіознаго энтузіазма, но лишеннымъ живой физіономіи. По мнѣнію ихъ, это собственно не живое лицо, а простое олицетвореніе героическаго чувства. Требованіе на мелкія, но выразительныя подробности въ характеристикѣ лица возникло у насъ изъ знакомства съ западными историками, которые черпаютъ матеріалъ для яркой обрисовки характеровъ въ богатомъ запасѣ записокъ, переписокъ, современныхъ памятниковъ, дипломатическихъ, полемическихъ и всякаго рода документовъ; но оно въ большей части случаевъ неприложимо къ нашей исторіи. Съ лицами русской исторіи чаще всего остается дѣлать одно изъ двухъ: или сохранять физіономію, сложившуюся въ теченіе времени и знакомую всѣмъ, или цѣликомъ выдумывать ее. Къ такимъ лицамъ принадлежитъ, кромѣ многихъ другихъ, и Мининъ. Свойство нашихъ историческихъ документовъ таково, что они даютъ величавый очеркъ фигуры, способный оживиться подъ кистью истиннаго художника, но матеріаловъ для подробнаго психическаго анализа не представляютъ. Попытки примѣнить къ нашимъ историческимъ образамъ манеру западныхъ историковъ, пользуясь скудными намеками, кое-гдѣ встрѣчающимися въ документахъ, всегда будутъ имѣть видъ ученой забавы. Нѣтъ никакой возможности снять портретъ съ многихъ героическихъ лицъ древней Руси, а еще менѣе поддаются они покушеніямъ снять съ нихъ фотографическія карточки, а этого, собственно, кажется, и жаждутъ нѣкоторые ревнители *жизненности*.

Авторъ *Минина* обнаружилъ вѣрное пониманіе задачи, когда сохранилъ Минину его эпическую физіономію, добавивъ ее только тѣми чертами, которыя составляютъ ея же *естественную принадлежность*. Онъ создалъ образъ, послѣ

котораго возможенъ только одинъ вопросъ: въ какой степени соотвѣтствуетъ это созданіе историческимъ свидѣтельствамъ и народному представленію? Въ этомъ все дѣло.

Мы упомянули также о народныхъ совѣщаніяхъ. Удивительно, что критики г. Островскаго не обратили вниманія на эти, поистинѣ, превосходные morceaux d'ensemble (да простятъ намъ читатели этотъ музыкальный терминъ!), гдѣ народъ является въ разные моменты однимъ живымъ дѣйствующимъ лицомъ, всегда вѣрнымъ себѣ, но выражающимъ себя тысячью голосовъ и мнѣній. Это многосложное лицо испытываетъ въ пьесѣ г. Островскаго, на глазахъ нашихъ, нѣсколько превращеній, обнаруживающихъ его нравственную природу. Въ первой сценѣ совѣщанія (II дѣйствіе, явленіе III) оно входитъ въ чистую свѣтлицу вдовы Марѳы Борисовны, подъ видомъ трехъ вождей народнаго возстанія, которые чинно занимаютъ мѣста, согласно правиламъ установленнаго общежитія, и начинаютъ бесѣду простою формой вопрошенія для того, чтобы прійти къ соглашенію относительно цѣли, значенія и средствъ подвига: „Москва разорена!.. Такъ ей и оставаться? Москва корень прочимъ городамъ!.. Москва намъ мать!.. А развѣ дѣти могутъ мать покинуть?“ и проч. Во второй сценѣ совѣщанія (III дѣйствіе, явленіе III) то же самое лицо, но уже подъ видомъ шумной, нетерпѣливой толпы, захватываетъ палату воеводы Алябьева, требуетъ у него согласія и заводитъ горячее преніе съ недоброхотами, которые не вѣруютъ въ народныя силы и средства. Разгоряченное споромъ, оно доходитъ до религіозно-патріотическаго энтузіазма, и устами своихъ начетчиковъ начинаетъ выбирать примѣры изъ *Библіи*, гдѣ сильные враги сокрушаются слабыми руками, и завершаетъ доводы свои этими цитатами, какъ послѣднимъ и неопровержимымъ словомъ. Наконецъ, въ V дѣйствіи то же самое лицо является въ домъ Минина, какъ униженный проситель, обезсиленное, потерявшее надежду на себя, но еще сохраняющее мысль о подвигѣ, для осуществленія котораго оно отказывается отъ права располагать собою, отдается въ руки Минина, требующаго этой послѣдней жертвы, и радуется успѣху въ дѣлѣ самоуниженія и самоограниченія, какъ неожиданной побѣдѣ. Мы нисколько не сомнѣваемся, что эти сцены народныхъ совѣщаній, эти хоры, эти morceaux d'ensemble пьесы, могутъ дать понятіе о томъ, какого рода

интересъ, историческій и поэтическій, можетъ быть достигнутъ хроникой „святого дѣла", хотя бы драмы, въ настоящемъ смыслѣ слова, въ ней не оказалось, или хотя бы драма была къ ней пристроена искусственно и произвольно. Затѣмъ мы можемъ повторить еще разъ, что коренные недостатки произведенія состоятъ въ томъ, что вся его перспектива вполнѣ открывается зрителю съ первыхъ же сценъ, что оно представляетъ сплошь одну лучезарную поверхность, гдѣ почти нѣтъ тѣней или гдѣ тѣни едва-едва намѣчены, что въ немъ дано слишкомъ мало мѣста и значенія элементу противоборствующему, который существовалъ въ то время и существуетъ при каждомъ историческомъ явленіи; что, наконецъ, краски, которыми очертилъ авторъ отрицательную сторону, могли бы быть поярче; но какая польза изъ всего этого? Вѣдь, недостатки эти коренятся въ условіяхъ самаго рода драмы, избраннаго авторомъ, и, какъ неизбѣжные, почти перестаютъ быть недостатками. Можно было менѣе подчиниться имъ, но совершенно освободиться отъ нихъ не было возможности. Во всякомъ случаѣ, нельзя не согласиться, что это новое произведеніе г. Островскаго есть первый серіозный опытъ русской *исторической* драмы послѣ *Бориса Годунова* Пушкина. Если бы мы предались критическому увлеченію, то, конечно, должны были бы остановиться преимущественно на лицѣ благочестивой вдовы Марѳы Борисовны. Образъ этотъ взятъ авторомъ тоже изъ преданія, но очерченъ гораздо свободнѣе, чѣмъ всѣ другіе. Типъ, который мелькаетъ въ лицѣ Марѳы, прекрасно задуманъ, но, какъ намъ кажется, не совсѣмъ твердо и ясно выраженъ. Соединеніе глубокаго, сосредоточеннаго религіознаго чувства съ младенческою ясностью сердца, аскетизма съ веселостью, внутренней суровости съ добродушными и уклончивыми пріемами, требовало бы большей обработки, какъ ни превосходны намеки, брошенные авторомъ относительно психической глубины этого характера. Намековъ тутъ недостаточно. Читатель все-таки остается въ недоумѣніи передъ изображеніемъ, чувствуя, что противоположности, которыя оно въ себѣ заключаетъ и которыми оно отличается отъ другихъ, могутъ быть примирены, но не видя этого примиренія на дѣлѣ. А какъ опасно предоставлять самой публикѣ трудъ довершенія образа, видимъ мы изъ того, что Марѳа Борисовна принята была многими за типъ набожной кокетки!

Объяснить подобнаго рода недоразумѣнія и войти въ разборъ отдѣльныхъ частей произведенія было бы задачей полнаго отчета о драмѣ, котораго мы не имѣли въ виду. Цѣлью нашею было только указать настоящій смыслъ *Минина*, не всѣми признаннаго, и отдать справедливость серіозному и добросовѣстному поэтическому труду, предпринятому въ то время, когда на подобные труды общество наше смотритъ, какъ на дѣло, до него не касающееся, не понимая того, что такого рода произведенія могутъ, въ свою очередь, служить могущественнѣйшими двигателями общественнаго развитія.

П. Анненковъ.

„Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“ [1]).

Мы, конечно, не будемъ излагать здѣсь содержанія новой драмы г. Островскаго вполнѣ, такъ какъ оно хорошо извѣстно петербургской публикѣ и скоро будетъ извѣстно всѣмъ русскимъ читителямъ; но нѣсколько словъ о свойствѣ и сущности интриги, на которой держится драма, кажутся намъ необходимыми. Пьеса г. Островскаго показываетъ намъ мѣщанина, сберегающаго подъ грубой внѣшностью нѣжнѣйшее сердце, удивительную деликатность чувствъ, и пораженнаго страшною болѣзнью—болѣзнью Отелло—ревностью. Онъ женился на молодой женщинѣ, красавицѣ собою, изъ бѣдныхъ дворянъ, которая укрылась подъ его кровлю потому, что ей, вмѣстѣ съ сестрой, некуда было голову приклонить. Какъ истинный джентльменъ, мѣщанинъ Красновъ взялъ жену не для исполненія тяжкихъ работъ по дому и хозяйству, не для трудовой жизни въ семействѣ, а для того, чтобъ имѣть возлѣ себя изящное созданіе, любимое существо, которому можно было бы посвятить всѣ свои заботы. Онъ ссорился за нее со всею своею дикою и злобствующею родней, недовольною ея исключительнымъ, независимымъ положеніемъ, а также и съ меньшимъ братомъ—больнымъ мальчикомъ, который глубоко страдаетъ, видя ошибку боготворимаго имъ брата, и глубоко ненавидитъ обманщицу-сестру, нисколько не думающую о томъ, чтобы внести счастіе въ домъ и сердце, гдѣ такъ просторно поселилась. Жена Краснова остается по сердцу, по своей природѣ и по ограниченному уму дворянкой-приживалкой и въ мѣщанскомъ семействѣ: она мечтаетъ о сладостяхъ

---

[1]) П. В. Анненковъ. „С.-Петербургскія Вѣдомости“, 1863 г., № 43. („Современная беллетристика“, см. стран. 111).

образованной жизни въ кругу барынь, ихъ сынковъ и дворни. Она считаетъ себя униженною своимъ бракомъ. Пріемы, образъ мыслей, способъ выраженія мужа—все ей противно, и затѣмъ она ничего не видитъ въ душѣ его, кромѣ постылой любви. Ее тянетъ назадъ, и какъ только появился въ ихъ городѣ, проѣздомъ, молодой Бабаевъ, сынъ той барыни, у которой Краснова жила до замужества, всѣ прежнія воспоминанія ея раскрылись, и она съ наслажденіемъ прильнула къ нему, возобновляя старую пріязнь, старыя связи и сношенія. Напрасно мужъ, уже начинающій волноваться, старается спасти ее и себя отъ бѣды, которая грозитъ ихъ дому. Столько же по наущенію сестры—типа разбитной и пошлой приживалки—сколько и по влеченію сердца, заглушающаго и ту малую долю соображенія, которая оставалась у нея, Краснова рѣшается обманывать мужа, усыпить его притворною любовью и выиграть время и способы для свиданія съ любезнымъ. Обманъ удался вполнѣ, но, раздосадованная еще болѣе этимъ насиліемъ, сдѣланнымъ своей природѣ, Краснова тотчасъ же послѣ сцены фальшивой покорности мужу и жаркихъ поцѣлуевъ, полученныхъ отъ него, убѣгаетъ къ Бабаеву. Когда братъ и родня Краснова открываютъ ему эту послѣднюю коварную продѣлку жены, онъ теряетъ сперва всякое пониманіе дѣла, ждетъ отъ нея, какъ милости, какого-либо оправданія и разражается проклятіями и угрозами, когда она проситъ позволенія—разойтись, признаваясь, что никогда не любила его. Извѣстіе о томъ, что прогнанная имъ въ кухню преступница собирается бѣжать снова, заставляетъ его кинуться за ней. Черезъ нѣсколько мгновеній онъ возвращается назадъ со словами: „Я убилъ ее, вяжите меня“.

Какъ всѣ пьесы жизненнаго содержанія, новая пьеса г. Островскаго тотчасъ же и возбуждаетъ вопросъ: кто въ этой борьбѣ между двумя сторонами, кончившейся погибелью обѣихъ, правѣе другого. Мы сейчасъ скажемъ, какой отвѣтъ на этотъ запросъ заключается въ самой пьесѣ, но обязаны прежде всего упомянуть о томъ высокомъ художническомъ правосудіи, съ какимъ авторъ относится къ главнымъ дѣйствующимъ лицамъ своей драмы. Всѣ симпатіи его, видимо, на сторонѣ благороднаго мѣщанина Краснова; онъ бережетъ и поддерживаетъ его до конца пьесы, покидая его только въ послѣднее мгновеніе, въ минуту самовольной

расправы, подсказанной неодолимою страстью. До тѣхъ поръ всѣ поводы, объясняющіе убійство, которое близится съ каждою минутой, всѣ соображенія, способныя облегчить преступленіе и мѣру нареканія за него, тронуты мастерски. Къ числу подробностей искусной защиты принадлежатъ и всѣ тѣ черты, психическія откровенія, которыя обнаруживаютъ высокую природу будущаго преступника. Сцена, гдѣ, убаюканный притворными ласками жены, обнажаетъ всю свою глубоколюбящую душу, всѣ сокровища своего сердца, не переставая быть естественнымъ, такъ-сказать, и, во всякомъ случаѣ, очень мало развитымъ человѣкомъ,—принадлежитъ къ числу образцовыхъ сценъ русской драмы вообще. Съ помощью усилій художника, закрывающаго мѣщанина Краснова всѣмъ своимъ талантомъ,—право послѣдняго на жалость, снисхожденіе и участіе зрителей утверждены незыблемо. Весьма замѣчательно, что, несмотря на горячность защиты, въ ней нѣтъ ничего ухищреннаго, изворотливаго—ничего адвокатскаго. Самый осторожный адвокатъ, умѣвшій сохранить при дарѣ слова и проницательности ума еще и нѣкоторую *честность* мысли—что такъ рѣдко бываетъ,—не задумался бы пожертвовать выбранному герою лицомъ, съ которымъ у него завязалась тяжба и нравственное безобразіе, которое, притомъ, еще очевидно. Авторъ новой драмы также видитъ это безобразіе и никакого потворства относительно подсудимой, бывшей, по его мнѣнію, первою причиной всѣхъ несчастій, не обнаруживаетъ. Глубоко испорченная тлетворною средой, въ которой жила съ малыхъ лѣтъ, жена Краснова стоитъ неизмѣримо ниже своего мужа въ каждый моментъ развивающейся пьесы, не говоря уже о томъ, что послѣ сцены притворной любви она уже становится внѣ возможности какого-либо съ нимъ сравненія. Но въ пониманіи художника идея о правосудіи имѣетъ совсѣмъ другое значеніе и налагаетъ другія обязанности, чѣмъ въ пониманіи адвоката: художникъ, напримѣръ, не можетъ вѣрить въ полное, абсолютное преступленіе безъ возраженій и оправданій. Какъ мало ни симпатизируетъ авторъ извращенной женщинѣ, имъ созданной, но по чувству творческаго долга, такъ-сказать, онъ не бросаетъ ея на произволъ судьбы, а, напротивъ, становится возлѣ нея и усиленно ищетъ всѣхъ „облегчающихъ обстоятельствъ“, какія только могутъ быть найдены въ ея пользу. Процессъ ведется трога-

тельно, благороднымъ образомъ, какъ рѣдко ведутся процессы этого рода на нашей сценѣ. Послѣ возмутительной сцены вѣроломства, напримѣръ, о которой мы уже не разъ упоминали, жена Краснова, словно возненавидѣвъ себя, бросается къ Бабаеву, хотя и предчувствуетъ, что идетъ на гибель или, по крайней мѣрѣ, на страшную катастрофу. Ее гонитъ изъ дому потребность искупить свою измѣну чѣмъ-нибудь похожимъ на истинное изліяніе сердца и чувства. Такъ, еще по инстинкту творчества, авторъ сдѣлалъ Краснову ограниченною, простенькою женщиной, которая ничѣмъ не ограждена противъ искушеній своего бѣднаго, ничтожнаго воспитанія и находится подъ вліяніемъ откровенно-порочной и нахально-глупой сестры. И это еще не все. Художникъ намѣтилъ въ этомъ характерѣ и нѣсколько чертъ нравственнаго содержанія: она не вполнѣ обдѣлена всякимъ благороднымъ движеніемъ сердца. Онъ влагаетъ въ ея уста наивныя, почти цѣломудренныя мольбы къ любовнику о томъ, чтобы связь ихъ не дала ему повода добиваться тѣхъ правъ, которыми она дарить уже никого не можетъ. Авторъ заставляетъ ее крѣпко держаться за эту мысль, какъ за единственный якорь, спасающій ея человѣческое достоинство, а когда мужъ, открывшій ея побѣгъ, убиваетъ несчастную при одной мысли о возможности вторичнаго побѣга, мы еще не знаемъ, была ли она преступна въ томъ смыслѣ, какой даетъ ея поступку дикая родня Краснова, или преступленіе ея относится къ разряду чисто моральныхъ преступленій. Художникъ сдѣлалъ для бѣдной женщины все, что ему было предписано высшей справедливостью: онъ не остался передъ нею въ долгу—и, такимъ образомъ, мы имѣемъ всѣ данныя этого процесса въ поразительной истинѣ и въ безпристрастіи, на какое способенъ иногда болѣе всякаго образцоваго судьи—истинный поэтъ.

Но здѣсь начинается наше смущеніе, смущеніе читателя или зрителя, когда, прослѣдивъ все развитіе драмы и переживъ въ себѣ всѣ волненія, они остаются одни, наединѣ съ собою, и начинаютъ думать объ окончательномъ судѣ и приговорѣ надъ дѣйствующими, который отъ нихъ требуется неуклонно. Матеріалы для приговора обработаны, можно сказать, смѣло, превосходнѣйшимъ образомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ они подсказываютъ такое рѣшеніе, которое уже послѣдній судья—читатель или зритель—принять не въ состояніи.

По окончаніи драмы и въ тишинѣ наступившей повѣрки ея, тотъ и другой начинаютъ расходиться съ авторомъ въ мнѣніяхъ насчетъ характера, поводовъ и сущности борьбы, такъ мастерски изображенной имъ.

Мѣщанинъ Красновъ есть полный типъ джентльмена,— мы уже сказали. Когда, передъ собраніемъ родныхъ, онъ исповѣдуетъ свою душевную тайну и объясняетъ, что жена ничѣмъ ему не обязана, а, напротивъ, онъ самъ высоко цѣнитъ согласіе, данное ею на бракъ съ нимъ, и считаетъ себя за то въ неоплатномъ долгу передъ ней,—Красновъ возвышается до тонкости чувства и благородства помысловъ, которыя могли бы сдѣлать честь весьма развитому человѣку. Надо вспомнить, что рядомъ съ нимъ больной братъ его, мальчикъ Аѳоня, тоже съ горячимъ и весьма нѣжнымъ сердцемъ, требуетъ, между прочимъ, отъ Красновой благодарности хозяину и покорности семьѣ его именно за кусокъ хлѣба, доставленный ей замужествомъ. Затѣмъ, Красновъ видитъ холодность жены, но винитъ въ томъ собственную свою мужиковатость, обрекаетъ себя на терпѣніе и всего ждетъ отъ времени и отъ своихъ усилій вынудить у нея подъ-конецъ любовь и уваженіе къ себѣ. Это уже близко къ идеальному представленію своихъ обязанностей, конечно, поразительному въ человѣкѣ, мало мыслившемъ вообще о предметахъ нравственнаго содержанія. Зритель находится въ изумленіи и спрашиваетъ себя: откуда вся эта сила, не нуждающаяся ни въ какомъ подготовленіи? Неужели одно дѣйствіе благодатной природы и какого-то вдохновенія способно безъ труда снять съ человѣка кору понятій, наложенную воспитаніемъ, примѣрами окружающей жизни и проч., и поставить его сразу на ряду съ высокоразвитыми людьми безъ вѣкового наслѣдства просвѣщенія и приносимыхъ имъ идей? Мы бы не удивились, если бъ авторъ отвѣчалъ „да“, и только перешли бы съ нимъ на новую точку зрѣнія, но Красновъ открываетъ самъ другую сторону дѣла и притомъ въ минуту страсти, разоблачающей его душу. Въ сценѣ катастрофы, на шопотъ уличенной и трепещущей жены, которая предлагаетъ ему разойтись, Красновъ восклицаетъ съ выраженіемъ негодованія: „Какъ разойтись! Куда разойтись! Нѣтъ, врешь! А на комъ же я свою обиду возьму!“ и проч. Нѣсколько далѣе онъ еще яснѣе выражаетъ свою мысль. При извѣстіи, что жена

собирается на вторичный побѣгъ, онъ отстраняетъ толпу словами: „Прочь! отъ мужа дорога только въ гробъ—никуда больше". Слова эти поясняютъ многое. Такъ вотъ гдѣ крылась его сила, вотъ чѣмъ объясняется его долгое терпѣніе и вотъ что связываетъ Краснова съ тѣмъ бытомъ, гдѣ онъ выросъ и отъ котораго не освободился, несмотря на личныя, несомнѣнно высокія качества свои. Черта эта снимаетъ съ него весь идеальный блескъ, которымъ онъ началъ, было, облекаться, дѣлаетъ его вполнѣ реальнымъ человѣкомъ, возвращаетъ его назадъ въ среду, изъ которой онъ хотѣлъ подняться, и принадлежитъ еще къ творческимъ подробностямъ пьесы, весьма обильной ими. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, черта эта уже вдругъ поднимаетъ всѣ права жены Краснова на снисхожденіе и ставитъ ее совершенно рядомъ съ человѣкомъ, ее убившимъ. Всякое благорасположеніе къ Краснову, если оно идетъ въ ущербъ его жертвъ, становится невозможнымъ.

Надо сказать откровенно, Красновъ убилъ жену за собственную ошибку въ выборѣ жены. Краснова была ограничена, пуста, извращена—это несомнѣнно, но она имѣла полное право быть такой безнаказанно, безотвѣтственно, потому что она не сама устроила себѣ жизнь, понятія и воззрѣнія, а работали за нее многіе десятки лѣтъ бѣдность, ея семья и многое множество людей. Она отдала себя Краснову и не сдержала своего слова: это тяжкое обстоятельство, конечно, но еще надо знать, имѣлъ ли самъ Красновъ основаніе вѣрить этому слову и не взялъ ли его, понимая всю его цѣну. Изъ пьесы не видно, чтобы Краснова до замужества обманывала своего жениха, старалась отвести ему глаза, притвориться передъ нимъ. Пьеса даже и не могла сказать этого, подъ опасеніемъ потерять все свое значеніе: серіозная, жизненная драма превратилась бы тогда въ анекдотъ о томъ, какъ опасно дурачить мужа и какъ строго наказывается иногда женское плутовство. Стало-быть, Красновъ взялъ за себя бѣдную дворянку точно такою, какою она кажется передъ нами въ драмѣ, то-есть, несомнѣнно пошлою, ограниченною и, очевидно, равнодушною къ нему. Если разъ допустить это предположеніе,—а не допустить его нельзя,—то Красновъ лишится въ силу его всякаго права требовать чего-либо отъ жены или взыскивать съ нея за что-либо. Да онъ и самъ открываетъ поводы къ браку, кончившемуся

такъ несчастливо. Онъ взялъ эту женщину, увлеченный, во-первыхъ, ея красотою, а во-вторыхъ, „*ея образованностью*", которыя вмѣстѣ должны были поправить, облагородить, освѣтить всю грубую обстановку его суровой, трудовой матеріальной жизни. Красновъ—поэтъ: въ женѣ онъ искалъ отдыха, недостающихъ ему эстетическихъ наслажденій, удовлетворенія безсознательной потребности къ изящнымъ ощущеніямъ: все это, казалось, придетъ къ нему, во-первыхъ, съ красотой, а во-вторыхъ, съ *образованностью* жены. Онъ ясно видѣлъ, что образованность эта соединяется у нея съ врожденнымъ, органическимъ отвращеніемъ къ быту, въ которомъ онъ вращается, къ цѣлямъ, которыя онъ преслѣдуетъ, и къ нему самому—и все-таки взялъ жену—на рискъ. На что онъ надѣялся? Всего болѣе на силу своей привязанности, затѣмъ на воспитаніе, которое должна получить жена въ его домѣ, и потомъ на дѣйствіе привычки, какъ самъ говоритъ: все это не удалось, рискъ обманулъ, карта лопнула! И, при всемъ своемъ благородствѣ, Красновъ поступилъ какъ самый обыкновенный понтеръ: онъ разорвалъ карту, не сослужившую ему ожидаемой службы. Въ его оправданіе можно привести обстоятельство, что онъ одержимъ слѣпою, безграничною страстью къ этой несчастной женщинѣ, ничего не понимающей, не тронутой такими порывами сердца, которые были бы способны, кажется, смягчить звѣря: это—правда. Но правда также и то, что за этимъ ничтожнымъ существомъ мы обязаны признать свободу—не понимать высокихъ порывовъ страсти, отвѣчать равнодушіемъ на тонкіе оттѣнки чувства, ей недоступнаго, и представлять себѣ любовь гораздо проще и гораздо пошлѣе, хотя бы въ образѣ уличнаго волокитства, какъ здѣсь. Въ образованіи своей головы и своего сердца она была не вольна, какъ не вольна была въ своемъ, напримѣръ, ростѣ; но именно потому, что пришлась не по росту и цвѣту къ этому дому, бѣдная женщина и попадаетъ въ капканы, разставленные кругомъ нея. Родные Краснова, съ больнымъ его братомъ во главѣ, производятъ относительно ея нѣчто похожее на травлю. Они преслѣдуютъ ее за происхожденіе, за привилегированное существованіе въ домѣ, за раздѣлъ съ ними хозяйской любви, а Красновъ подъ-конецъ убиваетъ ее за ограниченность воспитанія, за испорченность среды, въ которой она выросла, и за неспособность отвѣчать на его

призывы—словомъ, за то, чему она пособить была не въ силахъ. Мы не говоримъ, чтобы, кромѣ этого, никакой другой вины за ней и не считалось: вины у нея были, и даже очень тяжкія, но онѣ уже значительно ослабляются тѣмъ соображеніемъ, что, будь Краснова формально чиста и невинна, какъ въ первый день свадьбы, погибель ея въ домѣ мужа все-таки пришла бы своимъ чередомъ. Преступленіе тутъ—печальная случайность: поводъ къ катастрофѣ нашелся бы и безъ него.

Мы совсѣмъ не желаемъ унизить Краснова или ослабить то участіе, которое онъ возбуждаетъ благородствомъ своихъ стремленій въ пьесѣ. Мы только хотимъ сказать, что авторъ не успѣваетъ водворить этотъ типъ въ воображеніи зрителя такъ легко и безпрекословно, какъ многіе другіе типы изъ народнаго быта, имъ созданные. Тому мѣшаетъ само развитіе Краснова, успѣвшее измѣнить нравственную природу его только на-половину. Одной стороной своею Красновъ связанъ съ простонароднымъ бытомъ въ самыхъ крѣпкихъ вѣрованіяхъ его, какъ, напримѣръ, въ представленіи о патріархальной власти главы семейства, хотя на дѣлѣ и значительно смягченной имъ, а другой стороной онъ уже обращенъ къ городу и городской цивилизаціи, какъ ни тускло свѣтитъ она въ родномъ его гнѣздѣ. Вѣдь, онъ не только женился на дворянкѣ, но еще пріобрѣлъ почти артистическіе вкусы, проявляющіеся въ стремленіи къ изяществу впечатлѣній, къ улучшеннымъ формамъ семейнаго быта. Красновъ, конечно, не идеальное лицо, созданное на основахъ чисто народнаго представленія о красотѣ и морали, какъ нѣкоторыя другія лица того же художника, но онъ также и не живой образъ существа, которое можетъ возникнуть на русской землѣ изъ прикосновенія городской умягчающей цивилизаціи къ простому человѣку. Противорѣчивыя черты двухъ различныхъ воззрѣній на міръ въ немъ смѣшаны, но не слились, не переработались въ новую и цѣльную физіономію. Въ немъ есть двойственность, внутренній разладъ, а отсюда и всѣ невѣрные шаги его въ жизни, начиная со свадьбы и кончая убійствомъ жены. Можетъ-быть, точно такимъ именно и хочетъ изобразить его авторъ, но этимъ не устраняется нисколько главный упрекъ, тяготѣющій надъ драмой. Жена Краснова—эта глубоко-ничтожная сама-по-себѣ женщина—мѣшаетъ, однакоже,

Краснову достичь полнаго примиренія съ нравственнымъ чувствомъ зрителя, не позволяетъ ему вполнѣ оправдаться передъ нимъ, чего такъ легко достигаетъ Отелло послѣ страшнаго убійства Дездемоны, и еще совершенно невинной, совершенно правой и чистой Дездемоны. Какая причина этой разницы? Отелло убилъ жену, потому что потерялъ *вѣру* въ нее, усомнился въ честности и благородствѣ ея души и, наконецъ, пришелъ, направляемый адскимъ заговоромъ, къ убѣжденію, что въ ней таится чудовище лжи и разврата. Ничего подобнаго съ Красновымъ не было. Онъ не терялъ вѣры въ жену, потому что никакой вѣры въ нее и не могъ имѣть; привычки, обычаи, наклонности дворянскаго быта на низшей его ступени были ему хорошо извѣстны; онъ только хотѣлъ взять изъ него, чтó ему надобно, и оставить все остальное нетронутымъ; не успѣвъ въ этомъ, онъ выместилъ собственную свою неосмотрительность и ошибку на женѣ. Намъ могутъ сказать въ видѣ возраженія: „Хорошо вамъ педантически разсуждать о поводахъ къ преступленію съ свободною головой и спокойной совѣстью, не принимая въ счетъ одуряющаго дѣйствія страсти, которая держала въ когтяхъ своихъ мѣщанина Краснова, когда онъ женился и когда онъ совершилъ преступленіе. Попробовали бы вы испытать, напримѣръ, чтó такое ревность для сердца, въ которое проникла эта страшная болѣзнь. Красновъ не воленъ былъ въ своей страсти, какъ Краснова не вольна была въ своей ограниченности и пошлости. Тутъ есть своего рода равенство. Она имѣла право жить, несмотря на легкомысліе свое, а мужъ имѣлъ право убить ее, основываясь на неудержимомъ порывѣ ревности“. Къ сожалѣнію, мы не можемъ раздѣлить этого софизма, а особенно того потворства страсти вообще, которое завелось въ публикѣ съ голоса нашей и иностранной литературы. Можно подумать, что страсть имѣетъ полномочіе отпускать всѣ грѣхи, освящать всѣ проступки и измѣнять самый смыслъ ошибочнаго или невѣрнаго дѣянія. Въ литературныхъ нашихъ понятіяхъ страсть играетъ роль какого-то первосвященника, судящаго міръ на основаніи собственнаго кодекса, безъ вниманія и отношенія къ какимъ-либо требованіямъ нравственной природы человѣка. Самозванное владычество ея, однакоже, должно и можетъ быть ограничено. Вѣдь, всякая страсть, хотя бы она называлась и ревностью, прежде своего появленія на свѣтъ

въ видѣ разрушительной стихіи, долго еще воспитывается человѣкомъ въ тиши и потому всегда носитъ отраженіе его характера, его наклонностей, тайныхъ думъ его, передуманныхъ имъ наединѣ съ собой и въ спокойномъ состояніи сердца. Какими бы послѣдствіями затѣмъ ни сопровождался взрывъ страсти, она уже неизбѣжно будетъ управляема тѣмъ духомъ и содержаніемъ, какіе усвоили себѣ, гораздо прежде ея, мысль и чувство человѣка. Такимъ образомъ, если дѣянія страсти въ иныхъ случаяхъ могутъ служить оправданіемъ для лица, то въ другихъ и болѣе многочисленныхъ случаяхъ они составляютъ подавляющую улику, которая обнажаетъ всѣ тайные извивы его души, несостоятельный или предосудительный родъ его мысли. Способностью къ страстному проявленію воли можно доказывать силу характера въ человѣкѣ, но не правоту его передъ собой, истиной и окружающими его людьми.

Кромѣ двухъ главныхъ характеровъ, на которыхъ мы остановились такъ долго, пьеса г. Островскаго еще наполнена оригинальными лицами, возбуждающими интересъ и вниманіе публики. Не говоримъ о Бабаевѣ, этомъ типѣ приличнаго и *порядочнаго* молодого человѣка, который готовъ принимать животные свои инстинкты за порожденіе высокой цивилизаціи и чуть не за глубокія мысли; г. Островскій и прежде былъ тонкимъ живописцемъ подобныхъ „*надеждъ Россіи*“, воспитываемыхъ столичными улицами и канцеляріями. Нѣтъ надобности также распространяться о сестрѣ Красновой—увертливой, наивно-распутной Лукерьѣ Даниловнѣ. Кажется, женщина эта отродясь не имѣла помысла, который былъ бы не дико-порочень по натурѣ своей. Только необыкновенный комическій талантъ автора могъ пересилить нравственное безобразіе этого лица и заставить смотрѣть на него съ любопытствомъ. Глубже ихъ всѣхъ задумано у автора лицо слѣпого дѣда Красновыхъ, старика Архиппа. Намеки на этотъ характеръ встрѣчаются и въ прежнихъ его произведеніяхъ, такъ же точно, какъ можно найти въ нихъ первообразы Бабаева и Лукерьи Даниловны; но мы, съ своей стороны, нисколько не противъ этихъ варіацій одного и того же типа, потому что и сама жизнь содержитъ въ себѣ безчисленное множество подобныхъ видоизмѣненій одной родовой физіономіи. Старикъ Архиппъ совершенно отрѣшился отъ міра, погруженъ весь

въ религіозное созерцаніе и достигъ высшаго состоянія набожности—спокойно-лирическаго настроенія души, которая представляетъ себѣ весь свѣтъ только соединеніемъ Божьихъ чудесъ, благодати и любви. Разнохарактерные посѣтители нашихъ театровъ постоянно встрѣчаютъ и провожаютъ это лицо съ какимъ-то выраженіемъ благоговѣнія. Одна особенность въ положеніи Архиппа заставляетъ читателя невольно задуматься. Старикъ Архиппъ проходитъ величаво черезъ всю пьесу, не оказывая никакого вліянія на людей, движущихся вокругъ него. Два раза только вмѣшивается онъ въ семейное дѣло, составляющее зерно драмы—одинъ разъ способствуя примиренію жены съ мужемъ, а въ другой—изрекая строгій приговоръ внуку, когда тотъ становится убійцей. Вмѣшательство это, однакоже, чрезвычайно внѣшне, особенно въ первомъ случаѣ, гдѣ оно имѣетъ характеръ чисто посредническій. Затѣмъ присутствіе подобнаго лица никѣмъ почти и не замѣчается: онъ живетъ между своими, между народомъ, какъ чужой. Лучи, собранные въ такомъ обиліи на его головѣ, не свѣтятся для ближнихъ, не расходятся по сторонамъ: примѣръ его никого не поучаетъ, слово его никого не воспитываетъ, и вокругъ нѣтъ совѣсти, которая бы пришла къ нему за помощью. Это такъ вѣрно, что постоянный его спутникъ, больной внукъ Аѳоня, меньшой братъ Краснова, подобно всѣмъ прочимъ, ничего не пріобрѣтаетъ отъ долгихъ бесѣдъ съ изумительнымъ дѣдомъ. Впрочемъ, внукъ этотъ, болѣзненный мальчикъ Аѳоня, и самъ можетъ еще служить предметомъ размышленія и вопроса. Онъ представляетъ собою замѣчательное соединеніе нѣжнѣйшей любви къ брату и свирѣпой ненависти ко всему, въ чемъ тотъ полагаетъ добро и свой долгъ. Не одною только страстною заботой о счастіи брата болѣетъ его душа—мальчикъ этотъ есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и величайшій консерваторъ въ мірѣ. Всѣ удары, наносимые достоинству его фамиліи, обычаямъ его родного дома и чести сословія, къ которому принадлежитъ онъ, чувствуются имъ почти физически: они клонятъ его къ землѣ. Съ такимъ неутомимымъ, вѣчно пылающимъ сердцемъ, Аѳоня обреченъ на безсиліе, по милости упорной болѣзни, которая никогда не оставляетъ его: вся энергія этого характера, за неимѣніемъ настоящей жизненной дѣятельности, изливается, такимъ образомъ, въ жалобахъ, стонахъ

и въ ребяческой злости, увеличивающей его страданія. Мальчикъ этотъ производитъ тяжкое впечатлѣніе. Авторъ не далъ ему простора, воздуха и силъ, для того чтобъ выразить себя вполнѣ и пріобрѣсти то значеніе, на которое онъ имѣлъ бы право, судя по задаткамъ и примѣтамъ его характера. Положивъ его на лежанку, сдѣлавъ немощнымъ существомъ, авторъ избавилъ себя отъ лишняго труда, но возбудилъ желаніе—видѣть другого Аѳоню, освобожденнаго отъ болѣзни, замѣнившаго свою теперешнюю однообразно-элегическую рѣчь мужественнымъ словомъ и поддерживающаго свои консервативные принципы открыто. Каковъ бы онъ тогда былъ? Впрочемъ, если такое желаніе неумѣстно, то первый виноватый въ этомъ, какъ и во всемъ, что̀ доселѣ говорили, есть самъ авторъ. Пьеса художническаго построенія и глубокаго жизненнаго содержанія всегда открываетъ для мысли читателя безчисленные пути во всѣ стороны. Мудрено ли, что мысль его по временамъ далеко уходитъ отъ точки своего отправленія. Совсѣмъ другое случается съ поверхностными, ложно блестящими и бѣдными произведеніями: тѣ безплодны и нѣмы для всѣхъ. Что̀ могутъ они дать читателю, когда, по большей части, не исполняютъ и того, что̀ обѣщано заглавіемъ, что̀ требуется самою цѣлью или задачей, публично выбранною и поставленною ими для себя!

П. Анненковъ.

„Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“ [1]).

*) Въ новой драмѣ Островскаго передъ читателемъ вляются люди, вышедшіе изъ двухъ разнородныхъ слоевъ бщества—мѣщанскаго и приказнаго. Первый слой полонъ амодурства, грубости, слѣпой и безотчетной вѣры въ законость обычая и обряда. Второй слой отличается качествами

---

[1]) „Библіотека для Чтенія“, 1863 г., № 2 („Русская литература“).

*) „Библіотека для Чтенія“ стала издаваться въ такое для нашей печати общественной жизни время, о которомъ съ полнымъ правомъ можно было казать: „Бывали хуже времена, но не было подлѣй“. Съ одной стороны, равительство и цензура принимали самыя крайнія мѣры въ отношеніи ечати; съ другой стороны, инертное, некультурное общество не только не оддерживало хорошихъ литературныхъ начинаній, но, кажется, дѣлало еще ольше препятствій для ихъ осуществленія, чѣмъ само правительство. Въ оспоминаніяхъ Полевого мы можемъ прочесть нѣсколько строкъ, харагеризующихъ литературныя отношенія и отношенія къ литературѣ. „Видѣлъ Булгарина,—пишетъ Полевой,—который помѣшанъ на „Экономѣ“; видѣлъ другихъ мерзавцевъ и негодяевъ, но новаго, но особеннаго ничего нѣтъ. лавное по литературѣ теперь выговоръ, какой сдѣланъ Сенковскому ывшему тогда редакторомъ „Библіотеки для Чтенія“) въ цензурномъ комитѣ по поводу мерзкой статьи его о свѣтящихъ червячкахъ, въ № 12 Библіотеки для Чтенія“ 1840 г., въ которомъ обругалъ онъ здѣшнее Благородное Собраніе. Всѣхъ журналистовъ для того собирали и подтвердили мъ, что если еще кто сдѣлаетъ что-нибудь подобное, то журналъ его запретятъ и редактору запрещено будетъ всякое малѣйшее участіе въ ругихъ журналахъ. Сенковскій струсилъ, извинялся, написалъ письмо къ иректору Собранія, гдѣ униженно просилъ прощенія, ибо члены уже собрались бить его, драться съ нимъ и проч.—и это литература!..“ И дѣйствительно, если журнальная статья можетъ вызвать не только кару на автора я, но и угрозы „всѣмъ журналистамъ“, если задѣтыя лица тотчасъ же ѣшаютъ осуществить надъ „виновнымъ“ всѣ виды самосуда и расправы: бить его, драться съ нимъ“, и даже сулятъ ему „и прочее“, то Полевой мѣлъ полное право грустно поникнуть головою и закончить письмо словами: „Впрочемъ, все обстоитъ попрежнему, глупо, гадко и мерзко, какъ о журнальной, такъ и по книжной части“. Съ журналистами не церемо-

не болѣе привлекательными: пустое, ни на чемъ не основанное чванство, хитрость, готовность къ обману—вотъ его характеристическія черты, и хотя онъ стоитъ нѣсколько выше предыдущаго въ умственномъ развитіи, но все-таки оно въ немъ ничтожно и жалко. „Кропивное сѣмя“ (по мѣткому выраженію народа) разрослось широко и глубоко по всему пространству земли русской: куда ни поѣзжайте, хоть такой городишко, отъ котораго въ три года до границы не доскачешь, вездѣ вы встрѣтите окрашенныя свѣтло-желтою краской зданія, въ которыхъ, согнувшись надъ бумагами, въ вицмундирахъ разнообразныхъ достоинствъ, съ физіономіями, на которыхъ почти нѣтъ и слѣда образа человѣческаго, сидятъ и пишутъ люди. Эти несчастные,

---

нились ни общество, ни власти, ни цензура, ни Дворъ. Когда вышелъ изъ печати „Юрій Милославскій“ Загоскина, то авторъ удостоился похвалы со стороны Государя. Въ №№ 7—9 „Сѣверной Пчелы“ за 1830 г. появляется рецензія, гдѣ автору „Юрія Милославскаго“ указываются историческіе промахи, а романъ признается крайне слабымъ. Воейковъ, извѣстный своимъ желчнымъ характеромъ и безпринципностью, тотчасъ же не упустилъ случая изругать нещадно и редактора „Сѣверной Пчелы“ Булгарина и всѣхъ его сотрудниковъ. Полемика эта не понравилась Государю, и два редактора „Сѣверной Пчелы“—Гречъ и Булгаринъ, а также ихъ литературный противникъ Воейковъ, были посажены на гауптвахту, очевидно, за то, что у нихъ недостало чутья, а сердце-вѣщунъ въ эту минуту не помогло ему.

Это было время, о которомъ Тургеневъ („Литерат. воспом.“) пишетъ: „Ничего даже не шевелилось, а только бродило—глубоко, но смутно,—въ нѣкоторыхъ молодыхъ умахъ. Литературы, въ смыслѣ живого проявленія одной изъ общественныхъ силъ, находящагося въ связи съ другими, столь же и болѣе важными проявленіями ихъ не было, какъ не было прессы, какъ не было гласности, какъ не было личной свободы; а была словесность и были такіе словесныхъ дѣлъ мастера, какихъ мы уже потомъ не видали“.

Цензура была такова, что даже такой журналистъ съ гибкой совѣстью, какъ Булгаринъ, долженъ былъ возопить: „Почтенные господа цензоры, будьте справедливы! И для васъ есть потомство!“ Въ 1844 г. онъ же пишетъ цензору Никитенко: „Не обвиняю васъ! Время!!!—а мы дураки и скоты плакали во времена Магницкаго и Рунича! (Извѣстные обскуранты, подавлявшіе свободу мысли и слова въ царствованіе Александра I-го. *Н. Д.*) Да, это былъ золотой вѣкъ литературы въ сравненіи съ нынѣшнимъ!.. Имя Торквемады (Великій инквиз. Испаніи 1483 г., отличался большою жестокостью. *Н. Д.*) въ сравненіи съ именемъ Уварова есть то же, что имя Людовика XIV въ сравненіи съ именемъ Омара. [Второй калифъ (634 г.); былъ бичомъ христіанъ и евреевъ. *Н. Д.*] Набросилъ на все тѣнь, навелъ страхъ и ужасъ на умы и сердца, истребилъ мысль и чувство“...

Какъ умудрялась при такихъ условіяхъ существовать журналистика, объяснить, трудно. Очевидно, печатное слово обладаетъ даромъ египетской

безполезные труженики, выдѣленные искусственно сложившеюся жизнью изъ народа, враждебны ему; между правящими и управляемыми нѣтъ гармоніи. Первые находятся въ самой непосредственной зависимости отъ каприза старшихъ; ихъ существованіе, доброе имя, нравственность—все въ рукахъ власти предержащей; личность ихъ не имѣетъ гарантій, а отсюда прямо вытекаетъ низкопоклонство, безусловная покорность и безотвѣтность передъ высшими,

---

птицы феникса, возрождавшейся изъ своего пепла. О чемъ могли писать журналисты? Какіе бичевать общественные пороки? Какія врачевать раны?

Мою любимую идейку,
Что въ Петербургѣ климатъ плохъ,
И то не въ каждую статейку
Въ то время всовывать я могъ.
Однажды написалъ я сдуру,
Что видѣлъ на мосту дыру,—
Переполошилъ всю цензуру...

(*Некрасовъ*).

При такихъ-то условіяхъ стала издаваться „Библіотека для Чтенія".

Въ 1833 г. кн. П. А. Вяземскій писалъ извѣстному баснописцу, эпиграммисту и бывшему министру юстиціи И. И. Дмитріеву: „Всѣ ожидаютъ пришествія новаго журнала Смирдина... На перспективѣ (Невскій проспектъ) въ окнахъ книжной лавки Смирдина объявленіе о немъ колетъ глаза всѣмъ прохожимъ полуаршинными буквами".

Коммерческія дѣла Смирдина тогда уже были сильно запутаны, и онъ ухватился за идею новаго журнала, поданную ему проф. Осипомъ Ивановичемъ Сенковскимъ, спеціалистомъ по восточнымъ языкамъ, докторомъ философіи и человѣкомъ, „сложеннымъ,—какъ пишетъ Никитенко,—изъ страстей, которыя кипѣли и бушевали отъ малѣйшаго внѣшняго натиска". Если къ этому добавить, что Сенковскій могъ писать съ утра до ночи, то придется сдѣлать выводъ, что онъ рожденъ былъ для дѣятельности журналиста. Въ одной изъ своихъ пародій небезызвѣстный поэтъ А. П. Бахтуринъ такъ характеризуетъ Сенковскаго, писавшаго, между прочимъ, и подъ псевдонимомъ „Барона Брамбеуса":

До разсвѣта поднявшись, перо очинилъ
Нечестивый Брамбеусъ баронъ,
И чернилъ не щадилъ, *сихъ* и *оныхъ* бранилъ
До полудня безъ отдыха онъ.

Сенковскій сперва былъ неофиціальнымъ редакторомъ Смирдинскаго журнала, и этимъ объясняется то обстоятельство, что свое согласіе участвовать тамъ дали лучшія тогдашнія литературныя силы: Пушкинъ, Гоголь, Жуковскій, И. Кирѣевскій, Е. А. Баратынскій, Н. М. Языковъ, П. А. Вяземскій, Марлинскій-Бестужевъ, кн. В. Ѳ. Одоевскій и др.

Съ первыхъ же нумеровъ оказалось, что Сенковскій намѣренъ заполнять журналъ единолично подъ различными псевдонимами: Брамбеуса,

взяточничество, обманъ и насиліе надъ низшими. Характеристическія черты сословія служилаго люда рельефно и уродливо выдаются въ низшемъ его слоѣ, но и выше сущность все та же, хотя и прикрыта подчасъ изящною обстановкой и громкими фразами. Но намъ надо имѣть въ виду міръ приказныхъ: въ драмѣ Островскаго мы можемъ найти черты, которыя даютъ возможность опредѣлять, каковъ былъ міръ, изъ котораго вышли сестры Жмигулины. Во 2-мъ явленіи

Снѣгина, Тютюнджи-Оглу, А. Бѣлкина и т. д. Онъ выступалъ передъ своими читателями и въ роли критика, и въ роли беллетриста, и поэта, и рецензента, и въ роли ученаго, и въ роли публициста. Онъ не допускалъ никакого произведенія въ журналъ, предварительно не передѣлавъ его на свой ладъ. Вся критика и публицистика Сенковскаго выражалась въ насмѣшкахъ, издѣвательствахъ и шутовствѣ, написанныхъ въ балаганномъ тонѣ. Это оттолкнуло всѣхъ отъ журнала и, какъ пишетъ Бахтуринъ,

Тутъ бесѣды пошли: разобрали, нашли,
Что твой умъ и ученость—мечта,
Что ты Смирдина скоро въ банкротство введешь,
Что его ты султанъ Богадуръ,
Что ему ты все врешь, празднословишь и лжешь,
Что богатъ онъ и простъ черезчуръ,
Что безстыднымъ нахальствомъ ты всѣхъ оттолкнулъ,
Что откармливалъ только себя,
Что ты *сихъ* обманулъ, что ты *оныхъ* надулъ,
Что надежда плоха на тебя.

„Баронъ“ особенно не долюбливалъ реальную школу и ядъ своихъ критическихъ стрѣлъ направилъ, главнымъ образомъ, противъ Пушкина и Гоголя, сравнивая послѣдняго съ Поль-де-Кокомъ.

На ряду съ этимъ „Баронъ“ хорошо понималъ, что стиль Поль-де-Кока не такъ ужъ плохъ, ежели принять въ разсужденіе, съ одной стороны, подписку на журналъ, а съ другой—благонадежность этого стиля съ жандармско-полицейской точки зрѣнія. И, дѣйствительно, разсужденія и эротическія картины романовъ „Библіотеки для Чтенія“ съ „бѣлыми, жирными ножками мандаринши“ и „теплымъ, роскошнымъ, пуховымъ тѣльцемъ дѣвушекъ“ проходили благополучно подъ носомъ у всесильнаго и всевидящаго шефа жандармовъ Бенкендорфа. Кромѣ того, уличный тонъ журнала и грубо-циничная беллетристика пришлись по вкусу публикѣ, и журналъ имѣлъ огромный, небывалый въ Россіи по тѣмъ временамъ успѣхъ (7000 подписчиковъ). За всѣмъ тѣмъ, отдавая должное „Барону“, придется сказать, что это былъ удивительно разнообразный, образованный и остроумный писатель. Порфессоръ университета, блестящій лекторъ, дѣйствительный знатокъ восточной литературы и Востока вообще, онъ владѣлъ превосходно арабскимъ, персидскимъ, турецкимъ, коптскимъ, французскимъ, англійскимъ, нѣмецкимъ, польскимъ, итальянскимъ и испанскимъ языками. Такая разносторонная образованность шла рука-объ-руку у Сенковскаго съ бой-

1-й сцены 1-го дѣйствія является приказный Шишгалевъ, постоянно кланяющійся, сморкающійся, забитый и нравственно изуродованный людьми и обстоятельствами. Съ первыхъ словъ онъ выражаетъ полную готовность служить всѣмъ Бабаеву, человѣку богатому и который дать не пожалѣетъ. Посмотрите на тонъ разговора Бабаева:

Бабаевъ. Такъ вы, *милый*, говорите, что рѣшительно нельзя?

Обратите вниманіе на это—*милый*, которое говорится старику молодымъ человѣкомъ, человѣку служащему человѣкомъ, имѣющимъ нужду въ немъ. Такъ и думается,

---

кимъ перомъ и среди статьи о самомъ серіозномъ предметѣ вы неожиданно встрѣчаете веселую шутку, удачную остроту. Это послѣднее обстоятельство и создало ему такой многочисленный кругъ читателей. Если его сочиненія теперь сиротливо стоятъ на полкахъ библіотекъ, безъ надежды на былое вниманіе, то это происходитъ потому, что авторъ ихъ былъ безпринципенъ. Онъ въ сущности не вѣрилъ, чтó называется, ни въ чорта ни въ Бога и зачастую зло осмѣивалъ одною фразой то, чтó доказывалъ цѣлою статьей. Онъ смѣялся надъ предразсудками такъ же, какъ и надъ вѣрованіями и убѣжденіями, надъ шарлатанствомъ такъ же, какъ и надъ истинною наукой и знаніями, надъ вѣрой въ людей такъ же, какъ и надъ самимъ собою. Въ концѣ 1839 г. появляются „Отечественныя Записки", съ Бѣлинскимъ во главѣ, а Смирдинъ разоряется, и „Библіотека для Чтенія" переходитъ къ книгопродавцу Ольхину. „Отечественныя Записки" начинаютъ пріобрѣтать популярность. Въ 1847 г. „Современникъ" переходитъ въ умѣлыя руки Некрасова, и эти два журнала отодвигаютъ на задній планъ „Библіотеку для Чтенія". Въ 1848 г. журналъ переходитъ отъ Ольхина въ руки Печаткина, а редакторомъ становится вмѣсто Сенковскаго А. А. Старчевскій. Онъ приглашаетъ молодыхъ, талантливыхъ сотрудниковъ, но журналъ продолжаетъ катиться по наклонной плоскости внизъ. Сенковскій все же остается въ составѣ редакціи. Въ 1856 г. Сенковскій совершенно оставляетъ журналъ, редакторомъ котораго становится Дружининъ, извѣстный переводчикъ, авторъ романа „Полинька Саксъ". Это былъ способный, но поверхностный журналистъ и литературный критикъ, склонный къ „упоительной поэзіи" и „высокой поэтической грусти". Онъ такъ же, какъ и Сенковскій, не одобрялъ нашихъ писателей реальной школы и такъ же, какъ и Сенковскій предпочиталъ беззаботность, уклоненіе отъ непригляднoй дѣйствительности въ область невиннаго смѣха и остроумія. Дружининъ пригласилъ къ участію въ журналѣ талантливыхъ сотрудниковъ: Некрасова, Плещеева, Левитова Боборыкина, М. В. Авдѣева, В. И. Водовозова, П. Л. Лаврова и др. Здѣсь же стали помѣщать свои произведенія Л. Толстой, И. Тургеневъ и М. Е. Салтыковъ-Щедринъ. Журналъ оживился, и дѣла стали было налаживаться, но съ 1859 г. редакторомъ журнала становится А. Ѳ. Писемскій, и „Библіотека для Чтенія" снова начинаетъ падать. Въ 1864 г. она переходитъ въ руки молодого неопытнаго тогда въ журнальномъ дѣлѣ П. Д. Боборыкина и приканчиваетъ свое существованіе въ 1865 г., оставивъ своему издателю сравнительно *большіе долги*. Прим. Н. Денисюка.

надѣньте на Бабаева вицмундиръ, и онъ крикнетъ: „Смотри у меня“ вмѣсто „милый“. Что же отвѣчаетъ Шишгалевъ?

Шишгалевъ. Ужъ повѣрьте, *сударь*, что ежели бы только было возможно, мы бы ужъ все сдѣлали для *васъ*.

Что-то лакейское, заискивающее слышится въ этомъ отвѣтѣ. Кажется, что́ особеннаго для Шишгалева въ Бабаевѣ, а онъ величаетъ его *сударемъ*. Этотъ *сударь* служитъ какъ бы сознаніемъ необходимости унизиться передъ всѣмъ, даже только кажущимся высшимъ. Далѣе, когда Бабаевъ интересуется узнать объ образѣ жизни членовъ приказнаго міра, объ ихъ развлеченіяхъ, Шишгалевъ рисуетъ передъ нимъ безотрадную картину ихъ домашней жизни. Городничій, судья, стряпчій, откупщикъ, инвалидный начальникъ,— однимъ словомъ, тузы уѣзднаго служащаго міра, имѣющіе средства хапать больше и чаще, назначаютъ у себя дни, и вотъ что говоритъ Шишгалевъ на вопросъ Бабаева: какъ же чиновники проводятъ время „промежду себя“?

„Поденно-съ. Дни назначены: нынче, напримѣръ, у городничаго, завтра у судьи-съ, послѣзавтра у стряпчаго, потомъ у откупщика, у инвалиднаго начальника-съ,—такъ вся недѣля-съ“.

Если въ купеческомъ быту семейная жизнь безотрадна и уродлива, то въ быту чиновничьемъ васъ поражаетъ полное ея отсутствіе. Между отцомъ семейства и семействомъ нѣтъ связи: одинъ добываетъ средства, другіе ими живутъ, такъ что семья является здѣсь чѣмъ-то печально-необходимымъ, безъ чего и можно бы обойтись, да нельзя: вѣдь, на то и живутъ мужчины и женщины на бѣломъ свѣтѣ, чтобъ сходиться, и вотъ они сходятся, разойтись нельзя, а тутъ дѣти родятся... что прикажете дѣлать? Ну и корми всѣхъ. Утромъ чиновники служатъ, вечеромъ, какъ говоритъ Шишгалевъ, собираются ежедневно у кого-нибудь съ шести часовъ, играютъ въ карты, пьютъ да закусываютъ и потомъ идутъ домой спать. Присутствіе и зеленый столъ, чернила да водка, вотъ вамъ и обстановка ихъ жизни. Семейной жизни не ищите, ея нѣтъ, да и можно ли искать человѣческаго тамъ, гдѣ все заглохло и засохло. Въ драмѣ Островскаго Шишгалевъ именно представитель отца-приказнаго: его естественный и спокойный разсказъ о жизни, о вечерахъ, о провожденіи времени вызываетъ грустное чувство въ душѣ. Такъ и думается: за что же всѣ они лишены всякаго честнаго и нормальнаго наслажденія жизнію?

Далѣе я выпишу нѣсколько строкъ изъ самой драмы:

Бабаевъ. Вѣдь, вы будете писать, такъ я вамъ тамъ... что слѣдуетъ... Я не люблю, чтобъ для меня даромъ работали.

Шишгалевъ. Семейство большое, сударь...

Бабаевъ. Что такое?

Шишгалевъ. Теперь соблаговолили бы что-нибудь!..

Бабаевъ. Да я, право, не знаю, какъ же это? Сколько же вамъ?

Карпъ. Да дайте ему, сударь, цѣлковый, вотъ и будетъ съ него.

Бабаевъ (*отдаетъ деньги*). Вотъ извольте... Мнѣ, право, совѣстно.

Шишгалевъ (*кладетъ въ карманъ*) Ничего-съ. Чувствительнѣйше васъ благодарю, желаю вамъ всякаго благополучія.

Сколько униженія, нравственнаго цинизма и лакейства въ словахъ Шишгалева! Онъ уже привыкъ къ этому, ему нипочемъ, онъ вполнѣ принадлежитъ тѣломъ и душой къ тѣмъ, про которыхъ лакей Бабаева, Карпъ, говоритъ: „Народъ безъ креста". Самыя грубости Карпа не производятъ на Шишгалева никакого впечатлѣнія; въ подобныхъ людяхъ нечего искать сознанія собственнаго достоинства; ихъ девизъ: „Ругайте, смѣйтесь надъ нами, а попадетесь въ руки... такъ сосчитаемся". Когда всмотришься попристальнѣе въ личность, подобную Шишгалеву, то невольно приходитъ на мысль прослѣдить тотъ путь, которымъ совершилось такое опошленіе человѣческой личности. Первые зачатки всего хорошаго и дурного человѣкъ получаетъ внутри своей семьи: тамъ корни его убѣжденій, тамъ формируется основа его нравственной природы; но какіе нравственные уроки можетъ дать своимъ дѣтямъ Шишгалевъ, что̀ можетъ разсказать имъ изъ своей жизни?.. Ничего. Да онъ и не видитъ семьи своей: дѣла да карты... вотъ и все. Женщины, выходящія изъ этой среды, съ ранняго возраста уже привыкаютъ къ тому, что ихъ отецъ—беретъ, что ихъ братъ—беретъ и что оба играютъ въ карты и пьянствуютъ, потому подобныя явленія и въ мужѣ и въ дѣтяхъ для нихъ естественны и необходимы. Вотъ въ этой-то смрадной средѣ и выросли сестры Жмигулины, характеры ихъ сложились подъ вліяніемъ однихъ и тѣхъ же обстоятельствъ, но весьма различно. Татьяна Даниловна Жмигулина, вышедшая замужъ за Краснова, была хороша собой, кроткаго характера и ума недальняго,—простенькая. Отецъ ея былъ канцеляристъ, получавшій въ годъ тридцать рублей жалованья,—отсюда можно прямо заключить о томъ бѣдственномъ состояніи, въ которомъ находилось семейство Жмигулиныхъ. Дома дочери

стараго канцеляриста ничего не видѣли, кромѣ нищеты и лишеній, стараго отца, скуки и тоски. Жить было почти нечѣмъ; приходилось заискивать въ людяхъ и искать благодѣтелей! Еще въ ихнее время въ уѣздной глуши злодѣевъ и благодѣтелей сыскать было легко: зло легко избѣгало кары, а добро ничего не стоило, а еще приносило развлеченіе и почетный титулъ. И вотъ, передъ нами покойная мать Бабаева, добрая и веселая помѣщица стараго времени, получавшая доходы съ мужиковъ своихъ, чтобы имѣть возможность собирать вокругъ себя дамъ, дѣвицъ, чтобы веселье царствовало въ домѣ, чтобы никто, какъ въ какомъ-то угарѣ, не могъ опомниться и задуматься...

Хорошенькая Таня, съ естественною въ молодости жаждой удовольствій и наслажденій, веселилась беззаботно въ домѣ Бабаевой. Съ какою радостью, я думаю, рвалась она изъ нищенской квартиры своего отца, чтобы, нарядившись въ подаренное благодѣтельницей платье, бѣситься съ утра до вечера въ кругу дѣвицъ, молодыхъ женщинъ, горничныхъ и мужчинъ. Для мысли мѣста было мало, хозяйка дома не любила задумчивыхъ и читающихъ: это ее повергало въ скуку. Танечка жила жизнью безпечнаго веселья.

Хорошенькая собою, она отличалась отъ толпы; ея вниманія заискивали, ея общественное положеніе позволяло обходиться съ ней нѣсколько вольно, и она легко скользила по жизни. А тутъ балованный сынокъ, юноша Бабаевъ, про котораго Карпъ говоритъ: „Балованный былъ сынокъ у маменьки! И воспитывался-то съ барышнями, да въ дѣвичьей“,—первое лицо въ домѣ, за ней ухаживаетъ. Между молодыми людьми начинается любовь, они постоянно вмѣстѣ.

Бабаевъ еще тогда не былъ тѣмъ, чѣмъ онъ является въ драмѣ—мелкимъ и пошлымъ ловеласомъ. Умерла Бабаева, умеръ старикъ Жмигулинъ, и Таня осталась безъ куска хлѣба; въ это время присватался къ ней Красновъ,—и она пошла за него. Это былъ роковой шагъ въ ея жизни. Ея мужъ, человѣкъ добрый и съ сильнымъ характеромъ, не могъ ей нравиться: она уже видѣла другую жизнь, и потому понятно, что, очутясь вдругъ посреди людей, казавшихся ей грубыми и дикими, она какъ бы замерла. Мужъ любилъ ее, не смотрѣлъ на нее, какъ на работницу, требовалъ отъ родни уваженія къ ней!.. Но она не любила, а только терпѣла *мужа; отсюда* происходило то, что родня начала ненавидѣть

ее. Безпрестанные намеки, зависть обрушились на Танечку, и въ ней, при ея мягкомъ характерѣ и недалекости ума, начало накипать что-то болѣзненное на сердцѣ. Другое дѣло ея сестра Лукерья Даниловна, старая дѣва, довольно умная и хитрая, пронырливая и некрасивая: она вынесла изъ всей своей предыдущей жизни ловкость и искусство проводить и обманывать; гордая благородствомъ своего происхожденія и нахальная, она постоянно выражала презрѣніе къ семьѣ Краснова, а, между тѣмъ, жила въ ней. Въ Танечкѣ есть изящество и симпатичность, а нѣтъ характера и ума; въ Лукерьѣ Даниловнѣ полное отсутствіе изящнаго, но зато хитрость, ловкость и характеръ. Танечка въ рукахъ своей сестры, которая сводитъ ее съ Бабаевымъ, устраиваетъ имъ свиданія, однимъ словомъ, всему голова. Недостатокъ хорошихъ началъ помогаетъ Лукерьѣ Даниловнѣ закалиться въ жизни, а избытокъ простоты и мягкости въ Танечкѣ, напротивъ, разлагаетъ окончательно характеръ ея и дѣлаетъ ее игрушкой всѣхъ.

Изъ семьи Красновыхъ рельефно выступаетъ личность героя драмы, Льва Краснова, человѣка, вышедшаго изъ душной и грязной атмосферы мѣщанскаго быта, сложившагося иначе, чѣмъ другіе. Онъ нравственно стоитъ далеко выше окружающей его семьи. Многіе обычаи и убѣжденія этой среды—ему не законъ; похвальба Курицына, развивающаго передъ нимъ свою „науку надъ бабами, безъ которой—нельзя“, вызываетъ въ немъ слѣдующее возраженіе: „Ничего въ этомъ нѣтъ хорошаго, одинъ куражъ“. Левъ Красновъ жертвуетъ своими родственными отношеніями любви къ женѣ. Семья Краснова и онъ самъ смотрятъ различно на Татьяну Даниловну: для первой она не существуетъ, какъ человѣкъ,—она жена своего мужа, работница на всю семью, и больше ничего. Самъ Красновъ смотритъ на жену свою иначе: его умственное развитіе не позволяетъ ему уважать въ ней человѣческую личность, но глубокая страстность натуры возвышаетъ его до такой привязанности, въ которой уваженія столько же, сколько и любви. Для семьи Краснова любовь жены къ мужу—обязательна, она смотритъ на нее, какъ на неумолимый законъ; у Льва Краснова взглядъ шире, онъ также раздѣляетъ взглядъ своей среды на жену, какъ на неотъемлемую принадлежность мужа, ему непонятна возможность фактическаго разрушенія брачнаго союза; но онъ

желаетъ, чтобы жена любила его, и онъ всѣми силами, по-своему, старается заслужить ея любовь. Такое требованіе нравственной природы Краснова вытекаетъ, конечно, не изъ признанія въ своей женѣ свободы чувства и нравственной полноправности человѣческой личности; но изъ чего бы это ни проистекало, все-таки въ Красновѣ являются высшія требованія, чѣмъ у лицъ, его окружающихъ; въ его отношеніяхъ къ женѣ болѣе человѣческаго, чѣмъ это бываетъ всегда въ средѣ, къ которой онъ принадлежитъ.

Переходя опять къ Жмигулиной, мы спросимъ, что побуждаетъ ее играть роль сводни въ отношеніи своей сестры и Бабаева? Лукерья Даниловна считаетъ родню Тани мужиками необразованными, ей при всякомъ удобномъ случаѣ хочется показать надъ ними свое превосходство,—и вотъ представляется удобный случай пригласить къ себѣ Бабаева, богатаго барича: пусть, дескать, они, косолапые, поймутъ, съ кѣмъ мы знакомы были. Но какъ привлечь Бабаева? Для Лукерьи Даниловны онъ не пойдетъ, а, между тѣмъ, въ оное время онъ ухаживалъ за Таней, и Жмигулина въ разговорѣ съ Бабаевымъ безпрестанно вспоминаетъ его прежнее влеченіе къ Танѣ, рисуетъ ему безотрадную картину ея теперешней жизни и, наконецъ, намекаетъ ему прямо, что онъ можетъ надѣяться... и т. д.

Впослѣдствіи, когда отношенія Бабаева къ Танечкѣ принимаютъ болѣе серіозный характеръ, Жмигулина не унываетъ и всѣми силами помогаетъ имъ. Она учитъ Таню провести стараго дѣда Архиппа, самого Краснова, устраиваетъ свиданіе Тани съ Бабаевымъ и т. д., и все это она дѣлаетъ изъ того, чтобы быть въ сношеніяхъ съ господами, съ благородными; она старается всѣми силами помогать любовникамъ, какъ бы радуясь внутренно тому, что вотъ, дескать, каково семейство Жмигулиныхъ, что вотъ какова моя Таня—знатному господину нравится. Въ этомъ высказывается все вліяніе того міра, изъ котораго вышли сестры Жмигулины.

Встрѣча Красновой съ Бабаевымъ служитъ самымъ вѣрнымъ средствомъ къ оцѣнкѣ ея личности. У Танечки, при видѣ Бабаева, начало мало-по-малу пробуждаться воспоминаніе прошлаго времени: чѣмъ долѣе разговариваетъ она съ нимъ, тѣмъ все болѣе въ словахъ ея видно расположеніе къ другу своей молодости. Наконецъ, когда Бабаевъ вызываетъ ее на откровенность, она отвѣчаетъ ему:

Краснова. Для чего же мнѣ быть съ вами откровенною? Какая можетъ ть изъ этого польза? Вѣдь, ужъ теперь поправить нельзя?..

Бабаевъ. Если нельзя совсѣмъ поправить, такъ можно, душенька Татьяна ниловна, хоть на время усладить свое существованіе, чтобы не совсѣмъ глохнуть въ этой жизни.

Краснова. На время! А потомъ еще тяжелѣе будетъ.

Бабаевъ. Знаете что! Я хочу совсѣмъ переѣхать въ деревню: тогда мы демъ жить недалеко другъ отъ друга. Я готовъ даже въ городъ переехать, только бы вы...

Краснова (*отворачиваясь*). Не говорите мнѣ, пожалуйста, такихъ словъ! даже, Валентинъ Павлычъ, никакъ не ожидала этого слышать отъ васъ.

Въ этихъ словахъ можно примѣтить способность страдать не говорить о своихъ страданіяхъ; изъ ея разговора идно, что ей нелегко жить и что она смотритъ на свое оложеніе, какъ на безвыходное: „Вѣдь, ужъ теперь поправить нельзя". И далѣе, на предложеніе Бабаева забыться оть на минуту, она отвѣчаетъ: „На время! А потомъ тяжелѣе будетъ!" На намекъ Бабаева о возможности связи между ими Танечка отвѣчаетъ негодованіемъ, и это понятно: на не знаетъ еще, любитъ ли ее Бабаевъ, и сама еще не ожетъ дать себѣ отчета, какое она къ нему имѣетъ чувство; вотъ почему прямой намекъ Бабаева производитъ своею инической формой непріятное ощущеніе въ ея простой атурѣ. Но когда она видитъ, что Бабаевъ какъ-будто недоленъ и не рѣшается дать обѣщаніе прійти къ ней на ругой день, ей становится вдругъ жаль его: она боится, то онъ, въ самомъ дѣлѣ, не придетъ.

Краснова. Нѣтъ, непремѣнно приходите! (*Молчаніе.*) Ну, какъ же мнѣ асъ просить? (*Беретъ Бабаева за руку.*) Ну, голубчикъ! Ну, ангельчикъ!..

Передъ этимъ въ ней говорило оскорбленное чувство собственнаго достоинства, теперь въ ея словахъ виденъ страхъ: не разрушить зарождающагося въ Бабаевѣ чувства. И когда Бабаевъ говоритъ:

Бабаевъ. Однако вы, Татьяна Даниловна, перемѣнились.

Она отвѣчаетъ ему.

Краснова. Я перемѣнилась? Ей-Богу, нѣтъ. Нисколько. Что вы меня обижаете?..

Затѣмъ они оба вмѣстѣ начинаютъ вспоминать свое прошлое житье въ Завѣтномъ: какъ они мечтали на террасѣ, какъ она ему перевязывала руки ленточкой и т. д., наконецъ, когда Бабаевъ упрекаетъ ее мимоходомъ за холодность, съ которою она его встрѣтила, она говоритъ: „Ахъ, Валентинъ Павловичъ! Я тогда была дѣвушка, могла любить, кого

хочу, а теперь я замужемъ. Вы только подумайте". Танечка не выражаетъ нигдѣ, чтобъ она считала замужество послѣднимъ словомъ жизни чувства; нѣтъ, самая ея задумчивость при этомъ свидѣтельствуетъ какъ бы только о трудности побѣдить обстоятельства, но не о возможности... Когда Бабаевъ говоритъ ей, что онъ не можетъ представить себѣ, чтобъ его прежняя Танечка принадлежала другому, что ему хочется все по-старому называть ее Танечкой, Краснова тотчасъ же сама проситъ называть ее просто, какъ прежде, и на возраженіе Бабаева: „Да что же толку, душа моя! Вѣдь, вы ужъ меня не любите", отвѣчаетъ: „Да кто это вамъ сказалъ? Я васъ люблю точно такъ же, да еще и больше прежняго..."

Разговоръ Бабаева съ Красновой не требуетъ комментаріевъ: въ немъ видна вся Танечка, простенькая, неспособная на борьбу съ самою собой. Она хочетъ и „въ законѣ жить", и проситъ Бабаева: „Только сохрани васъ Господи!", и ручается за себя: „И ужъ я ни подъ какимъ видомъ...", и предлагаетъ Бабаеву платоническую любовь, и тутъ же, сейчасъ, вторично цѣлуетъ его. Среда, въ которую Танечка попала, уже оказала на нее свое вліяніе. Она вспоминаетъ и мнѣніе старыхъ людей о грѣхѣ любить всякаго другого, кромѣ мужа, и заявляетъ о желаніи жить „въ законѣ...", и тутъ же строитъ силлогизмъ любящей женщины: „Я не должна никого любить, кромѣ мужа; но любить—любить его я не могу, васъ же любила я и прежде, слѣдовательно, я буду любить васъ". Въ сценѣ, когда Танечка приходитъ къ Бабаеву, разыгрывается второй актъ развитія ихъ взаимныхъ отношеній. Въ этой сценѣ Танечка уже другая, она пришла къ Бабаеву послѣ непріятной сцены съ мужемъ. Эта сцена произвела на нее сильное впечатлѣніе; она чувствуетъ къ Бабаеву гораздо большее влеченіе и въ то же время борется со страхомъ, который ей внушилъ мужъ. Въ первую встрѣчу съ Бабаевымъ Танечка была увѣрена, что, кромѣ душевнаго влеченія и поцѣлуевъ, между ними ничего не будетъ; но тутъ уже дѣло другое: она хорошо поняла, что на этомъ остановиться имъ обоимъ нельзя. Когда Бабаевъ предлагаетъ ей бросить мужа и уѣхать къ нему въ деревню, она возстаетъ противъ такого предложенія, но уже не потому, что ей хочется „въ законѣ жить", а вслѣдствіе совершенно другой причины: „Что жъ мужъ-то такъ вамъ и позволитъ!

Да онъ меня на днѣ моря сыщетъ". Тутъ ужъ прямо видна одна боязнь, одинъ страхъ... и ничего болѣе. Вслѣдъ за повтореніемъ взаимныхъ увѣреній въ любви, когда Бабаевъ дѣлаетъ опять предложеніе, чтобъ она уѣхала къ нему въ деревню, Танечка отвѣчаетъ: „Ахъ, отстаньте вы отъ меня!", но когда Бабаевъ говоритъ: „Ну, не надо въ деревню. Мы вотъ что сдѣлаемъ: я найму здѣсь въ городѣ квартиру и черезъ недѣлю буду пріѣзжать. Ты на это согласна?"—она отвѣчаетъ: „Согласна". Танечка, при ея слабомъ характерѣ и при весьма маломъ умственномъ развитіи, гораздо легче можетъ помириться съ совѣстью обманывать мужа и любить втихомолку, чѣмъ разомъ покончить однимъ ударомъ. Она сумѣетъ обмануть, но выдержать борьбу—не въ ея силахъ. Когда Танечка видитъ, что отношенія ея къ Бабаеву принимаютъ опасный, по ея мнѣнію, характеръ, она начинаетъ слабо бороться:

Краснова *(встаетъ)*. Ахъ, оставьте, пожайлуста!

Бабаевъ. Какъ „оставьте"? что значитъ „оставьте"?

Краснова. То же и значитъ, что оставьте.

Бабаевъ. Что за капризы?

Краснова. Никакихъ капризовъ, только вы, пожалуйста, подальше.

Бабаевъ. Если ты станешь такъ капризничать, я, вѣдь, уѣду. Брошу и дѣло, за которымъ пріѣхалъ, да сейчасъ и уѣду.

Краснова. Пожалуй, уѣзжайте.

Бабаевъ. Я, вѣдь, не шучу. Карпъ! *(Входитъ Карпъ.)* Собирайся ѣхать и потомъ за лошадьми сходи!

Карпъ. Слушаю-съ!

Краснова. Такъ вы вотъ какъ? Ну, такъ Богъ съ вами. Прощайте! *(Убѣгаетъ.)*

Она выдержала минутную борьбу, ушла, но за порогомъ ее встрѣчаетъ Лукерья Даниловна, нѣсколько словъ которой уничтожаютъ всю ея рѣшимость, да къ тому же тутъ и сердце говоритъ: „Воротись"; является Жмигулина и объявляетъ Бабаеву:

Жмигулина. Сестра просила вамъ сказать, чтобы вы погодили уѣзжать. Теперь у хозяйки сидитъ одна знакомая женщина; такъ вы сами понимаете, что пройти къ вамъ неловко. А когда она уйдетъ, сестра сойдетъ къ вамъ. Ей нужно объ чемъ-то съ вами поговорить.

Танечка уступила. Тутъ опускается занавѣсъ, и зритель чувствуетъ, что не побѣдительницей войдетъ она въ комнату Бабаева, а побѣжденной. Въ послѣднемъ свиданіи Бабаева съ Красновой она уже готова на все для человѣка, которому отдалась, для котораго перестала жить „по закону";

но и тутъ предстоящая борьба пугаетъ ее, и она начинаетъ роптать на себя; наконецъ, приходитъ къ заключенію: „Теперь поздно разбирать, кто правъ, кто виноватъ, а видно, такъ надобно было этому дѣлу случиться“.

Если внимательно вглядѣться въ психическую природу Танечки, взять въ соображеніе, что она не одарена умомъ, характеромъ, что дѣтство, молодость и самое замужество развили въ ней ея слабости, бороться противъ которыхъ у ней не было силы, что, поставленная въ безысходное положеніе, она задыхалась посреди людей, жесткихъ и возмущавшихъ ее, то она возбудитъ въ васъ жалость и даже симпатію.

Припоминая Катерину, жену Кабанова въ *Грозѣ*, мы видимъ огромную разницу между ея отношеніями къ Борису и отношеніями Танечки къ Бабаеву. Чтобы сравнить Катерину съ Танечкой, мы не должны обращать вниманія на ихъ характеры и на ихъ умъ, слишкомъ несходные между собою, а посмотримъ только, какой взглядъ имѣла и та и другая на измѣну долгу. Танечка, измѣняя мужу, боялась его гнѣва и характера; это была ея первая забота. Катерина, напротивъ, измѣнивъ мужу, считала это грѣхомъ, своимъ окончательнымъ нравственнымъ паденіемъ. Танечка мечтала убѣжать отъ мужа, она рѣшилась на это... Катерина—нѣтъ, она не ушла отъ мужа, она вся съ дѣтства была проникнута убѣжденіемъ: „Вѣдь, мнѣ съ мужемъ жить до гробовой доски...“—и утопилась, а не убѣжала...

Чтобы вполнѣ понять супружескія отношенія Красновыхъ, надобно сказать нѣсколько словъ о членахъ этой семьи. Старикъ Архиппъ, дѣдъ Краснова, и братъ Краснова, Аѳоня, оба—люди ни на что уже негодные, одинъ по старости, другой по хворости. Отношенія старика Архиппа къ семьѣ чисто пассивныя: въ купеческомъ быту, гдѣ вся дѣятельность заключается въ торговыхъ оборотахъ, деньги сосредоточиваются въ рукахъ главы семьи, который вслѣдствіе этого весь свой семейный деспотизмъ основываетъ на полной зависимости въ матеріальномъ отношеніи своей семьи отъ себя. Даже можно весьма вѣроятно заключить, что подчиненіе младшихъ старшему вытекаетъ скорѣе изъ этой матеріальной зависимости, чѣмъ изъ вѣковой привычки почитанія старшаго младшими. Въ семьѣ Красновыхъ Левъ Красновъ всему голова, на всѣхъ работникъ, вслѣдствіе этого дѣдъ *Архиппъ и не имѣетъ* большого вліянія. Дѣдъ Архиппъ, судя

по его собственнымъ словамъ, человѣкъ, пожившій бурно часто соблазнявшійся и, наконецъ, вслѣдствіе дряхлости и слѣпоты, сдѣлавшійся человѣкомъ Божіимъ. Аѳоня, хворый и больной, весь пропитанъ любовью къ своему роду, братъ для него первый человѣкъ въ свѣтѣ; онъ не любитъ Танечки за то, что она не ихъ роду, что она не работаетъ, а сидитъ барыней, и что она вмѣстѣ съ сестрой посмѣивается надъ ихъ бытомъ. Архиппъ, какъ человѣкъ старый, полонъ убѣжденій, которыя въ немъ жили смолоду, онъ даже упрекаетъ Аѳоню, что тотъ порицаетъ брата за нѣжность къ женѣ; для Архиппа Левъ Красновъ глава семьи, а потому младшимъ не къ чему вмѣшиваться въ дѣла старшаго. Впрочемъ, мотивы всѣхъ дѣйствій Архиппа есть желаніе водворять христіанскій миръ и согласіе; на этомъ основаніи онъ и Аѳоню убѣждаетъ укрощать себя и мирить Таню съ мужемъ. Аѳоня, напротивъ, не можетъ помириться съ ненормальнымъ, по его мнѣнію, отношеніемъ Тани къ семьѣ: онъ убѣжденъ сначала до конца, что братъ его не любимъ, вслѣдствіе этого онъ всѣми силами старается уличить Таню и постоянно желаетъ хотя видимаго ея униженія, напримѣръ, въ той сценѣ, гдѣ онъ, во что бы то ни стало, хочетъ, чтобы Таня всѣмъ поклонилась въ ноги. О Курицыной, сестрѣ Краснова, и мужѣ ея говорить нечего, это—типы, такъ много разъ уже изображенные Островскимъ, полны закоренѣлости и нравственной грубости. Они крайне враждебно смотрятъ на Таню и всѣми силами стараются поссорить ее съ мужемъ. Въ сценѣ, въ которой мы въ первый разъ встрѣчаемъ Танечку съ мужемъ, авторъ желалъ показать взглядъ самого Краснова на то, какъ должна вести себя Таня въ своей семьѣ. Тутъ Левъ Красновъ является стоящимъ далеко выше предразсудковъ своей среды. Считая себя главой семьи, онъ требуетъ уваженія этой семьи къ своей женѣ. Когда Курицына, въ припадкѣ злости на Таню, говоритъ брату: „Не я виновата, что твоя жена по пустырямъ да по закоулкамъ шляется, да съ молодыми господами по цѣлымъ часамъ балясы точитъ“, Красновъ приходитъ въ бѣшенство, его пылкая натура не можетъ вынести подобныхъ намековъ.

Тутъ въ Красновѣ говоритъ страстная любовь: онъ гонитъ вонъ изъ дому родную сестру за оскорбленіе его жены, онъ приноситъ въ жертву чувство семейнаго родства, столь силь-

ное въ купеческомъ быту. Къ этой любви присоединяется самолюбіе тоже страстное. Красновъ, собственнымъ трудомъ устроившій себѣ домъ, хозяйство, составившій небольшое состояніе, наконецъ, женился и женился на барышнѣ. Его самолюбивой натурѣ льстило то, что его жена красавица и на другихъ купеческихъ женъ не похожа; эту гордость женою онъ выказываетъ въ сравненіи себя съ нею, какъ бы говоря: „Вонъ она какая, я—мужъ ея, но она—моя!“

Прогнавъ сестру, Красновъ проситъ жену не обижаться грубостью и подозрѣніями родни и старается успокоить ея страхъ, вызванный его разсказомъ о своей горячности. Но онъ сильно потрясенъ словами сестры, ему нужно увѣреніе жены въ любви, и онъ обращается къ ней съ вопросомъ, когда же она его будетъ любить, и на ея холодный, равнодушный отвѣтъ выражаетъ готовность ждать. Намеки сестры и брата Аѳони не проходятъ незамѣтно по душѣ Краснова. Когда Жмигулина и Таня выбѣгаютъ встрѣчать Бабаева и Красновъ остается одинъ, въ немъ въ первый разъ заговорило чувство подозрѣнія, которое онъ старается побѣдить...

Когда, по уходѣ Бабаева, Таня объявляетъ, что сейчасъ идетъ отдать Бабаеву визитъ, Красновъ сперва прямо не позволяетъ, но, видя настойчивость и рѣшимость въ женѣ, онъ уступаетъ ей: ему трудно перейти разомъ отъ нѣжнаго обращенія къ суровому. По уходѣ жены, Краснову дѣлается тяжело, онъ начинаетъ разгонять свою тоску успокоивающими разсужденіями и вдругъ останавливается въ какомъ-то раздумьѣ или сомнѣніи, которое выражаетъ слѣдующими словами: „Татьяна Даниловна! Сохнулъ я по тебѣ, пока не взялъ за себя, да все сердце не на мѣстѣ! Не загуби ты парня! Грѣхъ тебѣ будетъ!“

Сцена нѣжности Краснова съ женой показываетъ всю глубину его счастья, но грубыя формы его любви не могутъ возбуждать въ Танечкѣ и снисхожденія къ мужу...

Танечка, съ одной стороны, видѣла грубую, по ея понятіямъ, любовь мужа; а съ другой, фразы Бабаева, въ которыхъ не было слѣда любви, будили въ ней первое ея чувство, ея лучшія, хотя и пустыя воспоминанія. Понятно, что Танечка отдалась Бабаеву. Въ послѣдней сценѣ Красновъ окончательно теряетъ сознаніе, нравственный кодексъ его оказывается недостаточнымъ, а умственное развитіе не даетъ

способовъ къ разрѣшенію вдругъ явившагося передъ глазами вопроса. „Жена—моя собственность, и ее берутъ у меня, пусть же она никому не достается; я теперь всѣмъ посмѣшище, она хочетъ уйти отъ меня—пусть идетъ въ гробъ". Вотъ сущность его мыслей во время изступленія.

Поразительно то дѣйствіе, которое производятъ на Краснова слова Танечки—„Разойдемтесь!" Они окончательно лишаютъ его сознанія, приводятъ въ бѣшеную страсть, разрѣшающуюся убійствомъ.

Вотъ какая жизнь вызвана Островскимъ въ новой драмѣ. Мы разсмотрѣли ее безъ увлеченій въ какую бы то ни было сторону. Читателю, можетъ-быть, покажется страннымъ, что мы начали нашу статью черезчуръ просто, безъ всякихъ общихъ положеній, прямо съ анализа драмы. Но неужели умѣстны еще разглагольствованія о степени дарованія въ Островскомъ, о томъ, какъ удаются ему характеры изъ народной жизни, и т. д. Все это предполагается рѣшеннымъ. Найдутся, однако, люди, которые скажутъ, пожалуй, что въ новой драмѣ новаго-то немного, что это опять старая матерія, опять купцы! Новаго, по нашему разумѣнію, въ ней настолько, насколько неминуемо должно быть въ послѣднемъ произведеніи даровитаго и развивающагося писателя.

Развѣ читателю или зрителю не бросилось прежде всего въ глаза, что личность героя драмы, взятая все изъ того же міра Торцовыхъ, Брусковыхъ и иныхъ, поставлена въ совершенно новое положеніе, до такой степени новое, что каждый шагъ Краснова, каждое слово проникнуто сознаніемъ этого положенія. Еще ни въ одной пьесѣ Островскаго ни одинъ купецъ не относился такъ къ женѣ своей, да и въ жизни-то такія отношенія не на каждомъ шагу; въ купеческомъ и мѣщанскомъ быту они, скорѣе, исключеніе. Всѣ прежнія купеческія личности изъ міра Островскаго, хорошія и дурныя, женились и жили по заведенному порядку, и если возникала драма между мужемъ и женой, то въ ней мужъ оставался сначала до конца мужемъ, т-е. карающимъ и повелительнымъ столбомъ; здѣсь же съ первыхъ шаговъ драмы—передъ вами любовникъ, по-своему глубоко любящій; тутъ приниженіе передъ личностью жены, такое приниженіе, которое не завладѣло всѣмъ существомъ Краснова и не превратило его въ пассивную личность потому только, что натура у него бурная и страстная. Островскій съ глубокою

правдой развилъ этотъ новый элементъ въ жизни своего купеческаго міра. Краснова нужно, конечно, считать положительнымъ лицомъ драмы, но, сравнивая его съ другими свѣтлыми личностями прежнихъ драмъ Островскаго, нельзя опять-таки не признать, что авторъ отнесся къ личности Краснова правдивѣе и проще. Русаковъ, Бородкинъ, Митя, даже самъ Любимъ Торцовъ, всѣ эти лица, на которыхъ покоились симпатіи автора, были болѣе или менѣе идеализированы, или, лучше сказать, къ жизненнымъ и вполнѣ правдивымъ чертамъ этихъ характеровъ примѣшивалась какая-то сладость, желаніе облечь какимъ-то особымъ колоритомъ благодушія и душевной чистоты самыя простыя побужденія; во Львѣ Красновѣ ничего этого нѣтъ, и онъ производитъ несравненно сильнѣйшее впечатлѣніе, и никому изъ бывшихъ и нынѣ существующихъ противниковъ Островскаго не придетъ на умъ обвинить его въ желаніи провести какіе-нибудь свои взгляды или пристрастія. Всякій читатель или зритель, будь онъ матеріалистъ или идеалистъ, долженъ поневолѣ безпристрастно посмотрѣть на эту личность, во-первыхъ, потому, что авторъ нисколько не маскируетъ и не смягчаетъ темныхъ сторонъ мѣщанскаго быта и, слѣдовательно, предоставляетъ полную возможность анализировать эти темныя стороны; а во-вторыхъ, потому, что проявленія страсти въ натурѣ Краснова такъ объективно и художественно воспроизведены, что смѣшно было бы доказывать, что тотъ міръ, гдѣ мужья убиваютъ изъ ревности женъ своихъ, не заслуживаетъ никакого сочувствія. Все это приводитъ насъ къ тому заключенію, что, сопоставляя два міра: мѣщанскій и чиновничій, т.-е. сферу бытовую со сферой враждебной народною жизни, Островскій опять-таки и въ этомъ отношеніи сдѣлалъ новый шагъ. Во всѣхъ почти прежнихъ драмахъ у него тоже столкновеніе элемента первобытнаго съ ложною цивилизаціею, и симпатія его клонится всегда къ личностямъ изъ царства, прозваннаго темнымъ. Его упрекали всегда этимъ, и, можетъ-быть, въ этихъ упрекахъ было кое-что и справедливое. Въ новой драмѣ онъ относится къ столкновенію двухъ міровъ, какъ объективный художникъ, одаренный чувствомъ правды и глубокой терпимости. Вы сочувствуете Краснову благодаря творчеству автора; но вы не можете отвернуться съ холодностью и негодованіемъ отъ Танечки. Міръ, вскормившій ее

лживъ и безпорядоченъ; въ душѣ ея нѣтъ никакихъ серіозныхъ причинъ считать себя несчастною; она дитя праздности, воспитанное въ сферѣ приживалокъ и барскихъ затѣй; но во всемъ этомъ она не виновата; ея требованія хотя и пусты, но искренни; ея отношенія къ мужу не могли быть иныя: тамъ же, гдѣ говоритъ ея чувство, она трогательна не по нравственной красотѣ своей натуры, но по той жалкой безпомощности убѣжденій, которую дала ей жизнь, нелѣпая и пустая. Авторъ, воспроизводя этотъ живой образъ, ни однимъ штрихомъ не желаетъ очернить его, а, напротивъ, что, какъ ни была ничтожна сфера, откуда вышла Танечка, все-таки въ этой сферѣ была та мягкость, тѣ внѣшнія формы, безъ которыхъ уже трудно было ей жить, особенно при отсутствіи внутренняго содержанія, безъ любви и пониманія своего мужа. И если можно указать на пошлыя личности: Жмигулиной, Бабаева, Карпа, Шишгалева, точно умышленно собранныхъ, какъ представителей испорченнаго барско-приказнаго міра, то, съ другой стороны, стоитъ передъ нами чета Курицыныхъ, которая одна достаточна для равновѣсія темныхъ элементовъ обоихъ міровъ. Могутъ, пожалуй, замѣтить, что въ новой своей драмѣ Островскій проводитъ ту же самую идею, которою проникнута его комедія: *Не въ свои сани не садись*. Какъ тамъ печально кончается любовь купеческой дочери къ барину, такъ и здѣсь страстная привязанность добраго и честнаго мужика къ барышнѣ. Если желать во что бы то ни стало навязывать автору идею, то, разумѣется, такое мнѣніе довольно оправедливо. Но опять и тутъ огромная разница въ замыслѣ и творчествѣ этихъ двухъ драмъ. Въ одной—сладость, о которой мы упомянули, мѣшала объективной концепціи, въ другой нѣтъ ни одного положенія, ни одной фразы, которая бы подавала поводъ думать, что авторъ желаетъ отстаивать истину и неприкосновенность своего любимаго купеческаго міра. Да если бы онъ и дѣйствительно хотѣлъ доказать, что не слѣдуетъ садиться не въ свои сани, то зачѣмъ же смотрѣть на это, какъ на тенденцію; для критики это не что болѣе, какъ тотъ главный моментъ драмы, изъ котораго развиваются всѣ коллизіи и въ которомъ заключается глубокое противорѣчіе правды съ дѣйствительностью, ведущее всегда къ драматическому разрѣшенію. Развѣ любовь Отелло къ Дездемонѣ и Краснова къ Танечкѣ и ихъ супружества не

заключаютъ въ себѣ такихъ зародышей, которые неминуемо приведутъ къ катастрофѣ? Тутъ нечего примѣшивать никакихъ соціальныхъ вопросовъ, тутъ слѣдуетъ брать только фактъ и его драматическое значеніе. И когда драма, построенная на подобномъ замыслѣ, написана такъ художественно, съ такою теплою симпатіей къ человѣку, изъ какого бы міра онъ ни вышелъ, нужно отнестись къ ней такъ же свободно, какъ сдѣлалъ самъ авторъ, и, выводя всѣ возможныя заключенія о свѣтлыхъ и мрачныхъ сторонахъ жизни, воспроизводимой авторомъ, не обвинять ни одну личность, не клеймить Краснова за его страстность, а Танечку за пустоту, и съ задоромъ возмущаться темнымъ царствомъ за отсутствіе въ немъ тѣхъ принциповъ и тенденцій, которыми обладаемъ мы съ вами, читатель. Есть еще много новаго въ драмѣ Островскаго, хоть, напримѣръ, это сопоставленіе двухъ оттѣнковъ народнаго типа въ лицѣ Аѳони и дѣдушки Архиппа. Разбирая содержаніе пьесы, мы отнесли ихъ къ обстановкѣ семейной жизни Краснова. Но этимъ не исчерпывается значеніе ихъ въ пьесѣ. Оба эти лица имѣютъ прекрасный художественный смыслъ. На нихъ распадается натура Краснова: въ Аѳонѣ—его рьяность, только въ болѣзненныхъ проявленіяхъ, въ дѣдушкѣ Архиппѣ—сторона мягкая, которая въ Красновѣ являлась подъ вліяніемъ чувства къ Танѣ, а у Архиппа выработалась отъ долгаго опыта жизни. По замыслу и отдѣлкѣ Аѳоня—лицо положительно новое въ мірѣ Островскаго, а дѣдушка Архиппъ хотя и отзывается сладостью Русаковыхъ, но въ немъ благодушіе гораздо правдивѣе и является даже необходимымъ слѣдствіемъ его немощи. Авторъ употребляетъ его для нравственнаго приговора надъ Красновымъ, и этотъ приговоръ можетъ, конечно, показаться общимъ мѣстомъ, а самая мораль не выдумана авторомъ, она дѣйствительно находится въ сознаніи простого человѣка въ драматическія минуты жизни. Левъ Красновъ придетъ къ ней горькимъ опытомъ, и разумная его сторона говорила ему въ минуту изступленія голосомъ старика Архиппа. Конечно, можно по этому поводу доказывать, что никакія правила нравственности, никакія вѣрованія не дѣйствительны для обузданія страсти, и что одно только умственное развитіе способно измѣнить натуру человѣка и дать ему на все терпимый взглядъ. Толковать объ этомъ мы считаемъ совершенно *лишнимъ*; элементъ страсти будетъ всегда условіемъ драма-

тическаго движенія, слѣдовательно, распинаться изъ-за торжества умственнаго развитія умѣстнѣе при всякомъ другомъ случаѣ, чѣмъ при обсужденіи судьбы человѣка, подобнаго Краснову. Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, что нужно симпатизировать Краснову за убійство жены, и что Островскій желалъ возвести въ апоѳеозъ моментъ его безумія. Безъ всякаго сомнѣнія, онъ этого не желаетъ, но мы не думаемъ также, чтобъ онъ хотѣлъ немилосердно заклеймить его, указать на него пальцемъ, какъ на живой примѣръ несостоятельности народной морали. Истинный художникъ никогда не позволитъ себѣ замашекъ односторонняго публициста.

Намъ хотѣлось бы поговорить о сценичности новой драмы Островскаго, о ея драматической силѣ и элементахъ движенія, но это увлекло бы насъ слишкомъ далеко: необходимо было бы подвергнуть анализу весь драматическій міръ Островскаго. Размѣры статьи не позволяютъ намъ этого. Когда смотришь на пьесу Островскаго, то кажется, что настоящее-то дѣйствіе еще впереди, а это только вступленіе. Такое впечатлѣніе поддерживаютъ вводныя лица и разговоры, часто продолжительные, и чрезвычайно спокойный ходъ пьесы. На взглядъ многихъ это—положительно недостатокъ: это—признакъ эпическаго характера произведеній. Драма должна съ первыхъ минутъ охватывать душу зрителя и переносить его отъ одного драматическаго ощущенія къ другому, сильнѣйшему. По мнѣнію западныхъ теоретиковъ, не только въ каждомъ моментѣ драмы, но въ каждомъ словѣ дѣйствующаго лица должно быть драматическое движеніе, хотя драма, по сущности своей, не можетъ не имѣть общечеловѣческихъ законовъ, равно естественныхъ, а слѣдовательно, необходимыхъ и обязательныхъ для каждой литературы; но никто намъ еще до сихъ поръ не доказалъ того, что русская драма не можетъ имѣть особыхъ элементовъ драматическаго движенія и своеобразныхъ формъ. Никто изъ русскихъ критиковъ не изслѣдовалъ даже въ общихъ чертахъ сущности драматизма и его проявленій въ русской жизни и поэзіи. Лѣтописная и бытовая исторія нашего народа и продукты его творчества—пѣсни, сказанія и легенды—не разобраны никѣмъ съ этою цѣлью. Слѣдовательно, у насъ остается одно непосредственное воспріятіе впечатлѣній, оставляемыхъ драмами Островскаго, и мы должны имъ ограничиться, если не хотимъ брать общаго мѣрила для обсу-

жденія ихъ драматическаго достоинства. Можетъ-быть, это нежеланіе примѣнить къ творческой дѣятельности нашего драматурга требованій, выработанныхъ западною критикой, и было причиной того, что не рѣшенъ еще вопросъ: можно ли и должно ли считать Островскаго драматическимъ писателемъ *по преимуществу?* Какъ бы тамъ ни было, но мы всегда выносимъ изъ каждой пьесы Островскаго впечатлѣнія жизни и борьбы. Эта борьба почти не всплываетъ наверхъ; но когда произойдетъ катастрофа, вы чувствуете, что она подготовлялась внутренними причинами и росла съ каждою сценой. То же самое мы видимъ и въ новой драмѣ. Какъ ни быстро послѣднее движеніе Краснова, какъ ни рѣзко выступаетъ этотъ роковой моментъ драмы изъ ея спокойнаго теченія, спокойнаго даже въ тревожныхъ минутахъ, вы сознаете, что этотъ моментъ не звучитъ фальшивою нотой, не является какъ deus ex machina. И никому нельзя упрекнуть Островскаго за то, что разрѣшеніе его новой пьесы не мотивировано ничѣмъ, какъ это говорили, напримѣръ, во время оно, разбирая его драму *Не такъ живи, какъ хочется.*

Можно замѣтить только то, что лучше бы было кончить минутой, когда Красновъ бѣжитъ къ женѣ. Тогда не выступала бы предъ зрителемъ голая сторона уголовнаго дѣла, этотъ единственный рессурсъ русской драматической поэзіи, по мнѣнію многихъ наблюдателей жизни русской. Давать криминальное удовлетвореніе чувству зрителя—пріемъ не совсѣмъ художественный. Если не было бы трагическаго факта, то моментъ страсти все-таки бы существовалъ. Дѣло-то, конечно, стоитъ въ немъ, а не въ совершеніи самаго преступленія, почти на глазахъ зрителя. Замѣчая это, мы не думаемъ, однако, что авторъ кончилъ такъ драму изъ желанія эффекта.

„Тяжелые дни“.

(Сцены изъ московской жизни, въ трехъ дѣйствіяхъ [1]*).)*

Пьеса *Тяжелые дни* по формѣ и содержанію своему принадлежитъ къ тому легкому роду пьесъ Островскаго, которыя, впрочемъ, можно назвать такъ развѣ потому, что онѣ ə стбятъ автору большихъ усилій, но какъ мы уже показали на одномъ примѣрѣ, представляютъ немало цѣннаго атеріала. Новая пьеса, вѣроятно, первая изъ цѣлой предолагаемой серіи, вводитъ насъ, по волѣ автора, въ пучину, гдѣ дни раздѣляются на легкіе и тяжелые; гдѣ люди твердо вѣрены, что земля стоитъ на трехъ рыбахъ, и что, по ослѣднимъ извѣстіямъ, кажется, одна начинаетъ шевеиться: значитъ, плохо дѣло; гдѣ астрономы, которые наблюаютъ за кометами и разсматриваютъ двухъ человѣкъ на унѣ; гдѣ своя политика и тоже получаются депеши, но олько все больше изъ Бѣлой Арапіи и странъ, къ ней рилежащихъ“. Въ одномъ изъ уголковъ этой пучины самоластно господствуетъ и безобразничаетъ довольно знакомый же намъ изъ другихъ пьесъ Островскаго, самодуръ Титъ 'итычъ Брусковъ. Пьеса написана нѣсколько по рецепту, рописанному въ послѣднее время Островскому нашею крикой, и потому въ ней, кромѣ самодура-отца, есть, разуѣется, и притѣсненные, есть и протестъ въ лицѣ молодого ына Андрея Титыча. Сынъ этотъ уже нѣсколько времени любленъ въ небогатую дѣвушку, но самодуръ-отецъ помыаетъ въ этомъ отношеніи сыномъ, какъ ему вздумается.

„Поведутъ меня невѣсту смотрѣть,—разсказываетъ онъ своему пріяелю изъ благородныхъ,—куда имъ вздумается, и сейчасъ тамъ изъ-за риданаго или изъ-за чего другого ссору заведутъ, крикъ подымутъ, такъ омой и уйдутъ. Потомъ въ другомъ мѣстѣ то же самое. Вотъ теперь въ аганкѣ: повѣрите ли, съ матерью невѣсты два раза нехорошими словами

---

[1]) Е. Эдельсонъ. „Библіотека для Чтенія“ 1864 г., № 1. (См. выпускъ I, тран. 218).

ругались; поругаются, недѣли двѣ не ѣздятъ,—потомъ опять помирятся. А ужъ я, не то чтобы сказать что, а и дышать-то не смѣю. Невѣсты же, Василій Митричъ, вотъ уже мы ихъ никакъ восемь смотрѣли, все мнѣ не по сердцу-съ; только что одно тѣлесное сложеніе, а больше ничего нѣтъ-съ!"

Неизвѣстно, долго ли находилось бы въ такомъ положеніи дѣло любви Андрея Титыча, если бы самодуръ-отецъ, среди своихъ безобразій, не наскочилъ на такой случай, который смирилъ и образумилъ его хоть силою. Не мѣшаетъ замѣтить, что въ пучинѣ, которую полуоткрылъ намъ Островскій въ своей новой пьесѣ, несмотря на все ея безобразіе, все удивительно прилажено и округлено. Если есть тамъ самодуры Брусковы, которые знать ничего не хотятъ, кромѣ своей прихоти, и при случаѣ не очень осторожны на руку, то на такихъ людей есть въ той же пучинѣ и гроза въ родѣ „Василиска Перцова". У этого „благороднаго человѣка" образъ жизни и средства существованія находятся въ самой близкой связи съ нравами обывателей „Пучины". Обыкновенно онъ самъ буянъ, „страхъ и ужасъ всей окрестности", гроза мирныхъ и слабыхъ обывателей; но съ людьми, въ родѣ Тита Титыча, у него другая манера—здѣсь онъ уже пасуетъ и охотно позволяетъ побить себя и потомъ взыскиваетъ безчестье. Съ такою-то личностью въ одинъ изъ своихъ обычныхъ загуловъ Титъ Титычъ встрѣтился, вѣроятно, потому, что, вопреки совѣтамъ жены, выѣхалъ изъ дому въ *тяжелый день*. И вотъ эта-то несчастная встрѣча дала автору завязку для его новой пьесы, а Андрея Титыча избавила, наконецъ, отъ отцовскаго мытарства... Но какъ именно произошла эта несчастная встрѣча и какъ приняли это извѣстіе домашніе Брускова,—это мы позволимъ себѣ передать выпиской цѣлой сцены изъ пьесы.

Андрей Титычъ. Вотъ-съ, прихожу я въ судъ, а у нихъ ужъ все дѣло кончено. Тятенька отобрали изъ судейскихъ человѣкъ шесть и повели ихъ въ трактиръ обѣдомъ потчевать-съ. Пообѣдали честь-честью-съ, выпили они, сколько имъ слѣдуетъ; потомъ наняли для судейскихъ извозчиковъ, а я съ тятенькой на своихъ, и покатили въ Марьину рощу-съ. Все бы это ничего-съ, только тятенька въ Марьиной рощѣ встрѣтили знакомую компанію-съ: человѣка четыре подрядчиковъ какіе-то могорычи запиваютъ-съ. Тутъ ужъ и пошло-съ! Шампанскаго сразу ящикъ потребовали.

Настасья Панкратьевна. Все это въ порядкѣ, дѣло очень обыкновенное.

Андрей Титычъ. Да и все хорошо было-съ, и тятенька были очень веселы: только ужъ, конечно, понять разговору было нельзя, потому всѣ вмѣстѣ вдругъ говорили. И догадало же кого-то изъ судейскихъ качать тятеньку. *Только* взяли его на руки, качали, качали, да и уронили.

Настасья Панкратьевна. И больно ушибли-то?

Андрей Титычъ. Ушибить-то не ушибли, только ужъ очень тятенька въ ердце вошелъ. Обозвалъ всѣхъ, какъ нельзя хуже... А тутъ, еще прежде, акой-то баринъ вертѣлся, съ разговорами приставалъ ко всѣмъ, вино аше пилъ; ужъ очень ему хотѣлось въ компанію втереться. Ужъ его не динъ разъ мы и гоняли отъ себя, а онъ все лѣзетъ. Да подъ сердитую-то уку и наскочилъ на тятеньку; а тятенька, ужъ извѣстно, много разгова-ивать не станутъ; должно-быть, его раза два и ударили.

Мудровъ. Ну, а онъ сейчасъ свидѣтелей?

Андрей Титычъ. Такъ точно-съ. Судиться хочетъ съ тятенькой.

Изъ дальнѣйшаго разговора мы узнаемъ, что опытный въ подобныхъ дѣлахъ Перцовъ уже объявилъ и свою цѣну за безчестье—именно 300,000, и что такимъ образомъ дѣло приняло нешуточный оборотъ. Старый, обыкновенный въ этихъ случаяхъ стряпчій Брускова не можетъ удержать даже своего восторга при видѣ такого капитальнаго дѣла, и запрашиваетъ съ Тита Титыча такую сумму за веденіе процесса, что тотъ немедленно выгоняетъ его изъ дому. Однако, по его совѣту, что въ такихъ дѣлахъ прежде всего надо скрываться, онъ ужъ спрятался въ тарантасъ и готовится выѣхать потихоньку изъ Москвы. Въ такомъ затруднительномъ положеніи является его добрый геній, въ лицѣ Досужева. Имѣя въ карманѣ фальшивый документъ, составленный нѣкогда Перцовымъ, котораго доходы за безчестье, вѣроятно, въ то время почему-либо изсякли, онъ безъ труда уговариваетъ „благороднаго“ человѣка ограничиться на этотъ разъ небольшою суммою въ сто рублей. Затѣмъ, съ распиской его въ карманѣ, онъ вынуждаетъ Тита Титыча дать свое согласіе на бракъ Андрея Титыча съ любимою имъ дѣвушкой.

Таковъ скудный, чисто-анекдотическій сюжетъ новой пьесы Островскаго, который, однако, далъ ему все-таки возможность представить нѣсколько интересныхъ чертъ изъ жизни „Пучины“ и вообще русскихъ нравовъ. Таковъ уже приведенный нами разсказъ объ угощеніи приказныхъ въ трактирѣ и послѣдовавшихъ затѣмъ событіяхъ, разсказъ, типически-схваченный съ дѣйствительности. Таково весьма оригинальное любовное объясненіе Андрея Титыча и Александры Петровны—объясненіе налету, подъ постояннымъ страхомъ сидящихъ въ другой горницѣ родителей.

Такъ же любопытенъ способъ укрывательства, рекомендованный Титу Титычу старымъ подьячимъ и объясненія его

объ удобствахъ этого способа. Такъ же оригинально и типически-вѣрно разсужденіе жены Брускова о томъ, какая тяжесть жить простой женщинѣ точно такъ, какъ другіе богатые люди живутъ. Наконецъ, чрезвычайно забавный и въ то же время глубоко вѣрно задуманный разговоръ двухъ купчихъ со старымъ подьячимъ о „мудреныхъ словахъ". Не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести читателямъ отрывокъ изъ этого разговора.

— Вотъ я еще мудреныхъ словъ боюсь,—говоритъ Настасья Панкратьевна.

Мудровъ. Да, есть слова, есть-съ. Въ нихъ, сударыня, таинственный смыслъ сокрытъ и сокрытъ такъ глубоко, что слабому уму-съ...

Настасья Панкратьевна. Вотъ этихъ-то словъ я, должно-быть, и боюсь. Богъ его знаетъ, что́ оно значитъ, а слушать-то страшно.

Мудровъ. Вотъ, напримѣръ-съ...

Настасья Панкратьевна. Охъ, ужъ и не говорите лучше; право, я всегда себя послѣ какъ-то нехорошо чувствую.

Наталья Никаноровна. Нѣтъ, что-жъ, пускай говорятъ: интересно послушать.

Настасья Панкратьевна. Развѣ ужъ одно словечко, не больше, а то право, страшно.

Мудровъ. Вотъ, напримѣръ, металлъ! Что-съ? каково слово! сколько въ немъ смысловъ! Говорятъ „презрѣнный металлъ"! Это одно значитъ; потомъ говорятъ: „металлъ звенящій"! Глаголъ временъ, металла звонъ. Это значитъ, сударыня, каждая секунда приближаетъ насъ къ гробу. И колоколъ тоже металлъ. А то есть еще благородные металлы...

Настасья Панкратьевна. Ну, будетъ, батюшка, будетъ. Не тревожьте вы меня! Разуму у меня немного, сообразить я вашихъ словъ не могу; мнѣ цѣлый день и будетъ представляться.

Мудровъ. Вотъ тоже я недавно въ одномъ сочиненіи читалъ, хотя и свѣтскаго писателя, но достойнаго уваженія: „Обаче говоритъ"...

Настасья Панкратьевна. Оставьте, я васъ прошу. Ужъ я такая робкая, право, ни на что не похоже. Вотъ тоже, какъ услышу я слово: жупелъ, такъ руки-ноги затрясутся.

Мудровъ. Да, есть словечки, есть-съ. Вотъ тоже...

Настасья Панкратьевна. Батюшка, оставьте! Убѣдительно я васъ прошу. Конечно, всѣ мы смертные; развѣ кто споритъ! Ну, тамъ ужъ послѣ будь, что будетъ. Что жъ теперь заживо-то такія страсти слушать.

Намъ кажется, что разговоръ этотъ, съ нѣкоторыми видоизмѣненіями, пожалуй, можно услышать у насъ даже не въ столь темномъ кружкѣ, каковъ описываемый авторомъ. Развѣ погоня нѣкоторыхъ изъ нашихъ публицистовъ за громкими словами и фразами и страхъ передъ такими „мудреными словами"—не повтореніе въ лицахъ выписанной нами *сцены?*

Болѣе о содержаніи новой пьесы Островскаго сказать, конечно, ничего. Повторять публикѣ то, что въ ней болѣе или менѣе ярко и художественно представлено самимъ авторомъ, и разъяснять читателямъ, какъ глупо все, что совершается въ „Пучинѣ", намъ кажется ненужною тратою времени.

Но мы, какъ это, можетъ-быть, ни покажется отсталымъ, позволимъ себѣ сказать нѣсколько словъ по поводу формы новой пьесы. Форма, болѣе или менѣе обдуманная и приличная, не лишена значенія и во всѣхъ общественныхъ дѣйствіяхъ, но въ произведеніи литературномъ она составляетъ значительную долю всего его достоинства; нѣкоторые думаютъ даже, что она составляетъ главное въ нихъ. Но не будемъ вдаваться въ крайности и разсмотримъ дѣло въ частномъ примѣненіи къ занимающей насъ теперь дѣятельности Островскаго. Мы уже сказали, что истинное творчество, т.-е. богатство типовъ, составляетъ существенное и необъемлемое его достоинство; съ другой стороны, мы уже не разъ имѣли случай объяснить, что это творчество есть чистый даръ природы, дѣятельность невольная и до извѣстной степени безсознательная въ своихъ процессахъ. Но уже на степени разсказовъ Горбунова оно перестаетъ оставаться въ этомъ непосредственномъ видѣ, и является надобность въ сюжетахъ для передачи накопившихся типовъ другимъ, наконецъ, для собственнаго умственнаго и нравственнаго оріентированія въ массѣ подсказываемыхъ фантазіею типическихъ образовъ. Съ расширеніемъ кругозора, эта вторая половина задачи художника расширяется все болѣе и болѣе и пріобрѣтаетъ все большее значеніе въ его дѣятельности.

То, что на первой ступени творчества было нужно только для того, чтобы выяснить типъ, становится постепенно все болѣе и болѣе важнымъ и является, наконецъ, главнымъ дѣломъ. Обдумывая такъ-называемый сюжетъ, серіозный драматическій писатель не обдумываетъ только, какъ ему лучше, ловчѣе и эффектнѣе выставить на видъ свою готовую мысль—такимъ исключительнымъ дѣломъ занимаются люди безталантливые,—но обдумываетъ самую жизнь, и какъ безсознательный процессъ творчества довелъ его до созданія типовъ, такъ сознательный долженъ выяснить ему, типическія, т.-е. болѣе или менѣе роковыя коллизіи, порождаемыя условіями народной жизни. Здѣсь онъ является строгимъ

хотя не діалектическимъ мыслителемъ, который вмѣстѣ другими, только по-своему, рѣшаетъ высшіе вопросы жизн вопросы о томъ, какъ течетъ извѣстная жизнь, гдѣ смыс ея такого или иного хода. Только явное стремленіе къ рѣш нію именно этихъ широкихъ задачъ даетъ право писате художнику на высокое и серіозное значеніе, и мы съ ист нымъ удовольствіемъ спѣшимъ заявить, что именно стремленія далеко не чужды Островскому и явно выска лись въ нѣкоторыхъ его произведеніяхъ, къ числу которы мы относимъ, напр.: *Грозу*, *Не такъ живи, какъ хочет* отчасти *Минина*. И въ другой половинѣ своихъ произведен чисто отрицательныхъ или исключительно комическихъ, серіозность мысли сказывается такъ же, какъ мы видѣ Но иногда Островскій какъ-будто устаетъ отъ этой тяже работы и, вмѣсто того, чтобъ отдохнуть и собраться силами, рѣшается пускать въ публику простой запасъ типо которыми онъ всегда богатъ, связавъ этотъ запасъ перв попавшимся сюжетомъ, безъ строгой, тщательной отдѣл

Очевидно, что въ такихъ пьесахъ мы принуждены уз вать Островскаго только по его внѣшнимъ качества весьма, впрочемъ, характернымъ. Таково именно положе критики передъ новымъ произведеніемъ Островскаго. С ственно говоря, въ томъ, что Островскій написалъ *Тя лые дни*, бѣды никакой нѣтъ, напротивъ, даже и въ это видѣ пьеса его есть пріобрѣтеніе для сцены и, пожал литературы; но бѣда можетъ заключаться въ другомъ. неизмѣннымъ законамъ всего живущаго, только безпрер ныя усилія на извѣстномъ пути обусловливаютъ посто ный прогрессъ; природа, въ своемъ неустанномъ стремле къ совершенству, знаетъ или неизбѣжный отдыхъ или п ную дѣятельность; дѣятельность средняя не плодотворна этого мало, вредна для самой производительной силы.

Въ *Тяжелыхъ дняхъ*—увы!—много грѣховъ. Сюжетъ, к мы сказали, чисто-анекдотическій. Одно изъ главныхъ ли являющихся для развязки узла пьесы, Досужевъ, не имѣ никакой внутренней необходимой связи съ остальн дѣйствующими лицами; самая мысль пьесы не пред вляетъ особенной оригинальности и типичности и напис по рецепту: безобразіе и протестъ. Повторяются даже ко ческіе пріемы, уже прежде употреблявшіеся автоpо каково, напр., коверканіе имени приказнаго женою Брускс

Наконецъ, сцена, гдѣ Мудровъ въ глаза женѣ радуется, что мужъ попался въ большую бѣду, задумана и отдѣлана до того небрежно, что кажется неправдоподобною.

Всѣ эти замѣчанія мы рѣшились откровенно высказать глубокоуважаемому нами автору, въ полной увѣренности, что онъ не замедлитъ дать намъ скоро поводъ вновь воротиться къ обсужденію его дѣятельности въ ея сильномъ и полномъ развитіи.

Е. Эдельсонъ.

„Шутники“.

(Картины изъ московской жизни, въ четырехъ дѣйствіяхъ.)

[1]) Намѣреваясь сказать нѣсколько словъ о новомъ произведеніи г. Островскаго, я опасаюсь прежде всего, что читатель будетъ ждать отъ меня, въ видѣ вступленія, этой казенной фразы: „Отъ таланта г. Островскаго мы въ правѣ были ожидать чего-нибудь болѣе серіознаго“. Нѣтъ, читатель, я вовсе не хотѣлъ начинать свою замѣтку этою фразой, съ нѣкотораго времени такъ часто повторяемою фельетонными критиками при появленіи небольшихъ пьесъ Островскаго, которыя авторъ обыкновенно называетъ „картинами московской жизни“. По моему мнѣнію, эта фраза нелѣпа, и критики, повторяющіе ее, сами не знаютъ, чего можно ожидать отъ таланта Островскаго; имъ извѣстно, что Островскій написалъ нѣсколько большихъ драмъ, за которыми признано большинствомъ широкое народное значеніе, а потому всякое небольшое произведеніе автора они считаютъ бездѣлушкою, стоящей ниже его авторскаго таланта. Проще сказать, они основываютъ свое сужденіе не болѣе не менѣе, какъ на одной формѣ да на объемѣ произведенія, а внутреннюю сторону, смыслъ его, не хотятъ или не могутъ понять; вѣдь, не этими критиками разъяснено и широкое значеніе большихъ пьесъ Островскаго, какъ „драмъ жизни“. И передъ этими драмами они приходили въ недоумѣніе, путались, лавировали; напримѣръ, при появленіи *Грозы* они не шутя обвиняли Островскаго за случайную, по ихъ мнѣнію, развязку драмы, которую они видѣли только въ ударѣ грома, воображая, что, не будь удара грома—и Катерина бы не стала всенародно каяться въ своемъ грѣхѣ, а пошла бы по торной дорожкѣ лжи, притворства и обмана; бѣдные критики не понимали разницы между Катериной

---

[1]) „Русская Сцена“, 1864 г., № 10.

і Варварой, пока Добролюбовъ не разъяснилъ ея. Послѣ статей Добролюбова темные критики прикусили языкъ, стали осторожнѣе,—драма *Грѣхъ да бѣда* была обойдена ими, потому что они рѣшительно не знали, что́ сказать о ней, какъ отнестись къ драмѣ,—только изъ отзывовъ ихъ о послѣдующихъ маленькихъ произведеніяхъ Островскаго видно, что эту драму они признаютъ достойною его таланта Зато передъ небольшими пьесами автора наши наивные критики куда какъ храбры и смѣло твердятъ свою заученную фразу: „Отъ таланта г. Островскаго можно было ожидать" и пр. и пр. Они въ этомъ случаѣ тѣмъ храбрѣе, что имѣютъ въ запасѣ значительный авторитетъ въ талантливомъ критикѣ „Русскаго Слова", г. Писаревѣ. Г. Писаревъ, въ статьѣ „Мотивы русской драмы", упрекая Добролюбова, зачѣмъ назвалъ онъ личность Катерины лучомъ свѣта въ темномъ царствѣ, между прочимъ, говоритъ о картинахъ г. Островскаго *Тяжелые дни* и въ формѣ аксіомы рѣшаетъ, что онѣ ничѣмъ не лучше водевилей, передѣланныхъ съ французскаго. Эта парадоксальная статья, написанная по образцу уже вовсе не парадоксальныхъ статей покойнаго Добролюбова, совсѣмъ сбила съ толку наивныхъ критиковъ. Толкуя о *Шутникахъ*, они явились самоувѣреннѣе, чѣмъ когда-либо. Ужъ таково свойство таланта г. Островскаго, что наши критики путались, путаются и будутъ путаться, разбирая его произведенія: если бы кто-нибудь взялъ на себя трудъ напомнить все, что́ говорилось о каждомъ изъ нихъ въ послѣдовательномъ порядкѣ, то составилась бы престранная коллекція диковинныхъ сужденій. Своеобразность и совершенно свободное отношеніе къ литературнымъ формамъ, отличающія Островскаго, требуютъ того прямого, свободнаго отъ рутины взгляда, который составляетъ силу Добролюбова, какъ критика. Рутинеры же, подходящіе къ произведеніямъ нашего драматурга со своею мѣрялкой, по необходимости говорятъ и будутъ говорить нелѣпости въ родѣ того, что монологъ Катерины съ ключомъ представляетъ мало анализа (г. Судовщиковъ! что же это значитъ? то ли, что въ немъ нѣтъ надлежащаго приступа, патетической части, подобленія и т. п., или просто-на-просто—онъ очень короткъ?), что развязка *Грозы* случайна, что сцена на улицѣ въ *Шутникахъ*—повтореніе подобной сцены изъ *Грозы*, да и то заимствована изъ какого-то водевиля, что въ *Воспи-*

танницѣ и мало драматизма и нѣтъ надлежащаго (требуемаго піитикой) конца, что въ *Не такъ живи* скрываются славянофильскія тенденціи и пр. и пр.

Что бы ни толковали о *Шутникахъ* фельетонные критики, пьеса пользуется большимъ успѣхомъ на сценѣ, и успѣхъ этотъ зависитъ никакъ не отъ имени любимаго автора,—а совершенно объясняется достоинствами произведенія. Герой пьесы—отставной чиновникъ Оброшеновъ, промышляющій мелкими дѣлишками, хожденіемъ по присутственнымъ мѣстамъ, писаніемъ разныхъ бумагъ; за все это, приправленное шутовствомъ, прислужничаньемъ и полною безотвѣтностью, Оброшеновъ пользуется подаяніемъ отъ своихъ милостивцевъ, которые, конечно, относятся къ нему съ полнымъ презрѣніемъ, какъ къ „приказной строкѣ", „гороховому шуту" и т. п. Но подаянія милостивцевъ очень важны для Оброшенова: ими онъ живетъ, ими содержитъ двухъ дочерей своихъ, для которыхъ и успѣлъ запасти домикъ, приносящій нѣкоторый доходъ. Въ сущности, личность Оброшенова вовсе не новая: это та самая личность, надъ которой много потрудились наши обличители,—но взглядъ автора новъ по его глубинѣ и своеобразности; ново и свѣжо отнесся къ этой личности Островскій именно потому, что взглянулъ на Оброшенова не какъ на „кропивное сѣмя", а какъ на человѣка: въ этомъ-то и сказались съ новою силой могучесть и широкое значеніе таланта нашего автора, его жизненность и живучесть. Онъ показалъ намъ, какъ дорого стоило Оброшенову его отреченіе отъ человѣческихъ правъ, его униженіе, его возмутительное шутовство; онъ показалъ намъ, что въ этомъ шутѣ, въ этой приказной строкѣ скрывается живая человѣческая душа, страждущая, болящая, униженная. И вышло изъ ничтожнаго приказнаго, изъ забавнаго старикашки, изъ оборваннаго побирушки высокодраматическое лицо, надъ воспроизведеніемъ котораго пришлось немало поработать такому талантливому артисту, какъ г. Самойловъ. Зато и впечатлѣніе этого лица, благодаря соединенію двухъ большихъ талантовъ—авторскаго и сценическаго,—огромное. По нашему мнѣнію, Оброшеновъ—одно изъ лучшихъ, наиболѣе оконченныхъ, истинно-драматическихъ и въ то же время чисто-народныхъ созданій Островскаго. Разсказъ несчастнаго старика о прошломъ, о борьбѣ, которую претерпѣлъ *онъ прежде*, нежели дошелъ до жалкаго смиренія, выра-

зившагося, какъ всегда выражается всякое смиреніе (въ большей или меньшей мѣрѣ), въ уничтоженіи своего человѣческаго достоинства,—этотъ скорбный, безыскусственно трогательный разсказъ, рядомъ съ возмутительнымъ шутовствомъ и низкопоклонничаньемъ, производитъ и тяжелое и, вмѣстѣ, отрадное впечатлѣніе: забитый, униженный, обезображенный, а все-таки живой человѣкъ слышенъ! Но въ томъ монологѣ слышится еще только тихій ропотъ, можетъ-быть, въ первый разъ произнесенный вслухъ передъ любимой дочерью; это—робкій шопотъ надорвавшейся груди, боязливая жалоба на судьбу. Потомъ эта жалоба переходитъ въ громкое, открытое требованіе человѣческихъ правъ. Явно, что это требованіе уже рвалось изъ наболѣвшей груди, просилось на открытое заявленіе, и какой бы то ни было поводъ вызвалъ бы его наружу. Въ одномъ случаѣ оно проявилось, когда чаша оскорбленія и униженія переполнилась: одинъ изъ милостивцевъ, самодуръ-купецъ, сладострастный старикашка, предлагаетъ его дочери роль любовницы и за то—хорошее денежное вознагражденіе; смиреніе Оброшенова не выдержало,—въ немъ сильно, неудержимо заговорилъ оскорбленный человѣкъ, и низкопоклонный шутникъ выгоняетъ милостивца изъ своего дома. Въ другомъ случаѣ требованіе человѣческихъ правъ вышло наружу на радости, что пора униженія и рабской покорности всякой самодурной волѣ прошла: Оброшеновъ нашелъ пакетъ, въ которомъ по надписи значилось шестьдесятъ тысячъ,—по закону, онъ въ правѣ получить третью долю находки,—и то капиталъ, который навсегда оградитъ и его и дочерей отъ всякихъ оскорбленій. Но—увы!—находка оказывается фальшивою: шутники подурачились надъ простачкомъ, устроили для себя потѣху отъ скуки, подбросили ему пустой пакетъ съ заманчивою надписью. Сцена съ пакетомъ на Маріинскомъ театрѣ была до такой степени хороша, что крайне затруднительно рѣшить, кому слѣдуетъ приписать бо́льшее значеніе въ ея высокомъ драматизмѣ—Островскому или Самойлову.

Впрочемъ, имѣя въ виду живую связь между авторомъ и исполнителемъ, едва ли и можно раздѣлять значеніе того и другого: драматическій писатель едва ли можетъ быть вполнѣ понятенъ безъ хорошихъ исполнителей, а исполнителю нечего дѣлать безъ хорошихъ авторовъ.

Обращаясь отъ главнаго героя *Шутникова* къ лицамъ

второстепеннымъ, мы находимъ, что г. Островскій, особенно тщательно, съ особенною любовью обрабатывая типъ Оброшенова, повидимому, мало заботился о прочихъ лицахъ пьесы, очерчивалъ ихъ наскоро, легкими штрихами. Но, можетъ-быть, эта не совсѣмъ рѣзкая растушовка фона и усиливаетъ впечатлѣніе главной фигуры, оттѣняя ее передъ зрителемъ.

Въ заключеніе нѣсколько словъ о сценѣ на улицѣ. Самособою разумѣется, что мы не видимъ въ ней ни заимствованія изъ какого бы то ни было водевиля, ни повторенія сцены *Грозы:* послѣднее по той простой причинѣ, что между этими сценами нѣтъ ничего похожаго, какъ легко можетъ удостовѣриться всякій; первое—по другой, тоже простой причинѣ, что у Островскаго эта сцена имѣетъ смыслъ въ общемъ ходѣ пьесы и является не ради оригинальности, а какъ сцена, необходимая художнику для выполненія его идеи; въ водевиляхъ же всѣ сцены лишены смысла и сшиты механически, безсвязно слѣдуя одна за другою и не приводя ни къ какимъ результатамъ. Но мы находимъ, что подобныя сцены на улицѣ или на площади, съ толпами проходящаго и стоящаго народа, неудобны для театра и никогда не сходятъ естественно,—напротивъ, при выполненіи бываютъ натянуты и вредятъ впечатлѣнію. Сбирается толпа, толки, хохотъ, пѣсни; являются главныя дѣйствующія лица—и толпа безмолвствуетъ, какъ-будто тѣ лица и для нея главныя, особенно интересныя, какъ и для зрителя; наконецъ, эти лица сказали то, что́ надо было автору,—и толпа опять зашумѣла, явилась пѣвица съ шарманкой; все это въ чтеніи хорошо, но на сценѣ выходитъ фальшиво и смѣшно.

Только-что окончили мы эту статью, какъ намъ принесли № 9 „Современника“, въ которомъ *Шутники* напечатаны. Пробѣжавъ пьесу, мы остались съ тѣмъ же взглядомъ на нее, который вынесли съ представленія и высказали выше.

Эн—ковъ.

А. Н. Островскій [1]).

Съ тѣхъ поръ, какъ покойный Добролюбовъ объяснилъ публикѣ обличительное значеніе дѣятельности Островскаго и далъ по его поводу удачный образчикъ чисто-соціальной критики современныхъ авторовъ, пріемы нашей журналистики въ отношеніи къ Островскому потеряли всякую самостоятельность и стали повторять, при появленіи его новыхъ произведеній, все одно и то же съ небольшими развѣ варіаціями. Что бы ни появилось изъ-подъ пера его, рецензентъ прежде всего искалъ: что именно, какой видъ самодурства или семейнаго деспотизма обличаетъ авторъ въ своей новой пьесѣ, и по этому поводу старался самъ, по мѣрѣ силъ, обругать русскую жизнь. О формѣ, о болѣе или менѣе правильномъ и счастливомъ замыслѣ, о старательности отдѣлки никто не смѣлъ заводить и рѣчи, такъ какъ этого Добролюбовъ не дѣлалъ и даже осуждалъ подобный критическій пріемъ. Благодаря этому обстоятельству, положеніе Островскаго въ нашей литературѣ стало какимъ-то исключительнымъ: въ обличительномъ направленіи всей его дѣятельности никто не сомнѣвался, и въ этомъ отношеніи считали его безукоризненнымъ, а объ остальномъ мало заботились, и потому вышло такое обстоятельство, что напишетъ ли Островскій *Грозу* или *Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ*, *Праздничный сонъ—до обѣда* или *Тяжелые дни*,—судя по отзывамъ журналистики, могло казаться, что всѣ эти пьесы совершенно одинакой цѣнности и достоинства. Только *Мининъ* нѣсколько смутилъ нашу критику, и, не зная, какъ отнестись къ нему съ точки зрѣнія Добролюбова, критика просто отворотилась отъ него, игнорировала его какъ отступленіе Островскаго отъ своего истиннаго пути. Изъ всего этого вышли два неудобства. Во-первыхъ, Островскому не отъ кого уже было выслушать, при случаѣ, дѣльнаго замѣ-

---

[1]) Е. Эдельсонъ. „Библіотека для Чтенія", 1864 г., № 1. (См. выпускъ I, стран. 218.)

чанія, и ему пришлось продолжать свою художественную дѣятельность безъ всякой поддержки гласнаго общественнаго мнѣнія; во-вторыхъ, несмотря на то, что Островскій продолжалъ еще свою дѣятельность, читатели журналовъ остались при одномъ и томъ же, разъ высказанномъ взглядѣ на эту дѣятельность. А между тѣмъ, во взглядѣ Добролюбова на Островскаго была, какъ извѣстно, очевидная односторонность. Такъ, напримѣръ, онъ рѣшительно отнесъ всю массу лицъ, выведенныхъ Островскимъ до *Грозы*, къ представителямъ темнаго царства и только въ „Катеринѣ" увидѣлъ *свѣтлый* лучъ въ этомъ царствѣ. Но если такой взглядъ, можетъ-быть, и вѣренъ съ точки зрѣнія покойнаго критика, то ужъ, конечно, онъ несправедливъ по отношенію къ самому автору, который, очевидно, различалъ разнообразныя лица въ своихъ пьесахъ не на двѣ только категоріи: жертвъ и гонителей, самодуровъ и униженныхъ и оскорбленныхъ. Мы очень хорошо понимаемъ, почему Добролюбовъ остановился преимущественно и даже исключительно на обличеніи русскаго общества, которое сознательно или невольно, выразилось въ дѣятельности Островскаго. Въ сердцѣ, наболѣвшемъ отъ безчисленныхъ отечественныхъ безобразій, Островскій, своимъ цѣльнымъ, живымъ, полнымъ правды міромъ лицъ и отношеній, долженъ былъ затронуть множество чувствительныхъ сторонъ мысли, направленной преимущественно на разъясненія гнетущаго насъ всѣхъ зла, и онъ неизбѣжно долженъ былъ открыть и пояснить многое, не находившее себѣ прежде опредѣленнаго мѣста и оказавшееся общими, родовыми чертами нашего общества. И потому нѣтъ ничего удивительнаго, что Добролюбовъ воспользовался Островскимъ, какъ прекраснымъ поводомъ выяснить самому себѣ и высказать публикѣ свои горячія и задушевныя мысли о русской жизни вообще. Всякій человѣкъ дѣлаетъ хорошо одно дѣло, и это дѣло Добролюбовъ исполнилъ искренно и добросовѣстно въ своихъ статьяхъ объ Островскомъ. Но такова его умственная слабость и незрѣлость нашего общества и литературы, что они не въ состояніи переварить разомъ нѣсколько направленій мысли. То, что успѣло сказаться съ извѣстнымъ талантомъ и энергіею, становится въ немъ на нѣкоторое время господствующимъ исключительнымъ образомъ мыслей, и въ этой *исключительности* неотразимо доводится, наконецъ, до

пошлости. Такъ, насмѣшки, справедливыя до извѣстной степени надъ искусствомъ для искусства, т.-е. надъ литературною дѣятельностью безъ серіознаго содержанія, перешли въ наше время въ глумленіе надъ талантомъ вообще: исканіе въ поэзіи преимущественно соціальныхъ задачъ обратилось въ поклоненіе задорной фразѣ и обличенію во что бы то ни стало, даже въ ущербъ глубинѣ и серіозности содержанія. Впрочемъ, мы нѣсколько отклонились отъ вопроса.

Разбирая безпристрастно и внимательно всю дѣятельность Островскаго, мы теперь, конечно, ни въ какомъ отношеніи не назовемъ ея исключительно отрицательною. Главная заслуга и характеристическая особенность его—вовсе не въ этомъ. Первая и наиболѣе выношенная, тщательно отдѣланная пьеса его: *Свои люди—сочтемся*, написана, очевидно, подъ вліяніемъ сатирическаго направленія Гоголя, но затѣмъ онъ тотчасъ же пошелъ своимъ собственнымъ путемъ, иногда путаясь и сбиваясь на этомъ пути, такъ какъ это былъ путь новый, непробитый, но постоянно дѣлая свое собственное дѣло и открывая дорогу новымъ дѣятелямъ. Уклоненія въ сторону и колебанія его происходили не отъ того, чтобъ онъ не всегда вѣрно судилъ выводимыя имъ же самимъ лица, и, въ сущности, рисуя постоянно темное царство, по временамъ обманывалъ самъ себя, воображая, что видитъ свѣтлыя тѣни въ этомъ царствѣ. Всѣ колебанія его оттого и происходили, что ясный и опредѣленный путь сатиры былъ вовсе не его; а какой именно былъ его путь—этого ни онъ самъ, какъ нововводитель, ни критика не могли объяснить доселѣ. Сатира прежде всего предполагаетъ или строго носимый идеалъ, или ясный и опредѣленный образъ мыслей и убѣжденій. Мы очень хорошо знаемъ, какой высокій, неосуществимый идеалъ породилъ сатирическую дѣятельность Гоголя или какой образъ мыслей далъ сюжетъ таланту Грибоѣдова. Но ни того ни другого въ дѣятельности Островскаго не отыщешь или, по крайней мѣрѣ, не уловишь въ ясныхъ чертахъ. Притомъ, съ исключительно сатирическимъ направленіемъ невозможно было бы такъ долго и съ такимъ постояннымъ интересомъ разрабатывать почти исключительно купеческій и притомъ московскій купеческій бытъ. Изображеніе московскаго общества извѣстной эпохи, составляющее существенную заслугу комедіи Грибоѣдова, едва ли бы могло быть повторено имъ

съ такою же силою въ другомъ произведеніи и прибавило что-либо къ его литературной славѣ. Гоголю такъ же, съ его точки зрѣнія, немного оставалось прибавить къ „Ревизору“ по части чиновниковъ. А Островскій постоянно находитъ сказать что-нибудь новое о тѣсномъ, повидимому, кругѣ московскаго купеческаго быта, и въ рукахъ его этотъ предметъ оказался неистощимымъ кладомъ. Въ чемъ же именно самостоятельность направленія Островскаго, гдѣ его сила и какая именно это сила? Вмѣсто того, чтобы сочинять какое-нибудь искусственное, новое названіе для характера дѣятельности нашего автора, разсмотримъ, хотя вкратцѣ, но безъ всякой предвзятой мысли, что́ собственно далъ онъ намъ существеннаго и новаго въ теченіе своей многолѣтней дѣятельности. Покойный Добролюбовъ весьма удачно началъ свое извѣстное „Темное царство“ сводомъ мнѣній, высказанныхъ въ разное время нашею критикою объ Островскомъ, и этимъ сводомъ наглядно показалъ, какъ путалась и противорѣчила сама себѣ критика въ своихъ отношеніяхъ къ этому писателю. Но, исполнивъ весьма счастливо эту сторону своей задачи, онъ попытался самъ найти общій ключъ къ этой дѣятельности, ускользавшей дотолѣ отъ вѣрнаго опредѣленія, и точно такъ же впалъ самъ въ ошибку, въ чемъ теперь едва ли сомнѣвается кто-либо изъ понимающихъ дѣло людей. Не пускаясь въ подробное объясненіе этой ошибки, замѣтимъ одно: Добролюбову, для того чтобы поддержать свой взглядъ, пришлось доказывать, что Островскій половину изъ того, что писалъ до *Грозы*, то-есть всѣ положительные и съ очевиднымъ сочувствіемъ нарисованные типы, не понималъ самъ или понималъ фальшиво. Но едва ли непосредственность или наивность творчества, возможная, конечно, до извѣстной степени, можетъ простираться до такой степени. Наивность у Островскаго, безъ сомнѣнія, есть, какъ есть она у всякаго истиннаго художника, но она состоитъ вовсе не въ тупости соображенія, а въ непосредственныхъ, искреннихъ, несочиненныхъ и невзятыхъ у кого-либо напрокатъ взглядахъ на жизнь. Заблужденія или смутныя отношенія къ своему дѣлу у Островскаго встрѣчаются, но они встрѣчаются именно тогда, когда онъ, очевидно, подчиняется какому-нибудь постороннему, чужому, на время осилившему его собственную природу міросозерцанію, и именно настолько, насколько онъ подчиняется извѣстному

ду, задаетъ себѣ задачу. Такъ, въ *Не свои сани не* сказался нѣсколько и повредилъ дѣлу взглядъ славяно-:кій; въ *Воспитанницѣ*, очевидно, выразились внушенія еменника"; въ *Грѣхъ да бѣда* повредила дѣлу искус-ная задача написать изъ русской жизни сильную коме-Благодаря множеству искусства, потраченнаго на эту днюю задачу, она удалась до извѣстной степени, но ки пьеса содержитъ всего менѣе того именно, чтó вляетъ главный капиталъ Островскаго. Но что же, ецъ, это за капиталъ? Типы, очень простые, и притомъ ·русскіе типы и въ то же время вполнѣ человѣчные однимъ словомъ, то именно, что составляетъ главную, нѣнную, безспорную заслугу великаго таланта и чего , кромѣ истиннаго таланта, дать не можетъ. Нельзя не яться въ самомъ дѣлѣ, какъ никто до сихъ поръ не лъ надлежащаго вниманія на эту именно сторону дѣя-ости Островскаго. Ужъ нѣсколько лѣтъ безпрерывно, ощимо, цѣлыми десятками заразъ, мечетъ изъ себя вскій цѣльныя, живыя фигуры все новыхъ и новыхъ , и никому не бросилась въ голову эта громадная сила, болѣе или менѣе полагаютъ эту заслугу въ направле-ъ разрушеніи соціальныхъ задачъ, осуждаютъ преиму-енно или хвалятъ его за эти стороны его дѣятельности, ютъ чего-то отъ него съ этихъ сторонъ. Но, положимъ, -заслуга большая, скажетъ иной читатель, но, вѣдь, же какое-нибудь міровоззрѣніе, отношеніе автора къ типамъ. Извольте и это. Основа міровоззрѣнія Остров-есть, по нашему мнѣнію, простое, благодушное, гуман-:ношеніе его къ своимъ типамъ, какъ живымъ людямъ. уясь художественнымъ требованіямъ своей природы, зскій мыслитъ, если можно такъ выразиться, типами. въ человѣкѣ зрѣніе есть окончательный, верховный ъ, которымъ повѣряются ощущенія другихъ внѣшнихъ ъ и на впечатлѣніи котораго окончательно успокои-: человѣкъ, котораго вниманіе возбуждено, напримѣръ, ъ запахомъ или шумомъ, такъ истинный художникъ, аблюденіи жизни и совершающихся въ ней драмати-ъ коллизій, успокоивается совершенно, когда успѣетъ ти новый смутный фактъ къ типамъ, къ родовымъ ъ. Передать другимъ эти типы, то-есть свое удовле-ное и успокоенное воззрѣніе на жизнь, такъ же

потребно для него и важно для принимающаго, какъ передача новаго открытія науки, новаго вывода изъ наблюденій. Больше мы не станемъ распространяться объ этомъ. Для тѣхъ, кому сказанное покажется не совсѣмъ понятнымъ, мы постараемся почаще и съ разныхъ сторонъ возвращаться къ этому предмету.

Сказанное сейчасъ прилагается до извѣстной степени и къ каждому художнику, но изъ нашихъ писателей въ Островскомъ это свойство заключается въ наибольшей степени и силѣ и менѣе всего загораживается другими, побочными, часто далеко перевѣшивающими свойствами. Есть именно писатели, которыхъ вся сила заключается въ направленіи, въ строгости и чистотѣ убѣжденій или въ чуткости къ идеямъ, носящимся въ воздухѣ, или непримиримой злобѣ къ злу и т. д. Въ Островскомъ, повторяемъ, главная сила есть сила, творящая типы, осмысливающая жизнь этимъ способомъ. Едва ли нужно пояснять, почему именно драматическая, т.-е., правильнѣе, разговорная форма есть наиболѣе удобная и приличная для его дѣятельности! Тамъ, гдѣ главная задача дать типъ, а не передать свой образъ мыслей, не внушить что-либо, не сообщить то или другое настроеніе духа, и гдѣ, съ другой стороны, этотъ типъ вполнѣ ясенъ и живъ для самого автора—форма, наискорѣе ведущая къ цѣли, есть форма драматическая. Другія лица, развитіе дѣйствія требуется при этомъ лишь настолько, насколько они помогаютъ типу раскрыть себя живымъ образомъ, т.-е. дѣйствіями.

Но типы сами-по-себѣ составляютъ только матеріалъ художественныхъ произведеній; необходимы еще задача, направленіе, безъ которыхъ художественная дѣятельность не имѣла бы смысла или, правильнѣе говоря, которыя не могутъ не выразиться въ серіозной дѣятельности. Гдѣ же такое стройное, выдержанное направленіе въ Островскомъ, когда онъ то съ уваженіемъ относится къ Русакову, съ явнымъ сочувствіемъ выставляетъ Катерину или почти въ одно и то же время рисуетъ Марѳу Борисовну и Воспитанницу. Это кажущееся противорѣчіе Островскаго самому себѣ всегда сильно смущало нашу критику и не объяснено, по нашему мнѣнію, окончательно и гипотезою Добролюбова о безсознательномъ творчествѣ. Дѣло просто въ томъ, что направленія мысли, какъ они вообще вырабатываются политическими и соціаль-

ными партіями, и еще менѣе въ томъ видѣ, какъ они выработались въ нашей литературѣ, вовсе не годятся по своей исключительности для художественной дѣятельности. При узкомъ пониманіи задачъ искусства и связи его съ цивилизующими началами вообще, художникъ дѣйствительно представляется не болѣе какъ проводникомъ въ массу публики идей, выработанныхъ теоретическою мыслью, простымъ популяризаторомъ извѣстныхъ, иногда чужихъ взглядовъ, убѣжденій. И это, пожалуй, справедливо въ отношеніи такихъ дѣятелей, какъ, напр., Григоровичъ, котораго романы изъ крестьянскаго быта остались не безъ вліянія въ извѣстномъ направленіи на массы, но затѣмъ уже, какъ выжатый лимонъ, не годятся ни для какого употребленія. Но другое дѣло — настоящая художественная дѣятельность, какова, напр., Островскаго. Прежде всего онъ, не оставаясь, конечно, чуждымъ всѣхъ идей современности и чутко прислушиваясь къ различнымъ вопросамъ жизни, тогда только и остается вполнѣ оригинальнымъ, когда сохраняетъ вполнѣ свободнымъ свой собственный взглядъ, видитъ въ ней то или другое не при помощи очковъ, предлагаемыхъ ему различными литературными партіями, но своими собственными глазами, черпаетъ изъ дѣйствительности, не отразившейся уже такъ или иначе, подъ чужимъ угломъ зрѣнія, но имѣетъ дѣло непосредственно съ этою дѣйствительностью, какъ съ необработаннымъ, сырымъ матеріаломъ. Онъ не можетъ, конечно, оставаться равнодушнымъ къ тому, что изобрѣтаютъ другіе умы на пользу человѣчества, или къ различному образу мыслей, по которому такъ или иначе представляется дѣйствительное положеніе дѣлъ или виды на будущее, но положеніе его къ различнымъ борющимся въ обществѣ взглядамъ и партіямъ должно быть нѣсколько подобно изображенному Пушкинымъ:

И скромно ты внималъ
За чашей медленной Ахею иль Денсту,
Какъ любопытный скиѳъ аѳинскому софисту.

Мы не безъ умысла выбрали эти стихи для выраженія нашей мысли. Именно, и скиѳъ и аѳинскій софистъ какъ нельзя болѣе идутъ къ вопросу о положеніи серіознаго народнаго художника въ современномъ обществѣ. Съ одной стороны, передъ нимъ лежитъ темною, необъятною массой

родная, дорогая ему сторона, съ которою, какова бы ни была она, онъ все-таки связанъ самыми неразрывными узами и благо которой во всякомъ случаѣ составляетъ конечную цѣль его мыслей; съ другой—онъ слышитъ кипучую дѣятельность далеко ушедшей мысли, мысли смѣлой и манящей, но по большей части взлелѣянной и возросшей на чужой почвѣ или другомъ складѣ жизни и иныхъ историческихъ условіяхъ. И задумается „любопытный скиѳъ", какъ-то еще раздадутся въ его отечествѣ рѣчи „аѳинскаго софиста".

Но, не говоря уже о трудности въ наше время выбора такъ-называемаго направленія, настоящій художникъ чувствуетъ, что проводить идеи Ахея иль Деиста—вовсе не его дѣло или, по крайней мѣрѣ, далеко не главное его дѣло. Въ типахъ, которые даютъ ему созерцаніе родной жизни, онъ прежде всего видитъ вѣчныя черты человѣческой природы, такъ или иначе складывающіяся подъ вліяніемъ извѣстнаго склада жизни; онъ судитъ ихъ, прежде всего, вѣчнымъ нравственнымъ судомъ, независимо отъ ихъ образа мыслей или другихъ обстоятельствъ, такъ или иначе отразившихся на нихъ.

Положеніе Островскаго въ нашей литературѣ ясно опредѣляется послѣ всего сказаннаго. Міросозерцаніе его есть чисто-художественное, то именно, которое въ пониманіи дѣйствительности успокоивается на типахъ. Нѣтъ, кажется, нужды объяснять, что такое успокоеніе не есть равнодушіе, а только законное удовлетвореніе мысли и что разъяснить какой-нибудь сложный фактъ людской жизни до типическихъ образовъ есть такая же потребность и заслуга со стороны художника, какъ открытіе законовъ въ явленіи природы. Основное міросозерцаніе его есть благодушное, гуманное отношеніе къ человѣческой личности въ ея разныхъ проявленіяхъ. Живая связь его дѣятельности съ движеніемъ нашей мысли выражается повсюду и, какъ мы замѣтили, даже иногда заставляла его склоняться во вредъ его собственному дѣлу къ тому или другому исключительному направленію. Но здоровый талантъ постоянно поправлялъ эту временную уступку и не давалъ ему сдѣлаться окончательно писателемъ съ тѣми или другими рѣшительно высказавшимися тенденціями. Онъ постоянно разрабатывалъ и разлагалъ на типы русскую жизнь, склоняясь по временамъ *туда или сюда*, подъ напоромъ извѣстныхъ тенденцій,

ıявлявшихъ себя въ литературѣ и въ обществѣ, но постоянно ѣлалъ свое собственное дѣло, наполняя наше воображеніе одными образами и открывая намъ самыя глубокія основы сего склада русской жизни. Этого мало: его нравственный удъ надъ выводимыми имъ лицами, несмотря на всю свою ягкость, былъ всегда ясно и твердо поставленъ, не давая овода ни къ какимъ недоразумѣніямъ и колебаніямъ. Онъ, ожетъ-быть, былъ и ошибоченъ кое-въ-какихъ мелочахъ, одъ вліяніемъ не совсѣмъ додуманныхъ идей, но въ большинствѣ случаевъ былъ безусловно вѣрнымъ, такъ какъ пирался преимущественно на вѣчные законы добра и зла, а е на тѣ или другія точки зрѣнія на общественное устройство проистекающія оттуда иногда вымышленныя обязанности. Именно эта послѣдняя сторона дѣятельности Островкаго, кажется намъ, недовольно еще оцѣнена нашею критикой, да и вообще, по нашему мнѣнію, на нее недостаточно бращаютъ вниманія. А между тѣмъ, это—вопросъ очень ажный, и болѣе или менѣе ясное и вѣрное отношеніе къ ему писателя даетъ совсѣмъ особое значеніе его дѣятельости. Въ произведеніяхъ Авдѣева, напр., что́ бы и какъ бы ɔвко онъ ни писалъ, не можетъ быть ничего серіознаго ɔтому, что міросозерцаніе его въ корень взломано и извраɜено и не можетъ породить ничего живого и здороваго. ъ Тургеневѣ, относительно главныхъ героевъ его, всегда ɜть какая-то нерѣшительность въ нравственномъ надъ ними риговорѣ, чего, впрочемъ, никакъ не слѣдуетъ смѣшивать ь такъ-называемою объективностью міросозерцанія. Въ тношеніи Писемскаго къ своимъ героямъ нравственный ɔпросъ почти совершенно оставленъ въ сторонѣ, пренебреенъ, и лица его по преимуществу представляются пустыми ıи дѣльными, смѣшными или стоящими вниманія. Напроıвъ, Островскій, выведя какое-либо лицо, не оставляетъ ıкакого сомнѣнія въ томъ, хорошій или дурной въ сущɔсти человѣкъ является, по его волѣ, передъ вами, и это ıсказывается не какими-нибудь посторонними способами, ı просто глубокимъ захватомъ типа, твердостью и ясностью о постановки и освѣщенія. Нѣтъ нужды, кажется, поясıть, какъ важно это свойство въ писателѣ драматическомъ, ıродномъ, наполнившемъ нашу сцену своими произвеıніями.

Но послѣ этихъ обѣихъ чертъ войдемъ въ нѣкоторыя частности драматической дѣятельности Островскаго. Прежде всего мы должны здѣсь сказать, что, по нашему мнѣнію, какъ ни страннымъ оно можетъ показаться на первый разъ, Островскій не драматургъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Бо́льшая часть его пьесъ положительно страдаетъ недраматическою постройкой, введеніемъ на сцену эпическаго элемента,—мало нужными для хода дѣйствія лицами и проч.; драматическіе сюжеты онъ вообще, очевидно, придумываетъ, и не всегда удачно; такъ, напр., мы положительно считаемъ драму *Грѣхъ да бѣда* фальшивою по замыслу, хотя и необыкновенно искусно составленною. Комизмъ его также есть, по преимуществу, комизмъ разговора, а не положеній. Но все это не мѣшаетъ ему, впрочемъ, быть все-таки безцѣннымъ въ настоящее время писателемъ для сцены. Огромное количество живыхъ, вполнѣ народныхъ и ясныхъ фигуръ, положенія дѣйствующихъ лицъ всегда вѣрныя, правдивыя и полныя жизни, образцовая народная рѣчь, о какой прежде наша сцена не имѣла понятія,—все это качества, безъ сомнѣнія, драгоцѣнныя для сцены. Но все-таки, повторяемъ, драматургомъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова Островскаго назвать нельзя. Всѣ его произведенія суть бытовыя пьесы съ болѣе или менѣе драматическою завязкой, но исключительнаго дарованія къ изобрѣтенію чисто-драматическихъ сюжетовъ, особой способности находить легко въ самой жизни истинныя данныя для этого онъ не обнаружилъ. Самую счастливую попытку въ этомъ родѣ представляетъ *Гроза*, но о ней мы поговоримъ когда-нибудь въ другой разъ, а теперь замѣтимъ только, что, по нашему убѣжденію, эта пьеса не опровергаетъ общаго нашего положенія о родѣ таланта Островскаго. Сама ли жизнь наша не представляетъ еще данныхъ для серіозной, строгой драмы, или такія задачи не въ характерѣ автора,—объ этомъ есть разныя мнѣнія,—но на этотъ разъ мы воздержимся также и отъ этого вопроса.

Итакъ, разъясненіе русской народной, въ широкомъ смыслѣ этого слова, жизни, цѣлая масса типовъ, представляющихъ любопытнѣйшія данныя для изученія склада нашего общества, своеобразныхъ свойствъ русскаго ума и проч. и проч., твердая постановка этихъ типовъ и яркое нравственное ихъ освѣщеніе—таковы главнѣйшія заслуги Островскаго, *которыя, по нашему* искреннему убѣжденію, будутъ цѣниться

все болѣе и болѣе и которыхъ широкое значеніе обнаружится вполнѣ лишь съ открытіемъ у насъ народнаго театра. Но, кромѣ этихъ главныхъ и общихъ чертъ всей дѣятельности Островскаго, необходимо отличать въ его пьесахъ, особенно написанныхъ въ послѣднее время, два разныя направленія. Въ одномъ онъ положительно развивается самъ, идетъ впередъ, напрягая всѣ свои силы къ проложенію новыхъ путей въ области русскаго драматическаго искусства. Здѣсь онъ то ставитъ себѣ задачу въ созданіи идеальныхъ характеровъ на чисто-русской основѣ, то пробуетъ свои силы надъ воплощеніемъ великихъ моментовъ изъ народной исторической жизни, то старается найти въ нашей жизни элементы сильной, роковой драмы. Въ другой половинѣ своей дѣятельности онъ какъ бы отдыхаетъ отъ напряженныхъ усилій строгой художественной работы и, всегда богатый новыми образами, накопляющимися еще болѣе при сильномъ напряженіи душевныхъ силъ, укладываетъ ихъ въ нестрогую художественную форму и представляетъ публикѣ въ видѣ такъ-называемыхъ имъ сценъ и картинъ изъ московской жизни. Скажемъ нѣсколько словъ о томъ и о другомъ видахъ его дѣятельности и начнемъ со второй,— по мнѣнію многихъ—слабой стороны его дѣятельности.

Возьмемъ для примѣра хоть одну изъ некрупныхъ пьесъ Островскаго—*Праздничный сонъ—до обѣда*, въ которой многіе не видятъ ничего, кромѣ ряда забавныхъ сценъ. Въ небольшой пьесѣ, при содѣйствіи очень немногихъ лицъ, авторъ переноситъ васъ въ какой-то отдѣльный, замкнутый, почти фантастическій міръ. Тамъ, въ этомъ тѣнистомъ, огороженномъ высокимъ заборомъ саду, происходятъ сцены, до того оригинальныя, до того непохожія на окружающую васъ жизнь, что сначала кажется, будто вы слушаете какую-то сказку. Но, всматриваясь ближе, вы узнаете знакомые типы, знакомыя понятія, почти знакомыхъ людей. Только никогда прежде, кажется, вамъ не случалось такого счастливаго стеченія этихъ одномыслящихъ лицъ, никогда прежде не встрѣчалось имъ случая такъ искренно, задушевно высказать свои убѣжденія, вѣрованія, взгляды на жизнь и т. д. Точно согналъ ихъ авторъ отовсюду въ мѣстность наиболѣе приличную для ихъ похожденій, и тамъ на свободѣ, вдали отъ человѣческаго глаза, заставилъ ихъ высказаться на-голо, безъ всякой утайки и притворства. И что же вышло? Въ знакомыхъ вамъ прежде,

отрывочно высказываемыхъ тѣмъ или другимъ дикихъ мысляхъ, въ проскакивавшихъ кое-гдѣ и казавшихся вамъ не болѣе какъ случайными, личными взглядами и вѣрованіями, въ тѣхъ странныхъ отношеніяхъ, которыя по временамъ поражали васъ недоумѣніемъ среди окружающаго васъ общества, оказалась цѣлая стройная система, свой особенный міръ. Дѣло въ томъ, что до сихъ поръ мы встрѣчались лишь съ разрозненными членами этого міра. Затерянные между людей другого строя, эти несчастные, естественно, должны были поддѣлываться подъ большинство, затаивать свои задушевнѣйшія убѣжденія, сдерживать свои искреннѣйшія движенія, однимъ словомъ, притворяться. Часто, можетъ-быть, даже встрѣчаясь въ обществѣ лицомъ къ лицу, не узнавая другъ-друга въ искусственномъ нарядѣ, они расходились, не успѣвъ обмѣняться искреннимъ словомъ, пожить хоть часъ родною жизнью.

Силою своего таланта авторъ создалъ для нихъ все: скромное, тихое мѣсто, родную компанію, поставилъ ихъ въ естественнѣйшія для нихъ отношенія,—и вотъ они узнали сразу другъ-друга, почуяли себя въ родной стихіи, ожили, заговорили, стали обмѣниваться родными мыслями, распахнулись, однимъ словомъ, считая себя безопасными отъ глаза иного общества. Но коварно поступилъ съ ними авторъ. Въ минуту полнаго разгара интриги, завязавшейся между ними, когда каждый высказывался вполнѣ и беззавѣтно, считая себя совершенно укрытымъ и безопаснымъ, авторъ вдругъ поднялъ занавѣсъ и открылъ публикѣ тайну этихъ людей, тайну, которую они такъ тщательно скрывали, толкаясь между посторонними. Отнынѣ нѣтъ уже для нихъ возможности смѣшаться съ другими людьми, выдать себя за что-либо другое, нельзя даже затеряться и смѣшаться въ толпѣ. Публика видѣла ихъ, согнанныхъ вмѣстѣ, въ лицо и въ натурѣ; она имѣетъ теперь ключъ къ тѣмъ отрывочнымъ чертамъ, которыя прежде казались ей только дикими и несвязными, но изъ которыхъ каждая теперь напоминаетъ имъ цѣлый образъ, цѣлую систему жизненныхъ воззрѣній, цѣлый міръ странныхъ отношеній.

Сказанное можетъ быть приложено къ всему отдѣлу той дѣятельности Островскаго, о которой мы говоримъ. Вездѣ мы найдемъ типическія черты извѣстныхъ слоевъ нашего *общества, извѣстнаго* склада убѣжденій, черты, разсѣянныя

въ дѣйствительности по безконечному пространству и различнымъ сословіямъ нашего отечества, но собранныя авторомъ въ одинъ фокусъ и озаренныя въ этомъ фокусѣ яркимъ свѣтомъ. Въ большей части пьесъ Островскаго изъ-за нѣсколькихъ лицъ, сведенныхъ имъ въ данномъ дѣйствіи, вамъ видится множество вещей, которыхъ многіе, можетъ-быть, и не подозрѣваютъ въ его произведеніяхъ. За случайно, повидимому, развивающимся событіемъ, за лицами, какъ-будто нечаянно попавшимися автору, вы чуете пружины, которыми движется не только эта небольшая кучка людей, но которыя управляли, а отчасти и продолжаютъ управлять всѣмъ ходомъ событій нашего отечества, всѣмъ строемъ господствующихъ убѣжденій. Вы чуете за ними и своеобразность русскаго склада ума, и вліяніе нашихъ историческихъ судовъ, и особыя условія нашей жизни, и многое еще, что́, можетъ-быть, покажется даже невѣроятнымъ нѣкоторымъ изъ нашихъ читателей. Въ этомъ, какъ уже было сказано выше, и полагаемъ мы, по преимуществу, заслуги Островскаго русской литературѣ. Никто болѣе его не выхватилъ живыхъ типовъ изъ водоворота жизни, никто глубже его не проникъ до коренныхъ основъ, устроившихъ жизнь самостоятельныхъ классовъ русскаго общества. Поэтому-то, повторяемъ, мы придаемъ сравнительно меньшее значеніе другимъ достоинствамъ Островскаго, какъ чисто-драматическаго писателя.

Но если въ этого рода пьесахъ Островскаго комизмъ есть преобладающая струя, юмористическое отношеніе автора къ жизни есть почти единственное, то, при томъ же основномъ богатствѣ типовъ, въ другой половинѣ его дѣятельности мы встрѣчаемъ уже задачи болѣе широкаго объема и чуемъ ной ходъ русской жизни.

Въ драмѣ, напримѣръ, *Не такъ живи, какъ хочется* на насъ отовсюду вѣетъ широко схваченною русскою жизнью, русскимъ духомъ. Въ героѣ Петрѣ Ильичѣ вы видите чисто-русскаго удалого молодца съ его отчасти дикою наклонностью къ восторгамъ самозабвенія или, попросту, къ загулу. Вы чувствуете, какъ бьется эта сильная натура среди стѣснительныхъ для ея воли принциповъ, жизненныхъ условій и т. п. Вы видите въ лицо тѣ силы, которыя борются въ душѣ этого страстнаго человѣка, и авторъ до такой степени проникся народнымъ міросозерцаніемъ, что даже олицетво-

рилъ эти силы почти въ томъ видѣ, какъ представляетъ ихъ себѣ народъ нашъ: Еремка—почти нечистая сила; мѣщане Агафонъ и Степанида—представители начала, порядка, семейности, однимъ словомъ, добра, по народному представленію. И, конечно, такъ задуманную и исполненную драму ничто не могло развязать лучше, какъ во-время еще сотворенное крестное знаменіе. Не говоримъ уже о нѣкоторыхъ побочныхъ лицахъ, мастерски задуманныхъ и выполненныхъ но не правда ли, что все, рѣшительно все въ этой драмѣ льетъ яркій свѣтъ на характеръ нашего народа, его религіозныя, бытовыя и т. п. воззрѣнія?

Задача *Грозы* иная. Въ первой драмѣ авторъ остается какъ бы безучастнымъ къ подвигамъ своего героя; олицетворивъ въ немъ, по преимуществу, буйныя, разрушающія житейское благоустройство силы, онъ предоставляетъ двумъ противоположнымъ силамъ борьбу за его душу и остается стороннимъ зрителемъ, твердо вѣруя вмѣстѣ съ народомъ въ благодатную, примиряющую силу началъ добра и порядка. Въ *Грозѣ* авторъ выступилъ уже какъ будто вонъ изъ народнаго міросозерцанія. Сгустивъ краски, онъ представилъ консервативныя начала нашего народнаго міросозерцанія съ новой стороны, какъ грубую, узкую, гнетущую силу; протестомъ противъ нихъ являются свѣжія силы прекрасной природы съ законными требованіями воли и жизни, природы, какъ и слѣдовало ожидать, погибающей въ неравной борьбѣ. Но и въ протестующей Катеринѣ и въ томъ, что задавило это свѣтлое созданіе, мы узнаемъ свое, народное. Мы съ наслажденіемъ видимъ усилія автора найти въ данныхъ русской же жизни новыя начала, способныя къ борьбѣ съ слишкомъ уже отяготѣвшими надъ нею старыми формами, и торжествуемъ успѣхъ автора, какъ бы нашу собственную побѣду. Мы чувствуемъ неизбѣжность гибели того существа, къ которому авторъ успѣлъ возбудить всѣ наши симпатіи, но мы радуемся въ то же время новымъ, живымъ силамъ, открытымъ авторомъ въ той же народной жизни, и сознаемъ ее вслѣдствіе того близкою себѣ, родственною. Огромная заслуга писателя!

Е. Эдельсонъ.

нныя, но печальныя разсужденія о нашей дра-ргіи и о нашихъ драматургахъ, съ воздаяніемъ чести и хвалы каждому по заслугамъ [1]).

приступаю къ весьма печальнымъ размышленіямъ, кшимъ изъ прошлой бесѣды моей съ моимъ юнымъ инціальнымъ другомъ. Изъ нея, если читатели пробѣ-ее, какъ самый неотразимый выводъ, являлись слѣ-діе три факта:

чрезвычайно низменный уровень нашего драматиче-столичнаго репертуара;

таковой же, если еще не болѣе низменный, уровень атической нашей сцены;

таковой же, если еще не болѣе низменный, уровень й театральной критики.

сѣ эти три факта съ посильнымъ объясненіемъ ихъ инъ мнѣ и слѣдовало бы разсмотрѣть по тремъ рубри-, если бы я не питалъ глубочайшаго отвращенія къ икамъ вообще. Вслѣдствіе же такого неодолимаго отвра-я, я только выставляю на видъ факты, о которыхъ ренъ я вести рѣчь: говорить же о нихъ буду по обы-такъ, какъ Богъ на душу положитъ, не держась строго новленныхъ гранокъ.

отъ, напримѣръ, я начну прямо ex abrupto съ одного ма страннаго и въ нѣкоторомъ отношеніи не лишеннаго дательности факта. Существуетъ въ „пространномъ" ествѣ нашемъ, между множествомъ другихъ диковинокъ, налъ [2]), который вотъ уже четырнадцатый годъ запи-ся спеціально чрезвычайно любопытнымъ дѣломъ, а

) „Эпоха", 1864 г., № 3, стран. 222, статья Ап. Григорьева. (См. пер-выпускъ, стран. 130.)

) Рѣчь идетъ объ „Отечественныхъ Запискахъ". *Н. Д.*

именно—тупою враждой ко всему новому и живому въ литературѣ и подбираніемъ на свои страницы разнаго сора, отвергаемаго другими журналами; кромѣ того, онъ иногда высидитъ чрезвычайно мудреный вопросъ, въ родѣ вопроса о томъ: народный ли поэтъ Пушкинъ? И возится съ этимъ глубокомысленнымъ вопросомъ, какъ Кифъ Мокіевичъ возился съ другимъ столь же глубокомысленнымъ: отчего слонъ не родится въ яйцѣ?.. Достопочтенный журналъ сей, извѣстный то подъ именемъ „Старухиныхъ записокъ", то подъ именемъ „Родительскихъ поминаній", удивительно напоминаетъ извѣстный оракулъ басни, который говорилъ дѣло только,

Пока сидѣлъ въ немъ умный жрецъ.

Съ 1838 по 1846 годъ въ немъ сидѣлъ не то что умный, а геніальный жрецъ—Бѣлинскій, который, какъ извѣстно, попалъ туда по счастливому случаю и чуть не противъ воли главнаго хозяина [1]), славнаго въ литературѣ открытіемъ шестой части свѣта, открытіемъ столь же мало, впрочемъ, удавшимся, какъ другое открытіе, имъ совершенное—открытіе критика въ героѣ литературной „тли" въ Межевичѣ *)—и какъ третье, уже совершенное намѣстникомъ его—открытіе, что Пушкинъ не народный поэтъ.

Фатумъ неудачныхъ открытій, оставившій, было, журналъ при великомъ заклинателѣ темныхъ силъ, Бѣлинскомъ—вновь овладѣлъ имъ, какъ только великій заклинатель отъ него отстранился, и отяготѣлъ надъ нимъ окончательно **). „Понесъ оракулъ вздоръ", сначала довольно умный, въ родѣ разсужденій о политической экономіи, по поводу Кольцова, потомъ вздоръ компилятивно-научный, въ родѣ статей о нашей „выдуманной" литературѣ до-Пушкинской,—вздоръ, впрочемъ, довольно полезный для составленія разныхъ учебныхъ пособій; наконецъ, уже вздоръ совершенно старческій.

---

[1]) А. А. Краевскій.

*) В. С. Межевичъ въ 1839 г. былъ литературнымъ критикомъ „Отечественныхъ Записокъ" до Бѣлинскаго. (Выше у Ап. Григорьева время вступленія Бѣлинскаго опредѣлено *1838* годомъ. Это невѣрно. Бѣлинскій получилъ отъ А. А. Краевскаго приглашеніе участвовать въ „Отечеств. Запискахъ" 20-го іюня 1839 г.) Ив. Панаеву Межевичъ послужилъ для его очерка: „Литературная тля". *Н. Д.*

**) Въ 1846 г. Бѣлинскій оставляетъ „Отечественныя Записки" и переходитъ въ „Современникъ". *Н. Д.*

:тѣ съ тѣмъ, старая страсть къ открытіямъ новыхъ
:й свѣта начала выражаться въ старомъ органѣ замѣ-
ıьными фактами, да и необходимо должна была воз-
уть. Старческій органъ съ 1850 года, до котораго съ
онъ былъ складочнымъ мѣстомъ хорошаго и дурного
ıы сентиментальнаго натурализма, покинутый и этимъ
'аки сильнымъ направленіемъ, окончательно осовѣлъ
цъ новыми явленіями литературы пятидесятыхъ годовъ,
›ая не избрала его своимъ органомъ, и, не понимая ея,
ıвное—не зная, что́ съ нею дѣлать, рѣшился героиче-
на тупую вражду съ нею, донынѣ еще продолжающуюся,
не съ успѣхомъ, то замѣчательно постояннымъ и
›йнымъ лучшей участи рвеніемъ... Между тѣмъ, она,
литература-то, въ лицѣ Островскаго, Писемскаго, А. Тол-
› дѣлала свое живое дѣло, не спрашиваясь осовѣвшаго
ула, и самъ оракулъ не могъ, хоть и смутно, не чувство-
, что дѣло что-то неладно, что ему, наконецъ, печатать
го и хоть покорился горькой участи печатать (за немно-
: въ теченіе многихъ лѣтъ исключеніями) журнальные
ыши, но придумалъ, въ видахъ развлеченія своихъ чита-
ї, приняться вновь за открытіе новыхъ частей свѣта.
вотъ, въ лѣто отъ Р. Х. 1855 подарилъ онъ публику
ıтіемъ поистинѣ блистательнымъ, а именно, напечаталъ
ы (все напечатать посовѣстился!) изъ знаменитой коме-
г. Горева: „Сплошь да рядомъ". Причина помѣщенія
ь ясна. „На-те, дескать, вамъ (т.-е. публика) штуку
ще вашего хваленаго Островскаго, языкъ „почуднѣй",
ы похлеще!.. Увы! шестая часть свѣта осталась terra
nita, сценъ изъ комедіи г. Горева не одолѣлъ никто.
ко было совершеннѣйшее, самаго неблаговиднаго
:тва.
:изнь и литература дѣлали свое дѣло вразрѣзъ съ
:ннымъ журналомъ. Журналъ тоже дѣлалъ свое дѣло,
ıаполнялся мертворожденными произведеніями или жур-
ными оборышами. Иногда онъ покушался какъ-нибудь
ıить себя, напечаталъ, напримѣръ, „Обломова", сталъ
гать даже Писемскаго, противъ котораго воевалъ въ
тѣ пятидесятыхъ годовъ, печаталъ Мея... но „не вли-
ъ вина новаго въ мѣха ветхіе". Ветхій мѣхъ вредилъ,
едилъ даже новому вину, которое попадало въ „Стару-
ı записки", напримѣръ, въ видѣ статей гг. Павлова (П. В.),

Щапова *) (пока даровитый, хоть и парадоксальный изслѣдователь не сталъ окончательно русскимъ историкомъ „Искры"), и попадаетъ еще временами доселѣ, въ видѣ умныхъ и дѣльныхъ статей г. Бестужева-Рюмина... Во всякомъ случаѣ, это случайное, новое и живое, попадавшее и изрѣдка до сихъ поръ попадающее въ престарѣлый органъ— столь же мало идетъ ему, какъ павлиній хвостъ къ воробью.

Удивятся, конечно, что о литературномъ журналѣ и его направленіи говорю я въ статьѣ о театрѣ. Да что же прикажете дѣлать, когда съ 1855 года журналъ открываетъ новыя части свѣта преимущественно въ области драматургіи; что въ немъ, и только въ немъ, встрѣтите вы творенія г. Потѣхина-junioris, г. Ѳ. Устрялова и другія диковины россійскаго драматическаго генія, которыхъ ни одинъ сколько-нибудь уважающій литературу органъ печатать не станетъ; что, съ другой стороны, въ немъ, и только въ немъ, встрѣтите вы заматерѣвшую тупую вражду къ Островскому; что въ немъ, и только въ немъ, наткнетесь вы въ настоящую минуту на хвалебные гимны г. артисту Бурдину...

Вы, можетъ-быть, не вѣрите? Увы! и я бы не вѣрилъ, если бы не лежала теперь воочію передо мною январская книжка достопочтеннаго журнала и если бы не прочелъ я разныхъ диковинъ, въ ней заключающихся, отъ драмы „Пагуба" изъ народнаго быта, гдѣ въ числѣ дѣйствующихъ лицъ является блудящій огонекъ, вспыхивающій на могилѣ героининой матери, да театральной хроники, вопіющей на безнравственность *Воспитанницы* Островскаго и восхваляющей г. Бурдина за роль Тита Титыча въ *Тяжелыхъ дняхъ*...

Добродѣтель себѣ представителя
Въ литераторѣ нынѣ найдетъ...
И великій Леметръ **) нашъ хвалителя
Неожиданно вновь обрѣтетъ.

Вновь, говорю я, ибо имѣлъ же онъ таковаго въ г. Гіероглифовѣ ***). Вотъ эта-то самая книжка толстаго и почтеннаго

*) Плат. Вас. Павловъ и Аѳан. Прокоф. Щаповъ, извѣстные талантливые историки и проф. Оба терпѣли административныя гоненія за свою литературную и общественную дѣятельность. *Н. Д.*

**) Фредерикъ Леметръ—знаменитый французскій актеръ, совмѣщавшій таланты трагика и комика. *Н. Д.*

***) Алекс. Степ. Гіероглифовъ, журналистъ. Въ 60-хъ годахъ сотрудничалъ у Краевскаго въ „Отечественныхъ Запискахъ" и „Голосѣ". *Н. Д.*

журнала и послужитъ для меня исходнымъ пунктомъ всѣхъ моихъ разсужденій. Въ ней все есть—и оборышъ журнальный въ видѣ драмы „Пагуба", и открытіе въ родѣ безнравственности *Воспитанницы* и таланта г. Бурдина, и есть, наконецъ, вещь, которую, какъ совершенно противорѣчащую общему направленію журнала, я назову только послѣ.

Вы не потребуете, конечно, чтобъ я разобралъ „Пагубу". Сколько этихъ „Пагубъ", „Злыхъ долей", „Тяжкихъ долей", заимствованныхъ, разумѣется, изъ народнаго быта, носится во всѣ редакціи, и какое глубочайшее недовѣріе возбуждаютъ онѣ однимъ видомъ своимъ во всѣхъ редакторахъ и во всѣхъ сотрудникахъ, которымъ редакторы поручаютъ просматривать разный наносимый хламъ. И есть причины на такое недовѣріе. Я, напримѣръ, во-первыхъ, совершенно согласенъ съ парадоксальными по формѣ, но совершенно основательными словами одного изъ моихъ друзей, что „ужасно трудно писать драматическія сочиненія",—словами, сказанными имъ съ горестью одному очень неглупому господину и вовсе небездарному писателю по прочтеніи его произведенія въ драматической формѣ; во-вторыхъ, я нагло, до цинизма ни въ какія драмы изъ народнаго быта, кромѣ драмъ Островскаго, не вѣрю, пока, разумѣется, не воспослѣдуетъ нежданно какого-нибудь осязательнаго разувѣренія; въ-третьихъ, наконецъ, я такъ же нахально не вѣрю, чтобы какое-либо замѣчательное драматическое произведеніе миновало рукъ тѣхъ изъ редакторовъ, которые суть въ нѣкоторомъ родѣ „исполины-ловцы".

Всѣ эти причины моего невѣрія, кромѣ послѣдней, должны быть, конечно, разъяснены.

Дѣйствительно, „ужасно трудно писать драматическія сочиненія". Покойный Чернышевъ *), напримѣръ, въ разныхъ очеркахъ, сценахъ, повѣстяхъ высказывалъ много наблюдательности, писалъ въ этомъ родѣ, по крайней мѣрѣ, прилично... но, вѣдь, хламъ, пошлость и рутина—его произведенія для сцены. Дурная, положимъ, книга г. Потѣхина junioris „Наши безобразники", но, вѣдь, этотъ срамъ литературный—перлъ въ сравненіи съ его сценическими произведеніями въ родѣ „Дока на доку нашелъ" (зри „Отеч. Зап.") или „Доля-горе" (зри оныя же). Скучны романы и повѣсти

*) Небезызвѣстный драматургъ. Его пьесы: „Женихъ изъ долгового отдѣленія", „Не въ деньгахъ счастье", „Испорченная жизнь" и т. д. *Н. Д.*

г-жи Евгеніи Туръ, но что же это въ сравненіи съ ея драматическою пословицей: „Первое апрѣля“? Приторны военные разсказы г. Погосскаго, но, вѣдь, въ нѣкоторомъ родѣ на жизнь человѣческую посягаютъ его драмы. Плоха была географія покойнаго г. Ободовскаго, но кто же перенесетъ, кромѣ режиссера Александринскаго театра и общества умственнаго паралича, „Боярина Матвѣева“. Пустъ романъ г-жи Каменской: „Пятьдесятъ лѣтъ назадъ“ (зри тоже „Отеч. Зап.“), но

Измѣрить океанъ глубокій,
Сочесть пески, лучи планетъ

гораздо легче, чѣмъ изслѣдить всю глубину пошлости, заключающейся въ „Лизѣ Ѳоминой“ (ее даже и „Отечественныя Записки“ не напечатали, а впрочемъ, можетъ-быть, еще отпечатаютъ); г. Пальмъ, наконецъ, до сихъ поръ извѣстный, какъ заурядный, но все-таки приличный поэтикъ, какъ только взялся за драму—„Благодѣтеля“ написалъ!..

Ужасно трудно писать драматическія сочиненія!

Да не только третьестепеннымъ, упомянутымъ мною сочинителямъ они не даются,—даровитѣйшему изъ нашихъ беллетристовъ, первому изъ нихъ (если, къ сожалѣнію, не одному изъ первыхъ нашихъ художниковъ), г. Писемскому, они не удаются. Одному изъ первыхъ художниковъ нашихъ, Тургеневу, плохо они удавались... такъ плохо, что, говоря о немъ, какъ объ одномъ изъ нашихъ первыхъ художниковъ, стараешься всегда миновать эти грѣхи его литературной отзывчивости. Наконецъ, ужъ на что борзописецъ и притомъ весьма читаемый, весьма приличный борзописецъ, г. Потѣхинъ-senior, а какія *ужасныя* вещи его драмы!

Не говорю ужъ о спеціалистахъ-драматургахъ: гг. Владикинѣ, Дьяченкѣ, Родиславскомъ и другихъ представителяхъ міра „тли“ литературной, петербургской и московской.

Не говорю, съ другой стороны, о даровитѣйшихъ лирикахъ, какъ, напримѣръ, Полонскій, согрѣшившій нѣкогда „Дареджанной Имеретинской“, о великомъ, но загадочно-недовершенномъ талантѣ покойнаго Мея, съ геніальнымъ захватомъ Вѣча, Ивана Грознаго и почти-что кукольниковски-пошлою постройкою его драмъ.

Да-съ, ужасно трудно писать драматическія сочиненія!

И еще, можетъ-быть, и всего, можетъ-быть, труднѣе писать

драматическія сочиненія изъ народнаго быта, а они-то только и пишутся, азартно всѣми пишутся въ настоящее время.

Вѣдь, что же это за штука, напримѣръ, жалостная въ сочиненіи г. Писемскаго: „Горькая судьбина", вышла... Чего, кажется, тутъ нѣтъ? И отношенія, это, двухъ сословій затронуты, и до избіенія младенцевъ уголовщина доведена,

А нѣтъ, не веселитъ
И сердца вашего ничуть не шевелитъ,

т.-е. драмы-то настоящей, потрясающей сердце драмы, не выходитъ. Вѣдь, такъ-то кажется какой? Костромской, настоящій, pur sang. Вѣдь, слѣдствіе-то хоть бы одно такъ представлено, точно вотъ въ судѣ сидишь, а не выходитъ, ничего не выходитъ. Хоть бы долю той симпатіи чувствовалъ зритель къ Ананію, какую онъ къ Льву Краснову чувствуетъ, а, вѣдь, Ананія тотъ же П. Васильевъ играетъ и отлично играетъ! Хоть бы что-нибудь, кромѣ отвращенія къ глупой и потомъ помѣшанной бабѣ, его женѣ, онъ чувствовалъ, а эту бабу играетъ въ Москвѣ первая изъ русскихъ артистокъ К. Н. Васильева.

Или, напримѣръ, какихъ штукъ не гнетъ въ своихъ народныхъ драмахъ г. Потѣхинъ-senior, а все-таки отъ его буйствующихъ Мишанокъ, даже когда они—Мартыновъ или П. Васильевъ, остается грубое впечатлѣніе голой уголовщины, а не художества, равно какъ и отъ избіенія младенцевъ въ драмѣ Писемскаго, а отъ его бабъ-кликушъ впечатлѣніе выходитъ какое-то надоѣдливое, раздражающее своею пошлостью.

Вѣдь, уголовщина вовсе не то, что драма и жизнь голая, вовсе не то, что искусство. Старая это истина, но ее приходится повторять въ наше время. Левъ Красновъ, напримѣръ, приковываетъ къ себѣ нашу симпатію, но, вѣдь, вовсе не тѣмъ, что онъ жену рѣжетъ, какъ и Отелло—вовсе не тѣмъ, что душитъ Дездемону, а тѣмъ страшнымъ нравственнымъ процессомъ, который привелъ къ этому страшному исходу, да роковою, изъ этого процесса вытекающею необходимостью этого страшнаго исхода. Оставимте въ сторонѣ Отелло и займемтесь, напримѣръ, Львомъ Красновымъ *). Вѣдь, это—натура страстная и даровитая, сдѣлавшаяся въ своемъ быту

*) *Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ.* *Н. Д.*

натурою исключительною, а съ другой стороны, натура вовсе не добрая, въ обычномъ смыслѣ этого слова. Онъ такой человѣкъ, который любитъ не въ мѣру, зато и раздражается не въ мѣру же, около котораго, въ минуты раздраженія, по его же признаніямъ старику дѣду, „близко окаянный ходитъ", у котораго „въ очахъ вдругъ смеркнется, въ головѣ звенитъ, за сердце словно кто рукой ухватитъ". Такіе люди особенно страшны тѣмъ, что не краснѣютъ, а блѣднѣютъ, не орутъ на весь домъ, а только судорожно говорятъ въ гнѣвѣ. Онъ совсѣмъ не таковъ, каковы другіе люди его среды. „Другой"— самъ же говоритъ онъ—„денегъ себѣ хочетъ, злата, а мнѣ ничего не надо — мнѣ только, чтобъ она меня любила"; онъ весь поглощенъ этимъ чувствомъ къ ней, у которой онъ считаетъ потребностью и чуть ли не долгомъ „ножки цѣловать"; для него весь міръ это *она*, которую самъ онъ выбралъ не въ своей средѣ, не изъ этихъ жиромъ заплывшихъ бабъ, которыя знаютъ, „чего сапогъ хочетъ". А между тѣмъ—и вотъ въ чемъ грунтъ его драмы—онъ лавочникъ, онъ „воспитанія" не получилъ, того воспитанія, которое такъ дорого Лукерьѣ Даниловнѣ и самой женѣ, самой *ей*, которая не больше не меньше, какъ младшая сестра Лукерьи Даниловны, во всемъ ей подобная, только что красавица.

Разумѣется, я беру Краснова драмы, Краснова Островскаго, великолѣпно передаваемаго П. Васильевымъ, а не того, какого хотѣли бы видѣть наши отрицатели, вопреки смыслу драмы; не того, котораго какимъ-то телкомъ и нюней, съ одной стороны, а съ другой—патріархальнымъ домохозяиномъ представляетъ Садовскій. Ни самодуръ, ни положительный домохозяинъ и тѣмъ менѣе телокъ не зарѣзали бы Татьяны Даниловны,—а развѣ побили бы хорошенько, уму-разуму научили и до знанія желаній „сапога" довели. Кровавая же развязка тутъ вовсе не случайность, а роковая необходимость, обусловленная русскою, но исключительною натурой героя— и потому-то это—трагедія, а не простая уголовщина.

Писемскій, какъ даровитѣйшій, вполнѣ знающій жизнь и умнѣйшій писатель, столь хорошо чувствовалъ, что роковою психическою необходимостью не доведетъ своего Ананія до уголовщины, и уголовщину, т.-е. избіеніе младенцевъ, ввелъ какъ чисто-случайное обстоятельство, которое, не зли только глупая баба своего весьма положительнаго сожителя, могло и не быть. Правда, что тогда бы и драмы не было, да,

вѣдь, драмы все равно и съ уголовщиной-то не вышло. Драма не то, что иногда случается, и не то, что *должно* непремѣнно при извѣстныхъ психическихъ данныхъ случиться. Съ чего Ананію жену убивать? Ребенка онъ, точно, могъ хватить объ уголъ „въ сердцахъ"—но опять-таки это только уголовная случайность. Оскорбленный домохозяинъ въ немъ что ли такъ сильно заговорилъ? Первое дѣло, что Писемскій слишкомъ умный писатель для того, чтобы трагическаго патріарха въ нашемъ быту сочинить, а второе дѣло, что онъ и не думалъ его сочинять, а просто ошибся въ формѣ своего замысла. Ему слѣдовало бы написать разсказъ, въ которомъ дѣло развязалось бы безъ уголовщины, а онъ увлекся энергическимъ лицомъ Ананія да столкновеніемъ его съ безсильнымъ бариномъ и не зналъ, чтó сдѣлать съ этимъ столкновеніемъ. Вся и штука-то въ томъ, что интересъ, участіе можетъ возбуждать въ „Горькой судьбинѣ" столкновеніе Ананія съ бариномъ, а не отношеніе его къ женѣ. До жены никому дѣла нѣтъ, потому что и въ жизни Ананія она вовсе не такое роковое звено, съ разрывомъ котораго сопряженъ былъ бы непремѣнно трагическій исходъ. Уголовщина факта такъ и проходитъ передъ нами случайною, голою уголовщиной, не оставляя по себѣ глубокаго впечатлѣнія, не сосредоточивая ни на одномъ изъ лицъ, въ ней участвующихъ, нашей симпатіи.

Такъ вотъ какъ оно трудно писать драматическія сочиненія даже такому большому таланту, какъ Писемскій.

Но возьмите, напримѣръ, произведенія такого, весьма способнаго борзописца, какъ г. Потѣхинъ-senior, и взгляните на нихъ съ точки зрѣнія искусства—да не того искусства для искусства, которымъ постоянно попрекаютъ вашего покорнѣйшаго слугу и въ которомъ, впрочемъ, вашъ покорнѣйшій слуга невиноватъ ни душой, ни тѣломъ, а искусства органическаго, т.-е. сознанія, оразумленія жизни съ ея типами и явленіями въ художественныхъ образахъ. Какое намъ дѣло до кликуши, вопящей „голосами разными" въ продолженіе нѣсколькихъ длинныхъ актовъ драмы „Судъ людской—не Божій", и до стараго дуролома, ея отца, который такъ однообразенъ? Чтó въ ней и въ немъ такого типически-жизненнаго, чтó стоило бы драматическаго воспроизведенія? Вся драма не что иное, какъ пересолъ, и пересолъ до омерзѣнія самой слабой изъ драмъ Островскаго: *Не въ свои сани не садись*,

безъ ея поэзіи и комизма, безъ Бородкина и тетушки, получившей образованіе въ Таганкѣ. Какое намъ опять дѣло до многоактнаго загула Мишанки въ „Чужое добро въ прокъ нейдетъ", загула, доходящаго до безсмысленной и совершенно случайной уголовщины—хотя бы, повторяю, Мартыновъ или П. Васильевъ создавали, за недостаткомъ лучшихъ матеріаловъ подъ рукою, изъ этого самаго, крайне несимпатическаго Мишанки лицо типическое? Вся штука явнымъ образомъ—пошлѣйшая пародія одной изъ высшихъ по замыслу и недодѣланнѣйшихъ по выполненію драмъ Островскаго: *Не такъ живи, какъ хочется*, безъ ея широкаго размаха, безъ ея поэзіи типовъ и поэзіи бытовыхъ подробностей.

А вы, вотъ, я увѣренъ, плохо знаете эту высоко-поэтическую вещь или даже совсѣмъ ея не знаете, и нельзя васъ винить за это. Драматическія вещи требуютъ сценическаго осуществленія—и *Не такъ живи, какъ хочется* мы положительно зарѣзали на сценѣ, не только на петербургской, но даже отчасти на московской, потому что Петра Ильича и тамъ игралъ „драматистъ", хоть и безконечно даровитый изъ нашихъ „ржанцевъ", но все-таки драматистъ, стало-быть, герой въ нѣкоторомъ родѣ; и драмѣ не воскреснуть, пока трагикъ, въ родѣ П. Васильева, не олицетворитъ со всею правдой и простотою широкаго типа поэта. Драма притомъ создана слишкомъ тонко вообще, въ чемъ и сценическая ошибка Островскаго, такъ что пересолъ ли недосолъ ли въ подробностяхъ навсегда погубитъ...

Въ драмѣ, кромѣ ея осязаемыхъ и видимыхъ лицъ, царитъ надо всѣмъ лицо невидимое, жирное, плотское, загулявшая совсѣмъ Масленица (какъ въ *Бѣдность не порокъ*—свѣтлая недѣля, какъ въ *Грозѣ*—волжская ночь съ вольною гульбой и въ *Воспитанницѣ*—весенная ночь съ потайною „гулянкой"). Эта „Масленица", одинъ изъ многихъ и притомъ наиболѣе уцѣлѣвшій остатокъ нашего стараго и доселѣ еще присущаго намъ язычества, пора полнѣйшей плотской разнузданности, хоронитъ божество мрака, зиму—и напослѣдяхъ въ волю бушуютъ ея темныя служебныя силы: хари (маски) бродятъ по улицамъ, по ночамъ нечистыя силы, юмористически называемыя анчутками безпятыми, Епишками и проч., ходятъ на свободѣ. Загулъ, дикій до бѣснованія, достигаетъ своихъ крайнѣйшихъ предѣловъ. Зимняя полоса *культа Ярилы* кончается—но ужъ даетъ же себя знать напо-

слѣдкахъ въ тяжело ложащихся на желудокъ въ неестественномъ количествѣ пожираемыхъ блинахъ, и въ непомѣрномъ потребленіи спирту, и въ катаньѣ съ дѣвушками на тройкахъ, и въ катаньяхъ съ ними же съ горъ. Пѣсня и пляска, скоморошество въ полномъ разливѣ. Съ ударомъ нашего постнаго колокола къ заутренѣ нечистыя силы исчезаютъ. Но до этой минуты темное божество съ его темнымъ, веселымъ и дикимъ загуломъ—всевластно.

Скажутъ, вѣроятно, что я съ нѣкоторою сластью повѣствую о его владычествѣ—это ужъ навѣрно! И Викторъ Ипатьевичъ и утилитаристы въ этомъ сойдутся, какъ во многомъ они внутренно сходятся—да мнѣ-то какое же дѣло? Я хочу ввести читателя въ міръ великой драмы, которую не съ тѣмъ же создавалъ народный поэтъ, чтобы доказать практически, сколь вредна Масленица для россійскаго прогресса. Я полагаю такъ даже, что ему, какъ поэту, рѣшительно нѣтъ дѣла до того, полезны или вредны россійскому прогрессу типы жизни, которые онъ увѣковѣчиваетъ художествомъ.

Итакъ—царитъ Масленица... она, т.-е., конечно, не въ видѣ сжигаемой ребятишками чучелы, должна господствовать и на сценѣ... Вотъ тутъ бы удивительно могло помочь поэзіи другое искусство—музыка. Да, я твердо вѣрю, что Сѣровъ, задумавшій написать увертюру, антракты и всю оркестровку пѣсенъ для *Бѣдность не порокъ*, напишетъ музыкальную поэму и къ *Не такъ живи, какъ хочется*... *)

Въ созданіи Островскаго—несмотря на широкій захватъ—есть одинъ и, притомъ, капитальный недостатокъ—недостатокъ смѣлости. *Не такъ живи, какъ хочется* писано въ ту эпоху, когда издыхающее западничество усерднѣйше лаялось на то опоэтизированіе быта народнаго, которое такъ ярко проступило у поэта въ *Бѣдность не порокъ*... Не то чтобы запугалъ этотъ лай поэта,—но такъ какъ лай только и былъ слышенъ тогда въ журналистикѣ, то онъ заставилъ его быть крайне осторожнымъ. Осторожность, впрочемъ, ничему не помогла и только повредила дѣлу, сузила размѣры драмы и лишила ее густыхъ красокъ. Опять повторяю—драма создалась слишкомъ тонко, такъ-сказать очерками, но все-

*) Какъ извѣстно, Сѣровъ осуществилъ мысль Григорьева и написалъ оперу „Вражья сила", взявъ въ основаніе своего либретто драму Островскаго. *Н. Д.*

таки можетъ быть возсоздана сценически во всей яркости при пособіи музыки и блестящей обстановки.

Si votre enfant est né boiteux, сказалъ величайшій поэтъ нашего времени,—ne lui faites pas de jambes de bois—и, разумѣется, Островскій не можетъ уже перекрасить или, лучше сказать, докрасить свою драму. Многое изъ ея первоначальной громадной концепціи дано въ другія его драмы. Такъ, я съ достовѣрностью могу вамъ сказать, что Епишка, который долженъ былъ ходить за Петромъ Ильичемъ, ходитъ теперь за Львомъ Красновымъ... Но и такова, какъ она есть, драма *Не такъ живи, какъ хочется* осталась все-таки высоко поэтическою вещью—и стоитъ только столь же сильному, какъ поэтъ по таланту, маэстро пояснить ее, да обставить ее П. Васильевымъ—Петромъ Ильичемъ, Горбуновымъ—Епишкой, т.-е. тѣмъ полуфантастическимъ, полудѣйствительнымъ „метеорчикомъ", который въ драмѣ является намекомъ на нечистую силу, г-жою Линской—матерью жены Петра Ильича, г-жою Левкѣевой—Грушею, г-жею Владимировой—женой, да найти столь же даровитыхъ артистовъ на роли двухъ типическихъ отцовъ, симпатичнаго и милаго Васи (вотъ бы г. Малышову попробовать!), тетушки Петра Ильича, двухъ ямщиковъ, да поставить ее на Маріинскомъ театрѣ, не жалѣя разныхъ аксессуаровъ, на которые мы такъ щедры въ отношеніи къ разнымъ „Фаустамъ" да къ балетнымъ продуктамъ ерундистой фантазіи гг. Петипа и Сенъ-Леона, да оркестръ вручить, конечно, не г. Кажинскому, а К. Лядову...

Мало ли, дескать, что? Вы, дескать, милостивый государь, шехеразаду какую-то расписываете! Ничуть не шехеразаду—кого жъ намъ и ставить блистательно, какъ не Островскаго или Сѣрова? Къ чему же я косвенно и всѣ рѣчи мои веду? И у кого достанетъ наглости и отсутствія патріотизма—сказать мнѣ, что я не дѣло говорю? Нѣтъ артистовъ, дескать... Вѣдь, это одно почти, что́ могутъ мнѣ возразить. Какъ, это, нѣтъ артистовъ на столичной сценѣ, когда много яркихъ талантовъ скитается по провинціямъ, и „чего ради" существуетъ у насъ огромнѣйшая труппа, при существованіи которой невозможно, однако, поставить, какъ слѣдуетъ, почти-что ни одной пьесы перваго и единственнаго русскаго драматурга?.. Ставимъ мы *Свои люди сочтемся*—у насъ Большова нѣтъ; *Грозу*—у насъ ни Катерины, покамѣстъ, ни Дикого

настоящаго нѣтъ. *Бѣдной невѣсты* у насъ совсѣмъ нельзя поставить, ибо въ ней или Хорьковъ погибъ, если онъ не П. Васильевъ, или Беневоленскій погибъ, или мать Хорькова погибла, если она не г-жа Линская, или мать Маріи Андреевны погибла.

Но это пока въ сторону. Неудивительно, что вы, мой читатель, плохо знаете высоко-поэтическую драму Островскаго *Не такъ живи, какъ хочется* или даже совсѣмъ ея не знаете, если у насъ ее поставить нельзя. Во всякомъ случаѣ, вы ее хоть прочтите, потому что содержаніе ея я не намѣренъ вамъ пересказывать. Я хотѣлъ только указать тотъ штандпунктъ, point de vue, бытовой и художественный, съ котораго должно на нее смотрѣть, съ котораго поэтическимъ ореоломъ озаряются и ея главный герой и глубоко-захватывающія народную жизнь подробности...

А заговорилъ я о ней по поводу весьма омерзительной пародіи на нее, сочиненной г. Потѣхинымъ-senior и весьма успѣшно производимой на сценахъ россійскихъ, подъ названіемъ „Чужое добро въ прокъ нейдетъ"... гдѣ все есть: и загулъ дурашнаго мужика до чортиковъ и уголовщины, и темная сила въ видѣ барскаго лакея, и жена, обычно весьма гнусныхъ свойствъ баба, и гульба, и хороводы, и пѣсни— все, кромѣ поэзіи, или, лучше сказать, гдѣ поэзія драмы Островскаго безсмысленно сведена въ грязь смрадную и непроходимую, какъ бываетъ всегда при дагерротипномъ перенесеніи жизни въ искусство.

Вотъ въ томъ-то вся и штука, что идеальная постановка драмы *Не такъ живи, какъ хочется* была бы зрѣлище достойное великаго народа, а представленія драмъ въ родѣ „Чужое добро въ прокъ нейдетъ"—зрѣлище достойное развѣ только веси, мери и чуди, пока эти чудскія племена не амальгамировались со славянскимъ племенемъ.

Трудно писать драматическія сочиненія вообще, но въ особенности трудно писать драматическія сочиненія изъ народнаго быта. Оно, вѣдь, только кажется, что легко, а въ сущности очень трудно: какъ разъ можно попасть въ драматурги упомянутыхъ мною именъ, какъ г. Потѣхинъ senior, или въ драматурги (что еще хуже) петербургской чуди, какъ г. Потѣхинъ-junior. Право, такъ.

Больше еще... Я выскажу вамъ парадоксъ, мой читатель,

за который вы сначала на меня непремѣнно возопіете, а потомъ, можетъ-быть, съ нимъ согласитесь.

Но къ этому парадоксу—я, вѣдь, самъ очень хорошо знаю, какъ онъ скандаленъ—я сдѣлаю нѣкоторый подходъ... Островскаго все упрекаютъ, что онъ пишетъ драмы *только* изъ купеческаго быта или много-много что изъ быта подьяческаго (*Бѣдная невѣста, Доходное мѣсто*); что, кромѣ того, какъ онъ только выводитъ на сцену лица такъ-называемаго образованнаго класса (Меричъ—въ *Невѣстѣ*, Учитель и его дочь—въ *Чужомъ пиру похмелье*) или такъ-называемаго же высшаго класса (Вышневскій и Вышневская въ *Доходномъ мѣстѣ*), эти лица выходятъ у него какъ-то безцвѣтны или, по крайней мѣрѣ, мало колоритны; что даже въ высшей степени симпатичная личность Марьи Андреевны, взятая имъ въ сферѣ образованной, говоритъ нѣсколько книжною рѣчью. Дѣло—нѣтъ, надѣюсь, сомнѣнія—стóитъ изслѣдованія, тѣмъ болѣе, что всѣ эти упреки Островскому слышались и въ началѣ его поприща, слышатся даже и теперь. Какъ хотите, а трудно представить, какъ это первый и единственный драматургъ нашъ не знаетъ никакого быта, кромѣ купеческаго. Все, дескать, купцы да купцы! И подъ этимъ упрекомъ таятся два рода вопросовъ: 1) почему Островскій, поэтъ народный по преимуществу, не написалъ ни одной пьесы изъ крестьянскаго быта и 2) почему онъ, самъ человѣкъ многостороннеобразованный, не написалъ тоже ни одной пьесы, гдѣ бы являлись люди развитые, люди нашего времени и люди классовъ, которые недаромъ же общепринято называть высшими?

Разсмотримъ сперва первый вопросъ, при чемъ я и могу уже пустить въ ходъ парадоксъ, который васъ, мой современный, стало-быть, демократически-настроенный читатель, нѣсколько покоробитъ. Изъ крестьянскаго быта нельзя писать драмы.

Что такое крестьянство? Оно или было крѣпостное, т.-е. было историческая аномалія, которой, славу Богу, нѣтъ болѣе, или оно сохранило свою неприкосновенность, свою особенность, свой цвѣтъ, характеръ земледѣльческаго сословія вообще, только какъ крестьянство захолустное, степное, убереженное далью отъ столкновеній съ городами и цивилизаціею. Я знаю очень хорошо, что такое крестьянство—идеалъ глубокоуважаемаго мною направленія славянофильства—нравственно выше и чище городского населенія, за исключеніемъ,

конечно, нѣкоторыхъ, видно, уже мѣстныхъ фактовъ... Я знаю также, что цивилизація заимствуется городскимъ сословіемъ только въ самыхъ нелѣпыхъ формахъ, искажаетъ несравненно лучшіе коренные задатки, какъ нравственные, такъ и поэтическіе, но первое дѣло,—я совершенно убѣжденъ въ томъ, что не даромъ сложилась пословица: „Божье крѣпко, да вражье лѣпко", что разбогатѣй степной мужикъ, онъ торговлю заведетъ, а торговлю заведетъ—съ городомъ сблизится, а съ городомъ сблизится—непремѣнно, какъ Гордѣй Карпычъ, „небель" поставитъ, потому что „совсѣмъ другой ефектъ выйдетъ", а второе дѣло, что драма ничего не подѣлаетъ ни изъ бывалаго крѣпостного крестьянскаго быта, ни изъ идеальнаго степного крестьянскаго быта.

Драма, какъ искусство вообще, увѣковѣчиваетъ коренные, стало-быть, нормальные органическіе типы народной жизни, порочные или добродѣтельные—это ей совершенно все равно; увѣковѣчиваетъ притомъ sine ira et studio,

Спокойно зритъ на правыхъ и виновныхъ,

не задаваясь ни сочиненнымъ идеаломъ ни раздраженіемъ.

Коренные же, органическіе типы бытовой жизни могли сложиться, во-первыхъ, только въ свободномъ сословіи и, во-вторыхъ, только въ такомъ свободномъ сословіи, которое могло, такъ-сказать, повѣрить ихъ крѣпость или слабость въ столкновеніи съ цивилизаціей. Изъ драматическихъ воспроизведеній крѣпостного быта выходило и выходитъ всегда или жалостно сентиментальное, какъ покойныя повѣсти объ Антонѣ Горемыкѣ и проч., или нѣчто доступное только мери, веси и чуди, до сліянія ихъ со славянами, стало-быть, вообще нѣчто чуждое сущности драмы—какъ трагедіи, такъ и комедіи. Изъ драматическихъ воспроизведеній идеальной неприкосновенности крестьянскаго быта выйдетъ всегда или нѣчто идиллическое—и это еще въ лучшемъ случаѣ—или нѣчто уже совсѣмъ натянутое.

Драма, т.-е. серіозная, національная драма, есть культъ національности, воспроизведеніе ея цѣльныхъ, полныхъ типовъ какъ въ добрѣ, такъ и въ злѣ. Типы, развившіеся въ односторонне-напряженномъ состояніи народнаго быта и народной исторіи, какъ бы они ярки ни были, хоть бы, напримѣръ, Стенька Разинъ или протопопъ Аввакумъ, не могутъ быть взяты драмою, культомъ общимъ, исключительно,

единично. Они могутъ пройти и ярко, колоритно пройти въ драмѣ, захватывающей всю эпоху ихъ со всѣхъ ея сторонъ, какъ проходитъ, напримѣръ, Джекъ Кедо, предводитель возставшихъ массъ въ „Генрихѣ VI“ Шекспира, какъ проходитъ Пугачъ въ „Капитанской дочкѣ“ Пушкина. Драма есть культъ національности, а не культъ извѣстнаго напряженія національности, извѣстной, такъ-сказать, партіи. Точно такъ же и факты крѣпостного быта могутъ со временемъ проходить и проходить очень ярко въ нашей будущей исторической драмѣ, но сами-по-себѣ, безъ связи съ общими типами общерусской жизни, столь же мало могутъ послужить предметомъ для драмы, какъ физическая болѣзнь, напримѣръ, или голые факты уголовщины... Драма, съ другой стороны,—не идиллія и не проповѣдь чистой нравственности. Пьяный Фальстафъ ей, какъ искусству, столь же любезенъ и необходимъ, какъ чистый и героическій Готспоръ. Ей нужна національность въ коренныхъ, органически сложившихся типахъ добра и зла.

Въ силу особенности нашего бытового и историческаго развитія, единственная среда, въ которой наша національность развилась совершенно свободно, какъ въ добрѣ такъ и въ злѣ, есть та среда, изъ которой не выходитъ, вѣроятно, не выйдетъ, да и не можетъ выйти нашъ народный драматургъ. Онъ вообще стоитъ на такой высшей точкѣ общенаціональнаго культа, что со стороны различныхъ партій на него посыпались упреки за его *Минина*, какъ сыпались упреки со стороны пуристовъ за безнравственность третьяго акта *Грозы* и теперь еще раздаются за таковую же безнравственность третьяго акта *Воспитанницы*.

Національная самобытность развилась въ этой постоянно изображаемой неистощимымъ художникомъ средѣ въ высшей степени чудно и даже дико. Въ такомъ видѣ онъ намъ ее и изображаетъ.

Земская жизнь наша ушла, при столкновеніи съ извнѣ наложенною на бытъ цивилизаціею, въ расколы, или явные, сознательные, организованные, или въ безсознательные, но столь же упорно не поддающіеся цивилизаціонному уровню. Теоретики разныхъ лагерей видятъ, одни—нѣчто идеальное, другіе—голое самодурство. Поэтъ видитъ только жизнь, ея отношенія и органически сложившіеся типы и воспроизводитъ

къ, хотя, конечно, съ глубокою симпатіею къ почвѣ, ихъ родившей, но съ симпатіею безпристрастною.

Съ чего взяли, что купцовъ изображаетъ Островскій? русскихъ людей онъ изображаетъ, типы русской жизни,—а къ онъ невиноватъ, что свободно и оригинально до дикости чудноты развились они только въ этой средѣ? Съ чего взяли, то онъ купеческимъ языкомъ только владѣетъ? Вѣдь, это могутъ говорить только такіе господа, которые лѣтописей, грамотъ, княжескихъ духовныхъ, записей разныхъ частныхъ допетровской эпохи въ глаза не видывали. Русскій это языкъ—и притомъ цвѣтной, а не книжный, живой, органически сложившійся тоже въ добрѣ и злѣ, въ коренномъ складѣ и городской порчѣ, въ столкновеніи съ цивилизаціею и въ нѣкоторой амальгамировкѣ съ нею, и богатый, и колоритный, и, мѣстѣ, чудной языкъ, не наша выдѣланная до сухости рѣчь, ь одной стороны, и не костромское или владимирское крестьянское нарѣчіе—съ другой... Съ чего, наконецъ, взяли одни, то онъ идеализируетъ національные типы, другіе—что онъ амодурство казнитъ? Ничего этого не бывало—хоть и формула темнаго царства и формула почвы, извлеченная, такъ-сказать, мыслителями изъ его произведеній, имѣютъ для себя ъ его творчествѣ большія опоры, и, притомъ, формула почвы", конечно, несравненно болѣе.

Возникаетъ теперь другой вопросъ, отчего Островскій ичего изъ *нашей* развитой жизни типовъ не беретъ или тчего, когда онъ касается этихъ типовъ, они у него не олоритны, хотя всегда въ высшей степени правильно оставлены?

Опять я скажу здѣсь парадоксъ. Оттого, что нечего насъ рать-то въ драму, что не стоимъ мы, съ позволенія сказать, тобы въ драму-то войти. Ну какіе мы типы? Все, что было ъ насъ, даже „наносно-типическаго", того напущеннаго, что образовывало въ насъ и нашей жизни хоть какое-то марево типовъ, дотла уже исчерпано Пушкинымъ, Лермонтовымъ, Гоголемъ, Тургеневымъ, и даже у нихъ-то въ драму въ демократическую форму искусства не перешло и не могло перейти. Кого даже изъ насъ-то по совѣсти могутъ драматически интересовать ну хоть тѣ тонкія отношенія, которыя развиваются, напримѣръ, въ изящнѣйшей изъ драматическихъ попытокъ Тургенева: „Гдѣ тонко, тамъ и рвется", а, вѣдь, вещь въ своемъ родѣ поистинѣ прелестная? Какія добро-

совѣстныя симпатіи могутъ приковать насъ въ театрѣ къ личности Арбенина, къ его мести женѣ изъ „напущеннаго“, а не настоящаго чувства? Какой интересъ даже и мы-то можемъ найти въ старомъ дуракѣ Мошкинѣ тургеневскаго „Холостяка“?.. Никакого, даже и намъ, такъ-называемымъ развитымъ людямъ, въ такихъ и подобныхъ миражныхъ типахъ мѣста нѣтъ. Лучшую повѣсть изъ развитой сферы попробуйте обратить въ драму, ничего не выйдетъ, хоть „Кто виноватъ“, напримѣръ, даже одраматизируйте.

Упреки Островскому за то, что онъ не беретъ типовъ изъ нашей развитой среды, показываютъ только непониманіе сущности драмы и отсутствіе въ упрекающихъ серіознаго пониманія драмы. Еще болѣе, конечно, странны упреки ему за то, что онъ не беретъ типовъ изъ высшихъ сферъ общежитія. Двадцать тысячъ разъ готовъ повторять я, что высшія сферы нашего общежитія существуютъ только какъ марево въ повѣстяхъ графа Соллогуба и г-жи Евгеніи Туръ; на дѣлѣ же подъ этими блестящими привидѣніями укрылись фонвизинскіе Сорванцовы и княгини Халдины, грибоѣдовскіе Фамусовы и Хлестовы, князья Тугоуховскіе и графини Хрюмины—и, какъ таковые, только могутъ они войти въ дѣло серіозное, дѣло народное, дѣло демократическое, т.-е. въ драму. Какъ таковые, они входятъ въ драму и у Островскаго, какъ, напримѣръ, въ лицѣ Уланбековой въ *Воспитанницѣ*, а до ихъ показной, парадной или бальной стороны ему, какъ народному драматургу, и драмѣ, вообще, нѣтъ и не можетъ быть никакого дѣла, точно такъ же какъ нѣтъ ему дѣла, напримѣръ, до парадной стороны какого-нибудь Мерича въ *Бѣдной невѣстѣ*, который, можетъ-быть, передѣлай его поэтъ съ парадной-то стороны, вышелъ бы нисколько не меньше эффектенъ, чѣмъ разные герои повѣстей сороковыхъ годовъ.

Островскій, какъ національный драматургъ, прежде всего человѣкъ земскій и представитель воззрѣній земскаго быта. На жизненныя отношенія онъ смотритъ съ ея точекъ—только не съ точекъ случайныхъ, а коренныхъ и, вмѣстѣ, высшихъ. Что могло войти въ драму—изъ напряженныхъ ли состояній, изъ болѣзненныхъ ли наростовъ быта, то вошло или войдетъ въ его творчество. Въ *Воспитанницѣ*, напримѣръ, заключены драматическія крѣпостныя отношенія и заключены чрезвычайно глубоко... Типы изъ сферъ высшихъ обществъ онъ

бралъ, когда ему это было нужно (какъ Вышневскій въ *Доходномъ мѣстѣ*), но не могъ, конечно, придать имъ того, чего въ нихъ нѣтъ, т.-е. земской типичности и колоритности рѣчи.

Эти типы—изъ развитой ли, изъ общественной ли высшей сферы жизни—берутся въ его драмахъ не сами-по-себѣ, а по ихъ отношенію къ земской жизни и съ ея точекъ зрѣнія. Лицо, напримѣръ, старика-учителя Иванова должно было именно своею отвлеченностью отъ жизни, своею книжностью въ рѣчи и въ самыхъ понятіяхъ войти въ земскую комедію, которой первую часть составляетъ *Въ чужомъ пиру похмелье*, а вторую—*Тяжелые дни*, комедію объ отвлеченномъ законѣ, представляющемся какимъ-то чудищемъ отупѣлой и разобщенной съ нимъ земщины, комедію о „стрюцкихъ", служащихъ необходимымъ звеномъ между земщиною и отвлеченнымъ закономъ, и о страшной безднѣ, лежащей между понятіемъ замкнувшейся въ своемъ безсознательномъ расколѣ земщины. Это поэтически, но вовсе не сатирически взятый контрастъ двухъ міровъ: одного, въ которомъ сознаніе совершенно разобщено съ жизнью, разобщено до того, что добрый и честный старикъ-учитель совѣтуетъ своей взрослой дочери „срюгать" отъ скуки, и другого, въ которомъ земская жизнь разобщилась съ отвлеченнымъ закономъ до наивнѣйшей вѣры въ грозную силу всякой, хотя бы самой нелѣпой расписки, до убѣжденія, что „стрюцкіе" все могутъ съ человѣкомъ сдѣлать. „Напиши,—говоритъ Китъ Китычъ Сахару Сахарычу,—такую бумагу, чтобъ учителя Иванова съ дочерью въ Сибирь сослать"—и совершенно увѣренъ въ томъ, что дока стрюцкій можетъ такую бумагу написать, какъ въ *Тяжелыхъ дняхъ* совершенно увѣренъ въ томъ, что самъ можетъ попасть въ сумасшедшій домъ или въ смирительный... Да и не онъ одинъ въ этомъ увѣренъ. Квартирная хозяйка учителя Иванова, по-своему желая добра ему и его дочери и обязывая Андрея Титыча подпискою жениться, увѣрена и въ обязательности этого документа и въ томъ, что она доброе дѣло дѣлаетъ... Потому она въ этомъ увѣрена, что сама принадлежитъ къ міру „стрюцкихъ", къ міру, такъ-сказать, проходимческому, кочевому, считающему своимъ правомъ эксплуатировать осѣдлый и разобщенный съ отвлеченнымъ закономъ міръ, во имя этого абстрактнаго закона—къ міру, и враждебному земщинѣ и необходимому ей, потому

что стрюцкіе же могутъ эксплуатировать отвлеченный законъ въ пользу земщины... Это отношеніе „стрюцкихъ“ къ земщинѣ глубоко развито во второй части комедіи, въ *Тяжелыхъ дняхъ*. Въ первой, т.-е. *Въ чужомъ пиру похмелье*, взято собственно отношеніе земщины къ образованному сословію; взятъ, какъ я уже сказалъ, контрастъ двухъ этихъ міровъ, изъ которыхъ одинъ совершенно разобщенъ съ отвлеченнымъ закономъ и цивилизаціей, ушелъ изъ-подъ ихъ внѣшне-наложеннаго уровня въ безсознательный, но упорный расколъ; другой совершенно разобщился съ бытовою жизнью, ея понятіями и условіями и замкнулся въ созданный міръ имъ самимъ по книжнымъ условіямъ. Въ обоихъ мірахъ вслѣдствіе ихъ замкнутости развилось въ ужасающихъ размѣрахъ дикое самодурство, представители котораго—учитель Ивановъ въ одномъ и безцѣнный Китъ Китычъ въ другомъ. Въ контрастъ широко развернувшейся натурѣ самодура земскаго самодуръ книжный является личностью сжатою, заковавшеюся въ условныя, весьма по виду приличныя, но безжизненныя формы. При трагическомъ столкновеніи съ жизнью формы эти разрушаются, и наивный ребенокъ зоветъ „громы небесные“ на эту, впервые ему раскрывшуюся жизнь. А жизнь въ сущности виновата только тѣмъ, что онъ—идеалистъ, ея не понимаетъ.

Въ такой драмѣ личность учителя Иванова не могла и не должна была явиться иначе, какъ книжною, у поэта, потому что по идеѣ драмы она и входитъ-то въ нее только этою стороной. Напиши Островскій драму съ точки зрѣнія той среды, къ которой принадлежитъ учитель Ивановъ, какая бы это вышла пошло-сентиментальная и никому, даже намъ, „образованнымъ и развитымъ“ людямъ, ненужная вещь... И какого глубокаго смысла полны какъ эта, такъ и вторая часть комедіи о Китѣ Китычѣ, именно потому, что Китъ Китычъ является въ обѣихъ центромъ! Изъ этого не заключайте, впрочемъ, чтобъ я считалъ поэта совершенно безупречнымъ: я очень хорошо вижу, что онъ испортилъ въ *Тяжелыхъ дняхъ* лицо Досужева, земскаго стряпчаго, ярко и полно выступившаго въ третьемъ актѣ *Доходнаго мѣста*; я очень не хвалю тоже все сочиненное въ *Доходномъ мѣстѣ* и просто возмущаюсь до тошноты тирадами Жадова, этими идоложертвенными требами, принесенными поэтомъ россійскому прогрессу и благодѣтельной гласности, но, несмотря

іа такіе недостатки, за Островскимъ все-таки остается такая пирота захвата нашей жизни, что я опять прихожу къ повто-ѣнію весьма полезнаго припѣва:

Трудно, ужасно трудно писать въ наше время драмати-іескія сочиненія... съ прибавленіемъ—послѣ Островскаго; рудно изъ какого хотите быта, изъ народнаго или изъ бразованнаго. Вѣдь, можно ли, напримѣръ, выдумать что-ибо, въ чемъ бы такъ непріятно бѣлые швы проглядывали, акъ въ „Мишурѣ" г. Потѣхина-senioris, что-нибудь сенти-іентальнѣе, приторнѣе и, вмѣстѣ, ложнѣе...

Послѣдняя комедія, которая была написана изъ обра-ованнаго быта,—талантливая вещь г. Сухово-Кобылина: „Свадьба Кречинскаго"; она и уцѣлѣла на сценѣ.

А ужъ о драмахъ изъ народнаго-то быта, безпрестанно юявляющихся и находящихъ себѣ пріютъ только въ „Стару-иныхъ запискахъ", что и говорить? У кого станетъ терпѣнія ірочесть, напримѣръ, хоть ту изъ нихъ, съ которой я началъ вою печальную рапсодію, „Пагубу" г. Кондырева?..

Такъ вы, стало-быть, ни въ какія драмы,—имѣете право спросить меня,—кромѣ драмъ Островскаго, и не вѣрите?

Такъ и не вѣрю, отвѣчу я совершенно спокойно. Гоголев-кая драма, фантастическая и гиперболическая, отошла уже въ область исторіи, почти-что наравнѣ съ фонвизинскою, ораздо, впрочемъ, болѣе дѣйствительною драмой и несрав-іенно болѣе проникнутою русскимъ воззрѣніемъ на жизнь. Іушкинъ писалъ очерками безъ красокъ, и его великолѣп-ые очерки невыполнимы сценически. Грибоѣдовская драма іроживетъ еще долго, но, вѣдь, она всего одна... Кромѣ Островскаго, у насъ ничего нѣтъ, это ужъ будьте благо-іадежны.

Между тѣмъ, къ чему я и велъ свои злостныя рѣчи, Островскій-то, т.-е. то, что единственно и есть у насъ, сравни ельно рѣдко дается на сценѣ и дается притомъ, за исключе-іемъ *Воспитанницы* и трилогіи о Бальзаминовѣ, чрезвычайно іохо, большею частью. Не будь П. Васильева, Линской, орбунова и Левкѣевой—постыдно плохо. Изъ бо́льшихъ его рамъ вовсе не даются: 1) *Бѣдная невѣста*, 2) *Не такъ живи, акъ хочется*, 3) *Мининъ*; изъ сценъ: 1) *Картина семейнаго частья*, 2) *Утро молодого человѣка*... Убиты безжалостно ыполненіемъ: *Въ чужомъ пиру похмелье* и *Старый другъ лучше*

новыхъ двухъ. Заиграны въ самой пошлой обстановкѣ *Сани*; брошена *Бѣдность не порокъ*, несмотря на великолѣпную игру П. Васильева; два, много-много три раза въ годъ идутъ *Свои люди сочтемся* и разныя части трилогіи о Бальзаминовѣ... Идутъ только постоянно *Гроза*, благодаря тому, что ее взяли на растерзаніе всяческія дебютантки, да *Грѣхъ да бѣда* съ несчастною чередовкою...

Ап. Григорьевъ.

Значеніе Островскаго въ нашей литературѣ [1]).

*) Островскій, какъ извѣстно, — камень преткновенія нашихъ критиковъ. Не говорю уже о тѣхъ, которые до сихъ поръ все еще разводятъ водицей остроумныя замѣчанія Добролюбова о темномъ царствѣ и о свѣтломъ лучѣ въ ономъ. Нѣтъ, люди почтенные, люди безспорно умные, стали говорить, что Островскій, собственно говоря, не драматургъ. Кажется, самое наглядное доказательство: сценичность произведеній Островскаго, ихъ успѣхъ на театрѣ должны бы убѣдить ихъ въ противномъ, но по-ихнему выходитъ не такъ, а почему не такъ—я никакъ въ толкъ взять не могу. Замѣчу кстати, что изъ произведеній Островскаго на сценѣ успѣха имѣть не могутъ (развѣ только исключая московской) единственно тѣ сцены изъ замоскворѣцкой жизни (напр., *Утро молодого человѣка*, вторая часть трилогіи о Бальзаминовѣ, именно *Свои собаки грызутся*), которые не возведены имъ на степень типической комедіи, хотя, можетъ-быть, въ нихъ и заключаются черты, весьма знакомыя и потому любезныя сердцамъ нѣкоторыхъ москвичей.

Съ другой стороны, настоящій критикъ Островскаго, Ап. Ал. Григорьевъ, уклонился нѣсколько въ сторону. Онъ, конечно, много сдѣлалъ для пониманія этого писателя и по поводу его выставилъ весьма важный вопросъ объ отно-

---

[1]) „Эпоха“, 1864 г., № 5. (Письмо къ редактору „Эпохи“.)

*) Я не дѣлаю здѣсь характеристики журнала „Эпоха“, потому что приводимая статья есть лишь *письмо* въ редакцію неизвѣстнаго автора и „постояннаго читателя“ „Эпохи“, внимательно и съ интересомъ слѣдившаго за статьями критика этого журнала Ап. Григорьева. Высоко ставя критическую дѣятельность Григорьева, авторъ „Значенія Островскаго въ нашей литературѣ“ указываетъ на крайности въ литературныхъ мнѣніяхъ этого критика, поскольку онѣ касаются Островскаго и его произведеній, а также старается опредѣлить, такъ-сказать, удѣльный вѣсъ таланта интересующаго насъ писателя. *Н. Д.*

шеніи народнаго поэта къ изображаемымъ имъ типамъ, при чемъ, по моему крайнему пониманію, критикъ рѣшилъ этотъ вопросъ яснѣе поэта, т.-е. Островскій послужилъ для критики болѣе поводомъ, чѣмъ былъ дѣйствительно рѣшителемъ этого вопроса въ своей художественной практикѣ.

Далѣе г. Григорьевъ не только разсматривалъ Островскаго, какъ поэта вполнѣ народнаго, но даже высказалъ (хотя и не на страницахъ этого изданія), что Островскій равенъ Шекспиру, что это русскій Шекспиръ. Вѣдь, это страшно вымолвить, вѣдь, это не пустое слово—Шекспиръ!

Что такое Шекспиръ? Вѣдь, онъ не только полнѣйшій выразитель англійскаго народнаго духа, но въ то же время выразитель внѣшней, практической жизни всѣхъ среднихъ вѣковъ, подобно тому какъ Дантъ былъ выразителемъ внутренней, религіозной жизни этихъ вѣковъ. Вѣдь, въ Шекспирѣ мы видимъ, по словамъ Карляйля, всю внѣшнюю жизнь нашей Европы, какъ она развилась тогда въ рыцарствѣ, придворной жизни, честолюбіяхъ, свычаяхъ и обычаяхъ, какіе имѣли тогда люди практическіе пути мышленія, дѣйствованія, воззрѣнія на міръ. Какъ по Гомеру мы до сихъ поръ можемъ построить древнюю Грецію, такъ, черезъ много вѣковъ, въ Шекспирѣ и Дантѣ будутъ все еще читать, чѣмъ была наша новая Европа въ вѣрѣ и практической жизни (Lectures on heroes, 260) *).

Стало-быть, называя Островскаго русскимъ Шекспиромъ, г. Ап. Григорьевъ хотѣлъ сказать этимъ, что Островскій не только полнѣйшій выразитель русскаго народнаго духа, но и выразитель жизни новыхъ вѣковъ, этого богатаго наслѣдія, доставшагося намъ отъ Запада. Это не только несправедливо, но даже просто непростительно. Гдѣ же новые вѣка, ихъ вѣрованія и стремленія, ихъ радости и горе, ихъ пылкія мечты и ихъ безпощадное сомнѣніе въ произведеніяхъ г. Островскаго? Всякому извѣстно, что даже и намека на это у него нѣтъ. И будто Островскій—полнѣйшій выразитель нашего народнаго духа, нашъ высшій поэтъ? О, конечно, нѣтъ! Нашъ высокій выразитель, высшій поэтъ и единственный великій русскій поэтъ (въ полномъ смыслѣ этого выра-

*) „Герои и героическое въ исторіи". Лекціи, прочтенныя Карлейлемъ въ Лондонѣ въ 1837—40 гг. и изданныя въ 1846 г. Въ нихъ вполнѣ выяснено политическое и общественное міросозерцаніе автора. *Н. Д.*

нія),—Пушкинъ. Итакъ, для того, чтобы разъяснить значе-
: Островскаго, нашему критику слѣдовало бы его сопоста-
ть съ Пушкинымъ. Быть колоссомъ между нашими совре-
нными драматургами, право, не великая еще заслуга, если
Островскаго смотрѣть *только* по отношенію къ нимъ; но
ядъ ли такая точка зрѣнія по сердцу самому критику и
) любимому поэту! Ну вотъ и сопоставимъ Пушкина съ
гровскимъ и посмотримъ: кто перетянетъ? Окажется ли
гровскій ручьемъ передъ этимъ моремъ, или оно изсякъ
гъ передъ нимъ?

Во-первыхъ, не только внутренній смыслъ, но даже *внѣш-*
' проявленіе нашей жизни нашли въ Пушкинѣ полнѣй-
.го представителя, чѣмъ въ Островскомъ. Островскій—изо-
ізитель, по преимуществу, купеческаго быта; принимаемъ
ьясненіе критика, почему онъ выбралъ этотъ именно бытъ
я изображенія, а не другой. Объясненіе прекрасное, но
щность дѣла этимъ объясненіемъ не исчерпывается. Пусть
Григорьевъ вспомнитъ, что онъ говорилъ о значеніи *барства*
нашей жизни, какъ явленія *коренного*, *бытового*, при раз-
рѣ дѣятельности Пушкина. Гдѣ жъ это *бытовое* явленіе у
тровскаго? И намека на него даже нѣтъ, а не безъ внутрен-
й силы и достоинства это явленіе,—недаромъ же явился
образитель этого быта, изобразитель, одаренный огромнымъ
лантомъ, г-жа Кохановская. Вотъ вамъ одинъ пропускъ
ѣшняго выраженія народнаго духа, и, конечно, только про-
ессивные историки могли задавать себѣ глубокомысленный
просъ: народно ли наше дворянство?—включая сюда не
лько новое дворянство служилыхъ людей, но и коренное
ярство, то боярство, которое имѣло такое огромное значеніе
же въ жизни Господина Великаго Новгорода *), какъ это пре-
асно разъяснено г. Бѣляевымъ **). И этого одного пропуска

*) Бояре существовали въ Новгородѣ въ глубокой древности и играли
юмную роль въ дѣлѣ управленія княжествомъ. Бояре составляли, вмѣстѣ
старыми посадниками, совѣтъ около двухъ важнѣйшихъ правительствен-
хъ лицъ—посадника и тысяцкаго. Посадники выбирались изъ бояръ и
ли полными представителями Новгорода въ дѣлахъ мира и войны; они
частую правили Новгородомъ, когда княжество оставалось безъ князя.
сяцкій выбирался также изъ бояръ. *Н. Д.*

**) Ив. Дм. Бѣляевъ (1810—1873 гг.), историкъ русскаго права, проф.
сковскаго университета и авторъ многихъ работъ по исторіи русскаго
ава: „Крестьяне на Руси", „Служилые люди" и др. *Н. Д.*

довольно; далѣе, говоря о значеніи Минина, я укажу на другой важнѣйшій.

Теперь о внутреннемъ. Будто Островскимъ исчерпанъ весь внутренній міръ русской души? Конечно, нѣтъ. Стоитъ только развернуть лирическія сочиненія Пушкина, чтобы почувствовать, насколько онъ богаче Островскаго мотивами; не только богаче, но и глубже. Гдѣ у Островскаго это спокойно-грустное, полное внутренней силы, почти эпическое впечатлѣніе народной былины и пѣсни—міросозерцаніе Пушкина, которое такъ полно и законченно выразилось, напр., въ стихотвореніи: „Опять на родинѣ"? Гдѣ глубина его религіозныхъ мотивовъ? Наконецъ, гдѣ у Островскаго этотъ человѣкъ, который хочетъ жить для того, чтобы „мыслить и страдать"? Вѣдь, ненароднымъ это все можетъ показаться только г. Дудышкину *), изучающему народность по книжкамъ и лишенному чутья живой жизни; только тому, кто видитъ въ народныхъ пѣсняхъ одни *слова*; тому, кого онѣ не охватываютъ, не побѣждаютъ духовно! Все это, конечно, прекрасно извѣстно вашему критику, все это онъ не разъ высказывалъ,—какъ же по временамъ онъ забываетъ это?

Вспомнимъ еще совершенно русскія отношенія Пушкина къ западной жизни. Его рыцаря, которому было видѣніе,

Непостижное уму,

его Донъ-Жуана и дону Анну, его Моцарта и Сальери. Вѣдь, въ послѣднемъ произведеніи рѣшается одинъ изъ величайшихъ вопросовъ психологіи—отношеніе таланта къ генію. И какъ рѣшается! Совершенно художнически, безъ малѣйшаго намека на *задачу*! А самъ г. Григорьевъ долженъ былъ согласиться, что *Бѣдная невѣста*, напр., только *задача* глубокаго характера, а не типъ, не живое лицо. Когда же это у Шекспира бываютъ задачи? Есть ли у Пушкина хоть одна такая задача? А у Островскаго такихъ задачъ-типовъ множество: Жадовъ, учитель Ивановъ и его дочка, Вышневскій, Вышневская, даже, можетъ-быть, самъ Левъ Красновъ. По крайней мѣрѣ, въ этомъ послѣднемъ ясно намѣреніе *исправить ошибку* Писемскаго въ изображеніи Ананія Яковлева. Наконецъ, Досужевъ, который изъ типическаго лица въ *Доходномъ мѣстѣ* является

*) Степ. Сем. Дудышкинъ (1820—1866 гг.), журналистъ. Сотрудничалъ въ „Отечеств. Зап." Краевскаго, а затѣмъ сталъ редакторомъ этого журнала.
Н. Д.

какимъ-то смѣшнымъ разрѣшителемъ всякихъ препятствій въ *Тяжелыхъ дняхъ*.

Посмотримъ теперь на отношеніе Пушкина и Островскаго къ изображенію нашей исторической жизни. Не будемъ говорить уже объ отношеніи Пушкина къ Петру Великому, котораго онъ глубоко оцѣнилъ и къ которому позже онъ обратился въ „Мѣдномъ Всадникѣ" съ слѣдующимъ вопросомъ:

О, мощный властелинъ судьбы!
Не такъ ли ты, надъ самой бездной,
На высотѣ, уздой желѣзной
Россію поднялъ на дыбы?

Возьмемъ „Бориса Годунова" и *Кузьму Минина* и посмотримъ, на чьей сторонѣ будетъ перевѣсъ. Если намъ скажутъ, что „Борисъ Годуновъ" не драма, то мы и спорить не будемъ. Эпическое значеніе этого великаго произведенія указано Хомяковымъ уже давно, еще въ то время, когда Бѣлинскій развивалъ свою пресловутую теорію *квіетизма* [1]) въ русской допетровской жизни. Прибавимъ, что эта драматичность формы этого великаго эпоса весьма близка къ формѣ нашей народной былины. Какъ часто былина переходитъ въ драматическую форму и характеры рисуются преимущественно въ этой формѣ; наконецъ, въ самомъ разсказѣ какъ часто это обращеніе къ слушателямъ, это „какъ у насъ, братцы". Точно разсказчикъ самъ дѣйствующее лицо, связывающее, объясняющее то, что происходитъ за сценой. Въ эпическомъ характерѣ „Бориса Годунова"—его сила, а, между тѣмъ, *Кузьма Мининъ* носитъ характеръ простого сценическаго представленія, въ чемъ, конечно, силы нѣтъ никакой. Недостатокъ въ планѣ (т.-е. въ глубочайшемъ, сокровеннѣйшемъ напряженіи поэтической мысли) *Минина* очевиденъ съ перваго раза; въ ней одинаковую роль, роль равнозначительную, играютъ и великое земское дѣло и тщедушная любовь тщедушнаго Поспѣлова къ Марѳѣ Борисовнѣ! Диви бы Поспѣловъ еще сильный характеръ имѣлъ, или его любовь имѣла какое-нибудь отношеніе къ земскому дѣлу, какъ любовь Андрія къ прекрасной полячкѣ въ „Тарасѣ Бульбѣ",—а то ничего этого нѣтъ; вѣдь, это одинъ изъ тѣхъ лингамчиковъ, которые, по собственному сознанію г. Григорьева, такъ часто встрѣчаются въ произведеніяхъ Островскаго. А, вѣдь, изложеніе нѣжныхъ

[1]) Т.-е. полное отреченіе отъ участія въ дѣйствительной жизни.

чувствій сего субъекта прерываетъ ходъ народныхъ приношеній, отстраняетъ земское дѣло на второй планъ.

Но—увы!—не въ этомъ главный недостатокъ *Минина*, это—только слѣдствіе главной ошибки, ошибки капитальной; той ошибки, которая не замѣчена ни г. Григорьевымъ, ни тѣми, которые встрѣтили *Минина* холоднымъ (весьма, впрочемъ, благоразумнымъ) молчаніемъ. Дѣло въ томъ, что Мининъ Островскаго не „есть выборный всей земли русской". А почему онъ не имѣетъ этого характера? Потому, что у Островскаго нѣтъ этой земли русской, нѣтъ этого великаго народа. Что жъ это стадо было что ли? Почему же Мининъ сталъ его выборнымъ? Погналъ онъ его, какъ пастухъ стадо? У Островскаго выходитъ почти-что такъ. Ужъ если сравнивать съ чѣмъ народъ, такъ съ чѣмъ-нибудь грандіознымъ, стихійнымъ. Это скорѣе—море-океанъ. Волнующійся и тихій, приливающій и отливающій! У Островскаго на первомъ планѣ *ею* Мининъ; этотъ Мининъ скорѣй распоряжается, чѣмъ служитъ народу; скорѣй народъ его слушаетъ, дѣлаетъ по его замышленію, чѣмъ *онъ* служитъ земскому дѣлу. Этотъ „великъ человѣкъ—міръ" у Островскаго на заднемъ планѣ. Личность болѣе изъ него выдающаяся—это скупердяй Лыткинъ, помѣха земскому дѣлу, язва народнаго дѣла, а Мининъ поставленъ особнякомъ. Есть правда въ рѣзкомъ сравненіи г. Писарева, что постройка Минина напоминаетъ лубочныя картины, гдѣ полководецъ въ три аршина, а воины премахонькіе, въ видѣ насѣкомыхъ какихъ-то. Величіе настоящаго Минина—именно въ томъ, что онъ человѣкъ земскій, что онъ *выборный*, въ полномъ смыслѣ этого слова; человѣкъ—*излюбленный* всею землею русскою.

На отношеніи этого выборнаго къ излюбленному его міру и должна была бы основаться драма. Это наше родное отношеніе отдѣльной личности къ міру должно бы быть на первомъ планѣ. Личность Минина крѣпка излюбившимъ его народомъ. Обратное отношеніе будетъ не народное, не русское, а западноевропейское. Такъ ли долженъ былъ отнестись народный поэтъ, *равный Шекспиру*, какъ отнесся Островскій?

Какъ же народъ является у Островскаго? Единственно живая сцена—это раскладка, кому сколько платить на общее дѣло. Но, вѣдь, это дѣло чисто внѣшнее, второстепенное, и живо написать такую народную сцену—ей-Богу еще не

великое дѣло. А гдѣ эта питающая думы Минина струя? Что она дѣлаетъ? Она машинально повторяетъ слова воззванія Минина; нѣтъ въ ней того одушевленія, которое показывало бы, что это волнуется народъ, что онъ освящаетъ, такъ-сказать, думу Минина, потому что эта дума—*его* сокровенная дума, святая святыхъ *его* души. О слезахъ, о покаянныхъ слезахъ народа передъ совершеніемъ великаго дѣла *только разсказывается!* Наконецъ, ради канареечныхъ чувствій Поспѣлова этотъ народъ отодвигается на задній планъ.

Но, можетъ-быть, скажутъ, что Островскій не нашелъ въ источникахъ дѣяній этого народа. Плохо же онъ смотрѣлъ. Да вотъ вамъ дѣло, оно и въ пятомъ актѣ *Минина* является, только въ ложномъ свѣтѣ. Мининъ беретъ весь народъ въ кабалу, требуетъ отъ него записи. Какъ же это выставляется Островскимъ? Слабо съ обѣихъ сторонъ—и со стороны Минина и, особенно, со стороны народа. Мининъ Островскаго не вѣритъ народу, боится, что народъ отступится отъ дѣла своего освобожденія—и только. Конечно, Мининъ Островскаго въ пятомъ актѣ выигрываетъ со стороны полноты изображенія, со стороны жизненности типа, выступаетъ на видъ то, что это купецъ, даже отчасти кулакъ,—но умѣстно ли же *здѣсь*? Не умѣстнѣе ли эти черты были раньше, вмѣсто лирическаго восторга Минина, который выдержанъ только въ двухъ мѣстахъ (въ монологѣ 2-го акта и въ одномъ разсказѣ о явленіи Св. Сергія)? Тутъ-то, въ этомъ пятомъ актѣ, особенно ясно, что Мининъ Островскаго не выборный, а распорядитель народа, что онъ на него смотритъ, какъ на средство, какъ на стадо. Недовѣріе Минина, по-нашему, въ данномъ случаѣ проистекало изъ сознанія великости дѣла, и это недовѣріе къ народу имѣло источникомъ своимъ не одно убѣжденіе, что *онъ* лучше всѣхъ сдѣлаетъ требуемое, но и любовь къ народу, а этого-то послѣдняго въ 5-мъ актѣ и нѣтъ. Вѣдь, это кулачество—высокая черта: она показываетъ сознаніе громадности дѣла. Но гораздо важнѣе то обстоятельство, что *добровольнаго* подчиненія народа, его самопожертвованія—нѣтъ; оно является какъ-будто вынужденнымъ упорствомъ Минина, но, конечно, не таково оно на самомъ дѣлѣ. Это согласіе народа дать на себя запись—великое дѣло: оно показываетъ глубокое сознаніе важности дѣла; здѣсь, для исполненія задуманнаго дѣла, народъ жертвуетъ *всѣмъ*; онъ добровольно вполнѣ подчиняется своимъ излюбленнымъ

людямъ. А это у Островскаго все происходитъ за сценой; онъ искусно *обошелъ* изображеніе этой великой минуты, какъ и во все продолженіе хроники не менѣе искусно обходитъ изображеніе народа. Въ этомъ, по-нашему,—главная ошибка всей хроники; отъ этого Мининъ не является *выборнымъ* земли русской; исчезаетъ глубокій смыслъ самаго событія.

Конечно, въ „Борисѣ Годуновѣ" захватъ гораздо шире. Стóитъ припомнить только заключительныя слова этой великой эпопеи, это глубокознаменательное „народъ безмолвствуетъ", чтобы понять, какое значеніе народный поэтъ придаетъ этому безмолвствующему народу. А главное—то, что этотъ народъ составляетъ фонъ, основу всего эпоса; онъ, хотя и не вездѣ осязательно,—главное дѣйствующее лицо въ ней. Скажутъ, что многія мѣста у Островскаго *колоритнѣе*, напр., даже самый языкъ. Богъ знаетъ, такъ ли! [1]) Припомнимъ отца Пимена, разсказъ патріарха о чудѣ у гроба царевича Димитрія, наконецъ юродиваго, который поглубже изображенъ, чѣмъ юродивый Островскаго. А польскіе паны, а Марина! И у каждаго свой языкъ, свой свойственный колоритъ. Притомъ колоритность—не главное свойство. И Рафаэля упрекаютъ въ недостаткѣ колоритности, а тѣмъ не менѣе *онъ* величайшій живописецъ-художникъ, а не колоритный Тиціанъ. Кстати, если кого изъ поэтовъ можно сравнять съ Рафаэлемъ, то ужъ, конечно, Пушкина. Въ душѣ Пушкина носился высочайшій идеалъ нравственной красоты. Конечно, независимо отъ главной ошибки Островскаго, въ его хроникѣ остается много прекрасныхъ подробностей, напр., сцены съ Марьей Борисовной.

И не только съ „Борисомъ Годуновымъ" нельзя поставить наравнѣ *Кузьму Минина*, но даже съ 3-мъ и 4-мъ актомъ „Псковитянки" Мея. Эти два акта, безъ сомнѣнія, можно разсматривать, какъ одно геніальное цѣлое, какъ трагедію о „Послѣднемъ Вѣчѣ". Вотъ гдѣ народъ является живымъ

---

[1]) Объ этомъ и вопроса не можетъ быть. Пушкинъ угадалъ самую основную суть того, что народъ нашъ считалъ и считаетъ за самую высшую нравственную красоту души человѣческой; это—тихое, кроткое, спокойное (непоколебимое) *смиреннолюбіе*—если такъ можно выразиться. Что-то младенчески-чистое и ангельское живетъ въ представленіи народномъ о томъ, чтó народъ считаетъ своимъ нравственнымъ идеаломъ. Этою кроткою, смиренною и ничѣмъ непоколебимою любовью проникнута у Пушкина русская *рѣчь въ Годуновѣ*. Далеко не такъ у Островскаго. *Ред.*

лицомъ, со всѣми своими великими достоинствами и недостатками—то вырастающій въ грознаго мужа, то слабый какъ ребенокъ. И что самое главное—народъ у Мея есть фонъ, основа, и на этой-то основѣ, какъ узоры ткани, встаютъ образы и смѣлаго Михайлы Тучи, его товарища Четверки, и всей скопляющейся около нихъ вольницы, и стараго посадника Михайлы Иларіоновича, съ его безнадежно-грустною рѣчью, и слабаго князя Токмакова. И всѣ эти выдающіяся изъ народа лица кровными, органическими нитями связаны съ нимъ; видно, почему народъ *излюбилъ* ихъ и почему вольница излюбила Тучу.

По стопамъ Пушкина должна итти наша поэзія, а не противъ него. Припомню еще важное замѣчаніе, и совершенно справедливое, высказанное П. В. Анненковымъ въ его отвѣтѣ Павлову по случаю памятной бури изъ-за *Грозы*, именно, что Островскій, помимо его художественной дѣятельности, важенъ для насъ въ отношеніи *этнографическомъ*. Типы всякаго великаго поэта до того ясны и прозрачны, что этнографическаго значенія для своихъ современниковъ-соотечественниковъ имѣть не могутъ.

Этихъ сравненій, кажется, достаточно для показанія, какое мѣсто занимаетъ Островскій относительно Пушкина; постараемся теперь опредѣлить это мѣсто по отношенію къ Гоголю и Грибоѣдову. Мнѣ кажется, что и въ этомъ случаѣ Ап. Ал. Григорьевъ перешелъ должную грань.

Самъ же г. Григорьевъ прекрасно разъяснилъ, что есть два рода комедій: *комедія-сатира* и *комедія бытовая*.

Первая имѣетъ своимъ прототипомъ Аристофана; вторая—Шекспира. Не споримъ, что важно опредѣлить: какая комедія принадлежитъ къ этому изъ двухъ типовъ? Не станемъ также, подобно нѣкоторымъ, разсказами объ анекдотахъ, случившихся съ нашими пріятелями, доказывать, что „Ревизоръ“ есть комедія бытовая; согласимся, что это—комедія-сатира. Но что же изъ этого? Неужели мы станемъ унижать одинъ родъ комедіи передъ другимъ? Оба они равно велики и равно художественны. Вѣдь, самъ Ап. Ал. Григорьевъ посмѣется надъ тѣмъ, кто станетъ отвергать комедіи Мольера, даже надъ тѣми, кто будетъ кавалерски относиться къ Корнелю и Расину. Зачѣмъ же онъ отдаетъ предпочтеніе одному роду передъ другимъ, Островскому передъ Гоголемъ? Замѣчу кстати, что Гоголь—въ то же время великій *бытовой*

писатель и истинный заправскій поэтъ по отношенію къ Малороссіи; тутъ нечего ссылаться на мнѣніе гг. Кулиша и К°— они выдумали себѣ малороссійскаго *общечеловѣка* и гнутъ все на свою мѣрку. Имъ и битва въ „Тарасѣ Бульбѣ" не нравится, хотя она прямо, кровно связана съ малороссійскими народными историческими пѣснями!

Наконецъ, есть у насъ великая бытовая (хотя и не народная, а барская) комедія Грибоѣдова. Мнѣніе Бѣлинскаго объ отношеніи Гоголя къ Грибоѣдову должно быть принято совершенно обратно. Что же, будто комедіи Островскаго выше комедіи Грибоѣдова по замыслу и исполненію? Конечно, нѣтъ. Островскій не касался даже той сферы, которой коснулся Грибоѣдовъ; у него нѣтъ своего Чацкаго, а самъ же г. Григорьевъ такъ прекрасно доказалъ, что Чацкій— *единственное* истинно-героическое лицо (хотя нерусское) [1]) во всей нашей литературѣ. Кромѣ, прибавимъ, того, который хотѣлъ жить для того, чтобы мыслить и страдать, кромѣ самого Пушкина въ его лирическихъ стихотвореніяхъ.

И насколько этотъ герой, явившійся, какъ поэтъ, выше Чацкаго, который въ концѣ-концовъ идетъ не къ „умному и доброму народу", а искать по свѣту,

Гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ!

Значеніе писателя, по-нашему, опредѣляется правильнымъ отношеніемъ критики къ его произведеніямъ. Г. Григорьевъ, исходя изъ вѣрнаго принципа, по отношенію къ Островскому, развилъ его слишкомъ односторонне; онъ видѣлъ передъ собою одного своего любимаго писателя, забывъ, что сравнительно-физіологическій пріемъ—одинъ изъ могущественныхъ пріемовъ органической критики, и пренебреженіе имъ ведетъ неминуемо къ страшнымъ ошибкамъ

Русскій Шекспиръ! Назвать Шекспиромъ живого писателя, не достигшаго еще полнаго раскрытія своихъ силъ,— значитъ, по-нашему, кровно обидѣть его. Хорошо еще, что Островскій—дарованіе окрѣпшее, а что если бы въ своемъ

---

[1]) Почему же *нерусское*? Или все, что у насъ есть оторваннаго цивилизаціей отъ народнаго быта,—уже не русское? Напротивъ, типъ Чацкаго только и дорогъ намъ тѣмъ, что это изображеніе *русскаго*, оторваннаго отъ народнаго быта. Иначе, что жъ бы онъ для насъ значилъ? Это доказывается отчасти уже симпатичностью для насъ этого типа и безпрерывною *его повторяемостью* въ нашей литературѣ. *Ред.*

одностороннемъ увлеченіи г. Григорьевъ примѣнилъ этотъ эпитетъ къ дарованію не столь сильному? Печальныя были бы послѣдствія. Сталъ бы такой писатель валять все съ плеча; у меня, дескать, все хорошо выйдетъ: „я равенъ Шекспиру". Если бъ Островскій былъ дѣйствительно Шекспиромъ, то у него была бы своя до того опредѣленная физіономія, что не зачѣмъ было бы называть его такъ. Байронъ, Гёте, Шиллеръ, Пушкинъ, Гоголь—вотъ имена, не нуждающіяся въ эпитетахъ, не нуждающіяся въ томъ, чтобъ ихъ называли Шекспирами. Они сами-по-себѣ; назвать—и довольно; всякій знаетъ, о комъ идетъ рѣчь. Пушкинское міросозерцаніе, Байроновское міросозерцаніе—это ясно. Но міросозерцаніе Шекспира, не настоящаго Шекспира, а дѣланнаго русскаго—это что-то странное. Да и манера Островскаго нисколько непохожа на Шекспировскую, и этимъ оправдать сравненія нельзя.

Между тѣмъ, неправильное отношеніе къ такому огромному таланту, какъ Островскій, влечетъ за собою неминуемыя неправильныя отношенія ко всѣмъ литературнымъ дѣятелямъ. Притомъ, вотъ еще чего страшусь я въ данномъ случаѣ: мы боимся, не есть ли это пристрастіе къ *послѣднему новому слову*? Тутъ предстоитъ въ такомъ случаѣ великая опасность. За увлеченіемъ *новымъ* можетъ послѣдовать увлеченіе *новѣйшимъ*. Все это поведетъ къ необыкновенной запутанности мнѣній вашего критика. Но будемъ надѣяться, что такой опасности нѣтъ.

Самъ же г. Григорьевъ, навѣрное, посмѣялся бы отъ души надъ тѣмъ, кто не захотѣлъ бы признавать романсовъ Глинки потому, что въ романсахъ Даргомыжскаго много *своихъ, незнакомыхъ намъ* по Глинкѣ, красотъ. Или кто въ увлеченіи „Юдиѳью" Сѣрова сталъ бы говорить противъ оперъ Глинки.

А не то ли же дѣлаетъ онъ самъ, называя Островскаго величайшимъ изобразителемъ нашего народнаго духа? Безъ сомнѣнія, въ произведеніяхъ Островскаго много новаго, оригинальнаго; безъ сомнѣнія, заслуги его, какъ драматурга, велики,—но нельзя же на все смотрѣть сквозь призму его произведеній?

Островскій еще далеко не развернулъ всѣ свои силы. Мы въ правѣ ожидать отъ него произведенія, гдѣ всѣ лица будутъ изображены съ тою же поэзіей, съ тѣмъ же увлеченіемъ, съ

тою же смѣлостью, какъ, напр., Дуня въ *Бѣдной Невѣстѣ* или Груша въ *Не такъ живи, какъ хочется*.

Къ чему стараться скрашивать недостатки Островскаго? Къ чему блѣдность изображенія Бориса въ *Грозѣ* оправдывать тѣмъ, что надо же Катеринѣ въ кого-нибудь влюбиться? Къ чему не сказать прямо безъ всякихъ оговорокъ, что изображеніемъ Досужева въ *Тяжелыхъ дняхъ* Островскій пошелъ назадъ противъ изображенія этого же Досужева въ *Доходномъ мѣстѣ*? Будто Островскій нуждается въ подобныхъ *поощреніяхъ*? Скорѣй, напротивъ, ему необходимо строгое осужденіе его недостатковъ. Характеръ Бальзаминова, явившійся эскизно въ первыхъ двухъ частяхъ трилогіи, въ третьей доросъ до живого, типическаго изображенія. Отчего же не то же произошло съ Досужевымъ? Не будетъ ли признаніе Островскаго русскимъ Шекспиромъ своего рода *идоложертвенною требой*? Какъ въ такомъ случаѣ г. Григорьевъ станетъ говорить о пристрастіи „Дня" къ г-жѣ Кохановской? *).

Вотъ что давно хотѣлось высказать мнѣ. Я самъ люблю Островскаго; люблю его—скажу откровенно—больше всѣхъ русскихъ писателей, послѣ Пушкина. Я выставилъ выше Гоголя и Грибоѣдова, но они, собственно, въ сравненіе не идутъ. Мнѣ хотѣлось только показать, что Гоголь имѣетъ свое опредѣленное значеніе; русскій бытъ изображался имъ единственно отрицательно; онъ не бытовой писатель русскій; положительныя попытки во 2-й части „Мертвыхъ Душъ" положительно не удались. И что главное, на чемъ нагляднѣе всего рѣшается вопросъ о бытовомъ писателѣ,—Гоголь не могъ даже эскизно нарисовать ни одного образа *русской* женщины. Грибоѣдовъ также занимаетъ мѣсто исключительное: это скорѣе стремленіе, чѣмъ достиженіе; въ Грибоѣдовѣ, какъ и въ его Чацкомъ, важно *неясное еще* уваженіе къ народу и нашей старинѣ. Но Чацкій уходитъ, въ концѣ-концовъ, на Западъ. Я выставилъ его единственно для опредѣленія *объема* таланта Островскаго.

За что же я люблю такъ горячо Островскаго? За то, что онъ—русскій бытовой писатель. Люблю его за поэзію, которая

*) Еженедѣльная славянофильская газета, выходившая подъ редакціей И. С. Аксакова. Кохановская, писательница (1825—1884 гг.), глубоко проникнутая славянофильскими идеями, узкимъ консерватизмомъ и домостроевскою моралью. *Н. Д.*

го брызжетъ живою струей въ его комедіяхъ. За его
щинъ, за его Дунь и Грушъ, за его масленицу и главное,
особенно приходитъ на умъ по поводу этой масленицы,—
попытку идеала, за попытку положительныхъ формъ рус-
й красоты, которая только еще брезжится нашимъ поэ-
ъ, какъ ранній утренній свѣтъ прекраснаго грядущаго
, но которая еще далеко не настала въ искусствѣ, хотя
и имѣли Пушкина, и ждетъ для этого большой отъ насъ
ы въ себя, и въ наши русскія силы и великаго будущаго
скаго генія, если мы только заслужимъ его у Бога. Люблю
наконецъ, Островскаго за его правильныя, художествен-
ı отношенія даже къ *задачамъ*, даже къ неудавшимся типамъ,
мѣ Минина. Да и какъ мнѣ не любить его! Я самъ изъ
ı сословія, изображенію котораго Островскій посвятилъ свою
шую дѣятельность. Пусть говорятъ, что онъ обличилъ
ечество. Мы *гордимся* этимъ обличеніемъ. Пусть говорятъ,
мы самодуры; мы знаемъ, что и въ Китѣ Китычѣ есть
реніе передъ правдой, что и онъ, безобразникъ, покло-
ıся самъ своею волей и совѣстью, изъ смиреннаго стыда
едъ правдой, учителю Иванову. Только учитель-то, къ
частію, не понялъ этого. Не понимаютъ и наши литера-
ные учителя, какъ не понялъ и очень умный изъ нихъ—
ролюбовъ. Пусть, пусть говорятъ, что мы „темное
ство",—изъ этого темнаго, по-вашему, царства вышелъ
икій выборный всей земли Русской.

Одинъ изъ почитателей Островскаго.

Мотивы русской драмы [1]).

I.

*) Основываясь на драматическихъ произведеніяхъ Островскаго, Добролюбовъ показалъ намъ въ русской семьѣ то „темное царство“, въ которомъ вянутъ умственныя способ-

---

[1]) „Русское Слово“, 1864 г., № 3.

*) Дм. Ив. Писаревъ, извѣстный русскій критикъ (1841—1868 гг.), родился въ помѣщичьей семьѣ. Воспитаніе будущаго разрушителя эстетики велось по шаблону того времени. Онъ болталъ по-французски, забавлялъ знакомыхъ и родственниковъ разнообразными Muterwitz'ами; мать особенно заботилась о его физическомъ здоровьѣ, для чего его упитывали и холили. Несмотря на то, что юный Дмитрій Иванов. воспитывался въ захолустьѣ бокъ-о-бокъ съ массой крѣпостного крестьянства, воспитатели всячески заботились, чтобы юный джентльменъ не соприкасался съ представителями черной кости и не заимствовалъ отъ нихъ ихъ плебейскихъ привычекъ, особенностей ихъ языка и нрава. Писаревъ растетъ вполнѣ свѣтскимъ юношей, годнымъ для ролей аташе при какомъ-нибудь изъ нашихъ посольствъ. Онъ отличается хорошими манерами, послушаніемъ и трогательнымъ подчиненіемъ авторитету старшихъ. Въ гимназіи онъ на хорошемъ счету у начальства, по „предметамъ“ всегда имѣетъ высшіе баллы, а потому при выпускѣ и получаетъ золотую медаль. Несмотря, однако, на свой аттестатъ зрѣлости, онъ поразительно мало выноситъ изъ заведенія, отличается крайне слабымъ умственнымъ развитіемъ и въ 16 лѣтъ не находитъ болѣе полезнаго для себя занятія, какъ раскрашиваніе картинокъ въ иллюстрированныхъ изданіяхъ. Юный студентъ приступилъ, было, къ серіозному чтенію, но на первой же книгѣ, которая оказалась „Исторіей Англіи“ Маколея, произведеніи, не отличающемся никакими головоломными трудностями для читателя, пасуетъ, и она ему кажется „кодексомъ гіероглифическихъ надписей“. Писареву оказываются доступными и на студенческой скамьѣ все тѣ же его старые знакомые: „Три мушкатера“ Дюма и романы въ такомъ же стилѣ. И университетскіе годы тоже не даютъ Писареву того умственнаго развитія, на которое онъ могъ бы претендовать, какъ будущій писатель и вожакъ революціоннаго движенія въ области эстетики. Изъ университета онъ выходитъ безъ сложившихся убѣжденій, безъ научнаго багажа. Это видно, между прочимъ, изъ его же личныхъ признаній въ 1862 г.

Вліяніе Герцена и его „Колокола“ въ 60-хъ годахъ всѣмъ хорошо *извѣстно. Русское* правительство, обезпокоенное этимъ обстоятельствомъ

ности и истощаются свѣжія силы нашихъ молодыхъ поколѣній. Статью прочли, похвалили и потомъ отложили въ сторону. Любители патріотическихъ иллюзій, не сумѣвшіе сдѣлать Добролюбову ни одного основательнаго возраженія,

---

задумало подорвать довѣріе общества къ знаменитому публицисту, находившемуся внѣ сферы жандармскаго вліянія, подъ защитой англійскихъ законовъ. Для этой цѣли оно прибѣгло къ помощи нашего бельгійскаго агента министерства финансовъ, барону Ф. И. Фирксу. Баронъ написалъ брошюру, изданную за границей и умышленно пропущенную въ Россію, гдѣ всячески поносилъ Искандера (Герценъ). Баронъ подъ этимъ произведеніемъ подписался именемъ Шедо-Ферроти.

Начало издательской дѣятельности нашего правительства вызвало прокламацію нѣкоего Баллода, гдѣ онъ говоритъ: „Въ дѣйствіяхъ нашего правительства, подавляющаго всякое проявленіе жизни, замѣчается новая черта—трусливая подлость іезуита. Не переставая ссылать, засѣкать, пытать, разстрѣливать, оно употребляетъ скрытыя, но вполнѣ достойныя его мѣры тамъ, гдѣ нельзя ничего сдѣлать грубымъ василіемъ. На-дняхъ оно пустило въ продажу брошюру, написанную какимъ-то Шедо-Ферроти и направленную противъ Герцена". Далѣе авторъ прокламаціи говоритъ о томъ, что такой способъ борьбы, при которомъ одна сторона можетъ нападать и клеветать, а другая лишена возможности защищаться, недостоинъ уважающихъ себя людей.

Съ этимъ Баллодомъ совершенно случайно познакомился Писаревъ. Однажды между ними зашелъ разговоръ о брошюрѣ Ферроти, и Писаревъ сказалъ, что онъ написалъ о ней резензію для „Русск. Слова", но что цензура ея не пропустила. Баллодъ попросилъ ее для себя, но Писаревъ отвѣтилъ, что „не стоитъ ее читать". „Такъ ты напиши такую, чтобъ стоило прочитать", сказалъ Баллодъ.—„Зачѣмъ тебѣ?" спросилъ Писаревъ. Баллодъ отвѣтилъ, что, можетъ-быть, ему удастся ее напечатать: „Изволь". Вскорѣ статья была написана и передана Баллоду, но на другой же день онъ былъ арестованъ, статья попала въ руки полиціи, и Писаревъ привлеченъ къ отвѣтственности. Статья написана бойко, въ рѣзкомъ, вызывающемъ тонѣ, свойственномъ перу Писарева, и заканчивается предсказаніемъ скорой гибели петербургской бюрократіи, ибо „ихъ не спасутъ ни министры, подобные Валуеву, ни литераторы, подобные Шедо-Ферроти. То, что мертво и гнило, должно само-собою свалиться въ могилу. Намъ остается только дать имъ послѣдній толчокъ и забросать грязью ихъ смердящіе трупы". Но „трупы" оказались гальванизированными, и Писареву пришлось держать передъ ними отвѣтъ, въ которомъ онъ характеризуетъ себя. Эта характеристика важна для насъ въ данный моментъ потому, что она совпадаетъ съ тѣмъ заключеніемъ, которое мы выносимъ непосредственно изъ сочиненій Писарева.

Въ своемъ признаніи суду, которое онъ называетъ „вполнѣ истиннымъ" и „готовъ подтвердить его даже присягою", Писаревъ говоритъ, что онъ „человѣкъ впечатлительный и сильно увлекающійся—это доказывается, во-1-хъ, моимъ умопомѣшательствомъ"—и присовокупляетъ: „свѣдѣнія о моемъ темпераментѣ могутъ быть получены отъ докторовъ Штейна и

продолжали упиваться своими иллюзіями и, вѣроятно, будутъ продолжать это занятіе до тѣхъ поръ, пока будутъ находить себѣ читателей. Глядя на эти постоянныя колѣнопреклоненія передъ народною мудростью и передъ народною правдой,

---

Шульца, пользовавшихъ меня въ время моей душевной болѣзни". Затѣмъ Писаревъ въ доказательство своей душевной неуравновѣшенности указываетъ на ссору съ мужемъ своей бывшей невѣсты Гарднеромъ, гдѣ онъ оскорбилъ ни въ чемъ неповиннаго человѣка, имѣвшаго несчастье понравиться дѣвушкѣ больше, чѣмъ Писаревъ. Наконецъ, онъ указываетъ на свои карточные долги. Свое сознаніе Писаревъ заканчиваетъ словами: „Я умоляю Его Величество не считать меня закоренѣлымъ преступникомъ и взглянуть на мою преступную статью, какъ на минутный порывъ, а не какъ на выраженіе обдуманнаго плана дѣйствій. Я такъ молодъ, такъ способенъ увлекаться и ошибаться, такъ мало знаю жизнь, что часто не умѣю взвѣсить свои слова и поступки".

Такимъ Писаревъ представляется намъ и въ своихъ произведеніяхъ. Онъ часто хватаетъ черезъ край, увлекается и ошибается, побѣдоносно выкрикиваетъ свои безапелляціонные приговоры, ухарски набрасывается на автора, точно онъ его кровный врагъ, и не опровергаетъ, а уничтожаетъ; онъ всегда считаетъ себя непогрѣшимымъ, а потому не считаетъ нужнымъ доказывать; онъ деспотически навязываетъ потому, что заранѣе убѣжденъ, что и авторъ и его читатель—люди слабоумные и недоросшіе до истиннаго пониманія вещей; его полемическіе пріемы таковы, что имъ, вѣроятно, втихомолку завидуетъ г. Буренинъ. Бранныя слова, оскорбительные эпитеты сыплются въ ошеломляющемъ количествѣ на головы несчастныхъ авторовъ, имѣвшихъ несчастіе не понравиться строгому критику.

Увлекшись естественными науками, и, кажется, по указкѣ редактора „Русскаго Слова" Благосвѣтлова, Писаревъ готовъ всѣхъ, начиная поэтами и кончая газетными репортерами, заставить популяризировать матеріалистическія идеи. Въ приводимой мною статьѣ—„Мотивы русской драмы"—онъ доходитъ въ своей проповѣди естествознанія, какъ панацеи, до того, что рекомендуетъ „проникнуться глубочайшимъ уваженіемъ и пламенною любовью къ распластанной лягушкѣ... Тутъ-то именно,—наставительно заключаетъ Писаревъ,—въ самой лягушкѣ и заключается спасеніе и обновленіе русскаго народа".

„Циклопизмъ" все болѣе и болѣе овладѣваетъ Писаревымъ, и, наконецъ, онъ въ Базаровѣ Тургенева находитъ настоящаго человѣка современности и принимается развивать его идеи. Въ качествѣ „строго послѣдовательнаго реалиста" и „мыслящей личности", Писаревъ допускаетъ въ жизни только то, что *полезно* человѣку, только то, что *нужно*. Безъ одежды, пищи, жилища обойтись нельзя,—они безусловно нужны; нужны также и научныя знанія, такъ какъ они помогаютъ человѣку въ борьбѣ съ природой за существованіе, но нужна ли музыка, скульптура, живопись, поэзія? Конечно, нѣтъ; наслажденія, доставляемыя искусствомъ, „въ сущности ничѣмъ не отличаются отъ пріапическихъ улыбокъ и чувственныхъ поползновеній". *Исходя изъ* этихъ соображеній, Писареву надо было свергнуть

замѣчая, что довѣрчивые читатели принимаютъ за чистую монету ходячія фразы, лишенныя всякаго содержанія, и зная, что народная мудрость и народная правда выразились всего полнѣе въ сооруженіи нашего семейнаго быта,—добро-

---

вмѣстѣ съ эстетикой и столповъ ея, что́ онъ, со свойственною ему быстротою, прямолинейностью и самоувѣренностью, и дѣлаетъ. Однимъ почеркомъ пера предаетъ анаѳемѣ и посмѣянію Лермонтова, Гоголя, Грибоѣдова, Крылова, какъ „зародышей поэтовъ", и, наконецъ, наступаетъ чередъ Пушкина. Пушкинъ „поддерживаетъ своимъ авторитетомъ робость, безпечность и неповоротливость индивидуальной мысли... Онъ подавляетъ личную энергію, обезоруживаетъ личный протестъ и укрѣпляетъ тѣ общественные предразсудки, которые всякій мыслящій человѣкъ обязанъ разрушать всѣми силами своего ума и всѣмъ запасомъ своихъ знаній". Кромѣ того, Пушкинъ поэтъ, а поэзію Писаревъ допускаетъ только въ томъ случаѣ, если она служитъ исключительно интересамъ непосредственной пользы, т. е. обращаетъ вниманіе на фактическій матеріалъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы мы могли „пробѣгать" художественное произведеніе, какъ „мы пробѣгаемъ отдѣлъ иностранныхъ извѣстій въ газетѣ". Художникъ не долженъ отвлекать наше вниманіе отъ пріобрѣтенія полезныхъ знаній ни особенностью и красотою своего языка, ни образами своей фантазіи; онъ долженъ быть точенъ въ передачѣ фактовъ дѣйствительности, какъ телеграфъ, ибо „достоинство телеграфа заключается въ томъ, чтобъ онъ передавалъ извѣстія быстро и вѣрно, а никакъ не въ томъ, чтобы проволока изображала собою разныя извилины и арабески". Питаясь беллетристикой и развивая идеи тургеневскаго Базарова, Писаревъ своими статьями рубилъ, въ сущности, сукъ, на которомъ самъ сидѣлъ, и „Современникъ" былъ правъ, когда писалъ про Писарева и его сподвижника Зайцева: „Въ видѣ Базарова они получаютъ желанный реалистическій талисманъ и ключъ къ скромному, почти механическому рѣшенію всѣхъ вопросовъ".

Несмотря, однако, на столь однобокое и прямолинейное рѣшеніе общественныхъ и литературныхъ вопросовъ, Писаревъ сдѣлалъ себѣ крупное литературное имя, окруженное блескомъ и полемическими схватками литературныхъ бойцовъ, принадлежащихъ къ противоположнымъ партіямъ. Мнѣ кажется, что причиною этого является прежде всего настроеніе тогдашней молодежи, ставшей въ ряды „писаревщины". Герценъ со свойственною ему наблюдательностью характеризуетъ молодое поколѣніе 60-хъ годовъ, какъ людей нетерпимыхъ и нетерпѣливыхъ, съ отвращеніемъ относившихся ко всякой критикѣ и долгимъ обсужденіямъ. Ихъ мало занимали теоретическіе вопросы, они совершенно не считались съ необходимостью привести свои идеалы въ равновѣсіе съ дѣйствительностью, имъ не хватало ни того общаго развитія, которое дается хорошимъ воспитаніемъ, ни той содержательности, которая пріобрѣтается изученіемъ науки. „Эпоха великихъ реформъ", окрыливъ надеждами молодежь, вызвала упоеніе свободой, и со свойственнымъ молодости увлеченіемъ они откинули всѣ обычныя формы общежитія. Разрушая наслѣдіе былого, одряхлѣвшаго прошлаго, они въ азартѣ подняли сѣкиру и надъ тѣмъ, что́ было положительнаго и жизненнаго въ жизни дореформеннаго общества. Прямолинейно

совѣстная критика поставлена въ печальную необходимость повторять по нѣскольку разъ тѣ положенія, которыя давно уже были высказаны и доказаны. Пока будутъ существовать явленія „темнаго царства“ и пока патріотическая мечтатель-

---

отстаивая все, что казалось имъ прямою противоположностью прошлому, они стали въ противорѣчіе со всѣмъ человѣческимъ обществомъ. „Вы всего вѣжливѣе по отношенію къ стоящимъ выше васъ —мы будемъ грубы со всѣми. Вы раскланиваетесь, не уважая—мы будемъ наступать на ноги, не извиняясь!“ Это была грубость лакея или семинариста. Политика нашего правительства, сначала, было, пошедшаго по пути реформъ, стала быстро склоняться къ старымъ средствамъ управленія страной—репрессіямъ, тюрьмамъ, административному произволу и безсудію. Это вызвало раздраженіе и скрытую ненависть въ обществѣ вообще, а среди молодежи, по самой природѣ своей революціонной, въ особенности. Время ли тутъ заниматься „эстетикой“, когда такъ много неотложнаго дѣла, когда нужно упразднить наслѣдіе николаевщины и въ религіозной, и въ философской, и въ общественной, и, наконецъ, въ политической и экономической областяхъ? Отсюда подчеркнутое пренебреженіе ко всякой духовной роскоши и, въ особенности, къ искусству.

Отсюда ясно, что Писаревъ съ его рѣзкою нетерпимостью, съ его призывомъ къ личной самостоятельности, къ неустанному умственному развитію, съ его вѣрой въ быстрое обновленіе жизни по несложному рецепту, съ его ясною, удобочитаемою рѣчью, отмѣченною несомнѣннымъ литературнымъ талантомъ, съ его жестокими и, зачастую, остроумными издѣвательствами надъ противникомъ, съ его способностями къ образности выраженій и тѣмъ разнообразнымъ художественнымъ фіоритурамъ, которыя онъ такъ порицалъ въ другихъ,—не можетъ не пріобрѣсти обширную аудиторію. Къ самымъ сложнымъ и труднымъ вопросамъ онъ подходитъ съ такою развязностью, легкостью, что самый неподготовленный читатель чувствуетъ себя въ курсѣ дѣла. Рѣчь Писарева такъ плавна, легка, такъ уснащена остротами, діалогами, обращеніями къ читателю или автору разбираемаго произведенія, такъ удачно снабжена возбуждающимъ аппетитъ соусомъ, что читатель легко поглощаетъ сотни страницъ, нисколько не утомляя вниманія. Старый міръ никуда негодится. Достаточно хорошаго пинка—и онъ рухнетъ. Все подлежитъ сломкѣ и уничтоженію. Кто же займется этою работой? Кому она подъ силу? Конечно, по мнѣнію Писарева, новымъ людямъ, которыми является поколѣніе, современное Писареву.

При массовомъ движеніи 60-хъ годовъ, разумѣется, типъ „нигилиста“ не могъ быть исчерпанъ молодежью, о которой такъ нелестно отзывается Герценъ и которую Тургеневъ рисуетъ въ своемъ романѣ „Новь“. Конечно, Неждановъ, Остродумовъ, Соломинъ, Маріанна, Машурина воспроизводятъ черты революціоннаго поколѣнія 60-хъ и 70-хъ годовъ въ его массахъ, но это не передовая молодежь, это не руководители и вдохновители освободительнаго движенія: въ нихъ нѣтъ той осмысленной вѣры въ живое дѣло, которому они служатъ, серіознаго нравственнаго закала той душевной бодрости, уравновѣшенности и здоровья, которыми обладали лучшіе *представители* „пропагандистовъ“, „революціонеровъ“ и „агитаторовъ“.

ность будетъ смотрѣть на нихъ сквозь пальцы, до тѣхъ поръ намъ постоянно придется напоминать читающему обществу вѣрныя и живыя идеи Добролюбова о нашей семейной жизни. Но при этомъ намъ придется быть строже и послѣдовательнѣе Добролюбова; намъ необходимо будетъ защищать его идеи противъ его собственныхъ увлеченій; тамъ, гдѣ Добролюбовъ поддался порыву эстетическаго чувства, мы постараемся разсуждать хладнокровно и увидимъ, что наша семейная патріархальность подавляетъ всякое здоро-

---

Дѣйствительные представители идей и стремленій молодого поколѣнія 60-хъ годовъ были люди выше средняго уровня, а та масса „вислоухихъ и юродствующихъ,—какъ выражается о нихъ Щедринъ,—которые, съ ухарскою развязностью прикомандировавъ себя къ дѣлу, дѣлаемому молодымъ поколѣніемъ“, только дискредитировали освободительное движеніе своею кричащею пропагандой, своими незрѣлыми теоріями, своею аффектированною рѣзкостью, своими грубыми полемическими пріемами, своею нетерпимостью, своею способностью схватить только лишь наружные признаки радикализма. „Нѣтъ мысли,—говоритъ Щедринъ,—которой наши вислоухіе не обезславили бы, нѣтъ дѣла, котораго они не засидѣли бы. „Я демократъ“,—говоритъ вамъ вислоухій и доказываетъ это тѣмъ, что ходитъ въ поддевкѣ и сморкается безъ помощи платка. „Я нигилистъ и не имѣю никакихъ предразсудковъ“,—говоритъ вамъ другой вислоухій и доказываетъ это тѣмъ, что во всякое время дня готовъ выбѣжать голый на улицу. И напрасно вы будете увѣрять его, что въ первомъ случаѣ онъ совсѣмъ не демократъ, а только нечистоплотный человѣкъ, и что во второмъ случаѣ онъ тоже не болѣе какъ бойкій человѣкъ, безъ надобности подвергающій себя заключенію въ частномъ домѣ,—не повѣритъ онъ ни за что и васъ же обругаетъ аристократомъ и отсталымъ человѣкомъ“.

Главаремъ этой массы, ея enfants terribles, „горлапаномъ“ и были Писаревъ, Зайцевъ и Н. В. Соколовъ, и отчасти Щаповъ и Шелгуновъ.

Благодаря бюрократическому гнету, разобщенности и тѣмъ насиліямъ, которымъ подвергался каждый желавшій работать на народной нивѣ, всякій протестъ, всякое слово осужденія, всякая рѣзкая выходка, всякое осмѣяніе имѣли успѣхъ, если они были произнесены во имя прогресса. Все, что, казалось, было способнымъ разбудить общество, было желаннымъ. При экзальтированности, свойственной молодежи, при легкой ея возбудимости, при ея горячности, толкающей ее на самые рискованные шаги, при болѣзненно-чуткомъ ея реагированіи на всякій произволъ, всякое притѣсненіе, гоненіе на то, что ей представляется правомъ и правдой, во что она вѣритъ, какъ въ непреложный догматъ, и что готова защищать, не останавливаясь ни передъ какими жертвами, она представляетъ собою превосходную аудиторію для всякихъ трибуновъ, проповѣдующихъ крайнія мнѣнія. Вотъ, почему Писареву, при его литературномъ талантѣ, было легко въ свое время пріобрѣсти такой обширный кругъ читателей и почитателей.

Приводимая здѣсь статья, какъ и большинство статей Писарева, написана имъ въ тюрьмѣ. *Прим. Н. Денисюка.*

вое развитіе. Драма Островскаго *Гроза* вызвала со стороны Добролюбова критическую статью подъ заглавіемъ: „Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ". Эта статья была ошибкой со стороны Добролюбова: онъ увлекся симпатіей къ характеру Катерины и принялъ ея личность за свѣтлое явленіе. Подробный анализъ этого характера покажетъ нашимъ читателямъ, что взглядъ Добролюбова въ этомъ случаѣ, невѣренъ и что ни одно свѣтлое явленіе не можетъ ни возникнуть ни сложиться въ „темномъ царствѣ" патріархальной русской семьи, выведенной на сцену въ драмѣ Островскаго.

II.

Катерина, жена молодого купца, Тихона Кабанова, живетъ съ мужемъ въ домѣ своей свекрови, которая постоянно ворчитъ на всѣхъ домашнихъ. Дѣти старой Кабанихи, Тихонъ и Варвара, давно прислушались къ этому брюзжанію и умѣютъ его „мимо ушей пропущать", на томъ основаніи, что „ей, вѣдь, что-нибудь надо жъ говорить". Но Катерина никакъ не можетъ привыкнуть къ манерамъ своей свекрови и постоянно страдаетъ отъ ея разговоровъ. Въ томъ же городѣ, въ которомъ живутъ Кабановы, находится молодой человѣкъ, Борисъ Григорьевичъ, получившій порядочное образованіе. Онъ заглядывается на Катерину въ церкви и на бульварѣ, а Катерина, съ своей стороны, влюбляется въ него, но желаетъ сохранить въ цѣлости свою добродѣтель. Тихонъ уѣзжаетъ куда-то на двѣ недѣли; Варвара по добродушію помогаетъ Борису видѣться съ Катериной, и влюбленная чета наслаждается полнымъ счастьемъ въ продолженіе десяти лѣтнихъ ночей. Пріѣзжаетъ Тихонъ; Катерина терзается угрызеніями совѣсти, худѣетъ и блѣднѣетъ; потомъ ее пугаетъ гроза, которую она принимаетъ за выраженіе небеснаго гнѣва; въ это же время смущаютъ ее слова полоумной барыни о геенѣ огненной; все это она принимаетъ на свой счетъ; на улицѣ при народѣ она бросается передъ мужемъ на колѣни и признается ему въ своей винѣ. Мужъ, по приказанію своей матери, „побилъ ее немножко", послѣ того какъ они воротились домой; старая Кабаниха съ удвоеннымъ усердіемъ принялась точить покаявшуюся грѣшницу упреками и нравоученіями; къ Катеринѣ приставили крѣпкій домашній караулъ, однако ей удалось убѣжать изъ

дома: она встрѣтилась со своимъ любовникомъ и узнала отъ него, что онъ, по приказанію дяди, уѣзжаетъ въ Кяхту; потомъ, тотчасъ послѣ этого свиданія, она бросилась въ Волгу и утонула. Вотъ тѣ данныя, на основаніи которыхъ мы должны составить себѣ понятіе о характерѣ Катерины. Я далъ моему читателю голый перечень такихъ фактовъ, которые въ моемъ разсказѣ могутъ показаться слишкомъ рѣзкими, безсвязными и, въ общей совокупности, даже неправдоподобными. Чтó это за любовь, возникающая отъ обмѣна нѣсколькихъ взглядовъ? Чтó это за суровая добродѣтель, сдающаяся при первомъ удобномъ случаѣ? Наконецъ, чтó это за самоубійство, вызванное такими мелкими непріятностями, которыя переносятся совершенно благополучно всѣми членами всѣхъ русскихъ семействъ.

Я передалъ факты совершенно вѣрно, но, разумѣется, я не могъ передать въ нѣсколькихъ строкахъ тѣ оттѣнки въ развитіи дѣйствія, которые, смягчая внѣшнюю рѣзкость очертаній, заставляютъ читателя или зрителя видѣть въ Катеринѣ не выдумку автора, а живое лицо, дѣйствительно способное сдѣлать всѣ вышеозначенныя эксцентричности. Читая *Грозу* или смотря ее на сценѣ, вы ни разу не усомнитесь въ томъ, что Катерина должна была поступать въ дѣйствительности именно такъ, какъ она поступаетъ въ драмѣ. Вы увидите передъ собой и поймете Катерину, но, разумѣется, поймете ее такъ или иначе, смотря по тому, съ какой точки зрѣнія вы на нее посмотрите. Всякое живое явленіе отличается отъ мертвой отвлеченности именно тѣмъ, что его можно разсматривать съ разныхъ сторонъ, и, выходя изъ однихъ и тѣхъ же основныхъ фактовъ, можно приходить къ различнымъ и даже къ противоположнымъ заключеніямъ. Катерина испытала на себѣ много разнородныхъ приговоровъ; нашлись моралисты, которые обличили ее въ безнравственности; это было всего легче сдѣлать: стоило только сличить каждый поступокъ Катерины съ предписаніями положительнаго закона и подвести итоги; на эту работу не требовалось ни остроумія ни глубокомыслія, и поэтому ее дѣйствительно исполнили съ блестящимъ успѣхомъ писатели, не отличающіеся ни тѣмъ ни другимъ изъ этихъ достоинствъ; потомъ явились эстетики и рѣшили, что Катерина—свѣтлое явленіе; эстетики, разумѣется, стояли неизмѣримо выше неумолимыхъ поборниковъ благочинія, и

поэтому первыхъ выслушали съ уваженіемъ, между тѣмъ какъ послѣднихъ тотчасъ же осмѣяли. Во главѣ эстетиковъ стоялъ Добролюбовъ, постоянно преслѣдовавшій эстетическихъ критиковъ своими мѣткими и справедливыми насмѣшками. Въ приговорѣ надъ Катериной онъ сошелся со своими всегдашними противниками и сошелся потому, что, подобно имъ, сталъ восхищаться общимъ впечатлѣніемъ, вмѣсто того чтобы подвергнуть это впечатлѣніе спокойному анализу. Въ каждомъ изъ поступковъ Катерины можно отыскать привлекательную сторону; Добролюбовъ отыскалъ эти стороны, сложилъ ихъ вмѣстѣ, составилъ изъ нихъ идеальный образъ, увидалъ вслѣдствіе этого „лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“ и, какъ человѣкъ, полный любви, обрадовался этому лучу чистою и святою радостью гражданина и поэта. Если бъ онъ не поддался этой радости, если бъ онъ на одну минуту попробовалъ взглянуть спокойно и внимательно на свою драгоцѣнную находку, то въ его умѣ тотчасъ родился бы самый простой вопросъ, который немедленно привелъ бы за собой полное разрушеніе привлекательной иллюзіи. Добролюбовъ спросилъ бы самого себя: какъ могъ сложиться этотъ свѣтлый образъ? Чтобы отвѣтить себѣ на этотъ вопросъ, онъ прослѣдилъ бы жизнь Катерины съ самаго дѣтства, тѣмъ болѣе, что Островскій даетъ на это нѣкоторые матеріалы; онъ увидѣлъ бы, что воспитаніе и жизнь не могли дать Катеринѣ ни твердаго характера ни развитого ума; тогда онъ еще разъ взглянулъ бы на тѣ факты, въ которыхъ ему бросилась въ глаза одна привлекательная сторона, и тутъ вся личность Катерины представилась бы ему въ совершенно другомъ свѣтѣ. Грустно разставаться съ свѣтлою иллюзіей, а дѣлать нечего; пришлось бы и на этотъ разъ удовлетвориться темною дѣйствительностью.

III.

Во всѣхъ поступкахъ и ощущеніяхъ Катерины замѣтна, прежде всего, рѣзкая несоразмѣрность между причинами и слѣдствіями. Каждое внѣшнее впечатлѣніе потрясаетъ весь ея организмъ; самое ничтожное событіе, самый пустой разговоръ производятъ въ ея мысляхъ, чувствахъ и поступкахъ цѣлые перевороты. Кабаниха ворчитъ—Катерина отъ этого изнываетъ; Борисъ Григорьевичъ бросаетъ нѣжные взгляды—

Катерина влюбляется; Варвара говоритъ мимоходомъ нѣсколько словъ о Борисѣ—Катерина заранѣе считаетъ себя погибшею женщиной, хотя она до тѣхъ поръ даже не разговаривала со своимъ будущимъ любовникомъ; Тихонъ отлучается изъ дома на нѣсколько дней—Катерина падаетъ передъ нимъ на колѣни и хочетъ, чтобъ онъ взялъ съ нея страшную клятву въ супружеской вѣрности; Варвара даетъ Катеринѣ ключъ отъ калитки—Катерина, подержавшись за этотъ ключъ въ продолженіе пяти минутъ, рѣшаетъ, что она непремѣнно увидитъ Бориса и кончаетъ свой монологъ словами: „Ахъ, какъ бы ночь поскорѣе!“ А между тѣмъ, даже и ключъ-то былъ данъ ей преимущественно для любовныхъ интересовъ самой Варвары, и въ началѣ своего монолога Катерина находила даже, что ключъ жжетъ ей руки и что его непремѣнно слѣдуетъ бросить. При свиданіи съ Борисомъ, конечно, повторяется та же исторія: сначала „поди прочь, окаянный человѣкъ“, а вслѣдъ затѣмъ на шею кидается. Пока продолжаются свиданія, Катерина думаетъ только о томъ, что „погуляемъ“; какъ только пріѣзжаетъ Тихонъ и вслѣдствіе этого ночныя прогулки прекращаются, Катерина начинаетъ терзаться угрызеніями совѣсти и доходитъ въ этомъ направленіи до полусумасшествія; а между тѣмъ, Борисъ живетъ въ томъ же городѣ, все идетъ по-старому, и, прибѣгая къ маленькимъ хитростямъ и предосторожностямъ, можно было бы кое-когда видѣться и наслаждаться жизнью. Но Катерина ходитъ, какъ потерянная, и Варвара очень основательно боится, что она бухнется мужу въ ноги, да и разскажетъ ему все по порядку. Такъ оно и выходитъ, и катастрофу эту производитъ стеченіе самыхъ пустыхъ обстоятельствъ. Грянулъ громъ; Катерина потеряла послѣдній остатокъ своего ума, а тутъ еще прошла по сценѣ полоумная барыня съ двумя лакеями и произнесла всенародную проповѣдь о вѣчныхъ мученіяхъ; а тутъ еще на стѣнѣ въ крытой галлереѣ нарисовано адское пламя и все это одно къ одному—ну, посудите сами, какъ же, въ самомъ дѣлѣ, Катеринѣ не разсказать мужу тутъ же, при Кабанихѣ и при всей городской публикѣ, какъ она провела во время отсутствія Тихона всѣ десять ночей. Окончательная катастрофа, самоубійство, точно такъ же происходитъ экспромптомъ. Катерина убѣгаетъ изъ дому съ неопредѣленною надеждой увидать своего Бориса; она еще не

думаетъ о самоубійствѣ; она жалѣетъ о томъ, что прежде убивали, а теперь не убиваютъ; она спрашиваетъ: „Долго ли еще мнѣ мучиться?“ Она находитъ неудобнымъ, что смерть не является. „Ты, говоритъ, ее кличешь, а она не приходитъ“. Ясно, стало-быть, что рѣшенія на самоубійство еще нѣтъ, потому что въ противномъ случаѣ не о чемъ было бы и толковать. Но, вотъ, пока Катерина разсуждаетъ такимъ образомъ, является Борисъ; происходитъ нѣжное свиданіе. Борисъ говоритъ: „Ѣду“. Катерина спрашиваетъ:—Куда ѣдешь?—Ей отвѣчаютъ: „Далеко, Катя, въ Сибирь“.—Возьми меня съ собой отсюда!—„Нельзя мнѣ, Катя“. Послѣ этого разговоръ становится уже менѣе интереснымъ и переходитъ въ обмѣнъ взаимныхъ нѣжностей. Потомъ, когда Катерина остается одна, она спрашиваетъ себя: „Куда теперь? домой итти?“ и отвѣчаетъ: „Нѣтъ, мнѣ что домой, что въ могилу—все равно“. Потомъ слово „могила“ наводитъ ее на новый рядъ мыслей, и она начинаетъ разсматривать могилу съ чисто-эстетической точки зрѣнія, съ которой, впрочемъ, людямъ до сихъ поръ удавалось смотрѣть только на чужія могилы.

„Въ могилѣ, говоритъ, лучше... Подъ деревцомъ могилушка... какъ хорошо!.. Солнышко ее грѣетъ, дождичкомъ ее мочитъ... весной на ней травка вырастаетъ, мягкая такая... птицы прилетятъ на дерево, будутъ пѣть, дѣтей выведутъ, цвѣточки расцвѣтутъ: желтенькіе, красненькіе, голубенькіе... всякіе, всякіе“.

Это поэтическое описаніе могилы совершенно очаровываетъ Катерину, и она объявляетъ, что „о жизни и думать не хочется“. При этомъ, увлекаясь эстетическимъ чувствомъ, она даже совершенно упускаетъ изъ виду геенну огненную, а, между тѣмъ, она вовсе неравнодушна къ этой послѣдней мысли, потому что въ противномъ случаѣ не было бы сцены публичнаго покаянія въ грѣхахъ, не было бы отъѣзда Бориса въ Сибирь, и вся исторія о ночныхъ прогулкахъ оставалась бы шитою и крытою. Но въ послѣднія свои минуты Катерина до такой степени забываетъ о загробной жизни, что даже складываетъ руки крестъ-на-крестъ, какъ въ гробу складываютъ, и, дѣлая это движеніе руками, она даже тутъ не сближаетъ идеи о самоубійствѣ съ идеею о геенне огненной. Такимъ образомъ, дѣлается прыжокъ въ Волгу, и драма оканчивается.

IV.

Вся жизнь Катерины состоитъ изъ постоянныхъ вну-
›еннихъ противорѣчій; она ежеминутно кидается изъ одной
›айности въ другую; она сегодня раскаивается въ томъ,
гб дѣлала вчера, и, между тѣмъ, сама не знаетъ, чтб
'детъ дѣлать завтра; она на каждомъ шагу путаетъ и
›ою собственную жизнь и жизнь другихъ людей; наконецъ,
›репутавши все, чтб было у нея подъ руками, она разру-
›етъ затянувшіеся узлы самымъ глупымъ средствомъ—само-
›ійствомъ, да еще такимъ самоубійствомъ, которое является
›вершенно неожиданно для нея самой. Эстетики не могли
› замѣтить того, чтб бросается въ глаза во всемъ поведе-
и Катерины; противорѣчія и нелѣпости слишкомъ очевидны,
› зато ихъ можно назвать красивымъ именемъ: можно
›азать, что въ нихъ выражается страстная, нѣжная и искрен-
›я натура. Страстность, нѣжность, искренность—все это
›ень хорошія свойства, по крайней мѣрѣ, все это очень
›асивыя слова, а такъ какъ главное дѣло заключается въ
›овахъ, то и нѣтъ резона, чтобы не объявить Катерину
›ѣтлымъ явленіемъ и не прійти отъ нея въ восторгъ. Я совер-
›ѣнно согласенъ съ тѣмъ, что всѣ противорѣчія и нелѣ-
›сти ея поведенія объясняются именно этими свойствами.
› что же это значитъ? Значитъ, что поле моего анализа
›ѣдуетъ расширить; разбирая личность Катерины, слѣдуетъ
›ѣть въ виду страстность, нѣжность и искренность вообще
кромѣ того, тѣ понятія, которыя господствуютъ въ обще-
›вѣ и въ литературѣ насчетъ этихъ свойствъ человѣче-
›аго организма. Если бы я не зналъ заранѣе, что задача
›я расширится такимъ образомъ, то я и не принялся бы
эту статью. Очень нужно, въ самомъ дѣлѣ, драму, напи-
›нную слишкомъ три года тому назадъ, разбирать для того,
›обы доказать публикѣ, какимъ образомъ Добролюбовъ
›ибся въ оцѣнкѣ одного женскаго характера. Но тутъ
›ло идетъ объ общихъ вопросахъ нашей жизни, а о такихъ
›просахъ говорить всегда удобно, потому что они всегда
›ятъ на очереди и всегда рѣшаются только на время. Эсте-
›ки подводятъ Катерину подъ извѣстную мѣрку, и я вовсе
намѣренъ доказывать, что Катерина не подходитъ подъ
› мѣрку; Катерина-то подходитъ, да мѣрка-то никуда не
›ится, и всѣ основанія, на которыхъ стоитъ эта мѣрка,

тоже никуда не годятся; все это должно быть совершенно передѣлано, и хотя, разумѣется, я не справлюсь одинъ съ этою задачей, однако, лепту свою внесу.

Мы до сихъ поръ при оцѣнкѣ явленій нравственнаго міра ходимъ ощупью и дѣйствуемъ наугадъ; по привычкѣ мы знаемъ, что̀ такое грѣхъ; по уложенію о наказаніяхъ мы знаемъ, что̀ такое преступленіе; но когда намъ приходится оріентироваться въ безконечныхъ лѣсахъ тѣхъ явленій, которыя не составляютъ ни грѣха ни преступленія, когда намъ приходится разсматривать, напримѣръ, качества человѣческой природы, составляющія задатки и основанія будущихъ поступковъ, тогда мы идемъ всѣ вразсыпную и аукаемся изъ разныхъ угловъ этой дубравы, т.-е. сообщаемъ другъ-другу наши личные вкусы, которые чрезвычайно рѣдко могутъ имѣть какой-нибудь общій интересъ. Каждое человѣческое свойство имѣетъ на всѣхъ языкахъ, по крайней мѣрѣ, по два названія, изъ которыхъ одно порицательное, а другое хвалительное,—скупость и бережливость, трусость и осторожность, жестокость и твердость, глупость и невинность, вранье и поэзія, дряблость и нѣжность, взбалмошность и страстность, и такъ далѣе—до безконечности. У каждаго отдѣльнаго человѣка есть въ отношеніи къ нравственнымъ качествамъ свой особенный лексиконъ, который почти никогда не сходится вполнѣ съ лексиконами другихъ людей. Когда вы, напримѣръ, одного человѣка называете благороднымъ энтузіастомъ, а другого безумнымъ фанатикомъ, то вы сами, конечно, понимаете вполнѣ, что̀ вы хотите сказать, но другіе люди понимаютъ васъ только приблизительно, а иногда могутъ и совсѣмъ не понимать. Есть, вѣдь, такіе озорники, для которыхъ коммунистъ Бабефъ *) былъ благороднымъ энтузіастомъ, но зато есть и такіе мудрецы, которые австрійскаго министра Шмерлинга **) назовутъ безумнымъ фанатикомъ. И тѣ и другіе будутъ употреблять одни и тѣ же слова, и тѣми же самыми словами будутъ пользоваться всѣ люди безчисленныхъ промежуточныхъ оттѣнковъ.

*) Франсуа Бабефъ, франц. демагогъ и глава коммунистическаго заговора, былъ казненъ въ 1797 г. Онъ въ издаваемой имъ „Tribune du peuple" требовалъ раздѣла земли и имущества между неимущими. *Н. Д.*

**) Антонъ Шмерлингъ, австр. госуд. дѣятель, бывшій министромъ юстиціи, иностран. дѣлъ, внутреннихъ. Въ 1860 г. сталъ имперскимъ министромъ и пожизненнымъ членомъ австрійской верхней палаты. *Н. Д.*

Какъ вы тутъ поступите, чтобъ открыть живое явленіе изъ-подъ груды набросанныхъ словъ, которыя на языкѣ каждаго отдѣльнаго человѣка имѣютъ свой особенный смыслъ? Чтó такое благородный энтузіазмъ? Чтó такое безумный фанатикъ? Это пустые звуки, не соотвѣствующіе никакому опредѣленному представленію. Эти звуки выражаютъ отношеніе говорящаго лица къ неизвѣстному предмету, который остается совершенно неизвѣстнымъ во все время разговора и послѣ его окончанія. Чтобъ узнать, чтó за человѣкъ былъ коммунистъ Бабефъ и чтó за человѣкъ Шмерлингъ, надо, разумѣется, отодвинуть въ сторону всѣ приговоры, произнесенные надъ этими двумя личностями различными людьми, выражавшими въ этомъ случаѣ свои личные вкусы и свои политическія симпатіи. Надо взять сырые факты во всей ихъ сырости, и, чѣмъ они сырѣе, чѣмъ меньше они замаскированы хвалительными или порицательными словами, тѣмъ больше мы имѣемъ шансовъ уловить и понять живое явленіе, а не безцвѣтную фразу. Такъ поступаетъ мыслящій историкъ. Если онъ, располагая обширными свѣдѣніями, будетъ избѣгать увлеченія фразами, если онъ къ человѣку и ко всѣмъ отраслямъ его дѣятельности будетъ относиться не какъ патріотъ, не какъ либералъ, не какъ энтузіастъ, не какъ эстетикъ, а просто какъ натуралистъ, то онъ, навѣрное, сумѣетъ дать опредѣленные и объективные отвѣты на многіе вопросы, рѣшавшіеся обыкновенно красивымъ волненіемъ возвышенныхъ чувствъ. Обиды для человѣческаго достоинства тутъ не произойдетъ никакой, а польза будетъ большая, потому что вмѣсто ста возовъ вранья получится одна горсть настоящаго знанія. А одна остроумная поговорка утверждаетъ совершенно справедливо, что лучше получить маленькій деревянный домъ, чѣмъ большую каменную болѣзнь.

V.

Мыслящій историкъ трудится и размышляетъ, конечно, для того, чтобы приклеить тотъ или другой ярлыкъ къ тому или другому историческому имени. Стоитъ ли въ самомъ дѣлѣ тратить трудъ и время для того, чтобы съ полнымъ убѣжденіемъ назвать Сидора мошенникомъ, а Филимона добродѣтельнымъ отцомъ семейства? Историческія личности

любопытны только, какъ крупные образчики нашей породы, очень удобные для изученія и очень способные служить матеріалами для общихъ выводовъ антропологіи. Разсматривая ихъ дѣятельность, измѣряя ихъ вліяніе на современниковъ, изучая тѣ обстоятельства, которыя помогали или мѣшали исполненію ихъ намѣреній, мы изъ множества отдѣльныхъ и разнообразныхъ фактовъ выводимъ неопровержимыя заключенія объ общихъ свойствахъ человѣческой природы, о степени ея измѣняемости, о вліяніи климатическихъ и бытовыхъ условій, о различныхъ проявленіяхъ національныхъ характеровъ, о зарожденіи и распространеніи идей и вѣрованій и, наконецъ, что́ всего важнѣе, мы подходимъ къ рѣшенію того вопроса, который въ послѣднее время блистательнымъ образомъ поставилъ знаменитый Бокль. Вотъ въ чемъ состоитъ этотъ вопросъ: какая сила или какой элементъ служитъ основаніемъ и важнѣйшимъ двигателемъ человѣческаго прогресса? Бокль отвѣчаетъ на этотъ вопросъ просто и рѣшительно. Онъ говоритъ: чѣмъ больше реальныхъ знаній, тѣмъ сильнѣе прогрессъ; чѣмъ больше человѣкъ изучаетъ видимыя явленія и чѣмъ меньше предается фантазіямъ, тѣмъ удобнѣе онъ устраиваетъ свою жизнь и тѣмъ быстрѣе одно усовершенствованіе быта смѣняется другимъ.—Ясно, смѣло и просто! Такимъ образомъ дѣльные историки путемъ терпѣливаго изученія идутъ къ той же цѣли, которую должны имѣть въ виду всѣ люди, рѣшающіеся заявлять въ литературѣ свои сужденія о различныхъ явленіяхъ нравственной и умственной жизни человѣчества.

Каждый критикъ, разбирающій какой-нибудь литературный типъ, долженъ въ своей ограниченной сферѣ дѣятельности прикладывать къ дѣлу тѣ самые пріемы, которыми пользуется мыслящій историкъ, разсматривая міровыя событія и разставляя по мѣстамъ великихъ и сильныхъ людей. Историкъ не восхищается, не умиляется, не негодуетъ, не фразерствуетъ, и всѣ эти патологическія отправленія такъ же неприличны въ критикѣ, какъ и въ историкѣ. Историкъ разлагаетъ каждое явленіе на его составныя части и изучаетъ каждую часть отдѣльно, и потомъ, когда извѣстны всѣ составные элементы, тогда и общій результатъ оказывается понятнымъ и неизбѣжнымъ; что казалось раньше анализа ужаснымъ преступленіемъ или непостижимымъ *подвигомъ, то* оказывается послѣ анализа простымъ и необхо-

димымъ слѣдствіемъ данныхъ условій. Точно такъ же слѣдуетъ поступать критику: вмѣсто того чтобы плакать надъ несчастіями героевъ и героинь, вмѣсто того чтобы сочувствовать одному, негодовать противъ другого, восхищаться третьимъ, лѣзть на стѣны по поводу четвертаго, критикъ долженъ сначала проплакаться и пробѣсноваться про-себя, а потомъ, вступая въ разговоръ съ публикой, долженъ обстоятельно и разсудительно сообщить ей свои размышленія о причинахъ тѣхъ явленій, которыя вызываютъ въ жизни слезы, сочувствіе, негодованіе или восторги. Онъ долженъ объяснить явленія, а не воспѣвать ихъ; онъ долженъ анализировать, а не лицедѣйствовать. Это будетъ болѣе полезно и менѣе раздирательно.

Если историкъ и критикъ пойдутъ оба по одному пути, если оба они будутъ не болтать, а размышлять, то оба придутъ къ однимъ и тѣмъ же результатамъ. Между частной жизнью человѣка и историческою жизнью человѣчества есть только количественная разница. Одни и тѣ же законы управляютъ обоими порядками явленій точно такъ же, какъ одни и тѣ же химическіе и физическіе законы управляютъ и развитіемъ простой клѣточки и развитіемъ человѣческаго организма. Прежде господствовало мнѣніе, будто общественный дѣятель долженъ вести себя совсѣмъ не такъ, какъ частный человѣкъ. Чтó въ частномъ человѣкѣ считалось мошенничествомъ, то въ общественномъ дѣятелѣ называлось политическою мудростью. Съ другой стороны, то, чтó въ общественномъ дѣятелѣ считалось предосудительною слабостью, то въ частномъ человѣкѣ называлось трогательной мягкостью души. Существовало, такимъ образомъ, для однихъ и тѣхъ же людей два рода справедливости, два рода благоразумія—всего по два. Теперь дуализмъ, вытѣсняемый изъ всѣхъ своихъ убѣжищъ, не можетъ удержаться и въ этомъ мѣстѣ, въ которомъ нелѣпость его особенно очевидна и въ которомъ онъ надѣлалъ очень много практическихъ гадостей. Теперь умные люди начинаютъ понимать, что простая справедливость составляетъ всегда самую мудрую и самую выгодную политику; съ другой стороны, они понимаютъ, что и частная жизнь не требуетъ ничего, кромѣ простой справедливости; потоки слезъ и конвульсіи самоистязанія такъ же безобразны въ самой скромной частной жизни, какъ и на сценѣ всемірной исторіи; и безобразны они въ томъ и другомъ случаѣ

единственно потому, что вредны, то-есть доставляютъ одному человѣку или многимъ людямъ боль, не выкупаемую никакимъ наслажденіемъ.

Искусственная грань, поставленная человѣческимъ невѣжествомъ между исторіей и частной жизнью, разрушается по мѣрѣ того, какъ исчезаетъ невѣжество со всѣми своими предразсудками и нелѣпыми убѣжденіями. Въ сознаніи мыслящихъ людей эта грань уже разрушена, и на этомъ основаніи критикъ и историкъ могутъ и должны приходить къ однимъ и тѣмъ же результатамъ. Историческія личности и простые люди должны быть измѣряемы одною мѣркой. Въ исторіи явленіе можетъ быть названо свѣтлымъ или темнымъ не потому, что оно нравится или не нравится историку, а потому, что оно ускоряетъ или задерживаетъ развитіе человѣческаго благосостоянія. Въ исторіи нѣтъ безплодно-свѣтлыхъ явленій; что́ безплодно, то не свѣтло,—на то не стоитъ совсѣмъ обращать вниманія; въ исторіи есть очень много услужливыхъ медвѣдей, которые очень усердно били мухъ на лбу спящаго человѣчества увѣсистыми булыжниками; однако, смѣшонъ и жалокъ былъ бы тотъ историкъ, который сталъ бы благодарить этихъ добросовѣстныхъ медвѣдей за чистоту ихъ намѣреній. Встрѣчаясь съ примѣромъ медвѣжьей нравственности, историкъ долженъ только замѣтить, что лобъ человѣчества оказался раскроеннымъ, и долженъ описать, глубока ли была рана и скоро ли зажила, и какъ подѣйствовало это убіеніе мухи на весь организмъ паціента, и какъ обрисовались вслѣдствіе этого дальнѣйшія отношенія между пустынникомъ и медвѣдемъ. Ну, а что такое медвѣдь? Медвѣдь ничего; онъ свое дѣло сдѣлалъ; хватилъ камнемъ по лбу—и успокоился. Съ него взятки гладки. Ругать его не слѣдуетъ, во-первыхъ, потому, что это ни къ чему не ведетъ, а во-вторыхъ, не за что: потому—глупъ. Ну, а хвалить его за непорочность сердца и подавно не резонъ; во-первыхъ—не стоитъ благодарности: вѣдь, лобъ-то все-таки разбитъ; а во-вторыхъ—опять-таки онъ глупъ, такъ на какого же чорта годится его непорочность сердца?

Такъ какъ я случайно напалъ на басню Крылова, то мимоходомъ любопытно будетъ замѣтить, какъ простой здравый смыслъ сходится иногда въ своихъ сужденіяхъ съ тѣми выводами, которые даютъ основательное научное изслѣдованіе и широкое философское мышленіе. Три басни Крылова,

› медвѣдѣ, о музыкантахъ, которые „немножечко дерутъ, ıато ужъ въ ротъ хмельного не берутъ“, и о судьѣ, который ıопадетъ въ рай за глупость,—три эти басни, говорю я, ıаписаны на ту мысль, что сила ума важнѣе, чѣмъ безуко-›изненная нравственность. Видно, что эта мысль была осо-›енно мила Крылову, который, разумѣется, могъ замѣчать ѣрность этой мысли только въ явленіяхъ частной жизни. Й эту же самую мысль Бокль возводитъ въ міровой истори-ıескій законъ. Русскій баснописецъ, образовавшійся на ıѣдныя деньги и, навѣрное, считавшій Карамзина величай-пимъ историкомъ XIX вѣка, говоритъ по-своему то же ;амое, что высказалъ передовой мыслитель Англіи, воору-женный наукой. Это я замѣчаю не для того, чтобы похва-ıтаться русской смѣтливостью, а для того, чтобы показать, до какой степени результаты разумной и положительной науки соотвѣтствуютъ естественнымъ требованіямъ неиспор-ıеннаго и незасореннаго человѣческаго ума. Кромѣ того, ›та неожиданная встрѣча Бокля съ Крыловымъ можетъ ;лужить примѣромъ того согласія, которое можетъ и должно ;ществовать, во-первыхъ, между частной жизнью и исто-›іей, а вслѣдствіе этого, во-вторыхъ, между историкомъ и ıритикомъ. Если добродушный дѣдушка Крыловъ могъ ;ойтись съ Боклемъ, то критикамъ, живущимъ во второй ıоловинѣ XIX вѣка и обнаруживающимъ притязанія на смѣ-ıость мысли и на широкое развитіе ума,—такимъ критикамъ, ›оворю я, и подавно слѣдуетъ держаться съ непоколебимою ıослѣдовательностью за тѣ пріемы и идеи, которые въ наше ›ремя сближаютъ историческое изученіе съ естествознаніемъ. Наконецъ, если Бокль слишкомъ уменъ и головоломенъ для ıашихъ критиковъ, пусть они держатся за дѣдушку Кры-ıова, пусть проводятъ въ своихъ изслѣдованіяхъ о нрав-ıтвенныхъ достоинствахъ человѣка простую мысль, выражен-ıую такими незатѣйливыми словами: „Услужливый дуракъ ›опаснѣе врага“. Если бы только одна эта мысль, понятная ıятилѣтнему ребенку, была проведена въ нашей критикѣ ;ъ надлежащею послѣдовательностью, то во всѣхъ нашихъ воззрѣніяхъ на нравственныя достоинства произошелъ бы радикальный переворотъ, и престарѣлая эстетика давнымъ-давно отправилась бы туда же, куда отправились алхимія и метафизика.

VI.

Наша частная жизнь запружена донельзя красивыми чувствами и высокими достоинствами, которыми всякій порядочный человѣкъ старается запастись для своего домашняго обихода и которымъ всякій свидѣтельствуетъ свое вниманіе, хотя никто не можетъ сказать, чтобъ они когда-нибудь кому бы то ни было доставили малѣйшее удовольствіе. Было время, когда лучшими атрибутами физической красоты считались въ женщинѣ интересная блѣдность лица и непостижимая тонкость таліи; барышни пили уксусъ и перетягивались такъ, что у нихъ трещали ребра и спиралось дыханіе; много здоровья было уничтожено по милости этой эстетики, и, по всей вѣроятности, эти своеобразныя понятія о красотѣ еще не вполнѣ уничтожились и теперь, потому что Льюисъ возстаетъ противъ корсетовъ въ своей физіологіи, а Чернышевскій заставляетъ Вѣру Павловну упомянуть о томъ, что она, сдѣлавшись умною женщиной, перестала шнуроваться. Такимъ образомъ, физическая эстетика очень часто идетъ въ разрѣзъ съ требованіями здраваго смысла, съ предписаніями элементарной гигіены и даже съ инстинктивнымъ стремленіемъ человѣка къ удобству и комфорту. „Il faut souffrir pour être belle“, говорила въ былое время молодая дѣвушка, и всѣ находили, что она говоритъ святую истину, потому что красота должна существовать сама-по-себѣ, ради красоты, совершенно независимо отъ условій, необходимыхъ для здоровья, для удобства и наслажденія жизнью. Критики, не освободившіеся отъ вліянія эстетики, сходятся съ обожателями интересной блѣдности и тонкихъ талій вмѣсто того, чтобы сходиться съ естествоиспытателями и мыслящими историками. Надо сознаться, что даже лучшіе изъ нашихъ критиковъ, Бѣлинскій и Добролюбовъ, не могли оторваться окончательно отъ эстетическихъ традицій. Осуждать ихъ за это было бы нелѣпо, потому что надо же помнить, какъ много они сдѣлали для уясненія всѣхъ нашихъ понятій, и надо же понимать, что не могутъ два человѣка отработать за насъ всю нашу работу мысли. Но, не осуждая ихъ, надо видѣть ихъ ошибки и прокладывать новые пути въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ старыя тропинки уклоняются въ глушь и въ *болото.*

Относительно анализа „свѣтлыхъ явленій“ насъ не удовлетворяетъ эстетика ни своимъ красивымъ негодованіемъ, ни своимъ искусственно подогрѣтымъ восторгомъ. Ея бѣлила и румяна тутъ остаются не при чемъ. Натуралистъ, говоря о человѣкѣ, назоветъ свѣтлымъ явленіемъ нормально развитый организмъ; историкъ дастъ это названіе умной личности, понимающей свои выгоды, знающей требованія своего времени и вслѣдствіе этого работающей всѣми силами для развитія общаго благосостоянія; критикъ имѣетъ право видѣть свѣтлое явленіе только въ томъ человѣкѣ, который умѣетъ быть счастливымъ, т.-е. приносить пользу себѣ и другимъ, и, умѣя жить и дѣйствовать при неблагопріятныхъ условіяхъ, понимаетъ въ то же время ихъ неблагопріятность и, по мѣрѣ силъ своихъ, старается переработать эти условія къ лучшему. И натуралистъ, и историкъ, и критикъ согласятся между собою въ томъ пунктѣ, что необходимымъ свойствомъ такого свѣтлаго явленія долженъ быть сильный и развитой умъ; тамъ, гдѣ нѣтъ этого свойства, тамъ не можетъ быть и свѣтлыхъ явленій. Натуралистъ скажетъ вамъ, что нормально развитый человѣческій организмъ необходимо долженъ быть одаренъ здоровымъ мозгомъ, а здоровый мозгъ такъ же неизбѣжно долженъ мыслить правильно, какъ здоровый желудокъ долженъ переваривать пищу; если же этотъ мозгъ разслабленъ отсутствіемъ упражненія и если, такимъ образомъ, человѣкъ, умный отъ природы, притупленъ обстоятельствами жизни, то весь разсматриваемый субъектъ уже не можетъ считаться нормально развитымъ организмомъ, точно такъ же, какъ не можетъ имъ считаться человѣкъ, ослабившій свой слухъ или свое зрѣніе. Такого человѣка натуралистъ не назоветъ свѣтлымъ явленіемъ, хотя бы этотъ человѣкъ пользовался желѣзнымъ здоровьемъ и лошадиною силой. Историкъ скажетъ вамъ... но вы и сами знаете, что́ онъ вамъ скажетъ; ясное дѣло, что умъ для исторической личности такъ же необходимъ, какъ жабры и плавательныя перья для рыбы; ума тутъ не замѣнить никакими эстетическими ингредіентами; это, можетъ-быть, — единственная истина, неопровержимо доказанная всѣмъ историческимъ опытомъ нашей породы. Критикъ докажетъ вамъ, что только умный и развитой человѣкъ можетъ оберегать себя и другихъ отъ страданій при тѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ жизни, при которыхъ существуетъ огромное большинство людей на-

земномъ шарѣ; кто не умѣетъ сдѣлать ничего для облегченія своихъ и чужихъ страданій, тотъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть названъ свѣтлымъ явленіемъ; тотъ—трутень, можетъ-быть очень милый, очень граціозный, симпатичный, но все это такія неосязаемыя и невѣсомыя качества, которыя доступны только вниманію людей, обожающихъ интересную блѣдность и тонкія таліи. Облегчая жизнь себѣ и другимъ, умный и развитой человѣкъ не ограничивается этимъ; онъ, кромѣ того, въ большей или меньшей степени, сознательно или невольно перерабатываетъ эту жизнь и приготовляетъ переходъ къ лучшимъ условіямъ существованія. Умная и развитая личность, сама того не замѣчая, дѣйствуетъ на все, что́ къ ней прикасается; ея мысли, ея занятія, ея гуманное обращеніе, ея спокойная твердость,—все это шевелитъ вокругъ нея стоячую воду человѣческой рутины; кто уже не въ силахъ развиваться, тотъ, по крайней мѣрѣ, уважаетъ въ умной и развитой личности хорошаго человѣка, а людямъ очень полезно уважать то, что́ дѣйствительно заслуживаетъ уваженія; но кто молодъ, кто способенъ полюбить идею, кто ищетъ возможности развернуть силы своего свѣжаго ума, тотъ, сблизившись съ умною и развитою личностью, можетъ-быть, начнетъ новую жизнь, полную обаятельнаго труда и неистощимаго наслажденія. Если предполагаемая свѣтлая личность дастъ, такимъ образомъ, обществу двухъ-трехъ молодыхъ работниковъ, если она внушитъ двумъ-тремъ старикамъ невольное уваженіе къ тому, что́ они прежде осмѣивали и притѣсняли, то неужели вы скажете, что такая личность ровно ничего не сдѣлала для облегченія перехода къ лучшимъ идеямъ и къ болѣе сноснымъ условіямъ жизни? Мнѣ кажется, что она сдѣлала въ малыхъ размѣрахъ то, что́ дѣлаютъ въ большихъ размѣрахъ величайшія историческія личности. Разница между ними заключается только въ количествѣ силъ, и потому оцѣнивать ихъ дѣятельность можно и должно посредствомъ одинаковыхъ пріемовъ. Такъ вотъ какіе должны быть „лучи свѣта"—не Катеринѣ чета.

VII.

„Яйца курицу не учатъ",—говоритъ нашъ народъ, и такъ эта поговорка ему по душѣ пришлась, что онъ твердитъ ее съ утра до вечера, словами и поступками, отъ моря и до

моря. И передаетъ онъ ее потомству, какъ священное наслѣдство, и благодарное потомство, пользуясь ею, въ свою очередь созидаетъ на ней величественное зданіе семейнаго чинопочитанія. И поговорка эта не теряетъ своей силы, потому что она всегда употребляется кстати; а кстати потому, что ее употребляютъ только старшіе члены семейства, которые не могутъ ошибаться, которые всегда оказываются правыми и которые, слѣдовательно, всегда дѣйствуютъ благодѣтельно и разсуждаютъ поучительно. Ты—яйцо безсознательное и долженъ пребывать въ своей безотвѣтной невинности до тѣхъ поръ, пока самъ не сдѣлаешься курицей. Такимъ образомъ, пятидесятилѣтнія куры разсуждаютъ съ тридцатилѣтними яйцами, которыя съ пеленокъ выучились понимать и чувствовать все, что́ такъ коротко и такъ величественно внушаетъ имъ безсмертная поговорка. Великое изреченіе народной мудрости дѣйствительно выражаетъ въ четырехъ словахъ весь принципъ нашей семейной жизни. Принципъ этотъ дѣйствуетъ еще съ полной силою въ тѣхъ слояхъ нашего народа, которые считаются чисто-русскими.

Только въ молодости человѣкъ можетъ развернуть и воспитать тѣ силы своего ума, которыя потомъ будутъ служить ему въ зрѣломъ возрастѣ; что́ не развилось въ молодости, то остается неразвитымъ на всю жизнь; слѣдовательно, если молодость проводится подъ скорлупой, то и умъ и воля человѣка остаются навсегда въ положеніи замореннаго зародыша; и наблюдателю, смотрящему со стороны на этотъ курятникъ, остается только изучать различныя проявленія человѣческаго уродства. Каждый новорожденный ребенокъ втискивается въ одну и ту же готовую форму, а разнообразіе результатовъ происходитъ, во-первыхъ, оттого, что не всѣ дѣти родятся одинаковыми, а во-вторыхъ, оттого, что для втискиванія употребляются различные пріемы. Одинъ ребенокъ ложится въ форму тихо и благонравно, а другой барахтается и кричитъ благимъ матомъ; одного ребенка бросаютъ въ форму со всего размаху, да еще потомъ держатъ въ формѣ за вихоръ, а другого кладутъ помаленьку, полегоньку и при этомъ поглаживаютъ по головкѣ и пряникомъ обольщаютъ. Но форма все-таки одна и та же, и—не въ укоръ будь сказано искателямъ свѣтлыхъ явленій—уродованіе идетъ всегда надлежащимъ порядкомъ; такъ какъ жизнь не шевелитъ и не развиваетъ ума, то человѣческія способ-

ности глохнутъ и искажаются какъ при воспитаніи палкой, такъ и при воспитаніи лаской. Въ первомъ случаѣ получается типъ, который для краткости назову карликами, во второмъ получаются также уроды, которыхъ можно назвать вѣчными дѣтьми. Когда ребенка ругаютъ, порютъ и всячески огорчаютъ, тогда онъ съ самыхъ малыхъ лѣтъ начинаетъ чувствовать себя одинокимъ. Какъ только ребенокъ начинаетъ понимать себя, такъ онъ пріучается надѣяться только на свои собственныя силы; онъ находится въ постоянной войнѣ со всѣмъ, что̀ его окружаетъ; ему дремать нельзя: чуть оплошаешь, тотчасъ лишишься всякаго удовольствія, да еще налетятъ на тебя со всѣхъ сторонъ ругательства, затрещины и даже весьма серіозныя непріятности въ видѣ многочисленныхъ и полновѣсныхъ ударовъ розгами. Гимнастика для дѣтскаго ума представляется постоянная, и каждый безграмотный мальчишка, выдержанный въ ежевыхъ рукавицахъ свирѣпымъ родителемъ, удивитъ своими дипломатическими талантами любого благовоспитаннаго мальчика, способнаго уже восхищаться, по Корнелію Непоту, доблестями Аристида и непреклоннымъ характеромъ Катона. Умъ разовьется настолько, насколько это необходимо для того, чтобъ обдѣлывать практическія дѣлишки: тамъ надуть, тутъ поклониться въ поясъ, здѣсь прижать, въ другомъ мѣстѣ въ амбицію вломиться, въ третьемъ добрымъ малымъ прикинуться,—все это будетъ исполнено самымъ отчетливымъ манеромъ, потому что вся эта механика усвоена во времена нѣжнаго дѣтства. Но выйти изъ колеи этой механики умъ уже не можетъ; надуетъ онъ десять разъ, проведетъ и выведетъ, будетъ лгать и вывертываться, будетъ постоянно обходить препятствія, на которыя постоянно будетъ натыкаться, но обдумать заранѣе планъ дѣйствій, разсчитать вѣроятности успѣха, предусмотрѣть и устранить препятствія заблаговременно, словомъ, связать въ головѣ длинный рядъ мыслей, логически вытекающихъ одна изъ другой,—этого вы отъ нашего субъекта не ждите. Умственнаго творчества вы въ немъ также не найдете; практическое изобрѣтеніе, созданіе новой машины или новой отрасли промышленности возможно только тогда, когда у человѣка есть знанія, а знаній у нашего карлика нѣтъ никакихъ; онъ не знаетъ ни свойствъ того матеріала, который онъ обрабатываетъ, ни потребностей тѣхъ людей, для которыхъ онъ рабо-

таетъ. Шьетъ онъ, положимъ, чемоданъ изъ кожи; кожа скверно выдѣлана и трескается; ну, значитъ, чемоданъ надо вычернить, чтобы подъ краской трещины были незамѣтны; и рѣшительно ни одному карлику въ голову не придетъ: а нельзя ли какъ-нибудь такъ выдѣлывать кожу, чтобъ она не трескалась? Да и не можетъ прійти; чтобы замазать трещину черною краской, не нужно ровно никакихъ знаній и почти никакого труда мысли; а для того, чтобы сдѣлать малѣйшее усовершенствованіе въ выдѣлкѣ кожъ, надо, по крайней мѣрѣ, всматриваться въ то, чтó имѣешь подъ руками, и обдумывать то, чтó видишь. Но мы никогда не были заражены такими мыслительными слабостями; поэтому мы разработали у себя барышничество и надувательство до высокой степени художественности, а всѣ науки мы принуждены привозить къ себѣ изъ-за границы; другими словами, мы постоянно обирали удобства жизни другъ у друга, но производительность нашей земли мы не сумѣли увеличить ни на одинъ мѣдный грошъ. Не зная свойствъ предмета, карликъ не знаетъ и самого себя: онъ не знаетъ ни своихъ силъ, ни своихъ наклонностей, ни своихъ желаній; поэтому онъ цѣнитъ себя только по внѣшнему успѣху своихъ предпріятій; онъ мѣняется въ своихъ собственныхъ глазахъ, какъ акція сомнительнаго достоинства, которой курсъ колеблется на биржѣ; штука удалась, барышъ въ карманѣ—тогда онъ великій человѣкъ, тогда онъ возносится выше нарицательной цѣны и даже выше облака ходячаго; штука лопнула, капиталъ улетучился—тогда онъ червь, подлецъ, поношеніе человѣковъ; тогда онъ умоляетъ васъ, чтобы вы на него плюнули, да только оказали бы ему участіе. И хоть бы это было, по крайней мѣрѣ, притворство, хоть бы онъ прикидывался несчастнымъ для того, чтобы разжалобить васъ, все было бы легче; а то, вѣдь, нѣтъ—дѣйствительно раздавленъ и уничтоженъ, дѣйствительно палъ въ своихъ собственныхъ глазахъ оттого, что потерпѣлъ убытокъ или другую неудачу; немудрено, что карликъ отвертывается отъ друзей своихъ, когда они въ несчастіи; онъ отъ самого себя радъ былъ бы отвернуться, да жаль—некуда.

Все это понятно; только сознательное уваженіе человѣка къ самому себѣ даетъ ему возможность спокойно и весело переносить всѣ мелкія и крупныя непріятности, которыя не сопровождаются сильною физическою болью; а чтобы созна-

тельно уважать самого себя и чтобы находить въ этомъ чувствѣ высшее наслажденіе, человѣку надо предварительно поработать надъ собой, очистить свой мозгъ отъ разнаго мусора, сдѣлаться полнымъ хозяиномъ своего внутренняго міра, обогатить этотъ міръ кое-какими знаніями и идеями и, наконецъ, изучивши самого себя, найти себѣ въ жизни разумную, полезную и пріятную дѣятельность. Когда все это будетъ сдѣлано, тогда человѣку будетъ понятно удовольствіе быть самимъ собою, удовольствіе класть на каждый поступокъ печать своей просвѣтленной и облагороженной личности, удовольствіе жить въ своемъ внутреннемъ мірѣ и постоянно увеличивать богатство и разнообразіе этого міра. Тогда человѣкъ почувствуетъ, что это высшее удовольствіе можетъ быть отнято у него только сумасшествіемъ или постояннымъ физическимъ мученіемъ; и это величественное сознаніе полной независимости отъ мелкихъ огорченій, въ свою очередь, сдѣлается причиной гордой и мужественной радости, которую опять-таки ничто не можетъ ни отнять ни отравить. Сколько минутъ чистѣйшаго счастья пережилъ Лопуховъ въ то время, когда, отрываясь отъ любимой женщины, онъ собственноручно устраивалъ ей счастье съ другимъ человѣкомъ? Тутъ была обаятельная смѣсь тихой грусти и самаго высокаго наслажденія, но наслажденіе далеко перевѣшивало грусть, такъ что это время напряженной работы ума и чувства, навѣрное, оставило послѣ себя въ жизни Лопухова неизгладимую полосу самаго яркаго свѣта. А, между тѣмъ, какъ все это кажется непонятнымъ и неестественнымъ для тѣхъ людей, которые никогда не испытали наслажденія мыслить и жить въ своемъ внутреннемъ мірѣ. Эти люди убѣждены самымъ добросовѣстнымъ образомъ, что Лопуховъ—невозможная и неправдоподобная выдумка, что авторъ романа „Что дѣлать?“ только прикидывается, будто понимаетъ ощущенія своего героя, и что всѣ пустозвоны, сочувствующіе Лопухову, морочатъ себя и стараются обморочить другихъ совершенно безсмысленными потоками словъ. И это совершенно естественно. Кто способенъ понимать Лопухова и сочувствующихъ ему пустозвоновъ, тотъ самъ—и Лопуховъ и пустозвонъ, потому что рыба ищетъ гдѣ глубже, а человѣкъ—гдѣ лучше.

Замѣчательно, что высокое удовольствіе самоуваженія въ *большей или меньшей* степени доступно и понятно всѣмъ

людямъ, развившимъ въ себѣ способность мыслить, хотя бы эта способность привела ихъ потомъ къ чистымъ и простымъ истинамъ естествознанія или, напротивъ того, къ туманнымъ и произвольнымъ фантазіямъ философскаго мистицизма. Матеріалисты и идеалисты, скептики и догматики, эпикурейцы и стоики, раціоналисты и мистики—всѣ сходятся между собою, когда идетъ рѣчь о высшемъ благѣ, доступномъ человѣку на землѣ и независимомъ отъ внѣшнихъ и случайныхъ условій. Всѣ говорятъ объ этомъ благѣ въ различныхъ выраженіяхъ, всѣ подходятъ къ нему съ разныхъ сторонъ, всѣ называютъ его разными именами, но отодвиньте въ сторону слова и метафоры, и вы вездѣ увидите одно и то же содержаніе. Одни говорятъ, что человѣкъ долженъ убить въ себѣ страсти, другіе—что онъ долженъ управлять ими, третьи—что онъ долженъ облагородить ихъ, четвертые—что онъ долженъ развить свой умъ и что тогда все пойдетъ, какъ по маслу. Пути различные, но цѣль вездѣ одна и та же—чтобы человѣкъ пользовался душевнымъ миромъ, какъ говорятъ одни, чтобы въ его существѣ царствовала внутренняя гармонія, какъ говорятъ другіе, чтобы совѣсть его была спокойна, какъ говорятъ третьи, или, наконецъ, если взять самыя простыя слова, чтобы человѣкъ постоянно былъ доволенъ самимъ собой, чтобъ онъ могъ сознательно любить и уважать самого себя, чтобъ онъ во всѣхъ обстоятельствахъ жизни могъ положиться на самого себя, какъ на своего лучшаго друга, всегда неизмѣннаго и всегда правдиваго.

Если всѣ мыслители понимаютъ и цѣнятъ чувство самоуваженія, то мы въ этомъ отношеніи никакъ не должны считать мыслителями всѣхъ людей, читающихъ и пишущихъ философскія сочиненія. Рутинеръ, буквоѣдъ и филистеръ, къ какой бы школѣ онъ ни принадлежалъ и какой бы наукой онъ ни занимался, всегда будетъ работать по обязанности службы, никогда не почувствуетъ наслажденія въ процессѣ мысли и поэтому никогда не составитъ себѣ понятія о чарующей прелести самоуваженія. Дѣло въ томъ, что все можно обратить въ механику. У насъ обращено въ механику искусство надувательства, а въ Западной Европѣ со временъ средневѣковой схоластики въ механику превратилось искусство писать ученые трактаты, рыться въ фоліантахъ и получать самымъ добросовѣстнымъ образомъ докторскіе

дипломы, не переставая вѣрить въ колдовство или въ алхимію. Закваска рутины такъ сильна, что многіе нѣмцы и англичане находятъ возможнымъ заниматься естественными науками, не переставая быть по своему міросозерцанію чисто средневѣковыми субъектами. Отъ этого выходятъ презабавные эпизоды. Напримѣръ, знаменитый англійскій анатомъ Ричардъ Оуэнъ (прошу не смѣшивать съ соціалистомъ Робертомъ Оуэномъ) упорно не желаетъ видѣть въ мозгу обезьяны одну особенную штучку (аммоніевы рога) потому, что существованіе этой штучки у обезьяны кажется ему оскорбительнымъ для человѣческаго достоинства. Ему показываютъ, Гексли изъ себя выходитъ, а тотъ такъ и остается при своемъ. Не вижу, да и только. Любопытно также послушать, какъ Карлъ Фохтъ бесѣдуетъ съ Рудольфомъ Вагнеромъ, чрезвычайно замѣчательнымъ физіологомъ и, въ то же время, еще болѣе замѣчательнымъ филистеромъ. Но Оуэнъ и Вагнеръ во всякомъ случаѣ превосходные изслѣдователи; они смотрятъ во всѣ глаза и сильно работаютъ мозгомъ, когда вопросъ не слишкомъ близко подходитъ къ ихъ сердечнымъ симпатіямъ. Напряженное вниманіе и размышленіе все-таки могутъ расшевелить и развить умъ настолько, что чувство самоуваженія сдѣлается понятнымъ и драгоцѣннымъ. А есть и второстепенные Оуэны и Вагнеры; во всѣхъ философскихъ и научныхъ лагеряхъ есть мародеры и паразиты, которые не только не создаютъ мыслей сами, но даже не передумываютъ чужихъ мыслей, а только затверживаютъ ихъ, чтобы потомъ разбавлять готовыя темы ушатами воды и составлять такимъ образомъ статьи или книги. Этимъ людямъ чувство самоуваженія, разумѣется, останется навсегда неизвѣстнымъ.

Мы видимъ такимъ образомъ, что мыслители всѣхъ школъ понимаютъ одинаково высшее и неотъемлемое благо человѣка; мы видимъ, кромѣ того, что это благо дѣйствительно доступно только тѣмъ изъ мыслителей, которые въ самомъ дѣлѣ работаютъ умомъ, а не тѣмъ, которые повторяютъ, съ тупымъ уваженіемъ слѣпыхъ адептовъ, великія мысли учителей. Выводъ простъ и ясенъ. Не школа, не философскій догматъ, не буква системы, не истина дѣлаютъ человѣка существомъ разумнымъ, свободнымъ и счастливымъ. Его облагораживаетъ, его ведетъ къ наслажденію только самостоятельная умственная дѣятельность, посвященная *безкор*ыстному исканію истины и не подчиненная рутиннымъ

и мелочнымъ интересамъ вседневной жизни. Чѣмъ бы ни пробудили вы эту самостоятельную дѣятельность, чѣмъ бы вы ни занимались—геометріей, филологіей, ботаникой, все равно, лишь бы только вы начали мыслить. Въ результатѣ все-таки получится расширеніе внутренняго міра, любовь къ этому міру, стремленіе очистить его отъ всякой грязи и, наконецъ, незамѣнимое счастье самоуваженія. Значитъ, все-таки умъ дороже всего, или, вѣрнѣе, умъ—все. Я съ разныхъ сторонъ доказывалъ эту мысль и, можетъ-быть, надоѣлъ читателю повтореніями, но, вѣдь, мысль-то ужъ больно драгоцѣнная. Ничего въ ней нѣтъ новаго, но если бы только мы провели ее въ нашу жизнь, то мы всѣ могли бы быть очень счастливыми людьми. А то, вѣдь, мы всѣ куда какъ недалеко ушли отъ тѣхъ карликовъ, отъ которыхъ совершенно отвлекло меня это длинное отступленіе.

VIII.

По тѣмъ немногимъ чертамъ, которыми я обрисовалъ карликовъ, читатель видитъ уже, что они вполнѣ заслуживаютъ свое названіе. Всѣ способности ихъ развиты довольно равномѣрно: у нихъ есть и умишко, и кое-какая волишка, и миніатюрная энергія, но все это чрезвычайно мелко и прилагается, конечно, только къ тѣмъ микроскопическимъ цѣлямъ, которыя могутъ представиться въ ограниченномъ и бѣдномъ мірѣ нашей вседневной жизни. Карлики радуются, огорчаются, приходятъ въ восторгъ, приходятъ въ негодованіе, борются съ искушеніями, одерживаютъ побѣды, терпятъ пораженія, влюбляются, женятся, спорятъ, горячатся, интригуютъ, мирятся, словомъ—все дѣлаютъ точно настоящіе люди, а, между тѣмъ, ни одинъ настоящій человѣкъ не сумѣетъ имъ сочувствовать потому, что это невозможно: ихъ радости, ихъ страданія, ихъ волненія, искушенія, побѣды, страсти, споры и разсужденія—все это такъ ничтожно, такъ неуловимо мелко, что только карликъ можетъ ихъ понять, оцѣнить и принять къ сердцу. Типъ карликовъ, или, что то же, типъ практическихъ людей, чрезвычайно распространенъ и видоизмѣняется сообразно съ особенностями различныхъ слоевъ общества: этотъ типъ господствуетъ и торжествуетъ; онъ составляетъ себѣ блестящія карьеры, наживаетъ большія деньги и самовластно распоряжается въ семей-

ствахъ; онъ дѣлаетъ всѣмъ окружающимъ людямъ много непріятностей, а самъ не получаетъ отъ этого никакого удовольствія; онъ дѣятеленъ, но дѣятельность его похожа на бѣганіе бѣлки въ колесѣ.

Литература наша давно уже относится къ этому типу безъ всякой особенной нѣжности и давно уже осуждаетъ съ полнымъ единодушіемъ то воспитаніе палкой, которое вырабатываетъ и формируетъ плотоядныхъ карликовъ. Одинъ только Гончаровъ пожелалъ возвести типъ карлика въ перлъ созданія; вслѣдствіе этого онъ произвелъ на свѣтъ Петра Ивановича Адуева и Андрея Ивановича Штольца; но эта попытка во всѣхъ отношеніяхъ похожа на поползновеніе Гоголя представить идеальнаго помѣщика Костанжогло и идеальнаго откупщика Муразова. Типъ карликовъ, повидимому, уже не опасенъ для нашего сознанія; онъ не прельщаетъ насъ больше, и отвращеніе къ этому типу заставляетъ даже нашу литературу и критику бросаться въ противоположную крайность, отъ которой также не мѣшаетъ поостеречься; не умѣя остановиться на чистомъ отрицаніи карликовъ, наши писатели стараются противопоставить торжествующей силѣ угнетенную невинность; они хотятъ доказать, что торжествующая сила нехороша, а угнетенная невинность, напротивъ того, прекрасна; въ этомъ они ошибаются: и сила глупа, и невинность глупа, и только оттого, что онѣ обѣ глупы, сила стремится угнетать, а невинность погружается въ тупое терпѣніе; свѣту нѣтъ, и оттого люди, не видя и не понимая другъ-друга, дерутся въ темнотѣ; и хотя у поражаемыхъ субъектовъ часто сыплются искры изъ глазъ, однако это освѣщеніе, какъ извѣстно по опыту, совершенно неспособно разсѣять окружающій мракъ; и какъ бы ни были многочисленны и разноцвѣтны подставляемые фонари, но всѣ они въ совокупности не замѣняютъ самаго жалкаго сальнаго огарка.

Когда человѣкъ страдаетъ, онъ всегда дѣлается трогательнымъ; вокругъ него разливается особенная мягкая прелесть, которая дѣйствуетъ на васъ съ неотразимою силой; не сопротивляйтесь этому впечатлѣнію, когда оно побуждаетъ васъ въ сферѣ практической дѣятельности заступиться за несчастнаго или облегчить его страданіе; но если вы въ области теоретической мысли разсуждаете объ общихъ *причинахъ* разныхъ специфическихъ страданій, то вы непре-

мѣнно должны относиться къ страдальцамъ такъ же равнодушно, какъ и къ мучителямъ: вы не должны сочувствовать ни Катеринѣ ни Кабанихѣ потому, что, въ противномъ случаѣ, въ вашъ анализъ ворвется лирическій элементъ, который перепутаетъ все ваше разсужденіе. Вы должны считать свѣтлымъ явленіемъ только то, что́ въ большей или меньшей степени можетъ содѣйствовать прекращенію или облегченію страданія, а если вы расчувствуетесь, то вы назовете лучомъ свѣта или самую способность страдать, или ослиную кротость страдальца, или нелѣпые порывы его безсильнаго отчаянія, или, вообще, что-нибудь такое, что́ ни въ какомъ случаѣ не можетъ образумить плотоядныхъ карликовъ. И выйдетъ изъ этого, что вы не скажете ни одного дѣльнаго слова, а только обольете читателя ароматомъ вашей чувствительности; читателю это, можетъ-быть, и понравится; онъ скажетъ, что вы человѣкъ отмѣнно хорошій; но я, съ своей стороны, рискуя прогнѣвать и читателя и васъ, замѣчу только, что вы принимаете синія пятна, называемыя фонарями, за настоящее освѣщеніе.

Страдательныя личности нашихъ семействъ, тѣ личности, которымъ порывается посочувствовать наша критика, болѣе или менѣе подходятъ подъ общій типъ вѣчныхъ дѣтей, которыхъ формируетъ ласковое воспитаніе нашей безтолковой жизни. Нашъ народъ говоритъ, что „за битаго двухъ небитыхъ даютъ". Имѣя понятіе о дикости семейныхъ отношеній въ нѣкоторыхъ слояхъ нашего общества, мы должны сознаться, что это изреченіе совершенно справедливо и проникнуто глубокою практическою мудростью. Пока въ нашу жизнь не проникнетъ настоящій лучъ свѣта, пока въ массахъ народа не разовьется производительная дѣятельность, разнообразіе занятій, довольство и образованіе, до тѣхъ поръ битый непремѣнно будетъ дороже двухъ небитыхъ, и до тѣхъ поръ родители въ простомъ быту постоянно будутъ принуждены бить своихъ дѣтей для ихъ же пользы. И польза эта вовсе не воображаемая. Даже въ наше просвѣщенное время дѣтямъ простолюдина полезно и необходимо быть битыми, иначе они будутъ со-временемъ несчастнѣйшими людьми. Дѣло въ томъ, что жизнь сильнѣе воспитанія, и если послѣднее не подчиняется добровольно требованіямъ первой, то жизнь насильно схватываетъ продуктъ воспитанія и спокойно ломаетъ его по-своему, не спрашивая

о томъ, во что обходится эта ломка живому организму. Съ молодымъ человѣкомъ обращаются такъ же, какъ и со всѣми его сверстниками; другихъ ругаютъ, и его ругаютъ,—другихъ бьютъ, и его бьютъ. Привыкъ или не привыкъ онъ къ этому обращенію—кому до этого дѣло? Привыкъ—хорошо, значитъ, выдержитъ; не привыкъ—тѣмъ хуже для него, пусть привыкаетъ. Вотъ какъ разсуждаетъ жизнь, и отъ нея невозможно ни ожидать ни требовать, чтобъ она дѣлала какія-нибудь исключенія въ пользу деликатныхъ комплекцій или нѣжно-воспитанныхъ личностей. Но такъ какъ всякая привычка пріобрѣтается всего легче въ дѣтствѣ, то ясно, что люди, воспитанные лаской, будутъ страдать въ своей жизни отъ одинаково дурного обращенія гораздо сильнѣе, чѣмъ люди, воспитанные палкой. Воспитаніе палкой нехорошо, какъ нехорошо, напримѣръ, повсемѣстное развитіе пьянства въ нашемъ отечествѣ; но оба эти явленія составляютъ только невинные и необходимые аксессуары нашей бѣдности и нашей дикости; когда мы сдѣлаемся богаче и образованнѣе, тогда закроется, по крайней мѣрѣ, половина нашихъ кабаковъ, и тогда родители не будутъ бить своихъ дѣтей. Но теперь, когда мужикъ дѣйствительно нуждается въ самозабвеніи и когда водка составляетъ его единственную отраду, было бы нелѣпо требовать, чтобъ онъ не ходилъ въ кабакъ; съ тоски онъ могъ бы придумать что-нибудь еще болѣе безобразное; вѣдь, есть и такія племена, которыя ѣдятъ мухоморъ. Теперь и палка приноситъ свою пользу, какъ приготовленіе къ жизни; уничтожьте палку въ воспитаніи, и вы приготовите только для нашей жизни огромное количество безсильныхъ мучениковъ, которые, натерпѣвшись на своемъ вѣку, или помрутъ отъ чахотки, или превратятся понемногу въ ожесточенныхъ мучителей. Въ настоящее время вы имѣете въ каждомъ русскомъ семействѣ два воспитательные элемента: родительскую палку и родительскую ласку; и то и другое безъ малѣйшей примѣси разумной идеи. И то и другое изъ рукъ вонъ скверно, но родительская палка все-таки лучше родительской ласки.

Я знаю, чѣмъ я рискую; меня назовутъ обскурантомъ, а заслужить въ наше время это названіе почти то же самое, что́ было въ средніе вѣка прослыть еретикомъ и колдуномъ. Я очень желаю сохранить за собой честное имя прогрессиста, *но, разсчитывая* на благоразуміе читателя, надѣюсь, что

онъ понимаетъ общее направленіе моей мысли, и, вооружившись этимъ упованіемъ, осмѣливаюсь уклоняться отъ общепринятой рутины нашего дешеваго либерализма. Палка дѣйствительно развиваетъ до нѣкоторой степени дѣтскій умъ, но только не такъ, какъ думаютъ суровые воспитатели; они думаютъ, что коли посѣчь ребенка, такъ онъ запомнитъ и приметъ къ сердцу спасительные совѣты, раскается въ своемъ легкомысліи, пойметъ заблужденіе и исправитъ свою грѣховную волю; для большей вразумительности воспитатели даже сѣкутъ и приговариваютъ, а ребенокъ кричитъ: „Никогда не буду!“ и, значитъ, изъявляетъ раскаяніе. Эти соображенія добрыхъ родителей и педагоговъ неосновательны; но въ высѣченномъ субъектѣ дѣйствительно происходитъ процессъ мысли, вызванный именно ощущеніемъ боли. Въ немъ изощряется чувство самосохраненія, которое обыкновенно дремлетъ въ дѣтяхъ, окруженныхъ нѣжными заботами и постоянными ласками. Но чувство самосохраненія составляетъ первую причину всякаго человѣческаго прогресса; это чувство, и только оно одно, заставляетъ дикаря переходить отъ охоты къ скотоводству и земледѣлію; оно кладетъ основаніе всѣмъ техническимъ изобрѣтеніямъ, всякому комфорту, всѣмъ промысламъ, наукамъ и искусствамъ. Стремленіе къ удобству, любовь къ изящному и даже чистая любознательность, которую мы въ простотѣ души считаемъ безкорыстнымъ порывомъ человѣческаго ума къ истинѣ, составляютъ только частныя проявленія и тончайшія видоизмѣненія того самаго чувства, которое побуждаетъ насъ избѣгать боли и опасности. Мы чувствуемъ, что нѣкоторыя ощущенія освѣжаютъ и укрѣпляютъ нашу нервную систему; когда мы долго не получаемъ этихъ ощущеній, тогда организмъ нашъ разстраивается, сначала очень легко, однако, такъ, что это разстройство заставляетъ насъ испытать какое-то особенное ощущеніе, извѣстное подъ названіемъ скуки или тоски. Если мы не хотимъ или не можемъ прекратить это непріятное чувство, т.-е. если мы не даемъ организму того, что̀ онъ требуетъ, тогда онъ разстраивается сильнѣе, и чувство дѣлается еще непріятнѣе и томительнѣе. Для того, чтобы постоянно чѣмъ-нибудь затыкать ротъ нашему организму, когда онъ такимъ образомъ начинаетъ скрипѣть и пищать, мы, т.-е. люди вообще, стали смотрѣть вокругъ себя, стали вглядываться и прислушиваться, стали двигать

самымъ усиленнымъ образомъ и руками, и ногами, и мозгами. Разнообразное двиганіе совершенно соотвѣтствовало самымъ прихотливымъ требованіямъ неугомонной нервной системы; это двиганіе такъ завлекло насъ и такъ полюбилось намъ, что мы занимаемся имъ теперь съ самымъ страстнымъ усердіемъ, совершенно теряя изъ виду исходную точку этого процесса. Мы серіозно думаемъ, что любимъ изящное, любимъ науку, любимъ истину, а на самомъ дѣлѣ мы любимъ только цѣлость нашего хрупкаго организма; да и не любимъ даже, а просто повинуемся слѣпо и невольно закону необходимости, дѣйствующему во всей цѣпи органическихъ созданій, начиная отъ какого-нибудь гриба и кончая какимъ-нибудь Гейне или Дарвиномъ.

IX.

Если чувство самосохраненія, дѣйствуя въ нашей породѣ, вызвало на свѣтъ всѣ чудеса цивилизаціи, то, разумѣется, это чувство, возбужденное въ ребенкѣ, будетъ въ малыхъ размѣрахъ дѣйствовать въ немъ въ томъ же направленіи. Чтобы привести въ движеніе мыслительныя способности ребенка, необходимо возбудить и развить въ немъ ту или другую форму чувства самосохраненія. Ребенокъ начнетъ работать мозгомъ только тогда, когда въ немъ проснется какое-нибудь стремленіе, которому онъ пожелаетъ удовлетворить, а всѣ стремленія безъ исключенія вытекаютъ изъ одного общаго источника, именно—изъ чувства самосохраненія. Воспитателю предстоитъ только выборъ той формы этого чувства, которую онъ пожелаетъ возбудить и развить въ своемъ воспитанникѣ. Образованный воспитатель выберетъ тонкую и положительную форму, т.-е. стремленіе къ наслажденію; а воспитатель полудикій поневолѣ возьметъ грубую и отрицательную форму, т.-е. отвращеніе къ страданію; второму воспитателю нѣтъ выбора; стало-быть, очевидно, надо или сѣчь ребенка, или помириться съ тою мыслью, что въ немъ всѣ стремленія останутся непробужденными и что умъ его будетъ дремать до тѣхъ поръ, пока жизнь не начнетъ толкать и швырять его по-своему. Ласковое воспитаніе хорошо и полезно только тогда, когда воспитатель умѣетъ возбудить въ ребенкѣ высшія и положительныя формы чувства *самосохраненія*, т.-е. любовь къ полезному и къ истинному

стремленіе къ умственнымъ занятіямъ и страстное влеченіе къ труду и къ знанію. У тѣхъ людей, для которыхъ эти хорошія вещи не существуютъ, ласковое воспитаніе есть не что иное, какъ медленное развращеніе ума посредствомъ бездѣйствія. Умъ спитъ годъ, два, десять лѣтъ и, наконецъ, доспится до того, что даже толчки дѣйствительной жизни перестаютъ возбуждать его. Человѣку не все равно, когда начать развиваться—съ пятилѣтія или съ двадцати лѣтъ. Въ двадцать лѣтъ и обстоятельства встрѣчаются не тѣ, да и самъ человѣкъ уже не тотъ. Не имѣя возможности справиться съ обстоятельствами, двадцатилѣтній ребенокъ поневолѣ подчиняется имъ, и жизнь начнетъ кидать это пассивное существо изъ стороны въ сторону, а ужъ тутъ плохо развиваться, потому что, когда на охоту ѣдутъ, тогда собакъ поздно кормить. И выйдетъ изъ человѣка ротозѣй и тряпка, интересный страдалецъ и невинная жертва. Когда ребенокъ не затронутъ никакими стремленіями, когда дѣйствительная жизнь не подходитъ къ нему ни въ видѣ угрожающей розги, ни въ видѣ тѣхъ обаятельныхъ и серіозныхъ вопросовъ, которые она задаетъ человѣческому уму,—тогда мозгъ не работаетъ, а постоянно играетъ разными представленіями и впечатлѣніями. Эта безцѣльная игра мозга называется фантазіей и, кажется, даже считается въ психологіи особенною силой души. На самомъ же дѣлѣ эта игра есть просто проявленіе мозговой силы, не пристроенной къ дѣлу. Когда человѣкъ думаетъ, тогда силы его мозга сосредоточиваются на опредѣленномъ предметѣ и, слѣдовательно, регулируются единствомъ цѣли; а когда нѣтъ цѣли, тогда готовой мозговой силѣ все-таки надо же куда-нибудь дѣваться; ну, и начинается въ мозгу такое движеніе представленій и впечатлѣній, которое относится къ мыслительной дѣятельности такъ, какъ насвистываніе какого-нибудь мотива относится къ оперному пѣнію передъ многочисленною и взыскательною публикой. Размышленіе есть трудъ, требующій участія воли,—трудъ, невозможный безъ опредѣленной цѣли, а фантазія есть совершенно невольное отправленіе, возможное только при отсутствіи цѣли. Фантазія—сонъ наяву; поэтому и существуютъ на всѣхъ языкахъ для обозначенія этого понятія такія слова, которыя самымъ тѣснымъ образомъ связаны съ понятіемъ о снѣ: по-русски—греза, по-французски—rêverie, по-нѣмецки—Träumerei, по-англійски—day dream.

Очень понятно, что спать днемъ и, притомъ, спать наяву можетъ только такой человѣкъ, которому нечего дѣлать и который не умѣетъ употребить свое время ни на то, чтобъ улучшить свое положеніе, ни на то, чтобъ освѣжить свои нервы дѣятельнымъ наслажденіемъ. Чтобы быть фантазеромъ, вовсе не нужно имѣть темпераментъ особеннаго устройства; всякій ребенокъ, у котораго нѣтъ никакихъ заботъ и у котораго очень много досуга, непремѣнно сдѣлается фантазеромъ; фантазія родится тогда, когда жизнь пуста и когда нѣтъ никакихъ дѣйствительныхъ интересовъ; эта мысль оправдывается какъ въ жизни цѣлыхъ народовъ, такъ и въ жизни отдѣльныхъ личностей. Если эстетики будутъ превозносить развитіе фантазіи, какъ свѣтлое и отрадное явленіе, то этимъ они обнаружатъ только свою привязанность къ пустотѣ и свое отвращеніе къ тому, что дѣйствительно возвышаетъ человѣка; или, еще проще, они докажутъ намъ, что они чрезвычайно лѣнивы и что умъ ихъ уже не переноситъ серіозной работы. Впрочемъ, это обстоятельство уже ни для кого не составляетъ тайны.

X.

Наша жизнь, предоставленная своимъ собственнымъ принципамъ, вырабатываетъ карликовъ и вѣчныхъ дѣтей. Первые дѣлаютъ зло активное, вторыя—пассивное; первые больше мучаютъ другихъ, чѣмъ страдаютъ сами, вторыя больше страдаютъ сами, чѣмъ мучаютъ другихъ. Впрочемъ, съ одной стороны, карлики вовсе не наслаждаются безмятежнымъ счастіемъ, а, съ другой стороны, вѣчныя дѣти причиняютъ часто другимъ очень значительныя страданія; только дѣлаютъ они это ненарочно, по трогательной невинности или, что то же, по непроходимой глупости. Карлики страдаютъ узкостью и мелкостью ума, а вѣчныя дѣти—умственною спячкой и, вслѣдствіе этого, совершеннымъ отсутствіемъ здраваго смысла. По милости карликовъ, наша жизнь изобилуетъ грязными и глупыми комедіями, которыя разыгрываются каждый день, въ каждомъ семействѣ, при всѣхъ сдѣлкахъ и отношеніяхъ между людьми; по милости вѣчныхъ дѣтей, эти грязныя комедіи иногда заканчиваются глупыми трагическими *развязками*. Карликъ ругается и дерется, но соблюдаетъ при

этихъ дѣйствіяхъ благоразумную расчетливость, чтобы не надѣлать себѣ скандала и чтобы не вынести сора изъ избы. Вѣчный ребенокъ все терпитъ и все печалится, а потомъ, какъ прорветъ его, онъ и хватитъ за разъ, да ужъ такъ хватитъ, что или самого себя, или своего собесѣдника уложитъ на мѣстѣ. Послѣ этого завѣтный соръ, разумѣется, не можетъ оставаться въ избѣ и препровождается въ уголовную палату. Простая драка превратилась въ драку съ убійствомъ, и трагедія вышла такая же глупая, какая была предшествовавшая ей комедія.

Но эстетики понимаютъ дѣло иначе; въ ихъ головы засѣла очень глубоко старая піитика, предписывающая писать трагедіи высокимъ слогомъ, а комедіи—среднимъ и, смотря по обстоятельствамъ, даже низкимъ; эстетики помнятъ, что герой умираетъ въ трагедіи насильственною смертью; они знаютъ, что трагедія непремѣнно должна производить впечатлѣніе возвышенное, что она можетъ возбуждать ужасъ, но не презрѣніе, и что несчастный герой долженъ приковывать къ себѣ вниманіе и сочувствіе зрителей. Вотъ эти-то предписанія піитики они и прикладываютъ къ обсужденію тѣхъ словесныхъ и рукопашныхъ схватокъ, которыя составляютъ мотивы и сюжеты нашихъ драматическихъ произведеній. Эстетики открещиваются и отплевываются отъ преданій старой піитики; они не упускаютъ ни одного случая посмѣяться надъ Аристотелемъ и Буало и заявить свое собственное превосходство надъ ложно-классическими теоріями, а, между тѣмъ, именно эти одряхлѣвшія преданія составляютъ до сихъ поръ все содержаніе эстетическихъ приговоровъ. Эстетикамъ и въ голову не приходитъ, что трагическое происшествіе почти всегда бываетъ такъ же глупо, какъ и комическое, и что глупость можетъ составлять единственную пружину разнообразнѣйшихъ драматическихъ коллизій. Какъ только дѣло переходитъ отъ простой бесѣды къ уголовному преступленію, такъ эстетики тотчасъ приходятъ въ смущеніе и спрашиваютъ себя, кому жъ они будутъ сочувствовать и какое выраженіе изобразятъ они на своихъ физіономіяхъ—ужасъ, или негодованіе, или глубокую задумчивость, или торжественную грусть? Но, вообще, надо имъ найти, во-первыхъ, предметъ для сочувствія, а во-вторыхъ, возвышенное выраженіе для собственной физіономіи. Иначе нельзя и говорить о трагическомъ происшествіи.

Однако, что́ же, въ самомъ дѣлѣ, думаетъ читатель? Вѣдь, не смѣяться же, когда люди лишаютъ себя живота или перегрызаютъ другъ другу горло? О, мой читатель, кто васъ заставляетъ смѣяться? Я такъ же мало понимаю смѣхъ при видѣ нашихъ комическихъ глупостей, какъ и возвышенныя чувства при видѣ нашихъ трагическихъ пошлостей; совсѣмъ не мое дѣло, и вообще не дѣло критика предписывать читателю, что́ онъ долженъ чувствовать; не мое дѣло говорить вамъ: извольте, сударь, улыбнуться,—потрудитесь, сударыня, вздохнуть и возвести очи къ небу. Я беру все, что̀ пишется нашими хорошими писателями,—романы, драмы, комедіи, что угодно,—я беру все это, какъ сырые матеріалы, какъ образчики нашихъ нравовъ; я стараюсь анализировать всѣ эти разнообразныя явленія; я замѣчаю въ нихъ общія черты; я отыскиваю связь между причинами и слѣдствіями—и прихожу такимъ путемъ къ тому заключенію, что всѣ наши треволненія и драматическія коллизіи обусловливаются исключительно слабостью нашей мысли и отсутствіемъ самыхъ необходимыхъ знаній, то-есть, говоря короче, глупостью и невѣжествомъ. Жестокость семейнаго деспота, фанатизмъ старой ханжи, несчастная любовь дѣвушки къ негодяю, кротость терпѣливой жертвы семейнаго самовластія, порывъ отчаянія, ревность, корыстолюбіе, мошенничество, буйный разгулъ, воспитательная розга, воспитательная ласка, тихая мечтательность, восторженная чувствительность—вся эта пестрая смѣсь чувствъ, качествъ и поступковъ, возбуждающихъ въ груди пламеннаго эстетика цѣлую бурю высокихъ ощущеній, вся эта смѣсь сводится, по моему мнѣнію, къ одному общему источнику, который, сколько мнѣ кажется, не можетъ возбуждать въ насъ ровно никакихъ ощущеній, ни высокихъ ни низкихъ. Все это различныя проявленія неисчерпаемой глупости.

Добрые люди будутъ горячо спорить между собою о томъ, что́ въ этой смѣси хорошо и что́ дурно; вотъ это, скажутъ, добродѣтель, а вотъ это—порокъ; но безплоденъ будетъ весь споръ добрыхъ людей: нѣтъ тутъ ни добродѣтелей ни пороковъ, нѣтъ ни звѣрей ни ангеловъ. Есть только хаосъ и темнота, есть непониманіе и неумѣніе понимать. Надъ чѣмъ же тутъ смѣяться, противъ чего тутъ негодовать, чему тутъ сочувствовать? Что́ тутъ долженъ дѣлать критикъ? Онъ должен*ъ говорить* обществу и сегодня, и завтра, и послѣзавтра,

и десять лѣтъ подъ-рядъ, и сколько хватитъ его силъ и его жизни,—говорить, не боясь повтореній, говорить такъ, чтобъ его понимали, говорить постоянно, что народъ нуждается только въ одной вещи, въ которой заключаются уже всѣ остальныя блага человѣческой жизни. Нуждается онъ въ движеніи мысли, а это движеніе возбуждается и поддерживается пріобрѣтеніемъ знаній. Пусть общество не сбивается съ этой прямой и единственной дороги къ прогрессу, пусть не думаетъ, что ему надо пріобрѣсти какія-нибудь добродѣтели, привить къ себѣ какія-нибудь похвальныя чувства, запастись тонкостью вкуса или вытвердить кодексъ либеральныхъ убѣжденій. Все это мыльные пузыри, все это дешевая поддѣлка настоящаго прогресса, все это болотные огоньки, заводящіе насъ въ трясину возвышеннаго краснорѣчія, все это бесѣды о честности зипуна и о необходимости почвы, и ото всего этого мы не дождемся ни одного луча настоящаго свѣта. Только живая и самостоятельная дѣятельность мысли, только прочныя и положительныя знанія обновляютъ жизнь, разгоняютъ темноту, уничтожаютъ глупые пороки и глупыя добродѣтели и такимъ образомъ выметаютъ соръ изъ избы, не перенося его въ уголовную палату. Но не думайте, пожалуйста, что народъ найдетъ свое спасеніе въ тѣхъ знаніяхъ, которыми обладаетъ наше общество и которыя разсыпаютъ щедрою рукой книжки, продающіяся теперь, для блага младшихъ братьевъ, по пятаку и по гривнѣ. Если вмѣсто такого просвѣщенія мужикъ купитъ себѣ колачъ, то онъ докажетъ этимъ поступкомъ, что онъ гораздо умнѣе составителя книжки и самъ могъ бы многому научить послѣдняго.

Дерзость наша равняется только нашей глупости, и только глупостью нашею можетъ быть объяснена и оправдана. Мы—просвѣтители народа?!.. Чтó это—невинная шутка или ядовитая насмѣшка? Да сами-то мы чтó такое? Не правда ли, какъ мы много знаемъ, какъ мы основательно мыслимъ, какъ превосходно мы наслаждаемся жизнью, какъ умно мы установили наши отношенія къ женщинѣ, какъ глубоко мы поняли необходимость работать на пользу общую? Да можно ли перечислить всѣ наши достоинства? Вѣдь, мы такъ безподобны, что когда намъ покажутъ издали, въ романѣ, поступки и размышленія умнаго и развитого человѣка, тогда мы сейчасъ въ ужасъ придемъ и глаза зажмуримъ, потому что примемъ неискаженный человѣческій образъ за чудовищное

явленіе. Вѣдь, мы такъ человѣколюбивы, что, великодушно забывая свою собственную неумытость, лѣземъ непремѣнно умывать нашими грязными руками младшихъ братьевъ, о которыхъ болитъ наша нѣжная душа и которые, самособою разумѣется, выпачканы также до помраченія человѣческаго образа. И усердно мажемъ мы грязными руками по грязнымъ лицамъ, и велики наши труды, и пламенна наша любовь, во-первыхъ—къ чумазымъ братьямъ, а во-вторыхъ—къ ихъ пятакамъ и гривнамъ, и человѣколюбивые подвиги темныхъ просвѣтителей могутъ съ величайшимъ удобствомъ продолжаться вплоть до второго пришествія, не нанося ни малѣйшаго ущерба тому надежному слою грязи, который съ полнымъ безпристрастіемъ украшаетъ какъ хлопотливыя руки учителей, такъ и неподвижныя лица учениковъ. Глядя на чудеса нашего народолюбія, поневолѣ прибѣгнешь къ языку боговъ и произнесешь стихъ Полонскаго:

Тебѣ ли съ рыломъ
Суконнымъ да въ гостиный рядъ.

Лучшіе наши писатели очень хорошо чувствуютъ, что рыло у насъ дѣйствительно суконное и что въ гостиный рядъ намъ покуда ходить не зачѣмъ. Они понимаютъ, что имъ самимъ слѣдуетъ учиться и развиваться и что вмѣстѣ съ ними должно учиться то русское общество, которое для красоты слога называетъ себя образованнымъ. Они видятъ очень ясно двѣ вещи: первое—то, что наше общество, при теперешнемъ уровнѣ своего образованія, совершенно безсильно, и слѣдовательно, неспособно произвести въ понятіяхъ и нравахъ народа ни малѣйшаго измѣненія ни въ дурную ни въ хорошую сторону, а второе—то, что если бы даже, по какому-нибудь необъяснимому стеченію случайностей, теперешнему обществу удалось переработать народъ по своему образу и подобію, то это было бы для народа истиннымъ несчастіемъ.

Чувствуя, понимая и видя все это, лучшіе наши писатели, люди, дѣйствительно мыслящіе, обращаются до сихъ поръ исключительно къ обществу, а книжки для народа пишутся тѣми литературными промышленниками, которые въ другое время стали бы издавать сонники и новыя собранія пѣсенъ московскихъ цыганъ. Даже такое чистое и святое дѣло, какъ воскресныя школы, оказывается еще сомни-

тельнымъ. Тургеневъ совершенно справедливо замѣчаетъ въ своемъ послѣднемъ романѣ, что мужикъ говорилъ съ Базаровымъ, какъ съ несмыслящимъ ребенкомъ, и смотрѣлъ на него, какъ на шута гороховаго. Пока на сто квадратныхъ миль будетъ приходиться по одному Базарову, да и то врядъ ли, до тѣхъ поръ всѣ, и сермяжники и джентльмены, будутъ считать Базаровыхъ вздорными мальчишками и смѣшными чудаками. Пока одинъ Базаровъ окруженъ тысячами людей, неспособныхъ его понимать, до тѣхъ поръ Базарову слѣдуетъ сидѣть за микроскопомъ и рѣзать лягушекъ и печатать книги и статьи съ анатомическими рисунками. Микроскопъ и лягушка—вещи невинныя и занимательныя, а молодежь—народъ любопытный; ужъ если Павелъ Петровичъ Кирсановъ не утерпѣлъ, чтобы не взглянуть на инфузорію, глотавшую зеленую пылинку, то молодежь и подавно не утерпитъ, и не только взглянетъ, а постарается завести себѣ свой микроскопъ и незамѣтно для самой себя проникнется глубочайшимъ уваженіемъ и пламенной любовью къ распластанной лягушкѣ. А только это и нужно. Тутъ-то именно, въ самой лягушкѣ-то, и заключаются спасеніе и обновленіе русскаго народа. Ей-Богу, читатель, я не шучу и не потѣшаю васъ парадоксами. Я выражаю только безъ торжественности такую истину, въ которой я глубоко убѣжденъ и въ которой гораздо раньше меня убѣдились самыя свѣтлыя головы въ Европѣ и, слѣдовательно, во всемъ подлунномъ мірѣ. Вся сила здѣсь въ томъ, что по поводу разрѣзанной лягушки чрезвычайно мудрено приходить въ восторгъ и говорить такія фразы, въ которыхъ понимаешь одну десятую часть, а иногда и еще того меньше. Пока мы, вслѣдствіе историческихъ обстоятельствъ, спали невиннымъ сномъ грудного ребенка, до тѣхъ поръ фразерство не было для насъ опасно; теперь, когда наша слабая мысль начинаетъ понемногу шевелиться, фразы могутъ надолго задержать и изуродовать наше развитіе. Стало-быть, если наша молодежь сумѣетъ вооружиться непримиримою ненавистью противъ всякой фразы, кѣмъ бы она ни была произнесена, Шатобріаномъ или Прудономъ, если она выучится отыскивать вездѣ живое явленіе, а не ложное отраженіе этого явленія въ чужомъ сознаніи, то мы будемъ имѣть полное основаніе разсчитывать на довольно нормальное и быстрое улучшеніе нашихъ мозговъ. Конечно, эти расчеты могутъ быть совер-

шенно перепутаны историческими обстоятельствами, но объ этомъ я не говорю, потому что тутъ голосъ критики совершенно безсиленъ. Но придетъ время,—и оно уже вовсе недалеко,—когда вся умная часть молодежи, безъ различія сословія и состоянія, будетъ жить полною умственною жизнью и смотрѣть на вещи разсудительно и серіозно. Тогда молодой землевладѣлецъ поставитъ свое хозяйство на европейскую ногу; тогда молодой капиталистъ заведетъ тѣ фабрики, которыя намъ необходимы, и устроитъ ихъ такъ, какъ того требуютъ общіе интересы хозяина и работниковъ; и этого довольно: хорошая ферма и хорошая фабрика, при раціональной организаціи труда, составляютъ лучшую и единственную возможную школу для народа, во-первыхъ, потому, что эта школа кормитъ своихъ учениковъ и учителей, а во-вторыхъ, потому, что она сообщаетъ знаніе не по книгѣ, а по явленіямъ живой дѣйствительности. Книга придетъ въ свое время, устроить школы при фабрикахъ и при фермахъ будетъ такъ легко, что это уже сдѣлается само-собою.

Вопросъ о народномъ трудѣ заключаетъ въ себѣ всѣ остальные вопросы и самъ не заключается ни въ одномъ изъ нихъ; поэтому надо постоянно имѣть въ виду именно этотъ вопросъ и не развлекаться тѣми второстепенными подробностями, которыя всѣ будутъ устроены, какъ только подвинется впередъ главное дѣло. Не даромъ Вѣра Павловна заводитъ мастерскую, а не школу, и не даромъ тотъ романъ, въ которомъ описывается это событіе, носитъ заглавіе: „Что дѣлать?“. Тутъ дѣйствительно дается нашимъ прогрессистамъ самая вѣрная и вполнѣ осуществимая программа дѣятельности. Много ли, мало ли времени придется намъ итти къ нашей цѣли, заключающейся въ томъ, чтобъ обогатить и просвѣтить нашъ народъ,—объ этомъ безполезно спрашивать. Это—вѣрная дорога, и другой вѣрной дороги нѣтъ. Русская жизнь, въ самыхъ глубокихъ своихъ нѣдрахъ, не заключаетъ рѣшительно никакихъ задатковъ самостоятельнаго обновленія; въ ней лежатъ только сырые матеріалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны вліяніемъ общечеловѣческихъ идей; русскій человѣкъ принадлежитъ къ высшей, кавказской расѣ; стало-быть, всѣ милліоны русскихъ дѣтей, неискалѣченныхъ элементами нашей народной жизни, могутъ сдѣлаться и мыслящими людьми и здоровыми членами *цивилизованнаго* общества. Разумѣется, такой колоссальный

умственный переворотъ требуетъ времени. Онъ начался въ кругу самыхъ дѣльныхъ студентовъ и самыхъ просвѣщенныхъ журналистовъ. Сначала были свѣтлыя личности, стоявшія совершенно одиноко; было время, когда Бѣлинскій воплощалъ въ себѣ всю сумму свѣтоносныхъ идей, находившихся въ нашемъ отечествѣ; теперь, испытавъ по дорогѣ много видоизмѣненій, одинокая личность русскаго прогрессиста разрослась въ цѣлый типъ, который нашелъ уже себѣ свое выраженіе въ литературѣ и который называется или Базаровымъ или Лопуховымъ. Дальнѣйшее развитіе умственнаго переворота должно итти такъ же, какъ шло его начало; оно можетъ итти скорѣе или медленнѣе, смотря по обстоятельствамъ, но оно должно итти все одною и тою же дорогой.

XI.

Не ждите и не требуйте отъ меня, читатель, чтобы я теперь сталъ продолжать начатый анализъ характера Катерины. Я такъ откровенно и такъ подробно высказалъ вамъ свое мнѣніе о цѣломъ порядкѣ явленій „темнаго царства“ или, говоря проще, семейнаго курятника,—что мнѣ теперь осталось бы только прикладывать общія мысли къ отдѣльнымъ лицамъ и положеніямъ; мнѣ пришлось бы повторять то, что́ я уже высказалъ, а это была бы работа очень не головоломная, и вслѣдствіе этого очень скучная и совершенно безполезная. Если читатель находитъ идеи этой статьи справедливыми, то онъ, вѣроятно, согласится съ тѣмъ, что всѣ новые характеры, выводимые въ нашихъ романахъ и драмахъ, могутъ относиться или къ базаровскому типу, или къ разряду карликовъ и вѣчныхъ дѣтей. Отъ карликовъ и отъ вѣчныхъ дѣтей ждать нечего; новаго они ничего не произведутъ; если вамъ покажется, что въ ихъ мірѣ появился новый характеръ, то вы смѣло можете утверждать, что это—оптическій обманъ. То, что́ вы въ первую минуту примете за новое, скоро окажется очень старымъ; это просто—новая помѣсь карлика съ вѣчнымъ ребенкомъ, а какъ ни смѣшивайте эти два элемента, какъ ни разбавляйте одинъ видъ тупоумія другимъ видомъ тупоумія, въ результатѣ все-таки получите новый видъ стараго тупоумія.

Эта мысль совершенно подтверждается двумя послѣдними драмами Островскаго: *Гроза* и *Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ*. Въ первой—русская Офелія, Катерина, совершивъ множество глупостей, бросается въ воду и дѣлаетъ, такимъ образомъ, послѣднюю и величайшую нелѣпость. Во второй—русскій Отелло, Красновъ, во все время драмы ведетъ себя довольно сносно, а потомъ сдуру зарѣзываетъ свою жену, очень ничтожную бабенку, на которую и сердиться не стоило. Можетъ-быть, русская Офелія ничѣмъ не хуже настоящей и, можетъ-быть, Красновъ ни въ чемъ не уступитъ венеціанскому мавру, но это ничего не доказываетъ: глупости могли такъ же удобно совершаться въ Даніи и въ Италіи, какъ и въ Россіи; а что въ средніе вѣка онѣ совершались гораздо чаще и были гораздо крупнѣе, чѣмъ въ наше время, это уже не подлежитъ никакому сомнѣнію; но средневѣковымъ людямъ и даже Шекспиру, было еще извинительно принимать большія человѣческія глупости за великія явленія природы, а намъ, людямъ XIX столѣтія, пора же называть вещи ихъ настоящими именами. Есть, правда, и у насъ средневѣковые люди, которые увидятъ въ подобномъ требованіи оскорбленіе искусства и человѣческой природы, но, вѣдь, на всѣ вкусы мудрено угодить; такъ пускай ужъ эти люди гнѣваются на меня, если это необходимо для ихъ здоровья.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о двухъ другихъ произведеніяхъ Островскаго—о драматической хроникѣ *Козьма Мининъ* и о сценахъ *Тяжелые дни*. По правдѣ сказать, я хорошенько не вижу, чѣмъ *Козьма Мининъ* отличается отъ драмы Кукольника: „Рука Всевышняго отечество спасла". И Кукольникъ и Островскій рисуютъ историческія событія такъ, какъ наши доморощенные живописцы и граверы рисуютъ доблестныхъ генераловъ: на первомъ планѣ огромный генералъ сидитъ на лошади и машетъ какимъ-нибудь дреколіемъ; потомъ—клубы пыли или дыма, что̀ именно не разберешь; потомъ—за клубами крошечные солдатики, поставленные на картину только для того, чтобы показать наглядно, какъ великъ полковой командиръ и какъ малы въ сравненіи съ нимъ нижніе чины. Такъ, у Островскаго на первомъ планѣ—колоссальный Мининъ, за нимъ—его страданія наяву и видѣнія во снѣ, а совсѣмъ назади два-три коропузика изображаютъ русскій народъ, спасающій отечество. По настоящему слѣдовало бы всю картину перевер-

нуть, потому что въ нашей исторіи Мининъ, а во французской—Іоанна д'Аркъ понятны только, какъ продукты сильнѣйшаго народнаго воодушевленія. Но наши художники разсуждаютъ по-своему, и урезонить ихъ мудрено. Что касается до *Тяжелыхъ дней*, то это ужъ и Богъ знаетъ что за произведеніе. Остается пожалѣть, что Островскій не украсилъ его куплетами и переодѣваніями,—вышелъ бы премиленькій водевиль, который съ большимъ успѣхомъ можно было бы давать на сценѣ для съѣзда и для разъѣзда театральной публики. Сюжетъ заключается въ томъ, что добродѣтельный и остроумный чиновникъ, съ безкорыстіемъ, достойнымъ самаго идеальнаго станового, устраиваетъ счастье купеческаго сына Андрея Брускова и купеческой дочери Александры Кругловой. Дѣйствующія лица пьютъ шампанское, занавѣсъ опускается, и статья моя оканчивается.

Д. Писаревъ.

„Шутники“, А. Островскаго [1]).

Различай: fas и nefas (древнее выраженіе).

*) *Шутники*—скажемъ правду—слабѣе многихъ другихъ пьесъ Островскаго. Главный ея недостатокъ—очевидная поспѣшность въ работѣ; характеры, по большей части, только намѣчены: ни одинъ не доведенъ до полнаго типа.

---

[1]) Дм. Аверкіевъ. „Эпоха“, 1864 г., № 9.

*) Дм. Вас. Аверкіевъ извѣстенъ, главнымъ образомъ, какъ драматическій писатель, имѣвшій со своими пьесами успѣхъ у неизбалованной толпы, цѣнящей мелодраматическіе эффекты и грубо-расписныя сценическія положенія.

Аверкіевъ род. въ Екатеринодарѣ, въ 1836 г., въ старинной, ветхозавѣтной, раскольничьей семьѣ, нетерпимо относившейся къ европейской образованности и благоговѣвшей передъ преданіями московской Руси. Вліяніе семьи сказалось на душевномъ и умственномъ складѣ Аверкіева, и онъ остался на всю жизнь узкимъ націоналистомъ, консерваторомъ, съ ненавистью относящимся ко всему, чтó носитъ какой бы то ни было оттѣнокъ „гнилого Запада“. Къ лагерю славянофиловъ, однако, его причислить нельзя, такъ какъ онъ, по своимъ взглядамъ, склонялся къ офиціальной народности.

Образованіе Аверкіевъ получилъ въ петербургскомъ коммерческомъ училищѣ, откуда вышелъ въ 1852 г., а черезъ годъ поступилъ на естеств. факультетъ петербургскаго университета. По окончаніи курса Аверкіевъ рѣшилъ заняться газетнымъ сотрудничествомъ и сталъ работать въ „Сѣв. Пчелѣ“, издателями которой были такіе, хорошо всѣмъ извѣстные литературные мародеры и „разбойники пера“, какъ Ѳ. Булгаринъ и Гречъ. Кромѣ того, Аверкіевъ участвовалъ и въ „Русск. Инвалидѣ“, носившемъ тогда чисто-военный характеръ. Въ 1860 г. редакторомъ „Сѣв. Пчелы“ становится извѣстный писатель и изслѣдователь раскола Пав. Степ. Усовъ. Въ 1864 г. Аверкіевъ сошелся съ Ѳ. М. Достоевскимъ, братъ котораго Мих. Мих. издавалъ журн. „Эпоха“, проповѣдывавшій „возвращеніе къ народности, къ началамъ народнымъ и возбужденіе оторвавшагося отъ почвы общества *къ изученію народа* нашего и къ увѣрованію въ правду основныхъ началъ

Лучшее лицо—лицо Шилохвостова, лицо второстепенное, эпизодическое и обрисованное не прямымъ участіемъ въ дѣйствіи, а вставочными—впрочемъ, довольно живыми—сценами 2-го акта. Вся комедія распадается на двѣ части: исторію о Гольцовѣ и исторію о найденныхъ шестидесяти тысячахъ. Обѣ части связаны весьма эпизодически, и исторія о шестидесяти тысячахъ—исторія чисто-анекдотическая и потому совершенно лишняя. Другая, болѣе внутренняя связь—связь идеи—выполнена слабѣе. Идея о шутникахъ развита слабѣе, чѣмъ противоположная ей—отношеній Оброшенова къ шутникамъ и къ своему семейству; а въ этомъ послѣднемъ случаѣ отношенія къ семейству выражены лучше, а отношенія къ шутникамъ являются въ разсказѣ самого Оброшенова. Безъ сомнѣнія, драматизируй Островскій положеніе Оброшенова въ средѣ шутниковъ,—и тогда его честныя отношенія къ семейству выступили бы еще ярче, и самое лицо этого подьячаго стало бы рельефнѣе. Тогда и лицо купца Хрюкова сдѣлалось бы типичнѣе. Хрюковъ вовсе не дурной человѣкъ, шутитъ потому, что позволяютъ шутить, и сопоставленіе Оброшенова, какъ шута, и Оброшенова, какъ семейнаго человѣка, по отношенію къ шуткамъ Хрюкова вышло бы драматичнѣе, и комедія была бы настоящей бытовою комедіей, а не картинами.

Но развитіе главной идеи о шутникахъ пошло нѣсколько въ сторону. Вставлены Недоносковъ и Недоростковъ, какъ представители того же типа, но лица эти до того неопредѣ-

---

его жизни". Наше общество стало, по мнѣнію журнала, „космополитично", и произошло это „съ того самаго времени, когда могучій преобразователь Россіи, усомнившись въ состоятельности московскаго царства, усомнился и въ самыхъ силахъ народныхъ и грозною рукою стѣснилъ ихъ развитіе". Аверкіевъ вступилъ въ число сотрудниковъ „Эпохи" въ 1864 г., и здѣсь мы встрѣчаемъ его статьи почти въ каждомъ нумерѣ. Въ „Эпохѣ" же напечатано и первое драматическое произведеніе Аверкіева—„Мамаево побоище". Журналъ существовалъ недолго послѣ смерти Мих. Мих. Достоевскаго (1864 г.). Съ 1865 по 1869 г. Аверкіевъ занимался, по преимуществу, переводами. Въ 1869 г. въ Петерб. сталъ издаваться еженедѣльный иллюстр. журналъ „Всемірная Иллюстрація" по типу большихъ иностранныхъ иллюстрацій. Въ этомъ же году Аверкіевъ становится негласнымъ редакторомъ этого журнала. Въ 1871 г. Аверкіевъ переселяется въ Москву съ цѣлью работать для театра и оставляетъ срочную газетную работу, хотя и продолжаетъ сотрудничество въ различныхъ газетахъ. Между прочимъ, Аверкіевъ получалъ пенсію, пожалованную ему Александромъ III по случаю 35-тилѣтія его литературной дѣятельности. *Прим. Н. Денисюка.*

ленно очерчены, что трудно даже сказать, къ какому сословію они принадлежатъ и что ихъ заставляетъ шутить: недоразвитость ли вообще, скотскія понятія о бѣдности, врожденная ли грубость, или это просто добрые, но пустые малые, которые, смотря съ кѣмъ знакомство сведутъ, такъ и живутъ. Положимъ даже, что они нужны были автору, какъ сценическій пріемъ, чтобы лучше и полнѣе разъяснить отношенія Гольцова и Вѣрочки,—но тогда зачѣмъ этотъ 2-й актъ и весь этотъ анекдотъ о шестидесяти тысячахъ? Чтобы сильнѣй натянуть струны? Это натягиваніе струнъ непріятно видѣть у Островскаго.

Второй актъ до того излишенъ, что при представленіи никто не обращаетъ вниманія на Гольцова и Оброшенова, и весь интересъ зрителя сосредоточенъ на публикѣ, стоящей подъ воротами и занимающейся говореніемъ *порожнихъ* рѣчей. Нѣкоторыя лица очерчены недурно, но зачѣмъ они? Мы понимаемъ, зачѣмъ выставлены лица, пришедшія смотрѣть на свадьбу въ *Бѣдной невѣстѣ*,—но этого второго дѣйствія совсѣмъ не понимаемъ. И къ чему тиролька?

Здѣсь комедія переходитъ въ простой дивертисментъ. Вдобавокъ у насъ поставлены какія-то фантастическія ворота, вовсе не такія, какъ указываетъ авторъ.

Третій актъ также ровно ничего не прибавляетъ къ дѣйствію; онъ развязываетъ эпизодъ, нарушающій развитіе комедіи. Выдаются только сцены Гольцова и Вѣрочки. Зато четвертый оборванъ; характеръ Хрюкова недоразвитъ; переворотъ его воззрѣній на Анну Павловну—самое замѣчательное, чтó съ нимъ случилось, а его-то и нѣтъ. Конецъ словно написанъ единственно для того, чтобы какъ-нибудь кончить. Можно было и иначе, другимъ эпизодомъ. Кромѣ этихъ недостатковъ въ концепціи драмы и характеровъ, можно замѣтить нѣкоторые другіе промахи, на которые обращаемъ вниманіе единственно изъ уваженія къ таланту автора и которыхъ ему, безъ сомнѣнія, такъ легко было избѣгнуть.

Комедія вертится около того, что Гольцовъ, истратившій 300 рублей чужихъ денегъ, не имѣетъ чѣмъ возвратить ихъ. Съ другой стороны, и Оброшеновъ поставленъ въ исключительное положеніе: никакъ не можетъ достать этихъ трехсотъ рублей, отъ которыхъ зависитъ счастіе его любимой дочери. А домъ-то, который купленъ для дочери,—неужели (*стоитъ онъ* двѣ тысячи) подъ него нельзя заложить?

Изъ характеровъ замѣтимъ еще на счетъ Вѣрочки, что она не изъ института, а дома воспитывалась. А, вѣдь, къ нимъ и Хрюковы и тому подобные заходятъ,—неужели она такъ-таки никого изъ нихъ и не видала? Да отъ тетки своей, которая неизвѣстно зачѣмъ выставлена, могла она наслышаться довольно? А отъ знакомыхъ отцу подьячихъ? Дѣвочка она шустрая и должна бы, кажется, приглядываться ко всему. Итакъ, на всей комедіи лежитъ признакъ поспѣшной работы; самое злое, что́ можно сказать по этому поводу,—это что Островскій спѣшилъ ее кончить къ бенефису г. Бурдина.

Но мы вовсе не понимаемъ того набата, въ который ударили нѣкоторые господа по поводу *Шутниковъ*. У нихъ даже вопросъ появился: не исписался ли Островскій? Можно ли ждать еще чего отъ него? А какъ, господа, по-вашему, когда Островскій написалъ: *Свои собаки дерутся*, т.-е. вторую часть трилогіи о Бальзаминовѣ, которая несравненно слабѣе первой части,—это тоже означало, что исписался? Послѣ этого онъ уже ничего не написалъ? Ни *Женитьбы Бальзаминова?* Ни *Грѣхъ да бѣда?* Полно-те пророчествовать: иногда и вороны ошибаются!

Выше мы говорили о недостаткахъ, чисто-художественныхъ, *Шутниковъ*,—скажемъ теперь о достоинствахъ, потому что у писателя бытового, какъ Островскій, независимо отъ недостатковъ въ планѣ, всегда найдется много новыхъ характеристическихъ чертъ. Самъ Оброшеновъ—лицо новое и поставлено весьма умно. Эта двойственная жизнь, въ которую поневолѣ втянулся бѣдный подьячій; это кривлянье, переходящее дома въ забавную шутливость; и, наконецъ, его честныя отношенія къ семейству—все это черты жизненныя, нарисованныя съ любовью, безъ виляній хвостомъ въ пользу теорій,—которыхъ никогда не достигнетъ ни одинъ изъ авторовъ, пишущихъ *нарочно*!

Намъ именно потому и жаль, что Островскій не додѣлалъ пьесы, что мы видимъ въ ней задатки новыхъ типовъ. Отношенія этого шута и кривляки къ семейству,—что можетъ быть чище и святѣй! Вотъ вамъ еще свѣтлый лучъ въ этомъ темномъ царствѣ! Это честное отношеніе къ семьѣ—отношеніе коренное, бытовое; неоткуда было набраться Оброшенову возвышенныхъ воззрѣній на семью; врождено ему это уваженіе къ святости семьи; самая неприглядная, самая

скверная жизнь не можетъ поколебать въ немъ этихъ свѣтлыхъ, жизненныхъ основъ! Чтó бы онъ былъ безъ семьи? Что была бы его жизнь? До чего бы она его довела, домыкала?

Да, эти основы крѣпко засѣли въ душу русскаго человѣка. У грубаго и животненнаго Хрюкова они порой проглядываютъ въ разговорѣ съ Анной Павловной! И въ немъ онѣ не совсѣмъ еще заглохли. И великую ошибку сдѣлалъ Островскій, не додѣлавъ этого характера. Теперь Хрюковъ является не совсѣмъ яснымъ; его хорошее слегка проглядываетъ и можетъ быть замѣтно только при артистическомъ исполненіи.

Да, много значитъ любовь къ быту! Она часто выкупаетъ художественную недодѣланность. Она примиряетъ читателя съ авторомъ, ибо безъ нея художественные недостатки пьесы били бы въ глаза своими бѣлыми нитками,—а она, эта любовь, заставляетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прощать автору его недостатки. Двѣ-три вѣрныя черты, выхваченныя изъ жизни, много значатъ. И значатъ тѣмъ болѣе, что рѣдко это встрѣчается въ нашей литературѣ; у насъ всякій борзо-писатель хочетъ стать выше быта; любить его—низкимъ почитаетъ; мы не умѣемъ найти руду въ грубой горной породѣ. Мы охотнѣе довольствуемся поддѣльными алмазами и сусальнымъ золотомъ,—только бы не замѣтить въ своей жизни зеренъ чистѣйшаго золота.

Намъ страшно, что насъ обвинятъ въ любви къ своей землѣ. У насъ высказывается любовь къ „Россіи“ подъ условіемъ, что она станетъ паинька, сброситъ свою „вѣковую грязь“ и замаршируетъ форсированнымъ шагомъ по пути цивилизаціи. Мы смѣемся надъ пристрастіемъ высшаго общества говорить по-французски, надъ тѣмъ, что наши бары отдаютъ своихъ дѣтей въ ученье нѣмецкимъ мастерамъ,—а развѣ наши газеты не смѣются надъ чисто-русскимъ словомъ, какъ скоро оно попадаетъ въ печать? Вспомните подоплеку. А развѣ наши газеты не указываютъ намъ на образованныхъ европейцевъ, не совѣтуютъ подражать имъ, учиться ихъ идеямъ и устроить у себя искусственно то, чтó въ Европѣ родилось органически?

Это отступленіе вырвалось у насъ какъ-то невольно. Чаще всего, по поводу пьесъ Островскаго, приходится читать *о самодурствѣ* русскаго человѣка, о его грубости и невѣже-

ствѣ. Непониманіе русскаго быта становится все болѣе и болѣе повальною болѣзнью нашей словесности.

Мы увѣрены, что большинство нашей литературы скоро снова обратится на путь истины: оно дойдетъ до крайности въ проведеніи мысли Добролюбова о „темномъ царствѣ“ и до того запутается, что снова станетъ, во имя прогресса, громить Островскаго, какъ нѣкогда во имя этого же прогресса называло его „гостинодворскимъ Коцебу“. Она и теперь допрашивается: скоро ли Островскій дастъ *положительный* характеръ, не замѣчая, что, собственно говоря, мало къ кому изъ изображаемыхъ имъ лицъ Островскій относился *отрицательно;* что пора оставить это надоѣвшее дѣленіе отношеній художника къ изображаемымъ имъ характерамъ— на положительныя и отрицательныя; что время господства сатиры проходитъ; что какъ скоро художники начинаютъ изображать бытъ, то они не могутъ иначе относиться къ нему, какъ съ любовью, и не выставлять его весь, какъ онъ есть, цѣликомъ; что тотъ, кто не знаетъ быта, тотъ человѣкъ чуждый народу; что человѣкъ, не понимающій родной пѣсни и родной былины, хуже всякаго иностранца, ибо иностранецъ, какъ человѣкъ своей земли, никогда не отнесется съ презрѣніемъ къ своей землѣ. Да, время господства сатиры въ нашей литературѣ миновало; сатирѣ остается бичевать только умниковъ, которые до того допутались, что къ павамъ не пристали, а отъ воронъ отстали, да то сословіе, которое столь привлекательно и съ такимъ подобострастіемъ (что А. Григорьевъ называлъ болѣзнью моральнаго лакейства) изображали графы Соллогубы, Григоровичи, Евгеніи Туръ и tutti quanti. Въ нашей литературѣ начинается новый періодъ, періодъ писателей бытовыхъ; литература возвращается къ простому, безхитростному и вселюбящему отношенію Пушкина къ жизни; литература стремится сдѣлаться русскою. Такъ оно и должно было быть.

Такъ оно, собственно, и продолжалось со времени Пушкина, съ тою разницею, что сатира, какъ выраженіе крайне западническаго направленія, насмѣявшагося въ свое время вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ надъ народною былиной,—одно время царила и считалась даже правильною формой отношеній литературы къ жизни. Кто побѣдитъ,—рѣшить, кажется, нетрудно.

На чьей сторонѣ таланты самые жизненные—дѣло также ясное. Противная сторона заговаривается все больше и

больше; инстинктивно чувствуя, что время сатиры миновало, она въ лицѣ талантливѣйшаго своего представителя, г. Писарева, пришла къ отреченію отъ искусства,—ибо г. Писаревъ, какъ человѣкъ талантливый и чуткій, ясно видитъ, что искусство, въ правильномъ и органическомъ своемъ развитіи, никогда не будетъ сатирой. Сатира является тамъ, гдѣ является разложеніе.

Гоголь въ этомъ смыслѣ имѣетъ громадное значеніе. Его равно высоко цѣнили и западники и славянофилы. Онъ выражалъ собою переломъ, кризисъ болѣзни. Какъ въ Греціи Аристофанъ явился въ періодъ паденія и соединенный съ нимъ періодъ расцвѣта греческой жизни (Сократъ, Платонъ),—такъ и у насъ Гоголь выразилъ высшее паденіе и въ то же время высшій расцвѣтъ развитія общества, оторваннаго отъ почвы.

Дальше Гоголя сатира итти не могла, по крайности, безъ опасности попасть въ „фики“ и „трефандосы“ *). Западники поняли, что Гоголь ихъ лучшій представитель; что онъ лучшій цвѣтокъ цивилизаціи, насажденной Петромъ; они любили его больше Пушкина. Въ Пушкинѣ они не любили его *русскихъ* вещей: перечтите разборы Бѣлинскаго. Славянофилы поняли это съ другой стороны; они, можетъ-быть, еще больше, чѣмъ сатирой Гоголя, увлекались его отступленіями,—отступленіями часто весьма наивными; но они чувствовали, что царство насажденной цивилизаціи кончилось, что поворотъ необходимъ, и любили провозвѣстника этого переворота.

Самъ Гоголь не считалъ сатиры высшимъ идеаломъ искусства; съ любовью замѣчаетъ онъ, что изъ Лермонтова могъ бы выйти великій бытописатель русской жизни. И самъ Гоголь мечталъ объ этомъ,—но неудачныя попытки второй части „Мертвыхъ душъ“ ясно показали, что *бытовымъ писателемъ сдѣлаться нельзя, а надо родиться.*

Появленіе Островскаго было важнымъ шагомъ русской литературы; всѣ сейчасъ замѣтили, что этотъ громадный талантъ совсѣмъ не сатирически относится къ жизни. Энергическая проповѣдь „новаго слова“, съ одной стороны, и прозвище „гостинодворскаго Коцебу“, съ другой,—вотъ чѣмъ

*) Выраженія Щедрина, подхваченныя Писаревымъ, какъ доказательство *того, что Щедринъ* пустословъ, балагуръ, забавляющій толпу. *Н. Д.*

встрѣтили Островскаго. Добролюбовъ силился сдѣлать его сатирикомъ, но не могъ,—и онъ замѣтилъ *свѣтлый лучъ* хотя и не тамъ, гдѣ слѣдовало. Напрасно нынче силятся законопатить этотъ свѣтлый лучъ; никакая китайская стѣна европейской цивилизаціи не поможетъ.

Вотъ почему мы даже и къ слабымъ произведеніямъ Островскаго не можемъ иначе относиться, какъ съ любовью. Дастъ Богъ, скоро мы дождемся другихъ бытовыхъ писателей. А сколь велика сила этого быта, доказывается тѣмъ, что всякій живой и чуткій талантъ, едва соприкоснется съ нимъ, какъ тотчасъ дѣлается свободнымъ и вслѣдствіе этого своеобразнымъ...

Дм. Аверкіевъ.

„Шутники“, А. Островскаго [1]).

Островскому уже не разъ приводилось ставить втупикъ нашу критику и вообще тѣ литературные кружки, которые, казалось бы, всего скорѣе должны были понять и оцѣнить всякій новый и оригинальный художественный пріемъ. Было время, когда извѣстная часть литературы никакъ не могла переварить его комедіи *Не въ свои сани не садись* и хотѣла непремѣнно видѣть въ ней покушеніе противъ цивилизаціи и защиту старыхъ порядковъ. *Бѣдность не порокъ* также немало смущала нѣкоторое время нашу критику, которой эта комедія казалась какою-то апотеозою пьянства. Точно такъ же были смущены многіе кажущеюся скудностью содержанія въ трилогіи о *Бальзаминовѣ* и уже считали по этому случаю талантъ Островскаго окончательно падшимъ. А, между тѣмъ, послѣ каждой изъ подобныхъ возбуждавшихъ недоумѣніе пьесъ Островскій, какъ ни въ чемъ не бывало, являлся внезапно въ новомъ видѣ, съ новыми, свѣжими силами и продолжалъ обнаруживать разнообразіе и неисчерпаемость своего таланта. Мало того, едва успѣвало установиться въ критикѣ какое-либо опредѣленіе рода таланта Островскаго, едва пріучались, подъ вліяніемъ господствующаго критическаго взгляда, смотрѣть на его дѣятельность и цѣнить ее именно съ такихъ-то сторонъ, какъ онъ являлся въ новомъ видѣ и, очевидно, требовалъ совсѣмъ другой оцѣнки, къ чему, по большей части, находилъ неприготовленными нашихъ присяжныхъ критиковъ.

Нѣчто подобное случилось и съ новою пьесой нашего автора. Между тѣмъ, какъ значительный и, мы увѣрены, прочный успѣхъ ея на сценѣ, несомнѣнно, свидѣтельствуетъ о ея, по крайней мѣрѣ, сценическихъ достоинствахъ, въ лите-

---

[1]) *Эдельсонъ*, „Библіотека для Чтенія“, 1865 г., № 1. (См. вып. I, стр. 218.)

›атурныхъ кружкахъ слышатся вновь толки о паденіи ·аланта Островскаго, указываются многія, дѣйствительно ›лабыя въ художественномъ отношеніи, мѣста пьесы, недо- ›таточное развитіе или даже повтореніе въ ней характеровъ ı типовъ, уже братыхъ прежде авторомъ, явная мелодра- ıатичность завязки и развязки пьесы,—изъ всего этого ›пять-таки выводится заключеніе о паденіи таланта автора, ı произносится приговоръ о новой пьесѣ, какъ объ одномъ ıзъ слабѣйшихъ произведеній Островскаго. Дѣйствительно, ıельзя не согласиться, что въ художественномъ отношеніи *Шутники*, какъ и бо́льшая, впрочемъ, часть другихъ пьесъ)стровскаго, страдаетъ довольно значительными недостат- ıами. Мало того, въ новой пьесѣ Островскаго очевидно ·ѣкоторое оскудѣніе молодой творческой силы, обыкновенно езрасчетной въ употребленіи капитальнаго матеріала, т.-е. арактеровъ. Даже при небольшомъ стараніи можно открыть ъ прежнихъ пьесахъ Островскаго первообразы тѣхъ харак- еровъ, которые, лишь въ нѣсколько видоизмѣненной формѣ, ıвляются дѣйствующими лицами въ новой его пьесѣ.

Всѣ эти слабыя стороны *Шутниковъ*, какъ драматическаго ıроизведенія, были справедливо замѣчены строгими его ıѣнителями; но выводъ, который они поспѣшили сдѣлать ıзъ того о безусловномъ достоинствѣ пьесы, былъ опять-таки шибоченъ. Именно они упустили изъ виду то обстоятель- тво, что Островскій своею пьесой *Шутники* вступаетъ въ ·овый фазисъ развитія своего таланта, столь же законный, акъ была законна и вся его предыдущая дѣятельность. Ѣыражаясь кратко, Островскій въ новой пьесѣ начинаетъ ·одводить итоги своей нѣсколько разбросанной прежде удожественной дѣятельности: вмѣсто прежнихъ задачъ, остоящихъ, преимущественно, въ объективномъ воспроизве- ıеніи русской жизни, характеровъ и нравовъ, онъ въ новой ьесѣ беретъ на себя иную задачу,—именно привлечь мысли итателя и зрителя къ созерцанію и суду цѣлаго ряда одно- одныхъ фактовъ и, такимъ образомъ, навести его на неволь- ыя размышленія объ общихъ чертахъ русской жизни, тчасти даже подсказывая выводы, какіе должны быть необ- одимымъ результатомъ этихъ размышленій.

Въ самомъ дѣлѣ, *Шутники*, при весьма слабой искусствен- ıой интригѣ представляютъ чрезвычайный интересъ съ дру- ой стороны. Здѣсь сгруппированъ и представленъ наглядным

образомъ, въ лицахъ, тотъ рядъ отношеній сильнаго къ слабому, богатаго къ бѣдному, властнаго къ подчиненному, который и понынѣ еще составляетъ характеристическую черту русской жизни. Имѣя своимъ главнымъ и общимъ источникомъ непризнаніе личности,—вообще, неуваженіе иныхъ правъ, кромѣ права сильнаго,—эти отношенія принимаютъ безконечно разнообразные оттѣнки въ различныхъ сферахъ и классахъ русской жизни. Въ новой пьесѣ своей Островскій представилъ намъ ихъ въ довольно тѣсномъ кругу столкновенія нашего богатаго купечества съ мелкими приказными; но при самомъ небольшомъ усиліи мысли, ихъ легко распространить гораздо шире. Они открываются намъ и въ жизни иного чиновнаго вельможи, благодѣтельствующаго своему фавориту и въ то же время издѣвающагося надъ нимъ, и въ жизни разбогатѣвшаго крестьянина, одолжающаго своихъ односельцевъ и мѣтко заклейменнаго народнымъ прозвищемъ *міроѣда*. Повсюду, однимъ словомъ, мы увидимъ въ нашей жизни не то простое злоупотребленіе силы, которое встрѣчается повсюду, но злоупотребленіе ея съ униженіемъ человѣческаго достоинства слабаго, съ совершеннымъ презрѣніемъ къ личности вообще. Цѣлый подобный рядъ отношеній освѣтилъ намъ Островскій своею новою пьесой, цѣлую широкую народную черту уловилъ онъ въ ея сущности и выставилъ на-показъ, какъ вопросъ, достойный самаго глубокаго обсужденія. Можно ли не быть благодарнымъ ему за это?

Но можетъ родиться вопросъ, въ какой степени законна обработка подобныхъ задачъ въдраматической или, вообще, въ художественной формѣ? Основательное разрѣшеніе этого вопроса можетъ быть дано, по нашему мнѣнію, не въ общихъ чертахъ, не чисто теоретически, но изъ соображенія настоящихъ условій и положенія у насъ изящной литературы и изъ разсмотрѣнія рода таланта Островскаго вообще.

Намъ не разъ уже случалось говорить, что въ настоящее время истинная задача русской изящной литературы, равно какъ и всякой другой умственной дѣятельности, есть пробужденіе самосознанія въ русскомъ обществѣ. На это пока, и весьма законно, устремлены всѣ лучшія наши силы и таланты, все, что́ чутко къ жизни и ея требованіямъ. Можно поставить даже почти неизмѣннымъ правиломъ, что тотъ *изъ современныхъ* литературныхъ дѣятелей, въ трудахъ

котораго не сказалась такъ или иначе, вольно или невольно, указанная нами задача, не имѣетъ истиннаго и глубокаго таланта, всегда чуткаго къ вопросамъ эпохи.

Послѣ этого не должно казаться удивительнымъ, что дѣятельность Островскаго, несмотря на его большую творческую силу, не можетъ ограничиваться такъ-называемыми чисто-художественными задачами, какъ-то: отыскиваніемъ въ русской жизни и стройнымъ развитіемъ по преимуществу драматическихъ положеній, изобрѣтеніемъ характеровъ драматическихъ по своей сущности, чисто-объективнымъ воспроизведеніемъ жизни и т. п. Требованія духа времени и условій нашей жизни не могли не отразиться и на его дѣятельности, а эти требованія, какъ мы уже видѣли, заключаются преимущественно въ осмысленіи русской жизни, въ самосознаніи русскаго общества, въ подведеніи итоговъ къ пройденному нами донынѣ историческому пути.

Съ другой стороны, самый родъ таланта Островскаго влечетъ его именно къ такой дѣятельности, которая требуется современнымъ настроеніемъ русскаго общества. Мы уже видѣли прежде *), что чисто-драматическія задачи не составляютъ его настоящаго призванія и что во всей предыдущей его дѣятельности главную силу и значеніе имѣютъ глубоко выхваченные изъ русской дѣйствительности характеры и типы, посредствомъ которыхъ онъ объяснялъ намъ постоянно тѣ коренныя основы міросозерцанія и общественнаго склада, изъ которыхъ слагается весь чисто-русскій бытъ. Богатство творческой силы въ созданіи разнообразныхъ характеровъ и поразительная правда многихъ житейскихъ положеній и отношеній, выведенныхъ въ комедіяхъ Островскаго, наконецъ, старанія автора драматизировать по возможности всякій обрабатываемый имъ сюжетъ,—значительно заслоняли отъ читателя и зрителя постоянныя невольно руководившія авторомъ его истинныя задачи. Но, при внимательномъ пересмотрѣ всей дѣятельности Островскаго, эти задачи ясно выступаютъ на видъ. Эти главнѣйшія, постоянныя задачи дѣятельности Островскаго заключались въ его стремленіи понять и передать другимъ въ художественныхъ образахъ смыслъ русской жизни, складъ чисто

---

[1]) См. „Библіот. для Чтенія“, 1864 г., кн. 1, статью „Тяжелые дни“. (См. стр. 141.)

русскаго ума, нравственныя начала, управляющія нашею народною жизнью. Этимъ объясняется, между прочимъ, и разнообразіе отношеній Островскаго къ русской дѣйствительности, то сочувственныхъ, то сатирическихъ, и отсутствіе въ его пьесахъ строго выдержаннаго, глубокаго драматизма. Островскій не стоитъ на той степени драматической высоты, при которой характеръ и событія родной исторіи или исторіи другихъ странъ и другихъ временъ служатъ только поводомъ къ выясненію общихъ, родовыхъ, вѣчныхъ чертъ и свойствъ человѣческой личности. Онъ, какъ и все наше современное искусство, находится еще на степени творчества національнаго, нужнаго для нашего домашняго употребленія, вызываемаго исключительнымъ развитіемъ нашей жизни. Съ другой стороны, онъ, какъ и всѣ образованные наши люди, не настолько поглощенъ своею національностью, не настолько безсознательно относится къ ней, чтобы, принимая всю ее, какъ неотразимо данное, какъ нѣчто непремѣнное, свободно отыскивать и разрабатывать представляемые ею драматическіе сюжеты, какъ это, напримѣръ, дѣлали испанскіе драматурги. Наконецъ, Островскій, по самому роду таланта, не чистый сатирикъ, не обличитель общественныхъ золъ и нравственнаго уродства,—онъ именно то, что, по преимуществу, требуется современною степенью развитія русскаго общества, т.-е. толкователь русской жизни, народнаго духа, одинъ изъ пробудителей самосознанія въ русскомъ обществѣ. Въ сочиненіяхъ его не только отражается русская жизнь и представляетъ матеріалъ для изученія,—напротивъ, эта жизнь представляется уже осмысленною и растолкованною, и эта именно черта составляетъ общій характеръ истинной художественной дѣятельности у насъ въ настоящее время.

Если эта коренная черта современнаго русскаго искусства связывалась всегда и прежде въ дѣятельности Островскаго, не будучи, можетъ-быть, всегда ясно сознаваема имъ самимъ и загораживаема часто побочными задачами его комедій, то нѣтъ ничего удивительнаго, что въ новой пьесѣ, составляющей, какъ мы уже замѣтили выше, переломъ въ характерѣ дѣятельности Островскаго, она сказалась со всею ясностью. Въ *Шутникахъ*, какъ уже было замѣчено, Островскій начинаетъ подводить итоги своей прежней, нѣсколько *разбросанной* дѣятельности; а эти итоги, очевидно, не могутъ

быть иными, какъ родовыми, крупными чертами общаго склада русской жизни. И дѣйствительно, въ *Шутникахъ* частный случай, драматическій анекдотъ, изобрѣтенный авторомъ для сохраненія условій извѣстной литературной формы, остается уже какъ бы на второмъ планѣ, подавленный широтою иного содержанія пьесы. Очевидно, что мысль автора, воплотившаяся въ этой пьесѣ, не могла найти себѣ выраженія ни въ какомъ чисто-драматическомъ сюжетѣ, и потому онъ принужденъ прибѣгать къ побочнымъ пріемамъ, неправильнымъ, пожалуй, съ точки зрѣнія строго художественной. Таковъ длинный разговоръ старика Оброшенова съ дочерью въ началѣ перваго дѣйствія и въ другихъ мѣстахъ; таковъ же, почти вводимый и задерживающій быстрый ходъ драматическаго движенія, весь второй актъ. Но ясно, что только этимъ отступленіемъ отъ строгой драматической формы и могъ придать Островскій то широкое значеніе своей новой пьесѣ, которая дѣлаетъ изъ *Шутниковъ*, при всей слабости интриги, одно изъ капитальныхъ произведеній нашего автора.

Но обратимся, наконецъ, къ болѣе подробному разсмотрѣнію содержанія и смысла новой пьесы Островскаго... Передъ нами опять-таки одинъ изъ тѣхъ уединенныхъ уголковъ Москвы, гдѣ сохранились еще во всей своей первобытной простотѣ старые нравы и обычаи; одинъ изъ тѣхъ уголковъ, которые открываютъ только одному Островскому свои завѣтныя, задушевныя тайны, не отличаясь для непривычнаго глаза почти ничѣмъ отъ мѣстностей, уже тронутыхъ цивилизаціей. Передъ нами раскрывается семейная жизнь бѣднаго отставного приказнаго, имѣющаго дѣла, по преимуществу, съ купечествомъ и испытавшаго отъ него въ теченіе своей долгой практики всевозможныя *шутки*. Старикъ Оброшеновъ такъ разсказываетъ дочери посвященіе свое въ эту тяжелую жизнь:

„Смолоду я самъ былъ гордъ. Какъ еще гордъ-то, Аннушка! Ужасъ, какъ гордъ! Какъ женился я на вашей матери, да взялъ вотъ этотъ домишко въ приданое, такъ думалъ, что богаче да лучше меня и людей нѣтъ. Фертомъ ходилъ! Ну, а тамъ пошли дѣти, ты, вотъ, родилась, доходовъ стало недоставать, надобно было постороннюю работишку искать; тутъ мнѣ форсъ-то и сбили. Первое дѣло я сдѣлалъ нашему сосѣду, и дѣлото небольшое: опеку ему неподлежащую дали, надобно было ее съ рукъ сбыть. Обдѣлалъ я ему это дѣло, позвалъ онъ меня да еще секретаря съ чиновниками изъ суда въ трактиръ обѣдомъ угощать. И какой чудакъ,

право, вѣдь, чудакъ! Сидитъ, ничего не говоритъ, весь обѣдъ молчалъ; только посидитъ, посидитъ, да всей пятерней меня по волосамъ и по лицу и проведетъ. Ахъ ты, батюшки мои! Что ты будешь съ нимъ дѣлать! Я, было, въ амбицію, только тутъ одинъ чиновникъ, постарше, мнѣ и говоритъ: „Ты обидѣться не вздумай! Ни копейки не получишь: онъ не любитъ, когда обижаются“. Нечего дѣлать, стерпѣлъ:—ну и принесъ домой три золотыхъ; а не стерпи я, такъ больше пяти рублей ассигнаціями бы не далъ. Много я послѣ съ него денегъ перебралъ... Вотъ такъ-то меня сразу и озадачили. Ну, а потомъ, какъ пошелъ я по дѣламъ ходить, спознался съ богатыми купцами, такъ ужъ всякая амбиція пропала. Тому такъ потрафляй, другому этакъ. Тотъ тебѣ рыло сажей мажетъ, другой плясать заставляетъ, третій въ пуху всего вываляетъ. Сначала самому несладко было, а тамъ привыкъ, и самъ сталъ паясничать и людей стыдиться пересталъ. Изломался, исковеркался, исказилъ себя всего; и рожа-то какая-то обезьяньи сдѣлалась“.

Шутки эти и понынѣ продолжаютъ преслѣдовать бѣдняка Оброшенова. Вся новая пьеса Островскаго есть сборъ такихъ шутокъ въ различныхъ степеняхъ и видахъ. Онѣ начинаются тѣмъ, что сосѣдніе „шутники“, дѣти богатаго купца, постоянно срываютъ записки объ отдачѣ внаймы квартиры, приклеиваемыя Оброшеновымъ на воротахъ своего дома. Отъ этихъ пока еще незатѣйливыхъ шутокъ новая пьеса Островскаго ведетъ насъ постепенно все къ болѣе замысловатымъ и серіознымъ шуткамъ. Когда Оброшенову, послѣ долгихъ исканій по разнымъ присутствіямъ, удалось, наконецъ, найти скромнаго и приличнаго жениха своей дочери, новые „шутники“ напаиваютъ его пьянымъ, дурачатъ, уговоривъ его ѣхать смотрѣть другую невѣсту, которая оказалась переодѣтою горничной, и чуть не разстраиваютъ свадьбы. Они же, въ критическую минуту, когда Оброшенову была крайняя нужда въ деньгахъ, подбрасываютъ ему страховой пакетъ съ газетною бумагой и съ надписью 60,000 и чуть не сводятъ съ ума бѣднаго старика, повѣрившаго, было, и уцѣпившагося всѣми силами души за посланное ему Провидѣніемъ счастіе. Наконецъ, послѣдній и самый крупный типъ „шутника“ авторъ показываетъ намъ въ лицѣ богатаго старика, купца *Хрюкова*. Типъ этотъ замѣчателенъ тѣмъ въ особенности, что здѣсь мы видимъ уже не веселаго, бойкаго *шутника*, сознательно тѣшащагося надъ слабымъ ближнимъ, какъ мы это видѣли до сихъ поръ,— нѣтъ, передъ нами человѣкъ пожилой, почти старый, человѣкъ серіозный, который самъ не понимаетъ, что онъ шутитъ *дурныя шутки*, но котораго шутки отгого именно и выхо-

дятъ злѣе и обиднѣе всѣхъ предыдущихъ. Слѣдующій разговоръ покажетъ всего лучше, съ какого рода *шутникомъ* имѣемъ мы на этотъ разъ дѣло. Не мѣшаетъ замѣтить, что онъ происходитъ послѣ того, какъ старикъ Хрюковъ, не заставъ Оброшенова дома, успѣлъ сдѣлать его старшей дочери весьма двусмысленное предложеніе денегъ.

Оброшеновъ возвращается домой уже передъ тѣмъ, какъ Хрюковъ собирался уйти, и между ними происходитъ слѣдующій разговоръ, который, конечно, не нуждается ни въ какихъ комментаріяхъ.

Хрюковъ. Ты гдѣ пропадалъ? А вотъ теперь, видишь ты, мнѣ некогда съ тобой разговаривать. Ты забѣги какъ-нибудь!

Оброшеновъ. Вы только вздумайте дома: „Вотъ кабы Павелъ Прохоровъ пришелъ!“ И посылать не надо. Вы только вздумайте, а я тутъ, тутъ, тутъ.

Хрюковъ. Ахъ ты, тетеревъ лохматый! Посмотри-ка въ калитку, нѣтъ ли кого на улицѣ!

Оброшеновъ. Зачѣмъ, батюшка, родной ты мой?

Хрюковъ. Зачѣмъ? Ахъ ты, голова съ мозгомъ! А затѣмъ вотъ, чтобы не видали, что я у тебя былъ.

Оброшеновъ. Отецъ и благодѣтель! Да что жъ я, прокаженный что ли какой?

Хрюковъ. Эхъ! До старости ты, братъ, дожилъ, а ума не нажилъ. Неужели кто подумаетъ, что я къ тебѣ хожу? Зачѣмъ я къ тебѣ пойду, какія-такія у насъ дѣла съ тобой? Нужно мнѣ тебя, такъ только свистнуть стоитъ—ты прибѣжишь, какъ угорѣлый. Всякій это понимаетъ. Вонъ что подумаютъ! Видишь! *(Показываетъ на дочь.)* Скажутъ: „Старый шутъ любовницу завелъ“. А у насъ народъ какой? Сейчасъ насмѣхъ подымутъ. А для меня это мораль.

Оброшеновъ. Шутникъ, шутникъ, шутникъ! Я не сержусь. *(Дочери.)* И ты не сердись! Шутникъ, шутникъ! *(Отворяетъ калитку.)* Есть ли въ полѣ живъ человѣкъ? Ни души не видно.

Хрюковъ. Ну, прощайте! *(Идетъ къ калиткѣ.)*

Еще наивнѣе и тѣмъ поразительнѣе выходитъ сцена въ третьемъ дѣйствіи, послѣ того какъ Хрюковъ успѣлъ сдѣлать при самомъ отцѣ уже явное предложеніе старшей дочери Оброшенова поступить къ нему, подъ видомъ экономки, въ любовницы, что́, наконецъ, уже выводитъ изъ себя самого многотерпѣливаго Оброшенова.

Оброшеновъ. Не ждалъ, я, Филимонъ Протасьичъ, отъ васъ, отъ благодѣтеля, такого сраму на свою сѣдую голову.

Хрюковъ. Какой тутъ срамъ! Мнѣ срамъ, что я съ вами связался. Я ей добра желалъ, а она обидѣлась; еще, пожалуй, разсказывать будетъ. Значитъ, разговоръ пойдетъ; и будетъ срамъ для меня, а не для васъ. Про меня пойдетъ мораль, а вамъ что?

Оброшеновъ. А если про насъ будутъ говорить, значитъ, вамъ до этого дѣла нѣтъ?

Хрюковъ. Сравнилъ ты себя со мной! Вы люди ничтожные! Про тебя съ дочерьми съ твоими какъ хочешь дурно разговаривай, такъ въ этомъ важности ровно никакой нѣтъ. Потому цѣна вамъ всѣмъ грошъ. А я человѣкъ извѣстный. Понялъ ты?

Нельзя не пожалѣть, что сила и впечатлѣніе сейчасъ приведенныхъ нами и другихъ подобныхъ сценъ значительно ослабляются нѣсколько мелодраматическою развязкой пьесы, гдѣ Хрюковъ раскаивается и, вопреки правдоподобію, рѣшается жениться на оскорбленной имъ дочери Оброшенова, дѣлая, такимъ образомъ, счастливымъ все семейство Оброшеновыхъ и полагая конецъ шуткамъ надъ нимъ. Впрочемъ, мы уже оговорились выше, что съ чисто-художественной стороны и относительно строгости драматической постройки новая пьеса Островскаго подлежитъ многимъ порицаніямъ. Но зато она самымъ сильнымъ образомъ привлекаетъ мысль къ обсужденію цѣлаго ряда однородныхъ фактовъ, разсѣянныхъ по всему лицу нашей земли и составляющихъ характеристическую черту русскаго общества: она положительнымъ образомъ возбуждаетъ и направляетъ нравственное чувство читателя или зрителя противъ изображеннаго въ ней зла; для будущаго времени она всегда будетъ составлять любопытный и съ глубокимъ знаніемъ дѣла составленный сборникъ шутниковъ и шутокъ нашей эпохи. Кому кажутся недостаточными исчисленныя нами достоинства новой пьесы Островскаго, тотъ можетъ осудить ее. Но уже общественное мнѣніе произнесло надъ ней свой благопріятный судъ, и слово „шутники“ уже стало нарицательнымъ именемъ для извѣстнаго сорта людей и поступковъ. Значитъ, пьеса достигла цѣли, произвела свое дѣйствіе, значитъ, мысль автора выразилась въ ней со всею ясностью и силой и нашла себѣ глубокое сочувствіе въ обществѣ. Мы не говоримъ уже о другихъ обычныхъ достоинствахъ пьесъ Островскаго, каковы: глубокое знаніе изображаемаго быта, образцовый, ему только одному доступный языкъ и, наконецъ, все болѣе и болѣе пріобрѣтаемое имъ знаніе сцены. Этимъ мы и заключимъ нашъ разборъ, въ надеждѣ встрѣтиться въ самомъ скоромъ времени съ уважаемымъ авторомъ, такъ какъ ходятъ слухи о новой большой его пьесѣ, которой мы и ждемъ съ нетерпѣніемъ.

Е. Эдельсонъ.

„Воевода, или Сонъ на Волгѣ“.

Комедія въ пяти дѣйствіяхъ, съ прологомъ, въ стихахъ [1]).

Несмотря на названіе „комедіи“, данное г. Островскимъ новому своему произведенію, мы, съ своей стороны, считаемъ его *Воеводу* драматическою хроникой, только не историко-политическаго содержанія, а бытового и историко-юридическаго. Это, просто, юридическая хроника, въ основаніе которой положены акты археографической комиссіи и другіе матеріалы того же рода.

Сторона русской народной жизни, представляемая ими, еще никѣмъ не была затронута у насъ въ драмѣ, но, какъ оказывается теперь, она содержитъ въ себѣ не менѣе поэтическихъ мотивовъ и сценическихъ эффектовъ, чѣмъ любое преданіе или самый эффектный разсказъ лѣтописи. А. Н. Островскій уже извѣстенъ, какъ нововводитель въ нашей комедіи, значительно раздвинувшій ея границы и сообщившій ей краски и очертанія, какихъ она у насъ еще не имѣла, хотя эта сторона его дѣятельности мало кѣмъ оцѣнена по достоинству.

Извѣстно, что, кромѣ эпическаго элемента народной поэзіи, народной думы, введеннаго имъ въ комедію съ самаго начала своей дѣятельности, онъ допустилъ въ нее еще русскій ландшафтъ и заставилъ ее выражать ту природу и мѣстность, посреди которыхъ она сама развивается. Смѣлость подобнаго нововведенія, грозившаго драмѣ нестерпимымъ смѣшеніемъ художественныхъ родовъ, присутствіемъ декламаціи, живыхъ картинъ и балета на-ряду съ изображеніями страстей, слабостей и пороковъ человѣческаго сердца, оправдалась въ полной мѣрѣ результатами, до которыхъ могъ

---

[1]) П. Анненковъ. „С.-Петербургскія Вѣдомости“, 1865 г., №№ 107 и 109. (См. стр. 111.)

дойти только замѣчательно творческій талантъ. Главная идея комедіи всегда господствуетъ у г. Островскаго надъ всѣми этими поэтическими добавками и безусловно подчиняетъ ихъ себѣ. То, что должно было бы ослабить интригу пьесы и разорвать впечатлѣніе, напротивъ, подымаетъ и усиливаетъ ихъ. Благодаря свѣжимъ силамъ, приливающимъ со всѣхъ сторонъ къ главной идеѣ, сама пьеса только пышнѣе созрѣваетъ передъ глазами зрителя и подъ конецъ уже охватываетъ всѣ мыслящія и чувствующія его способности. Нынѣ г. Островскій является съ „комедіей", которая еще въ бо́льшей степени, чѣмъ всѣ предшествующія, употребляетъ въ дѣло побочные эффекты и пользуется свободой, открытою авторомъ для этого рода произведеній вообще, но „комедія", вмѣстѣ съ тѣмъ, построена еще на юридическомъ матеріалѣ и связывается съ исторіей Россіи и съ ея не очень давнимъ прошлымъ. Мы всегда думали, что всякое замѣчательное произведеніе должно непремѣнно возбуждать, вмѣстѣ съ новыми серіозными вопросами нравственнаго свойства, и новые серіозные вопросы искусства. Въ настоящемъ случаѣ это такъ очевидно, что никакому отчету о пьесѣ нельзя уже обойтись безъ одновременнаго разсмотрѣнія этихъ обѣихъ сторонъ произведенія.

Если бы г. Островскій отнесся къ юридическому матеріалу своему точно такъ же, какъ относятся обыкновенно наши историческія хроники къ сказанію, то мы получили бы нѣсколько юридическихъ документовъ въ лицахъ и, конечно, имѣли бы, принимая въ расчетъ еще талантъ нашего автора, очень яркую и очень эффектную картину гражданскаго быта нашихъ предковъ.

Сколько поразительныхъ сценъ дала бы перу его одна прилежная разработка понятія объ администраціи, какъ о „кормленіи", сколько затѣмъ неисчислимыхъ мрачныхъ и потрясающихъ сценъ представили бы ему одни неизбѣжныя послѣдствія такого правительственнаго начала, включая сюда всѣ возможныя преступленія кормленника, вмѣстѣ съ развитіемъ вооруженнаго бунта и разбойничества у его подначальныхъ и, наконецъ, запустѣніемъ провинцій, изъ которыхъ жители разбѣгаются всѣ врознь, въ разныя стороны. Отчасти все это уже есть у г. Островскаго, да только все это, забывая свое археологическое происхожденіе, служитъ у него для поэтической и художественной цѣли, не

имѣющей ничего общаго съ цѣлью привести и доказать тотъ или иной историческій тезисъ.

Сдѣлаемъ, однакожъ, оговорку. Нѣсколько мѣстъ, взятыхъ прямо, въ сыромъ видѣ, безъ отдѣлки и обработки, изъ „актовъ“ и документовъ, составляютъ исключеніе, и о нихъ мы говорили ниже. Затѣмъ, юридическая хроника ничѣмъ не хуже исторической могла бы выбрать одинъ какой-либо фактъ и взамѣнъ голаго свидѣтельства памятниковъ, передающихъ результаты его, по обыкновенію, въ одной общей цифрѣ, крупнымъ, валовымъ, такъ-сказать, счетомъ, приняться за составленіе ему приличной обстановки, которая могла бы показать, какъ тотъ же самый фактъ отражался еще и въ разбивку, на тысячѣ разнородныхъ существованій. Простора для распространенія темы, подведенія сценическихъ эффектовъ, даже для изобрѣтательности своего рода было бы и тутъ не мало: на чемъ же и держится успѣхъ историческихъ хроникъ, какъ не на искусствѣ, съ которымъ ихъ авторы заставляютъ одно и то же говорить множество самыхъ несходныхъ голосовъ и множество самыхъ различныхъ способовъ? Чѣмъ же и живутъ онѣ, какъ не сопоставленіемъ сценъ, взятыхъ со всѣхъ сторонъ, изъ противоположныхъ слоевъ общества, но заключающихъ въ себѣ игру и броженіе одной и той же мысли, одного и того же представленія? При средствахъ, которыми располагаетъ г. Островскій, ему немудрено было, на тѣхъ же основаніяхъ, составить чрезвычайно живописную, глубокопотрясающую юридическую хронику и доставить ей неоспоримый почетный успѣхъ въ публикѣ.

Онъ предпочелъ, однакоже, взяться за дѣло иначе. Не то чтобы въ новой его комедіи юридическая сторона была имъ съ намѣреніемъ ослаблена, чтобы мрачные образы боярства и приказнаго дьячества искусственно заслонялись другими представленіями, чтобы гражданскій бытъ ихъ жертвы былъ красно *расписанъ* съ цѣлью снять какую-либо тяжесть историческихъ нареканій съ тогдашней администраціи. Напротивъ, фигура воеводы нарисована во весь ростъ и на подобіе зловѣщаго колосса постоянно стоитъ впереди, въ виду всѣхъ. Тяжелое впечатлѣніе производятъ на зрителя мѣняющіяся краски этого страшнаго лица, которое способно медленно, расчетисто наслаждаться своею

ненавистью, соединять холодную иронію съ безграничнымъ распутствомъ, похожимъ на болѣзнь, и принимать смиренный видъ въ минуту сильнѣйшаго разгара страсти. Нѣтъ ни слабости ни потворства въ этомъ типѣ, изображающемъ мѣстныхъ областныхъ властителей, какъ намъ рисуютъ ихъ многочисленныя челобитныя обывателей, сохранившіяся отъ того времени; заключительная черта типа еще увеличиваетъ его историческую достовѣрность.

Воевода, не уступающій ни передъ кѣмъ, трепещетъ ежеминутно за свое существованіе: онъ одержимъ смертнымъ страхомъ передъ московскимъ судомъ, который одинъ превосходитъ его въ силѣ, въ безпощадномъ преслѣдованіи своихъ выгодъ и цѣлей и въ презрѣніи къ людямъ. Это также и психическій этюдъ у г. Островскаго, но, какъ этюдъ, Воевода уже выдѣляется изъ юридической хроники и становится характеромъ, не связаннымъ ни съ какою извѣстною эпохой, мѣстностью и обстановкой, а возможнымъ при всѣхъ условіяхъ существованія, даже въ быту, далеко отстоящемъ отъ всѣхъ навыковъ властвованія и управленія людьми, о чемъ мы еще будемъ говорить подробнѣе. Не менѣе поразительно и ярко представленъ г. Островскимъ и гражданскій бытъ многочисленныхъ жертвъ кормленія, со всѣми чертами, которыя состоятъ за ними по юридическимъ актамъ и документамъ, съ ябедой и униженною мольбой передъ властью, насылающей имъ египетское испытаніе въ видѣ администраторовъ, съ отчаяннымъ удальствомъ, пытающимся создать вокругъ себя вольный, безпечальный міръ, вмѣсто того, который обрѣтается налицо, съ мудрымъ правиломъ, повелѣвающимъ губить себя, чтобы лишить притѣснителя возможности злодѣянія, наконецъ, съ разбойничествомъ, которое становится единственнымъ средствомъ обрѣсть равноправную жизнь и спастись отъ насилія. Словомъ, ни одна крупная юридическая черта не позабыта авторомъ хроники, который скорѣе можетъ быть обвиняемъ въ преувеличеніи историческихъ данныхъ, чѣмъ въ ихъ ослабленіи. Иногда онъ до такой степени дорожитъ своимъ матеріаломъ, что прямо, безъ всякой обдѣлки вводитъ въ дѣйствіе документы, находившіеся у него подъ рукой, и такимъ образомъ, переступаетъ, по нашему мнѣнію, границы заимствованія, дозволеннаго искусству при передачѣ *формальныхъ* свидѣтельствъ. Трудно согласиться, напри-

мѣръ, чтобы приказная бумага, цѣликомъ выписанная изъ какого-либо сборника и заключающая въ себѣ отрѣшеніе отъ должности, могла служить приличнымъ орудіемъ для развязки художнической драмы, особенно когда эта подьяческая бумага, съ нарочно пропущеннымъ названіемъ мѣстности, къ которой относилась, утратила и часть своего значенія, какъ офиціальнаго документа. Такъ же точно простая выписка нелѣпыхъ заклинаній и различнымъ формъ стараго волхвованія, вложенная въ уста колдуна Мизгиря, кажется намъ, дала ему скорѣй маскарадную, чѣмъ живую физіономію и уже нисколько не выразила характера домашнихъ русскихъ астрологовъ, которыми обзаводились и наши бояре. Все это объясняется увлеченіемъ при горячей обработкѣ данныхъ, которыя самъ авторъ высоко цѣнитъ, какъ драгоцѣнные остатки старины. Къ увлеченіямъ же работы относимъ мы и то обстоятельство, что авторъ навязалъ воеводѣ Шалыгину одно изъ очень рѣдкихъ преступленій, такъ рѣдкихъ, что оно походитъ на анекдотъ уголовнаго характера—страсть, въ порывѣ ревности и злобы, щекотать своихъ женъ до смерти. Можно было бы примириться съ анекдотомъ, если бы особенность злодѣйской наклонности отразилась какою-либо крупною чертой въ нравственной физіономіи воеводы; но этого нѣтъ, и зрителю, морально къ ней нисколько не подготовленному, остается на долю только изумленіе. Хуже всего то, что для сценическаго эффекта воевода позабылъ принять мѣры, безусловно необходимыя для совершенія подобнаго преступленія, не заперъ комнаты, гдѣ его невѣста должна была найти смерть, которой прежде нея подверглись двѣ жены мучителя, и позволилъ ей бѣгать съ судорожнымъ хохотомъ по галлереямъ своей палаты, отъ чего необычайная рѣдкость злодѣянія въ соединеніи съ необычайною рѣдкостью случая, послужившаго спасеніемъ для бѣдной женщины, затрудняетъ въ сильной степени развитіе довѣрія и воспріимчивости у зрителя. Какъ бы то ни было, правы ли или неправы мы въ послѣднихъ замѣчаніяхъ, достовѣрно одно: юридическая сторона хроники-комедіи развита у г. Островскаго чрезвычайно полно и эффектно, такъ полно и эффектно, что она прежде всего бросилась въ глаза публикѣ и вызвала единодушныя рукоплесканія многихъ нашихъ цѣнителей.

При всемъ томъ, настоящее свое значеніе и всю свою обаятельную силу пьеса г. Островскаго получаетъ совсѣмъ

не изъ этого источника, а изъ другого, ему чуждаго и противоположнаго, именно—изъ вымысла, который, смѣемъ сказать, сообщаетъ хроникѣ и необходимую правдоподобность. Оставайся хроника при одной задачѣ воспроизведенія жизни по несомнѣннымъ документамъ, будь она насквозь пропитана духомъ актовъ, ее подсказавшихъ, и самыми пышными красками, какія можно только употребить для ихъ передачи, пьеса все-таки не имѣла бы ни малѣйшей исторической достовѣрности, не говоря уже о поэзіи. Каждую сцену, каждую черту и подробность ея могъ бы опровергнуть всякій, кто иначе уразумѣлъ бы историческій фактъ, положенный въ основаніе произведенія. Пьеса должна была бы неизбѣжно обратиться въ полемическій мячъ, который люди различныхъ взглядовъ и сужденій могли бы пересылать другъ-другу и которымъ могли бы они наносить другъ-другу удары. Это положеніе дѣла очень выгодно для разъясненія всякой ученой темы, но для художническаго произведенія нельзя себѣ и представить болѣе плачевной участи. Г. Островскій спасъ свою хронику-комедію отъ этой горькой судьбы однимъ только творческимъ вымысломъ и фантазіей. Какъ ни странно это можетъ казаться, но не подлежитъ сомнѣнію, что только примѣсью свободнаго изобрѣтенія и поэтическаго элемента онъ сообщилъ своей драмѣ незыблемость, поставилъ ее внѣ спора и сомнѣній. Поэзія и изобрѣтеніе укрѣпили здѣсь археологическія данныя, спасли и защитили факты и свѣдѣнія, добытые формальнымъ изученіемъ. Такъ всегда и бываетъ въ художественныхъ произведеніяхъ, ясно понимающихъ свои настоящія задачи.

А что г. Островскій ясно сознавалъ свою задачу, обнаруживается съ перваго его пріема. Къ числу самыхъ счастливыхъ его соображеній должно отнести то, что онъ не прикрѣпилъ дѣйствія своей пьесы ни къ какому опредѣленному мѣсту, которое ему такъ легко было бы выбрать изъ документовъ.

На первой же страницѣ комедіи онъ просто заявилъ: „Дѣйствіе происходитъ въ большомъ городѣ на Волгѣ, въ половинѣ XVII столѣтія“. Отсутствіе точнаго указанія мѣста дѣйствія и года его развитія развязывало ему руки и обнаружило намѣреніе не отдавать художнической своей мысли въ кабалу ни къ какимъ матеріаламъ. Авторъ широко

воспользовался заученною имъ, такимъ образомъ, свободой. Вмѣсто того, чтобы до конца продолжать *драматизированіе* челобитныхъ XVII столѣтія, которыя, какъ намъ кажется, дали ему первую мысль о хроникѣ и породили ея главные характеры, онъ противопоставилъ имъ свое собственное поэтическое созерцаніе внутренней, домашней русской жизни. Навстрѣчу безобразію гражданскаго быта, засвидѣтельствованному документами, онъ повелъ Русь управляемую, но не ту, которую можно найти тамъ же, и которой онъ, конечно, не забылъ, а еще другую, собственнаго своего созданія, скорбящую, погруженную въ темныя надежды, въ легенды, пѣсни, дѣтскія вѣрованія, изъ которыхъ она выходитъ для удальства за чарой и на просторѣ большой дороги. Послѣдняя черта еще носитъ у г. Островскаго скорѣе пѣсенный, легендарный, чѣмъ точный историческій характеръ. Изъ этого соединенія факта и самодѣятельной фантазіи образовалась комедія, которую авторъ еще назвалъ—*Сномъ на Волгѣ*. Это дѣйствительно сонъ, но до того правильный и сознательный, что явленія этого сна, почерпнутыя изъ письменныхъ источниковъ и почерпнутыя изъ творческаго духа самого автора, рѣдко идутъ одни безъ другихъ, а, напротивъ, весьма часто чередуются и переплетаются въ узорахъ, чрезвычайно искусно разсчитанныхъ и нарисованныхъ. Всего важнѣе то, что произвольная, фантастическая часть хроники служитъ оправданіемъ ея историческому элементу, и при случаѣ съ полнымъ успѣхомъ и съ полною достовѣрностью становится прямо на его мѣсто.

Что́ вышло бы, напримѣръ, изъ воеводы Шалыгина, если бы авторъ захотѣлъ сохранить ему только тѣ черты, которыми характеризуются воеводы вообще въ юридическихъ свидѣтельствахъ, если бы не подвергъ его глубокому психическому анализу, просто какъ человѣка, и если бы окружилъ его со всѣхъ сторонъ поэтическими мотивами собственнаго изобрѣтенія? Воевода могъ бы собирать горы преступленія, бѣсноваться и злодѣйствовать, трепетать и унижаться, совершенно *по-писанному*, по офиціальнымъ документамъ, и оставаться ничѣмъ, пустымъ словомъ для зрителя.

Всю дѣйствительность и историческое значеніе пріобрѣлъ онъ только тогда, когда коснулась до него фантазія автора. Благодаря ей, мы видимъ теперь передъ собою суевѣра и груса, съ инстинктами кровожаднаго звѣря, которые развиты

благопріятствующими обстоятельствами. Нѣкоторые нашихъ цѣнителей находятъ этотъ типъ недодѣланн у г. Островскаго. Ничего нѣтъ недодѣланнаго въ эт лицѣ, по нашему мнѣнію, и только ничтожный и пош конецъ его, по милости двухъ-трехъ строчекъ приказа, п ченнаго изъ Москвы, могъ привести къ такому заключе Подьяческая катастрофа, сразившая воеводу, имѣетъ т однакожъ, весьма важное значеніе. Лицо, наводившее уж на область, разлетается впрахъ со всѣмъ своимъ *де ческимъ* содержаніемъ отъ одного слова начальнаго бояр Отъ страшнаго воеводы ничего не остается, потому ч самъ онъ весь созданъ постороннею силой.

Съ дозволенія власти, существовали и его надменно и неукротимыя страсти, и насмѣшливые наглые пріем словомъ, всѣ коренныя его отличія отъ людей, и даже свирѣпая физіономія. За каждымъ его словомъ и дви ніемъ слышится у г. Островскаго воспитатель, ихъ п дившій. Воеводѣ собственно принадлежатъ врожде испорченность и врожденное малодушіе, но всѣ фо краски и размѣры, въ которыхъ являются намъ его рас ство и его злоба, порождены не имъ самимъ, а одуряющ вліяніемъ мѣста и положенія. Вотъ почему, когда онъ о вается съ волоска, который держалъ его на высотѣ, падаетъ внизъ, конечно, попрежнему злобнымъ, но сконфуженнымъ, безпомощнымъ и почти безличнымъ.

Обработанный въ этомъ смыслѣ типъ воеводы пред вляетъ выраженіе крайне свирѣпыхъ наклонностей, в лѣянный какою-то чужою, невидимою рукой на сам ничтожномъ характерѣ, побужденій льва и тигра, привит къ сердцу зайца, и въ такомъ видѣ воевода служитъ п ставителемъ не однихъ своихъ собратовъ, сидѣвшихъ волостямъ въ XVII столѣтіи, но и русскихъ, такъ-назы мыхъ цѣльныхъ и титаническихъ натуръ вообще.

Правда, что если на подобномъ характерѣ утвержд самый ходъ пьесы, она никогда не можетъ достичь др въ прямомъ значеніи слова: главное лицо не имѣетъ до точной силы и устоя для поддержанія драмы. Пьеса необходимости, должна заключиться въ живопись полож и въ собраніе типовъ и образовъ, что́ именно здѣсь и чилось. На осуществленіе всего этого и на завязку ихъ, вм *драмати*ческаго узла, въ крѣпкій узелъ съ юридическ

содержаніемъ пьесы, съ ея темой и задачей, потрачено много творчества и таланта г. Островскаго, и потрачено не даромъ, потому что они указали намъ, какую серіозную и первенствующую роль могутъ играть при объясненіи исторіи чисто-художническимъ способомъ поэтическая изобрѣтательность и вымыселъ.

Убѣдительнымъ примѣромъ того, что чистый вымыселъ способенъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ на ту же самую услугу относительно пониманія и представленія эпохи, какъ и любой историческій фактъ, можетъ служить въ четвертомъ дѣйствіи комедіи сцена постоялаго двора, куда прибываетъ воевода Шалыгинъ на ночлегъ, послѣ богомольнаго хожденія въ монастырь и вооруженнаго поиска за разбойниками. По одному слуху о его приближеніи со свитой, изба освобождается отъ заѣзжихъ промышленниковъ, которые вели въ ней степенный, чинный, немногосложный разговоръ, какъ слѣдуетъ людямъ, съѣхавшимся случайно изъ разныхъ мѣстъ и глубоко занятымъ своими интересами. Въ избѣ остается воевода, для котораго челядинцы устлали коврами переднюю скамью, подъ образами, да старушка-крестьянка, собирающаяся продремать ночь надъ колыбелью своего внука. Ночь наступаетъ, и старуха затягиваетъ убаюкивающую пѣсенку, да не одну изъ тѣхъ колыбельныхъ пѣсенъ, которыя, составляя варіантъ какого-то первоначальнаго образца, въ тысячѣ видовъ распѣваются и доселѣ матерями и няньками, а чудную, небывалую, *политическую* пѣсню. Слова этой пѣсенки, производящія такое электрическое дѣйствіе на читателя, хорошо извѣстны теперь всѣмъ. Каждая изъ четырехъ строфъ этой импровизаціи содержитъ ясно выраженную и, вмѣстѣ, наиболѣе горькую черту крѣпостного быта, и заключается импровизація не менѣе яснымъ прозрѣніемъ на будущее:

Ты спи, поколь изживемъ бѣду,
Изживемъ бѣду, пронесетъ грозу,
Пронесетъ грозу, горе минется,
Поколь Богъ проститъ, царь сжалится.

Можетъ ли быть сомнѣніе въ томъ, что эта пѣсня, невозможная для эпохи, сочиненная поэтомъ изъ нашей среды и только навязанная XVII столѣтію и старухѣ, отъ которой ее слышимъ?

Со всѣмъ тѣмъ, пѣсня эта въ томъ мѣстѣ, гдѣ ее встрѣчаемъ, и такъ сложенная, какъ она сложена, передаетъ фактъ народной жизни, не менѣе достовѣрный, чѣмъ любое историческое событіе, подъ точнымъ и опредѣленнымъ числомъ. Какимъ образомъ „праздная“ выдумка становится въ умѣ каждаго равносильною указанію исторіи и свидѣтельству документовъ? Тайна объясняется легко. Авторъ собралъ въ ней, по поэтическому инстинкту и прозрѣнію, все то, что смутно, въ видѣ предчувствія, могло жить въ душѣ каждаго человѣка изъ простонародья, чего ни одинъ изъ закрѣпощенныхъ не умѣлъ представить себѣ цѣлостно и опредѣленно, но что заставляло всѣхъ ихъ волноваться, бѣжать на края земли, предаваться всякому обманщику и укоренять въ государствѣ смуты, разбои, секты, самозванства. Пѣсенка не забыла и общаго убѣжденія, что крѣпостничество не вѣчно и должно изжить себя рано или поздно,—убѣжденіе, которое явилось въ минуту самаго зарожденія новыхъ порядковъ и никогда не потухало въ народѣ, ни при какихъ разувѣреніяхъ и угрозахъ. Такимъ образомъ, пары двѣ сочиненныхъ куплетовъ выразили одну изъ сторонъ психической жизни народа и получили черезъ то равноправность съ любымъ историческимъ фактомъ, не теряя въ то же время и своего характера свободнаго изобрѣтенія—словомъ, превратились въ *художническое* представленіе одной черты изъ прошлаго быта. Только подъ условіемъ подобнаго превращенія въ собственное достояніе, поэзія и искусство и могутъ касаться предметовъ науки, эрудиціи, философіи и проч.

Конечно, мы не намѣрены разнимать по частямъ комедію г. Островскаго и въ каждой изъ нихъ показывать то гармоническое соединеніе независимаго творчества съ указаніями преданія, которое составляетъ ея отличіе. За малымъ исключеніемъ, почти всѣ сцены комедіи отличаются этимъ двойственнымъ характеромъ (въ томъ числѣ и извѣстные „сны“ воеводы); но у насъ нѣтъ мѣста для того, чтобы разобрать ихъ художническій и ихъ этнографическій смыслъ. Пропускаемъ поэтому всѣ сцены лихого бражничанья Бастрюкова-сына—лица, соединяющаго удальство съ сильною, здоровою любовью молодости, съ самоотверженіемъ и смѣлымъ, откровеннымъ словомъ передъ людьми и потому какъ-будто представляющаго собою обреченную жертву плахи и воеводскаго *самовластья*, несмотря на то, что въ этотъ разъ ему

удается побороть ихъ. Пропускаемъ даже знаменитое третье дѣйствіе, все наполненное однѣми женщинами, передающее жизнь стараго терема нашего и заключающее въ себѣ сцену „сумереченья“, хотя оно столько же важно поэтической стороной своей, сколько и тѣмъ, что хорошо поясняетъ среду, воспитавшую въ одно время дикое насиліе сверху и дикое буйство снизу, какъ отпоръ насилію. То и другое, кажется намъ, составляетъ неизбѣжную естественную поправку этой дремлющей, стоячей жизни, до того успокоившейся въ мелкихъ соображеніяхъ и дѣтскихъ лукавствахъ, до того ограниченной и замкнутой обычаями, преданіями, что шаловливый домовой палаты собственною своей особой входитъ въ эту сферу, какъ принадлежащую ему по праву, и становится однимъ изъ дѣйствующихъ ея лицъ. Не малый смыслъ имѣетъ и то обстоятельство, что героиня комедіи Марья Власьевна, обладающая природными зачатками крупнаго характера, будучи помѣщена въ это убѣжище, начинаетъ сгибаться подъ дѣйствіемъ тяготѣющихъ надъ ней теремныхъ силъ и старается сберечь себя, призвавъ на помощь столбнякъ. Вообще, если въ этомъ дѣйствіи заложено г. Островскимъ много поэтическихъ мотивовъ, то не менѣе встрѣчается тутъ и бытовыхъ указаній. Уже не говоримъ о томъ, что замѣчательный актъ окончательно убѣждаетъ читателя въ невозможности повстрѣчаться съ настоящею драмой на этой мягкой, рыхлой почвѣ, какъ ни изобилуетъ она самыми душистыми цвѣтами поэзіи; но тотъ же актъ приводитъ еще къ заключенію, что рядомъ съ такою же жизнью непремѣнно должны возникать крайности, какъ естественный, законный видъ реакціи противъ ея томительнаго, сладкоодуряющаго и разслабляющаго характера. Все равно, въ какой бы формѣ ни повстрѣчались эти крайности читателю,—въ звѣрской ли формѣ домашняго властелина или въ формѣ вооруженнаго бродяжничества, отрицающаго всѣ общественныя начала,—онъ уже легко отгадываетъ, что все это—дѣти того же терема, который намъ представленъ поэтомъ. О первомъ изъ этихъ явленій, мы, однакоже, сейчасъ говорили; о второмъ, составляющемъ такую важную часть въ комедіи-хроникѣ, скажемъ нѣсколько словъ теперь.

Старое наше разбойничество, о которомъ такъ часто и настойчиво говорятъ всѣ свидѣтельства, нашло въ г. Островскомъ и вѣрнаго и благосклонно расположеннаго живописца.

Самыя мрачныя краски достались у него въ удѣлъ лицамъ, занимающимъ какія-либо іерархическія ступени; что касается до протеста противъ общественныхъ порядковъ, выражаемаго разбойничествомъ, авторъ сохранилъ ему всѣ тѣ черты, какими онъ рисуется народною пѣснью и легендой, на половину сочувствующими ему, и при этомъ, разумѣется, умолчалъ о грубыхъ подробностяхъ, долженствовавшихъ сопровождать его въ дѣйствительности. Поступая такимъ образомъ, онъ, однакоже, не измѣнилъ ни самой дѣйствительности, понятой надлежащимъ образомъ въ существенныхъ ея свойствахъ, ни поэзіи, возможной только при истинѣ и вѣрности представленій. Особенный родъ разбойничества, который онъ выводитъ передъ нами, то въ видѣ ватаги, засѣвшей въ лѣсу, окружающемъ мирную и святую обитель, то въ видѣ удалыхъ пловцовъ, пѣнящихъ Волгу и спасающихъ заключенную красавицу—совсѣмъ не принадлежитъ, по характеру своему, къ разбойничьей эпопеѣ казацкихъ шаекъ, грабившихъ и убивавшихъ по призванію и по отсутствію какихъ-либо вѣрованій въ политическія и нравственныя начала. Напротивъ, у г. Островскаго является намъ разбойничество мирныхъ гражданъ, *хорошихъ* людей, которымъ только невыносимое состояніе общества вложило въ руки кистень, что́ сознавало и высшее центральное управленіе. Для людей этого класса разбойничество составляло въ то время такой же способъ оградить свою личность и найти средства существованія, какой для пролетаріевъ нынѣшней Европы составляетъ переселеніе: въ переселеніе, между прочимъ, переродилось, какъ извѣстно, и наше вооруженное бродяжничество. Вотъ почему, давая просторъ своему поэтическому воображенію при возсозданіи старой нашей „вольницы", г. Островскій не оскорбилъ исторіи, какія бы мрачныя воспоминанія ни оставались отъ нея тамъ и сямъ: онъ выразилъ общую характеристику явленія, отразившагося и въ сознаніи народа поэтическимъ образомъ. Другое дѣло, когда отъ общаго опредѣленія факта, посредствомъ образовъ и описаній, авторъ переходитъ къ созданію отдѣльной личности, которая бы отчетливо выражала собою нравственное состояніе всѣхъ лицъ, попавшихъ въ разбойничество вмѣстѣ съ нею: авторъ не находитъ тогда вѣрныхъ красокъ ни у себя, ни въ эпическомъ творчествѣ народа. Такъ случилось именно съ атаманомъ шайки Дубровинымъ (онъ же и Худояръ),

который, по намѣренію автора, долженъ былъ сохранять въ своей должности обликъ примѣрнаго семьянина и богобоязненнаго человѣка, даже гражданина съ высоко-развитымъ чувствомъ правды и справедливости.

Весьма замѣчательно, что попытка оторвать отъ массы или толпы одно лицо и поставить его въ представители нравственнаго положенія, какое можетъ быть приписано имъ только въ цѣломъ ихъ составѣ, не удалась даже и такому огромному таланту, какъ г. Островскій. Объясняется это, по нашему мнѣнію, тѣмъ, что въ народѣ есть много представленій, понятій и убѣжденій, которыя выдерживаютъ критику и могутъ быть логически и морально оправданы, когда живутъ въ видѣ общаго достоянія, разложенныя на весь міръ, но которыя не поддаются никакому олицетворенію или, будучи олицетворены, теряютъ свой смыслъ, нравственное значеніе и убѣдительность. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ народъ не можетъ имѣть представителя для самыхъ характеристическихъ своихъ особенностей. Такъ, весьма легко представить себѣ въ русскомъ старомъ мірѣ удалое, почти-что извинительное и въ нѣкоторомъ смыслѣ честное разбойничество, но совершенно невозможно представить себѣ доблестнаго, героическаго разбойника. Есть и, кромѣ того, весьма важныя и многочисленныя явленія народнаго духа, которыхъ нѣтъ возможности перевести на типъ или живое лицо. Можно составить себѣ высокое понятіе объ идеѣ народнаго суда, напримѣръ, но осуществить ее въ образѣ праведнаго и разумнаго судьи, съ сохраненіемъ всей ея сущности, врядъ ли кому удастся. Впрочемъ, не одна наша литература поддавалась искушенію создать типъ честнаго и благороднаго разбойника; иностранныя литературы соблазнялись имъ не менѣе нашего; только публика и писатели, послѣ многихъ попытокъ и опытовъ, пришли въ Европѣ къ убѣжденію, что для подобнаго лица первымъ и необходимымъ условіемъ существованія должно быть *безсознательное* обладаніе всѣми тѣми поэтическими и нравственными качествами, какія для него придуманы. Худояръ г. Островскаго имѣетъ несчастіе быть мыслящимъ человѣкомъ и отчасти психологомъ. Анализъ, производимый имъ въ сценѣ съ пустынникомъ (дѣйствіе II, сцена II) надъ собственною своей нравственной природой, гораздо болѣе отымаетъ у него, чѣмъ даетъ ему жизни и выразитель-

ности. Анализъ этотъ еще самъ подлежитъ разбору и, при нѣкоторомъ осмотрѣ, можетъ представить стороны для возраженія и опроверженія. Худояръ, опирающійся на него, обнаруживаетъ только несостоятельность выразить свою природу инымъ, прямымъ путемъ. Для нуждъ того же самаго анализа выведенъ и пустынникъ, который оказывается только орудіемъ въ рукахъ Худояра, не имѣющимъ другого назначенія, кромѣ обязанности помогать самооправданію своего собесѣдника, хотя лучшее оправданіе его должно бы состоять въ проявленіяхъ его натуры, воли и характера. Невозможность самаго типа очень сильно сказалась въ неудачѣ, постигшей его у такого художника, какъ г. Островскій. Но эта неудача чрезвычайно выгодно отразилась на комедіи. Завяжись нѣчто дѣльное и существенное относительно такого типа у г. Островскаго, Худояръ пріобрѣлъ бы всѣ свойства настоящаго „драматическаго" характера, чего не достигъ воевода, такъ полно и отчетливо обрисованный авторомъ. Драма затеплилась бы на противоположномъ концѣ общественнаго строя, на нѣсколько опошленномъ въ сценическомъ отношеніи грунтѣ разбойничества. Невозможная на верхнихъ слояхъ, потому что они двигаются посторонней силою и живутъ по милости чужой воли, она оказалась бы возможностью на тѣхъ, которыя живутъ безъ всякихъ общественныхъ основаній и на свободѣ птицы небесной. Въ нынѣшнемъ своемъ видѣ комедія-хроника не имѣетъ ни одного пункта, на которомъ бы плотно сосредоточилось столько элементовъ, сколько нужно для зарожденія и вспышки драмы, и комедія остается съ главнымъ, наиболѣе обаятельнымъ и наиболѣе важнымъ характеромъ— характеромъ *домашней исторіи стародавней Руси.*

Дѣйствительно, это—домашняя исторія обычнаго русскаго существованія въ извѣстную эпоху со всѣмъ, что́ занимало умъ и воображеніе человѣка, лежало на немъ, какъ гнетъ и несчастіе, противъ чего онъ бился, чѣмъ онъ страдалъ и въ чемъ, усталый и обезсиленный, искалъ и находилъ утѣшеніе. Есть многое изъ этого, что́ тогда его окружало, существуетъ и теперь. Какое бы строгое сужденіе ни произносили мы о началахъ и основаніяхъ этой жизни, мягкія краски и трогательныя черты драматическаго повѣствованія о ней производятъ на читателя неотразимо чарующее впечатлѣніе. *Домашняя,* глубоко прочувствованная исторія народа

всегда производитъ это впечатлѣніе. Мы уже знаемъ, что въ изображеніи ея поэтическое прозрѣніе играло бо́льшую роль, чѣмъ историческое свидѣтельство; мы знаемъ также, что фантазія и независимое творчество пріобрѣли всѣ качества и силу такого свидѣтельства при ея возсозданіи, но есть и еще одна черта, сама-собой сказавшаяся въ ней. Вся эта жизнь, потрясаемая до основанія событіями и катастрофами, ни на волосъ не измѣняетъ своего обычнаго характера и своего обычнаго теченія: словно она не желаетъ брать на себя отвѣтственность за ходъ, принимаемый общественными порядками, словно сторонится отъ рокового, увлекающаго потока исторіи и запирается въ себѣ, словно имѣетъ на важный случай великое слово, способное разрѣшить всякую неурядицу, которое она бережетъ покамѣстъ втайнѣ. Немало интереса сообщаетъ ей эта вѣра въ себя, не оправданная дальнѣйшими ея судьбами; немало красокъ дала она въ ту великолѣпную поэтическую ткань, которую соткалъ г. Островскій изъ ея главныхъ отличій и подробностей, своею неизмѣнною привязанностью къ обычаямъ и заведеннымъ въ ней пріемамъ, какъ-будто въ этомъ для нея и вознагражденіе за всѣ переносимыя ею оскорбленія и спасеніе въ будущемъ. Мы уже говорили прежде, что для драмы и художническаго произведенія вообще, кромѣ домашней исторіи той или другой эпохи—никакой иной существовать не можетъ. Когда принимаютъ они на себя обязанность показывать государство, вмѣсто жизни лицъ въ государствѣ, имъ угрожаетъ опасность остаться совсѣмъ безъ содержанія. Въ области свободной художнической дѣятельности политическая исторія открываетъ себя въ домашнихъ дѣлахъ различныхъ лицъ и никогда не открываетъ прямо самое себя. Правда, бываютъ разности, и весьма крупныя, въ изображеніи этихъ лицъ, передающихъ современное имъ состояніе государства—и способность образовывать характеры, образы и положенія соотвѣтствуетъ глубинѣ поэтическаго содержанія, силѣ и средствамъ таланта, взявшагося за это трудное дѣло. У г. Островскаго всѣ характеры, типы и событія, кромѣ общаго дѣла и развитія одной юридической темы, имѣютъ еще каждый и каждое свою задушевную мысль, свою поэтическую душу, свою собственную, частную исторію,—отсюда разнообразіе, полнота, чарующая прелесть его комедіи-хроники, которая долго не утеряетъ поэтому

своего господства надъ читателемъ и зрителемъ, приведенными съ нею въ соприкосновеніе.

Нѣсколько послѣднихъ словъ о стихѣ Островскаго. Онъ выработалъ себѣ въ послѣднее время совершенно оригинальные стихотворные пріемы, отражающіе его личность, какъ поэта. Отъ прежняго пышнаго стиха *Козьмы Минина* почти ничего не осталось теперь; пропала также и излишняя растительность, смѣемъ такъ выразиться, старой формы, которая была слѣдствіемъ частыхъ лирическихъ порывовъ автора и нужды его въ украшеніяхъ, дополненіяхъ, развитіяхъ. Г. Островскій освободился вполнѣ отъ соблазна щеголять виртуозными своими способностями на трудномъ инструментѣ стихотворной рѣчи. Усвоивъ себѣ живописность народнаго слова, онъ сообщилъ стиху и сдержанность этого слова, по временамъ самый лаконизмъ его, такъ способствующій *образному* выраженію мысли. Нынѣ г. Островскій передаетъ уже стихомъ не только присловья и фигуральные обороты народной рѣчи, но и тѣ руссицизмы ея, которые, не имѣя своего собственнаго, самостоятельнаго смысла, выражаютъ въ извѣстныхъ случаяхъ тончайшіе, едва уловимые оттѣнки чувства или представленія. Задача была трудная, но пятистопный ямбъ г. Островскаго не изломался, какъ легко могло случиться, при ея осуществленіи: онъ только пріобрѣлъ особеннаго рода движеніе, что-то похожее на изворотливость, а иногда поводъ къ весьма смѣлымъ порывамъ для одолѣнія той или другой трудности. Написанная такимъ стихомъ комедія г. Островскаго, кромѣ всего другого, представляетъ еще примѣръ безыскусственнаго народнаго говора, помиреннаго съ литературною, тщательно выработанною художническою формой.

П. Анненковъ.

„Воевода“, Островскаго [1]).

Къ *Воеводѣ* Островскаго не приложено никакого предисловія, и это очень жаль, потому что было бы желательно, чтобы къ этой комедіи было приложено два предисловія: одно—отъ автора, другое—отъ редакціи „Современника“. Въ первомъ—авторъ долженъ былъ объяснить русской публикѣ, что̀ такое онъ хотѣлъ выразить своимъ новымъ произведеніемъ и съ какой стати онъ его написалъ. Сама комедія на эти вопросы не даетъ рѣшительно никакого отвѣта. Во второмъ предисловіи редакція „Современника“ должна объяснить, съ какой точки зрѣнія она находитъ комедію Островскаго интересною или полезною вообще, и для подписчиковъ „Современника“ въ особенности. Упорство, съ которымъ „Современникъ“ держится за увядшій талантъ Островскаго, составляетъ для меня необъяснимую загадку, тѣмъ болѣе, что тотъ же „Современникъ“ не разъ ставилъ себѣ въ особенную заслугу ту стоическую твердость, съ которою онъ отвернулся отъ Тургенева, какъ только замѣтилъ въ немъ фальшивыя ноты. Тургеневъ при всѣхъ своихъ немощахъ несравненно свѣжѣе Островскаго, и было бы несравненно приличнѣе для „Современника“ напечатать даже „Призраки“, чѣмъ печатать *Воеводу*. Островскій былъ дорогъ для „Современника“, какъ изобрѣтатель „темнаго царства“, но о „темномъ царствѣ“ Островскій давно произнесъ свое послѣднее слово, и теперь онъ странствуетъ по такимъ пустынямъ и дебрямъ, въ которыхъ онъ можетъ встрѣтиться только съ Кохановскою, съ Аксаковымъ, Юркевичемъ, а никакъ не съ мыслящими реалистами нашего времени.

Сюжетъ *Воеводы* изумляетъ читателя своею несообразностью. Въ одномъ приволжскомъ городѣ господствуетъ въ

---

[1]) „Русское Слово“, 1865 г., № 2. (См. стран. 224.)

половинѣ XVII столѣтія старый воевода Шалыгинъ, защекотавшій до смерти двухъ своихъ женъ и желающій на старости лѣтъ жениться еще разъ для того, чтобы защекотать третью. Онъ дѣлаетъ предложеніе одной красивой дѣвицѣ, Прасковьѣ, дочери богатаго посадскаго, Власа Дюжого. Его предложеніе принимаютъ съ радостью, и будущая его теща, Настасья, уже заранѣе обнаруживаетъ свою гордость тѣмъ, что, идя по улицѣ, ни съ того ни съ сего кричитъ на всѣхъ прохожихъ: „Фу, смерды!“. Но прохожіе, съ своей стороны, обнаруживаютъ свою самостоятельность, отвѣчая ей такъ: „Шире народъ, навозъ плыветъ“. Если бы Островскій снабдилъ свою комедію объяснительнымъ предисловіемъ, то изъ этого предисловія мы узнали бы навѣрное, для чего созданъ діалогъ между гордою Настасьей и самостоятельными прохожими: для того ли, чтобъ очертить нравы XVII столѣтія или же для того, чтобы въ XIX столѣтіи породить хохотъ и рукоплесканія въ райкѣ Александринскаго театра. Теперь же, за неимѣніемъ предисловія, мы недоумѣваемъ. Придя съ визитомъ къ Власу Дюжому, воевода случайно сталкивается съ Марьей, младшею сестрой Прасковьи, и тотчасъ рѣшаетъ, что лучше жениться на Марьѣ, чѣмъ на Прасковьѣ. Марья влюблена въ молодого помѣщика Бастрюкова, котораго отецъ, поссорившись съ Шалыгинымъ, поѣхалъ въ Москву жаловаться на воеводу отъ лица цѣлаго города. Молодой Бастрюковъ хочетъ похитить Марью, но шутъ воеводы подкарауливаетъ ихъ и разстраиваетъ ихъ планъ. Воевода, чтобъ уберечь Марью отъ ея поклонника, перевозитъ ее въ одинъ изъ своихъ теремовъ еще до свадьбы. Самъ же онъ уѣзжаетъ на нѣсколько дней за городъ по дѣламъ. Въ одной избѣ онъ видитъ пророческіе сны: будто молодой Бастрюковъ похищаетъ Марью; потомъ, будто старый Бастрюковъ пожаловался на него, Шалыгина, въ Москвѣ, и будто ѣдетъ на воеводство дворянинъ Поджарый. Встревоженный снами, онъ возвращается въ городъ, захватываетъ Марью въ ту самую минуту, когда она совсѣмъ собралась бѣжать, и начинаетъ ее щекотать; но въ это время является на сцену новый воевода, Поджарый, и Марья, избавленная отъ щекотанія, находитъ себѣ счастіе въ объятіяхъ Бастрюкова.

Вотъ вамъ и комедія вся. Комедія, разумѣется, изобилуетъ вводными лицами; тутъ есть и пустынникъ, раз-

мышляющій о суетности земного величія; и разбойникъ, смахивающій на Карла Моора; и старая нянька Недвига, разсказывающая сказки; и корыстолюбивая вдова Ульяна, исполняющая при особѣ Марьи роль дуэнны; и колдунъ Мизгирь, появляющійся на сценѣ въ оковахъ; есть даже и домовой, настоящій домовой, который ходитъ по сценѣ съ фонаремъ, декламируетъ стихи и сшибаетъ шлыкъ съ головы спящей Недвиги. Но Островскій и этимъ не удовлетворился: для большей фантастичности онъ устроилъ такъ, что пророческіе сны воеводы разыгрываются передъ глазами всѣхъ зрителей. Воевода лежитъ на сценѣ и спитъ, а въ это время на заднемъ планѣ открывается новая сцена, на которой изображается въ лицахъ то, что̀ воевода видитъ во снѣ. Черезъ это комедія начинаетъ смахивать на волшебную оперетку и получаетъ для райка удвоенную занимательность. Но мыслящій читатель, наткнувшись на домового и на пророческіе сны, болѣе чѣмъ когда-либо, начинаетъ чувствовать необходимость тѣхъ двухъ предисловій, о которыхъ я говорилъ выше. Возникаетъ вопросъ: вѣритъ или не вѣритъ Островскій въ существованіе домовыхъ и въ пророческія свойства сновидѣній? Что люди XVII столѣтія вѣрили въ то и въ другое, это, разумѣется, не подлежитъ сомнѣнію. Но тутъ дѣло не въ томъ. Домовой ходитъ по сценѣ и говоритъ; значитъ, его видятъ и слышатъ не только дѣйствующія лица комедіи, а, кромѣ того, еще всѣ зрители, то-есть люди XIX вѣка. Собственно говоря, онъ даже приходитъ на сцену только для зрителей, потому что дѣйствующія лица всѣ спятъ въ минуту его появленія и просыпаются только послѣ его ухода. Такое же реальное существованіе имѣютъ для зрителей пророческіе сны Шалыгина. Зрители видятъ и слышатъ все ясно, что̀ грезится воеводѣ; и потомъ тѣ же зрители видятъ и слышатъ такъ же ясно, что всѣ эти грезы осуществляются съ буквальною точностью. Что же это, въ самомъ дѣлѣ, значитъ? Если Островскій вѣритъ во всякую чертовщину, то чего же смотритъ редакція „Современника“? Если Островскій, не вѣря въ чертовщину, считаетъ своею обязанностью поддѣлываться подъ народное міросозерцаніе и *сжиряться передъ народною правдой* до признанія домовыхъ и пророческихъ сновъ включительно,—то, опять-таки, чего же смотритъ редакція „Современника“? Если, наконецъ, Островскій, отложивъ попеченіе о какомъ бы

то ни было серіозномъ взглядѣ на литературу, наполняетъ свои досуги сочиненіемъ комико-магическихъ оперетокъ, то и въ этомъ случаѣ мы, въ крайнемъ недоумѣніи, повторяемъ тотъ же самый вопросъ: чего же смотритъ редакція „Современника“,—та самая редакція, которая ведетъ непримиримую войну съ Тургеневымъ?

Безъ двухъ предисловій съ *Воеводой* невозможно справиться.

Д. Писаревъ.

„Воевода, или Сонъ на Волгѣ“ [1]).

*) Русскій театръ переживаетъ трудную пору. Наше настоящее, исполненное такихъ назидательныхъ уроковъ, такого множества разнообразнѣйшихъ драматическихъ поло-

---

[1]) „Современная Лѣтопись“. Воскресныя прибавленія къ „Московскимъ Вѣдомостямъ“, 1865 г., № 35. Статья Н. Н.

*) Въ 1756 г., черезъ годъ послѣ основанія московск. университета, по почину правительства, возникла вторая въ Россіи газета—„Московскія Вѣдомости“.

5 марта 1756 г. изданъ былъ сенатскій указъ о порядкѣ сношеній московск. университета съ коллегіями, канцеляріями, конторами, приказами, и, между прочимъ, въ этомъ указѣ значится: „... и оному московскому университету учредить типографію и книжную лавку, въ которыя происходимые университетскихъ писателей сочиненія и переводы печатать и продавать въ общую пользу могутъ“. Открытіе первой гражданской типографіи (при ней же находилась и словолитня) въ Москвѣ при университетѣ дало возможность осуществить мысль объ изданіи газеты. Типографіей завѣдывалъ извѣстный русскій поэтъ, драматургъ и дѣятельный поборникъ просвѣщенія Мих. Матв. Херасковъ. Изъ новоучрежденной типографіи появился 26 апр. 1756 г. первый нумеръ „Московскихъ Вѣдомостей“. До 1841 г. включительно газета выходила только лишь по 2 раза въ недѣлю; съ 1842 по 1858 гг. уже по 3 раза въ недѣлю, а съ 1859 г. ежедневно. Сначала форматъ газеты былъ невеликъ, но со временемъ онъ все больше и больше возрасталъ и выросъ до формата настоящаго времени. Въ первые годы своего существованія газета помѣщала только лишь офиціальный матеріалъ: высочайшіе приказы, придворныя извѣстія, донесенія съ театра войны, иностранныя извѣстія и объявленія. Этимъ, вѣроятно, главнымъ образомъ, и объясняется небольшой кругъ читателей газеты. Съ 1756 по 1778 гг. „Моск. Вѣд“. расходились въ скромномъ количествѣ 600 экземпл. въ годъ. Въ 1779 г. въ Москву изъ Петербурга переѣзжаетъ извѣстный выдающійся дѣятель Екатерининской эпохи Н. И. Новиковъ, опытный издатель и просвѣщенный человѣкъ. Въ Москвѣ онъ затѣваетъ цѣлый рядъ изданій и, между прочимъ, домогается аренды „Моск. Вѣд.“. Херасковъ всецѣло на сторонѣ Новикова. Новиковъ получаетъ въ аренду на 10 лѣтъ университ. типогр. и газ. „Моск. Вѣд.“ (1779—1789 гг.). Съ этого момента газета обновляется, пріобрѣтаетъ серіозный литературный интересъ, и кругъ

женій, то трагическихъ, то комическихъ, такого богатаго выбора всевозможныхъ соціальныхъ типовъ (больше, впрочемъ, мелкихъ, чѣмъ крупныхъ), почему-то ускользаетъ отъ

читателей расширяется съ каждымъ годомъ. Новиковъ сталъ прилагать къ газетѣ различныя прибавленія научн. и литерат. характера. Въ 1789 г. 1-го мая окончился срокъ аренды Новикова, и газета съ торговъ переходитъ къ коллежск. асессору А. Свѣтушкину. Снова для газеты наступаетъ періодъ застоя и тянется до 1850 г., когда редакторомъ становится М. Н. Катковъ. Въ 1856 г. газета переходитъ къ извѣстному публицисту и энергичному журнальному работнику, сознававшему высокое назначеніе печатнаго слова, Вал. Ѳед. Коршу. Помимо сложнаго редакторскаго труда, Коршъ велъ въ „Моск. Вѣд." и иностранный отдѣлъ. Газета подъ его руководствомъ значительно оживилась.

Первые годы царствованія императора Александра II-го оживили надежды либеральной партіи въ Россіи. Литература и у насъ и за границей пѣла въ унисонъ восторженный гимнъ волѣ и личности молодого царя; Огаревъ сравнивалъ его восшествіе на престолъ съ „теплымъ утромъ послѣ долгой и леляной ночи"; Герценъ опредѣлялъ ему пророчески „мѣсто въ числѣ величайшихъ государственныхъ дѣятелей нашего времени". Не всѣ, однако, представители литературы такъ довѣрчиво смотрѣли въ глаза будущему. Вотъ коротенькое стихотвореніе Некрасова, подтверждающее эту мысль:

Три друга обнялись при встрѣчѣ,
Входя въ какой-то магазинъ.
— Теперь пойдутъ иныя рѣчи,—
Замѣтилъ весело одинъ.
„Теперь насъ ждутъ просторъ и слава!"
Другой восторженно сказалъ.
А третій посмотрѣлъ лукаво
И головою покачалъ...

Вскорѣ цѣлый рядъ реакціонныхъ мѣропріятій подтвердилъ мнѣніе наиболѣе дальновидныхъ людей, утверждавшихъ, что Герценъ въ своемъ „Колоколѣ" слишкомъ рано предается оптимистическимъ рѣчамъ, что нѣтъ надежды на то, что молодой царь будетъ способенъ провести крупныя реформы въ желательномъ направленіи. Дѣйствительно, послѣ смерти либерала Ростовцева предсѣдателемъ редакціонной комиссіи по дѣлу крестьянской реформы былъ назначенъ извѣстный реакціонеръ и сторонникъ помѣщичьихъ интересовъ гр. Панинъ. 19-е февраля 1861 г. принесло крестьянскую реформу, но не въ томъ видѣ, какъ ее ожидали радикальные элементы общества. Это вырыло непроходимую пропасть между этими общественными группами и правительствомъ. Къ оппозиціи примкнуло и студенчество. Въ 1861 г. была отнята у университетовъ автономія и возвышена плата за право слушанія лекцій. Начались университетскіе безпорядки, на которые власти отвѣтили жестокими репрессіями. Въ Россіи стали множиться тайныя общества, подпольныя изданія, типографіи. Требованія ограниченія правительственнаго произвола и обнародованія конституціи стали лозунгомъ передовыхъ партій и передавались постепенно болѣе широкимъ слоямъ

наблюдательности нашихъ драматурговъ. Между тѣмъ, всѣ мы стремимся что-нибудь доказать, развить какую-нибудь мысль, произвести какую-нибудь реформу. Забывая, что драматургъ не проповѣдникъ, мы и сцену наводнили гото-

---

населенія. Вслѣдъ за конституціоналистами выросла революціонная и террористическая партія, объявлявшая, что „Колоколъ" Герцена не можетъ больше считаться выразителемъ надеждъ и стремленій „партій", такъ какъ онъ возлагаетъ слишкомъ большія надежды на царя. „Романовы, а въ случаѣ надобности и вся императорская партія, должны своею кровью заплатить за несчастія народа". Правительство стало принимать рѣшительныя мѣры противъ политическаго движенія въ странѣ. Запрещались всяческія собранія, клубы, кабинеты для чтенія, закрывались воскресныя школы, ограничивалась въ сильной степени свобода печатнаго слова, начались аресты, ссылки и т. д. Прійти на помощь правительству въ борьбѣ съ крамолой, такъ быстро растущей, выразилъ желаніе проф. моск. универс. и извѣстный публицистъ М. Н. Катковъ. Съ этою цѣлью онъ просилъ аренду „Московск. Вѣдом.", обѣщая начать атаку противъ Герцена и его „Колокола", а также, конечно, и противъ „либерализма, вошедшаго у насъ въ моду". Съ 1863 г. „Московск. Вѣдом." переходятъ къ Каткову и П. Леонтьеву, вѣрному панегиристу Каткова. Въ 1863 г. началось возстаніе въ Польшѣ, оно оживило русскій патріотизмъ и ослабило авторитетъ соціалистическаго движенія. Въ эту минуту Катковъ сумѣлъ ловко воспользоваться общественнымъ настроеніемъ и еще больше раздуть патріотизмъ русскаго общества. Поле битвы осталось за Катковымъ, и звѣзда Герцена закатилась. Правительство, дѣйствуя въ духѣ Каткова, твердившаго, что „наши внутренніе предатели опаснѣе внѣшнихъ враговъ", стало еще усиленнѣе хватать всѣхъ, кто не соглашался съ содержаніемъ „Правительственнаго Вѣстника", „Московск. Вѣд." и „Русск. Вѣстн.", издававшагося также Катковымъ. Катковъ въ каждомъ нумерѣ газеты сталъ твердить о необходимости сильной власти, „ежевыхъ рукавицахъ", ибо „въ историческомъ развитіи народовъ бываетъ пора, когда жизнь во всѣхъ своихъ отправленіяхъ подчиняется государственной необходимости, когда общественныя силы не могутъ самопроизвольно дѣйствовать, когда никакое народное начало не можетъ само-по-себѣ имѣть значенія и когда за все отвѣчаетъ безразличная, по существу своему, правительственная сила" („Моск. Вѣд.", 1864 г., 7-е мая).

Приводимая здѣсь статья также рекомендуетъ нашимъ драматургамъ не брать на себя задачъ „проповѣдниковъ" и не „наводнять" сцену „готовыми теоріями, утопическими взглядами, ребяческими тенденціями", разъ навсегда отрѣшиться отъ желанія „что-нибудь доказать, развить какую-нибудь мысль, произвести какую-нибудь реформу", а для того, чтобы и у театральной публики отбить охоту къ „реформамъ" и „утопическимъ взглядамъ", слѣдуетъ вернуться къ Софоклу, Эврипиду или даже Аристофану. Они, конечно, не заражены „ребяческими тенденціями". Жаль только, что изъ 100 трагедій, написанныхъ Софокломъ, до насъ дошли лишь 7, а Эврипида растерзали собаки и потому отъ него сохранилось только 16 трагедій.

Прим. П. Денисюка.

выми теоріями, утопическими взглядами, ребяческими тенденціями.

Чувство дѣйствительности ослабѣло въ насъ. Иному писателю случится напасть на положеніе правдивое; пьеса его могла бы произвести дѣйствіе, если бъ... если бъ не была анахронизмомъ.

Такъ, драма г. Крылова „Противъ теченія", данная въ Москвѣ въ первый разъ 10-го сентября и основанная на одномъ очень извѣстномъ разсказѣ покойнаго М. С. Щепкина, рѣзко изображаетъ положеніе, въ которое при крѣпостномъ правѣ иногда ставились молодые люди, получившіе, по прихоти своихъ помѣщиковъ, высшее образованіе; но крѣпостной бытъ уже отошелъ въ исторію, и мы остаемся равнодушными къ судьбѣ музыканта Григорія, такъ какъ знаемъ, что она невозможна въ настоящее время.

Авторъ думалъ придать пьесѣ интересъ введеніемъ въ нее протеста вообще противъ вмѣшательства эгоистической родственной власти въ свободныя сердечныя отношенія молодыхъ людей; но этотъ протестъ заявляется такою неискусною рукою, и, такъ мало вяжется съ главнымъ содержаніемъ и интересомъ пьесы, что едва ли можетъ способствовать ея успѣху. Многія пьесы, которыя, по своему содержанію, могли бы имѣть нѣсколько лѣтъ тому назадъ успѣхъ актуальности: „Горькая судьбина", „Было да прошло", „Большія хоромы"—не были тогда допускаемы на сцену, а теперь, когда разрѣшеніе съ нихъ снято, онѣ кажутся несвоевременными, и, благодаря отсутствію общихъ и существенныхъ достоинствъ, развитія характеровъ и драматическаго дѣйствія, большинство ихъ не можетъ разсчитывать на прочный успѣхъ.

„Театръ нашъ живетъ заднимъ числомъ", подсказалъ мнѣ по этому поводу одинъ изъ моихъ пріятелей.

Гдѣ же спасеніе? На него я не разъ уже указывалъ въ своихъ театральныхъ замѣткахъ: оно заключается въ обращеніи къ старому общечеловѣческому репертуару, который, доставляя публикѣ наслажденіе во сто разъ больше, чѣмъ нынѣшнія модныя пьесы сомнительной актуальности, въ то же время очиститъ вкусъ публики, разовьетъ или воскреситъ сценическіе таланты, глохнущіе подъ вліяніемъ рутиннаго исполненія рутинныхъ ролей, и вызоветъ, силой образца и примѣра, истинно-даровитыхъ драматическихъ писателей.

ыкновенно полагаютъ, что въ этомъ классическомъ репер-
ірѣ только и есть что нѣсколько драмъ Шекспира, кото-
ми будто бы совсѣмъ задушена была бы въ такомъ слу-
ѣ публика. Но, во-первыхъ, самъ Шекспиръ какъ нельзя
лѣе разнообразенъ, а, во-вторыхъ, кромѣ Шекспира, есть
е Шиллеръ, Гёте, Бомарше, Кальдеронъ, если и не сказать:
фоклъ, Эврипидъ или даже Аристофанъ. Правда, до сихъ
ръ не всегда была вина театральной дирекціи или арти-
въ, если они не ставили на сцену безсмертныхъ про-
веденій названныхъ мною писателей: многія изъ этихъ
оизведеній, и часто лучшія, считались нецензурными,
ѣю сказать,—по чистѣйшему недоразумѣнію. „Истинное
кусство не можетъ быть безнравственнымъ", справедливо
зглашали ораторы на бернскомъ съѣздѣ международной
соціаціи соціальныхъ наукъ. Но этого у насъ еще не при-
авали, и вотъ Шиллеръ съ Гёте—подъ ферулой, а бездар-
сти—подъ кровомъ разныхъ тенденцій, дается на сценѣ
обода развращать и вкусъ и нравы!..

Одинъ изъ плодовитѣйшихъ русскихъ писателей и, можно
ити сказать, единственный драматургъ нынѣшней нашей
ены, раскрывшій передъ нами, въ цѣломъ рядѣ живыхъ
естественныхъ картинъ, московскій купеческій бытъ, со
ѣми его хорошими и дурными сторонами, А. Н. Остров-
й, хорошо видитъ бѣдственное положеніе русскаго дра-
гическаго искусства. Онъ пытается выбиться на другую
рогу и въ русской жизни минувшихъ эпохъ освѣжить
е вдохновеніе, сначала своимъ *Мининымъ*, а теперь
еводой; но прошедшее нерѣдко получаетъ у него такой
рактеръ, что въ немъ видна не русская исторія, а рецепты
вѣйшихъ журналовъ.

Воевода, или Сонъ на Волгѣ, комедія въ пяти дѣйствіяхъ,
прологомъ, предварительно появилась въ печати въ январ-
й книжкѣ „Современника" за нынѣшній годъ, потомъ по-
влена была весной на петербургской сценѣ и, наконецъ,
четвергъ на прошлой недѣлѣ, 9-го сентября, появилась у
съ въ Москвѣ, на сценѣ Большого театра. Къ сожалѣнію,
должны сказать, что новое произведеніе почтеннаго
тора отличается отъ остальныхъ его произведеній—не къ
выгодѣ. Изображеніе нравовъ впадаетъ въ тенденціозную
рикатуру; развитія дѣйствія и характеровъ нѣтъ. Поста-
зка характеровъ въ *Воеводѣ*, въ первую минуту ихъ появле-

нія на сценѣ, очень смѣла, и вообще первыя сцены комедіи, ея прологъ и 1-й актъ обѣщаютъ широкое дѣйствіе.

Въ праздничный день, въ Костромѣ, на соборной площади собрался народъ. Разговоръ, очень естественнымъ образомъ, сводится на разныя злыя дѣянія воеводы Нечая Григорьевича Шалыгина. Онъ какъ ворогъ относится къ посадскимъ, похищаетъ ихъ женъ и дочерей, забираетъ ихъ животы, томитъ ихъ по тюрьмамъ, подущаетъ разныхъ подьячихъ приносить на нихъ жалобы и извѣты. Мѣра народнаго терпѣнія переполнилась; посадскіе сговариваются принести царю челобитье на Шалыгина и просить, чтобы надъ Костромой вновь поставлены были попрежнему губные старосты (то-есть мѣстное самоуправленіе, преимущественно въ уголовныхъ дѣлахъ *). Защитникомъ и вождемъ народа является богатый дворянинъ Семенъ Бастрюковъ, бывшій губной староста; у него съ воеводой постоянныя неудовольствія; зная популярность и силу Бастрюкова, Шалыгинъ постоянно подкапывается подъ него; Бастрюковъ, съ своей стороны, не

*) Въ допетровской Руси *губою* назывался судебный округъ, въ предѣлахъ котораго губной староста долженъ былъ преслѣдовать воровъ и разбойниковъ.

Губной староста—выборная земская власть, но съ половины XVI вѣка Москва все болѣе и болѣе подчиняетъ ихъ центральной правительственной власти и превращаетъ понемногу въ приказныхъ людей. Какъ и въ XVI вѣкѣ, губные старосты продолжаютъ и въ XVII в. сосредоточивать въ своихъ рукахъ почти всю уголовную юрисдикцію и борьбу съ „лихимъ" элементомъ въ области; попрежнему они выбираются исключительно изъ грамотныхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ, но самые выборы ихъ и устроеніе всего губного управленія принимаетъ все болѣе и болѣе бюрократическій характеръ. По „Уложенію" царя Алексѣя Михайловича (время, которое и взято, очевидно, Островскимъ въ разбираемой комедіи), губные старосты замѣщаютъ воеводъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ воеводъ совсѣмъ нѣтъ, и временно исполняютъ обязанности этихъ послѣднихъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они отсутствуютъ. Словомъ, ихъ склонны въ это время разсматривать какъ приказныхъ людей, возлагая на нихъ обязанности и порученія, не имѣющія ничего общаго съ земскимъ дѣломъ. Ихъ отношеніе къ воеводамъ не было точно опредѣлено закономъ, а поэтому были неизбѣжны столкновенія и препирательства.

Въ началѣ XVII вѣка, когда повсемѣстно введено было воеводство и компетенція воеводъ все болѣе и болѣе расширялась, воевода изъ военачальника, какимъ онъ былъ въ XVI вѣкѣ, превращается въ администратора и, отчасти, судью. Воеводѣ поручался наборъ войскъ, раздача жалованья, разверстка службы между служилыми людьми; они обязаны были ловить разбойниковъ и воровъ, принимать мѣры санитарныя, проти-

упускаетъ случая посмѣяться надъ воеводой и при всемъ народѣ выругать его; вражда между обоими непримиримая, и „двумъ медвѣдямъ не жить въ одной берлогѣ“, какъ говоритъ самъ Шалыгинъ. Въ прологѣ, на глазахъ у зрителей разыгрывается одна изъ тѣхъ пустыхъ, но раздражающихъ ссоръ, которыя, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, изъ искры вздуваютъ цѣлое пламя. По извѣту подьячаго Жилки, воевода объявляетъ намѣреніе „сыскать людишекъ Бастрюкова“; въ толпѣ раздаются недовольные голоса; воевода держитъ строгую и иронически сдержанную рѣчь къ народу и потомъ велитъ своимъ стрѣльцамъ *пошарить* въ толпѣ—„не сыщутъ ли кого изъ крикуновъ“, а самъ входитъ въ соборъ; стрѣльцы кидаются въ толпу; „смерды“ обороняются; шумъ, крикъ, сумятица; съ посада бѣжитъ народъ; Бастрюковы выѣзжаютъ верхомъ на лошадяхъ, и Семенъ Бастрюковъ (отецъ) повелительнымъ голосомъ останавливаетъ усердіе стрѣльцовъ; всю отвѣтственность онъ принимаетъ на себя и идетъ въ соборъ, гдѣ обѣщаетъ сообщить воеводѣ о своемъ распоряженіи. При выходѣ изъ церкви Шалыгинъ, раздраженный вмѣшательствомъ Семена Бастрюкова, дразнитъ его и доводитъ обоихъ Бастрюковыхъ до того, что они готовы кинуться на него съ кулаками. Когда, по уходѣ воеводы въ домъ, Семенъ Бастрюковъ ходитъ гнѣвный по площади, къ нему подходитъ земскій староста

вопожарныя, слѣдить за общественною нравственностью, искоренять расколъ, наблюдать за рачительнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей со стороны духовенства, и, кромѣ того, они въ качествѣ судей могли рѣшать гражданскія дѣла до 100 и даже до 500 руб. Дѣла разбойничьи, „татебныя и убійственныя“, подлежали вѣдѣнію губныхъ старостъ, за которыми воеводы должны были имѣть надзоръ, но скоро присвоили себѣ власть ихъ начальниковъ и стали вмѣстѣ съ ними вѣдать уголовныя дѣла. Начавъ съ того, что воеводы подчинили себѣ губныхъ старостъ, они пошли дальше и наложили свою руку и на дѣла мѣстнаго самоуправленія. Отсюда начало борьбы земства съ администраціей. Она была возможна еще и потому, что Москва неособенно довѣряла воеводамъ, смотрѣвшимъ на свое пребываніе на воеводствѣ, какъ на „кормленіе“. Воеводы обыкновенно задерживали жалованье служащихъ, покровительствовали корчемству и контрабандѣ и даже сами занимались этимъ прибыльнымъ дѣломъ, вступали въ союзы съ ворами и разбойниками и т. д. Мѣсто воеводы считалось „теплымъ“, и потому его назначали обыкновенно года на три, не болѣе. Центральное правительство знало, что воеводы не отказываются отъ доброхотныхъ даяній, и смотрѣло на это сквозь пальцы, преслѣдуя лишь вымогательство.

Прим. Н. Д.

Нежданъ и сообщаетъ ему о желаніи посадскихъ „челобитье свезти въ Москву на воеводу“. Бастрюковъ съ радостью хватается за эту мысль и вызывается самъ отвезти въ Москву и мірское челобитье и выборныхъ.

Такимъ образомъ, въ основаніе пьесы положена борьба, которая и до сихъ поръ еще не утратила своего значенія и интереса: борьба между бюрократіей и земствомъ; борьбу оживляетъ древній элементъ въ русскомъ государствѣ,— право непосредственнаго обращенія къ царю. Дѣйствіе, очевидно, отнесено къ первымъ годамъ царствованія Алексѣя Михайловича, и тогдашній бытъ изображенъ въ пьесѣ размашистыми чертами. Авторъ всячески добивался оживленной полноты изображенія: тутъ и государственная расправа на постельномъ крыльцѣ, и воеводскій кормежъ, и выборные люди, и семейное начало съ теремнымъ заключеніемъ, ведущимъ лишь къ тому, что дѣвушекъ, хоть „хлѣбомъ не корми, а дай послушать соромскихъ сказокъ“, и колдовство, и разбойный элементъ, творящій свой судъ и расправу, и крѣпостной бытъ, столь еще новый и непривычный тогда для народа. Всему этому дано участіе въ ходѣ драмы, все это вплетено въ главную нить дѣйствія, но, вмѣсто того, чтобы способствовать оживленію пьесы, дѣлаетъ ее вялою и скучною, особенно къ концу. Драма кажется этнографическимъ этюдомъ, долженствующимъ вызвать отвращеніе къ изображаемому быту, а, между тѣмъ, дѣйствіе, обѣщающее, судя по прологу и первому акту, повести къ сильнымъ и широкимъ коллизіямъ, постепенно съ каждымъ новымъ актомъ, все болѣе и болѣе ослабѣваетъ и къ концу сводится на-нѣтъ.

Такое именно впечатлѣніе пьеса производила и въ чтеніи и въ день перваго представленія, которое тянулось до половины перваго ночи. Томленіе и скука, видимо, овладѣли публикой, значительная часть которой разъѣхалась послѣ четвертаго акта. Я слышалъ, что г. Островскій послѣ того значительно сократилъ пьесу; это хотя и облегчитъ для зрителей трудъ вниманія, но все-таки не дастъ пьесѣ того, чего нѣтъ въ ней—исторической правды и драматическаго дѣйствія.

Главный недостатокъ комедіи заключается въ томъ, что авторъ пожертвовалъ фабулой обстановкѣ и, вмѣсто дѣйствія, наполнилъ ее тенденціозными изображеніями быта.

Жаль нѣкоторыхъ сценъ, прекрасныхъ въ отдѣльности, но запруженныхъ этнографическими матеріалами и разбросанныхъ по пьесѣ безъ внутренней связи; жаль характеровъ, хорошо задуманныхъ, но оставленныхъ неразвитыми; жаль главнаго замысла, поставленнаго вначалѣ на благодарную почву.

Борьба между Шалыгинымъ и Бастрюковымъ не выдержана. Одинъ силенъ своею властью, войскомъ и поддержкой въ Москвѣ; другой—своимъ богатствомъ и народною любовью; одинъ—золъ, коваренъ, корыстолюбивъ, сластолюбивъ, мстителенъ; другой—прямъ, благороденъ, честенъ; оба ненавидятъ другъ друга не на жизнь, а на-смерть; оба сталкиваются на интересахъ народныхъ. И чѣмъ все это разыгрывается? На площади Шалыгинъ побранился въ прологѣ съ Бастрюковымъ; этотъ послѣдній везетъ мірское челобитье въ Москву и затѣмъ пропадаетъ на все время драмы; только въ самомъ концѣ 5-го акта онъ появляется, какъ deus ex machina, для покаранія нечестивцевъ; самъ Шалыгинъ тѣмъ временемъ не принимаетъ никакихъ мѣръ, чтобы противодѣйствовать замысламъ своего врага; онъ самъ не ѣдетъ въ Москву, ни другого никого туда не посылаетъ; онъ не ударяетъ пальцемъ о палецъ, и даже, когда является возможность повредить Бастрюковымъ, онъ пропускаетъ ее мимо себя. Между тѣмъ, ненависть Шалыгина къ Бастрюкову изображена такъ рѣзко, а характеру Бастрюкова данъ въ прологѣ такой широкій размахъ, что невольно удивляешься и бездѣйствію перваго и отсутствію послѣдняго въ первыхъ четырехъ актахъ. Зачѣмъ было изображать такими крупными чертами характеръ, которому не дано участвовать въ главномъ теченіи драмы? зачѣмъ было ставить драматическое дѣйствіе на такую почву, на которой его не предположено удерживать? зачѣмъ нуженъ былъ этотъ прологъ, служащій для читателей лишь искушеніемъ Тантала, обѣщая имъ то, чего не даетъ сама комедія?..

Еще изъ пролога узнали мы, что Нечай Григорьевичъ Шалыгинъ задумалъ жениться на старшей дочери богатаго посадскаго Власа Дюжого, Прасковьѣ; изъ первой сцены 1-го акта узнаемъ, что въ меньшую дочь Дюжого, Марью Власьевну, влюбленъ Степанъ Бастрюковъ, который не сватается только потому, что, благодаря враждѣ отца своего съ воеводой, ждетъ вѣрнаго отказа со стороны его наре-

ченнаго тестя, Власа Дюжого. Степанъ рѣшается похитить свою возлюбленную изъ дому родителей. Любимый, въ свою очередь, и Машей, онъ, при помощи своихъ скомороховъ, разобралъ высокій тынъ Дюжого, со стороны Волги, и пробрался къ нему въ садъ: „Ты, парень, ловокъ!“ говоритъ ему Маша, когда, отдѣлившись отъ сестры и сѣнныхъ дѣвушекъ, она подошла къ нему и узнала о его продѣлкѣ. Но, недолго думая, Степанъ предлагаетъ ей сѣсть съ нимъ въ лодку и уѣхать. Та сначала колеблется, но потомъ, вслѣдъ за сценой нѣжныхъ упрековъ и ласки, молодые люди рѣшаются подождать благопріятныхъ обстоятельствъ для сватовства; если же Машу станутъ невольно отдавать за другого, тогда, повторяя слова самой Маши, —

Тогда ломайте тынъ, готовьте лодку,
Бери въ охапку и тащи домой!

Прежде, однако, чѣмъ успѣли разойтись молодые люди, выходитъ воевода, который былъ въ это время въ гостяхъ у Власа; Маша едва успѣваетъ спрятаться въ кусты, а Степанъ—въ старую баню. Пока сидѣли въ саду старики, разговаривали и пили стоялые меды, Маша, замѣченная шутомъ Шалыгина и преслѣдуемая имъ, пробуетъ пробѣжать потихоньку въ домъ. Но воевода зорокъ; онъ перенимаетъ на пути оторопѣлую дѣвушку:

Красавица, ты изъ какой земли?
Кто породилъ тебя, кто возлелѣялъ?

Страсть разыгрывается въ старомъ сластолюбцѣ съ неукротимою силой, и Шалыгинъ приходитъ въ ярость, когда узнаетъ, что Маша —меньшая дочь Дюжихъ. „Вы обманомъ“,—кричитъ дикарь, —

Холопы, смерды, обошли меня!
Похуже сбыть товаръ такъ воеводѣ;
Получше дома приберечь. Я знаю
Купецкую замашку. Ты мнѣ ворогъ,
Ты плутовствомъ живешь, обманнымъ дѣломъ!

Воевода требуетъ, чтобъ ему отдали въ жены Марью Власьевну, а о Прасковьѣ и слышать болѣе не хочетъ. Власъ Дюжой не смѣетъ прекословить, и всѣ уходятъ въ домъ. Бастрюковъ, который все это слышалъ, вмѣстѣ со своимъ вѣрнымъ слугой Рѣзвымъ, рѣшается во что бы то ни стало

выкрасть Машу сейчасъ же, такъ какъ она, безъ сомнѣнія, не утерпитъ и „урвется какъ-нибудь на малый часъ". Дѣйствительно, Маша выходитъ на крыльцо, раздается условный свистъ, лодка ждетъ, и Бастрюковъ готовится нести въ нее свою голубушку. Но воевода, предупрежденный шутомъ, который подслушалъ замыселъ Бастрюкова, внезапно появляется изъ дому. Все разстроено: Бастрюковъ долженъ бѣжать со своими скоморохами, а Марью Власьевну воевода велитъ перевезти въ свой пустой домъ, гдѣ обѣщается поберечь ее „покрѣпче". Тутъ большая несообразность: объявленный женихомъ Прасковьи Власьевны воевода, несмотря на все свое самодурство, покоряется обычаю и отказываетъ себѣ въ удовольствіи бывать въ ея обществѣ, въ видѣ рѣдкаго исключенія, прося иногда у родителей позволенія посмотрѣть на нее, и Дюжой, какъ видно, строго въ этомъ случаѣ стоитъ за обычай.

Но вотъ Шалыгинъ увидѣлъ Марью; онъ отвергаетъ первую свою невѣсту, самъ объявляетъ себя женихомъ Маши, и эту послѣднюю, въ противность всѣмъ обычаямъ и нравамъ, беретъ къ себѣ въ домъ. Дюжой ни въ чемъ ему не перечитъ. Шалыгинъ, для вѣрности, могъ приставить караулъ къ дому невѣсты, но взять ее къ себѣ—это такъ противорѣчило обычаямъ и нравамъ, что Дюжой никакъ не могъ согласиться съ перваго же слова, да и подумать-то объ этомъ трудно было даже Шалыгину: обычай былъ тогда всесиленъ и надъ самыми неограниченными изъ деспотовъ. Далѣе, какъ могъ такъ легко отнестись Дюжой къ оскорбленію, нанесенному его дочери? Нареченная невѣста отвергнута—это ужасное, несмываемое пятно. Правда, взрывомъ своей ярости воевода могъ запугать Власа, и въ чтеніи эта минута кажется не столь несообразною, какъ на сценѣ, гдѣ ярости не замѣтно и слѣда у актера, исполняющаго роль Шалыгина. Какъ бы то ни было, чувствуя самъ неловкость положенія, въ которомъ не было и необходимости, такъ какъ для драматической завязки воевода съ самаго начала могъ желать жениться на Марьѣ Власьевнѣ, авторъ скрылъ отъ насъ дальнѣйшую судьбу Прасковьи Власьевны: она такъ же выбываетъ изъ дѣйствія, какъ выбылъ Семенъ Бастрюковъ; о ней больше въ пьесѣ не упоминается ни однимъ словомъ. Она и выведена только для того, чтобъ оттѣнить собою характеръ Маши и своимъ

индиферентизмомъ, своею чувственною и апатическою натурою рельефнѣе выставить горячую натуру Маши. Тѣмъ не менѣе, эта первая сцена еще нравится: веселое, удалое и, вмѣстѣ, трогательное любовное объясненіе между молодыми людьми; веселый, удалой характеръ Степана Бастрюкова, эпическая обстановка, употребленная пока еще въ мѣру и еще не черезчуръ карикатурная; симпатичный, хотя и не безъ комическаго оттѣнка, образъ мамки Недвиги; комическія выходки жены Дюжого, Настасьи; наконецъ, даже столкновеніе между Шалыгинымъ и сыномъ его смертнаго недруга, завязывающее собою дѣйствіе пьесы (какъ ни мелко это столкновеніе сравнительно съ тѣмъ, чего мы могли ожидать, судя по первымъ сценамъ драмы),—все забавляетъ или интересуетъ зрителя. Не менѣе оживлена и вторая коротенькая сцена того же 1-го акта. Досадѣ Бастрюкова нѣтъ границъ; вернувшись домой, онъ не знаетъ, чтó ему дѣлать, какъ ему быть; Рѣзвый указываетъ на Дубровина и совѣтуетъ обратиться къ нему; съ первыхъ словъ вы догадываетесь, что Дубровинъ не кто другой, какъ атаманъ разбойниковъ, Худояръ, о которомъ много рѣчи было въ прологѣ и который, подобно свату Ѳаддеичу, „народъ не грабилъ и рукъ не кровянилъ“,—характеръ, грозящій сдѣлаться непремѣннымъ дѣйствующимъ лицомъ нашей *soi-disant* исторической народной драмы. Дубровинъ берется помочь Бастрюкову—благо и у него самого есть счеты съ воеводой, который захватилъ жену его Олену и держитъ ее при себѣ насильно; колдуну Мизгирю послана будетъ въ тюрьму вѣсточка, чтобъ онъ, пользуясь суевѣріемъ воеводы, удалилъ его куда-нибудь на день, на другой, а тѣмъ временемъ Дубровинъ съ товарищами выкрадетъ и Машу и Олену. Успокоенный Бастрюковъ, условившись съ Дубровинымъ поѣхать на другой день посмотрѣть на Худояра, велитъ подать вина, меду, и начинается удалая, веселая попойка съ пѣснями и прибаутками. Впрочемъ, въ чтеніи вся эта сцена кажется гораздо веселѣе, чѣмъ на подмосткахъ театра: скоморохи Бастрюкова глядятъ скорѣй монахами, чѣмъ скоморохами.

Интересъ пьесы достигаетъ на этомъ моментѣ своего апогея: Семенъ Бастрюковъ повезъ на Шалыгина челобитье, воевода заперъ у себя дѣвушку, съ которой слюбился Степанъ Бастрюковъ; чтобы выкрасть ее, этотъ послѣдній обращается къ Худояру, грозѣ служилыхъ да подьячихъ, и про-

сится пріѣхать къ нему въ таборъ: хотя и мельче стала борьба, но много еще можно ожидать коллизій впереди, много дѣйствія и борьбы. Шалыгинъ не уступитъ; не уступятъ и Бастрюковъ съ Дубровинымъ. Дѣло будетъ, какъ видно, все-таки горячее: не даромъ же авторъ прибѣгаетъ къ разбойному элементу и вводитъ Худояра въ дѣйствіе драмы. Такъ думаетъ зритель и совершенно ошибается: дѣйствіе не пойдетъ далѣе. Шалыгинъ, должно-быть, страшенъ только на словахъ да по разсказамъ посадскихъ. Колдунъ Мизгирь, во второмъ актѣ, посылаетъ его въ лѣсную пустынь для того будто бы, чтобы возбудить тоску любви въ Марьѣ Власьевнѣ (о чемъ не видно было до сихъ поръ, чтобъ онъ очень заботился), и онъ идетъ въ лѣсную пустынь, хотя ему предстоялъ въ это время самый удобный случай накрыть Бастрюковыхъ и лучше всякихъ замковъ оградить Марью отъ Степана: Жилка сообщилъ ему, что у Бастрюковыхъ укрывается „воръ“ Дубровинъ. Какъ бы то ни было, отправляясь на богомолье, воевода узнаетъ также, что неподалеку отъ пустыни пріютился Худояръ со станомъ, и онъ велитъ итти за собою стрѣльцамъ и рати. Вы опять ожидаете какого-нибудь грандіознаго столкновенія, и сердце невольно замираетъ у васъ, когда перемѣняется декорація и передъ вами развертывается прекрасная въ декоративномъ отношеніи и требующая важныхъ событій картина: лѣсъ, горы, пещеры, рѣчка, мостъ, на горѣ монастырь; на мосту нищіе поютъ духовныя пѣсни; на первомъ планѣ, слѣва, шалашъ пустынника; справа—притонъ Дубровина-Худояра; пустынникъ зачѣмъ-то произноситъ монологъ о своемъ смиреніи и потомъ увѣщеваетъ Дубровина обратиться на путь истины; тотъ, какъ можно было ожидать, обѣщаетъ сдѣлать это, когда отомститъ врагамъ; появляется Степанъ Бастрюковъ; сходятся есаулъ Худояра и другіе разбойники; приближается и воевода съ ратью. Что-то будетъ? невольно спрашиваете вы. Успокойтесь, ничего не будетъ. Воевода смирно пройдетъ по мосту въ монастырь, одѣляя нищихъ монетой; Бастрюковъ посмотритъ на Худояра—удовольствіе, которое онъ могъ доставить себѣ и дома,—и занавѣсъ опустится. Въ этой второй сценѣ второго акта дѣйствіе ни на одинъ моментъ не подвигается впередъ: декораторъ даромъ потратилъ свои труды.

Третій актъ тоже кажется совершенно лишнимъ въ драмѣ: Машу предупреждаютъ, чтобъ она на другой день вышла въ садъ, такъ какъ все устроено къ ея похищенію, и она спѣшитъ задобрить подарками приставленную къ ней отъ воеводы для надзора суровую вдову Ульяну,—вотъ вся связь этого акта съ общимъ дѣйствіемъ; остальное—этнографія, и притомъ карикатурная. Въ концѣ акта, когда женщины засумерничали и задремали, изъ-за печки вдругъ выскакиваетъ домовой съ фонаремъ. Многіе очень естественно подумали, въ минуту появленія домового, что его личину принялъ либо Дубровинъ, либо Бастрюковъ: нѣтъ, авторомъ выведенъ настоящій сказочный домовой; онъ бродитъ по комнатѣ, ласкаетъ Машу, приговариваетъ ей разныя ласковыя слова, сбиваетъ шлыкъ съ головы мамки Недвиги и уходитъ. Почему и не вводить элементъ чудеснаго въ драматическія произведенія, взятыя изъ стариннаго быта, но надобно, чтобъ онъ имѣлъ хоть какое-нибудь отношеніе къ главному дѣйствію, а не растягивалъ и безъ того длинную пьесу. Еще два замѣчанія по поводу третьяго акта. Реакцію энергической натуры противъ приневоливанія выйти замужъ за немилаго авторъ хотѣлъ выразить въ Машѣ столбнякомъ: она молчитъ и идетъ только туда, куда ее ведутъ или толкаютъ,—пріемъ оригинальный, но едва ли драматическій. Далѣе, надсмотрщицу Ульяну авторъ хотѣлъ изобразить суровою донельзя, но въ то же время и податливою на подарки; эти черты такъ мало развиты и согласованы между собою въ пьесѣ, что Ульяна, особенно на здѣшней сценѣ, гдѣ эту роль исполняетъ г-жа Бороздина, совсѣмъ непохожа на женщину, о которой говорятъ, что она „свирѣпа нравомъ, глядитъ медвѣдемъ, ежевою щетиной поросла кругомъ“; что ее „ни грозой ни лаской, ничѣмъ не взять“; что она „на лѣсъ взглянетъ, такъ лѣсъ завянетъ“, На дѣлѣ, мы ничего этого не видимъ, и Ульяна кажется, въ сущности, весьма доброю женщиной.

Четвертый актъ, заключающій въ себѣ пресловутый сонъ воеводы, которому авторъ, видимо, придавалъ особенно важное значеніе, когда помянулъ его въ самомъ заглавіи пьесы, въ сущности, самый томительный и скучный. Введеніе сновъ въ драму только тогда умѣстно, когда сны вызваны психологическими причинами, или когда они объясняютъ какое-*либо дѣйствіе,* или когда способствуютъ развитію характера.

Тутъ ничего подобнаго: Шалыгинъ видитъ во снѣ то самое, что съ нимъ потомъ сбывается—собственное свое смѣщеніе и потомъ соединеніе Марьи Власьевны съ Бастрюковымъ; дальнѣйшія событія совершенно понятны и безъ этого сна, а что касается до той части его, которая изображаетъ постельное крыльцо въ Москвѣ, жалобу Бастрюкова (Семена) и повелѣніе большого боярина смѣнить Шалыгина, то все это гораздо лучше было бы представить въ дѣйствительности, чѣмъ въ видѣ сна. Въ декоративномъ отношеніи постельное крыльцо поставлено не совсѣмъ удачно: большой бояринъ (можетъ-быть, самъ царь), приближеніе котораго возвѣщается особымъ стихомъ и особою отмѣткою въ пьесѣ, поставленъ толпиться, вмѣстѣ со всѣми остальными боярами и чинами, въ темномъ углу площадки. Зато похищеніе Марьи Власьевны, удалая дружина Степана Бастрюкова, подвижная картина, изображающая движеніе лодки по Волгѣ,—все это поставлено и аранжировано очень хорошо. Сны свои Шалыгинъ видитъ на постояломъ дворѣ суровой старухи, которая грозно поминаетъ царя Бориса, отнявшаго у крестьянъ свободу, и грозно не допускаетъ воеводу къ „ангельскому мѣсту“, близъ зыбки ея внука. Образъ этой старухи (г-жа Никулина-Косицкая) и трогательная пѣснь ея надъ колыбелью младенца производятъ въ чтеніи лучшее впечатлѣніе, чѣмъ на сценѣ, гдѣ, благодаря монотонному напѣву и чрезмѣрной длинѣ пѣсни, онъ наводитъ неодолимую скуку на зрителей, состязаясь въ этомъ отношеніи съ непомѣрно-длиннымъ и монотоннымъ бредомъ Шалыгина, доказывающимъ только одно, что воеводу мучатъ угрызенія совѣсти, а это и безъ того само-собою разумѣется. Въ пятомъ актѣ больше дѣйствія, чѣмъ въ предыдущихъ. Но развязка не проистекаетъ тутъ, какъ необходимое слѣдствіе даннаго положенія и конечнаго развитія данныхъ характеровъ; она является постороннею случайностью, застающею совсѣмъ врасплохъ теченіе событій. Сторожа Шалыгина напоены или подкуплены; ночь; Дубровинъ пробрался на дворъ воеводина дома; онъ свидѣлся уже съ Оленой, и Марья Власьевна уже спустилась съ крыльца, какъ вдругъ, откуда ни возьмись, Шалыгинъ. Напуганный пророческимъ сномъ, онъ спѣшилъ вернуться скорѣе, чѣмъ думалъ, и былъ опять предупрежденъ о заговорѣ шутомъ. Дубровину, который бросился, было, на воеводу съ ножомъ, скручиваютъ руки; за воротами

изловляютъ и вяжутъ людей Степана Бастрюкова; Олену держатъ въ сторонѣ; Машу уводитъ воевода въ теремъ, чтобы тамъ защекотать ее до смерти, какъ защекоталъ онъ уже первыхъ двухъ женъ своихъ. Но Маша ему не жена, а только невѣста: что скажутъ родители? И притомъ, что за трагическій пріемъ такой—щекотъ! Это еще оригинальнѣе столбняка!..

И это сочиняется съ претензіей на народность! Но, вотъ, Маша, вырвавшись отъ Шалыгина, съ крикомъ и воемъ бѣгаетъ отъ него по длиннымъ переходамъ терема. Не желая оканчивать чѣмъ-нибудь это натянутое положеніе, г. Островскій прерываетъ его: въ затруднительную минуту появляются Семенъ Бастрюковъ съ сыномъ, товарищъ воеводы Облѣзлый *) и новый воевода изъ Москвы, Поджарый, тотъ самый, котораго Шалыгинъ видѣлъ во снѣ. Тутъ „воздается коемуждо по дѣламъ его“: старому воеводѣ читаются вины его; Марья Власьевна поступаетъ въ распоряженіе своего милъ-сердечна дружка, прежде даже, чѣмъ испросить на то согласіе отца, который, впрочемъ, прибывъ, въ свою очередь, на сцену для развязки комедіи, нисколько не прекословитъ, какъ не прекословилъ онъ въ 1-мъ актѣ и Шалыгину (а Дюжой выведенъ, замѣтьте, совсѣмъ не комическимъ типомъ; такова, видно, по мнѣнію г. Островскаго, русская натура); Дубровина отпускаютъ на поруки въ посадъ; людей Степана Бастрюкова тоже развязываютъ и освобождаютъ. Спрашивается теперь: если все такъ хорошо должно было кончиться, Машѣ предстояло соединиться со Степаномъ и Оленѣ съ Дубровинымъ, и все это должно было совершиться однимъ вмѣшательствомъ Поджараго, зачѣмъ же нужно было все предыдущее? Зачѣмъ подсылать Мизгиря, зачѣмъ спаивать сторожей, зачѣмъ рисковать свободою и жизнью? Стоило только подождать возвращенія Семена Бастрюкова и пріѣзда Поджараго.

Съ уходомъ Шалыгина, чтобы сдавать дѣла и казну новому воеводѣ, не оканчивается пьеса: слѣдуетъ еще заключительная мораль. На сценѣ остаются тоже пожаловавшіе ночью на дворъ къ Шалыгину посадскіе. Старики говорятъ: „Ну, старый (воевода) плохъ; каковъ-то новый будетъ?“

*) Въ города обыкновенно посылался не одинъ воевода, а съ товарищами: второй и третій воеводы. *Н. Д.*

Молодые отвѣчаютъ: „Да надо быть, такой же, коль не хуже“. Не говоря уже о томъ, что подчеркнутые воеводы и сентенціи совсѣмъ неумѣстны въ драматическомъ произведеніи, заключительный стихъ показываетъ, сверхъ того, что вся драма не имѣла ровно никакого смысла. Дѣйствительно, если авторъ счелъ нужнымъ или возможнымъ дать благополучный исходъ своей пьесѣ, въ такомъ случаѣ напрасно выражать сомнѣніе въ будущемъ и давать почувствовать, что перемѣны въ положеніи не будетъ никакой; если же авторъ именно имѣлъ въ виду ту мысль, что воеводское управленіе всегда останется плохимъ и тягостнымъ, и на этомъ безвыходнымъ положеніи основывалъ всѣ перипетіи и всю фабулу своей пьесы,—въ такомъ случаѣ невозможно и безсмысленно ея благополучное окончаніе.

Н. Н.

„Воевода, или Сонъ на Волгѣ“ [1]).

*) „Современникъ“ дебютируетъ комедіей Островскаго, въ пяти дѣйствіяхъ, съ прологомъ, въ стихахъ, изъ русской жизни XVII столѣтія. Комедія эта называется *Воевода*,—это тотъ *Сонъ на Волгѣ*, о которомъ давно уже было объявлено.

---

[1]) „Русскій Инвалидъ“, 1865 г., № 44. Статья А. И—на (А. С. Суворина).

*) „Русскій Инвалидъ“ былъ основанъ Пезаровіусомъ во время Отечественной войны, съ благотворительною цѣлью, такъ какъ весь чистый доходъ отъ изданія „употреблялся на вспоможеніе инвалидамъ, солдатскимъ вдовамъ и сиротамъ“. Несмотря на случайность возникновенія, газета была поставлена умѣло и пользовалась популярностью, и когда Пезаровіусъ хотѣлъ оставить ея редактированіе, то Александръ I пожелалъ дальнѣйшаго участія его въ органѣ. Государь выразилъ увѣренность, что Пезаровіусъ „не перестанетъ и впредь продолжать полезный трудъ свой“. Времена, однако, измѣнились, „дней Александровыхъ прекрасное начало“ быстро прошло, цензурный гнетъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе росъ, и хотя Пушкинъ и писалъ кн. Вяземскому: „Не уступай этой... цензурѣ, отгрызайся за каждый стихъ и загрызи ее, если возможно, въ мое воспоминаніе“, но изъ исторіи цензуры и литературы мы видимъ, что въ этихъ актахъ каннибализма побѣда была всегда на сторонѣ „этой... цензуры“. Самъ авторъ приведенныхъ оптимистическихъ строкъ, какъ извѣстно, въ концѣ-концовъ на себѣ испыталъ двойную цензуру—императора Николая I-го и „обыкновенную“. Въ 1822 г. изданіе „Инвалида“ было передано, благодаря желанію всесильнаго Аракчеева, А. Ѳ. Воейкову, извѣстному писателю, бывшему въ это время, вмѣстѣ съ Гречемъ, издателемъ „Сына Отечества“. Ставленникъ Аракчеева не обладалъ достаточными нравственными качествами и какъ журналистъ и какъ человѣкъ. Гречъ въ своихъ запискахъ жалуется на Воейкова, котораго Гречъ „призрѣлъ и облагодѣтельствовалъ“. „Онъ былъ моимъ половинщикомъ въ „Сынѣ Отечества“,—говоритъ Гречъ,—и старался сжить меня съ рукъ, чтобы завладѣть всѣмъ журналомъ, клеветалъ и доносилъ на меня, и словесно и письменно“... Въ другомъ мѣстѣ своихъ „Записокъ“ Гречъ называетъ его „величайшимъ въ мірѣ подлецомъ“

Интрига очень проста. Островскій остановился на явленіяхъ самыхъ обыденныхъ жизни XVII вѣка. Воевода, посланный на кормленіе въ одинъ изъ поволжскихъ городовъ, предается всему развалу самаго необузданнаго деспотизма: передъ нимъ все трепещетъ, все заискиваетъ; сундуки его ломятся отъ награбленнаго добра, вымученнаго пытками, стоившаго бездны слезъ и мученій его подвластнымъ. Защекотавъ двухъ женъ (именно защекотавъ—такой ужъ веселый былъ деспотъ, любилъ смерть съ хохотомъ, смерть необыкновенную; въ немъ, значитъ, было нѣчто нероновское, проблески поэзіи особеннаго рода), воевода, уже сѣдой старикъ, отнималъ женъ у посадскихъ, а мужей сажалъ въ тюрьмы.

(стран. 410). Безпринципность Воейкова всѣмъ хорошо извѣстна. Новый издатель сузилъ программу газеты, главнымъ образомъ, на счетъ ея политической части. Подписка упала, и газета стала давать убытокъ. Послѣ смерти Воейкова (1839 г.) газета снова перешла къ Пезаровіусу, а помощникомъ ему приглашенъ былъ А. А. Краевскій, который впослѣдствіи сталъ редакторомъ газеты. Въ разсматриваемый періодъ газета становится болѣе литературною, и снова ея программа расширяется. Въ 1847 г. газету редактируютъ извѣстный военный писатель, проф. военной академіи, бывшій нѣкоторое время директоромъ Импер. училища правовѣдѣнія и почетный членъ шведской академіи, генералъ-отъ-инфантеріи князь Н. С. Голицынъ и П. С. Лебедевъ, генералъ-майоръ, также военный писатель и проф. военной академіи по каѳедрѣ военной географіи. Это было время, когда на періодическую печать и газеты обратили особое вниманіе и было строжайше запрещено разсуждать „о вопросахъ государственныхъ и политическихъ, которыхъ изложеніе должно быть допускаемо съ особенною осторожностью и строгою умѣренностью". Съ половины 1861 г. газета снова твердо становится на ноги, благодаря опредѣленнымъ общественно-прогрессивнымъ взглядамъ и сочувствію реформамъ Александра II. 1863 г. приноситъ съ собою снова реакціонную волну; газету отбираютъ отъ Писаревскаго, редактировавшаго ее съ 1861 г., и передаютъ Романовскому. При немъ газета снова возстановляется въ прежнемъ видѣ.

Эта статья принадлежитъ Алексѣю Сергѣевичу Суворину, нынѣ издателю русскаго Times'а—„Новаго Времени", а тогда скромному обозрѣвателю русскихъ журналовъ въ „Русск. Инвалидѣ", за подписью *А. И—нъ*.

Алексѣй Сергѣевичъ началъ очень скромно свое жизненное поприще. Сынъ крестьянина, дослужившагося до офицерскаго чина, Алексѣй Сергѣевичъ прошелъ курсъ воронежскаго кадетскаго корпуса, а затѣмъ спеціальные классы Дворянскаго полка. Это было военное учебное заведеніе, основанное по волѣ Александра I; оно приготовляло молодыхъ людей изъ дворянъ въ офицеры, для чего такъ и обучали порядку службы и стрѣльбѣ. Оттуда Алексѣй Сергѣевичъ былъ выпущенъ въ саперы, но вскорѣ вышелъ въ отставку и, выдержавъ экзаменъ на званіе учителя уѣзднаго училища, отдался педагогической дѣятельности. Сблизившись съ преподавателемъ

Все это явленія очень обыкновенныя (кромѣ развѣ щекотанія),—бывало тогда и похуже. Одинъ изъ посадскихъ, котораго воевода разорилъ и отнялъ красавицу жену Олену, бѣжалъ. Кто въ то время не бѣгалъ,—не для всѣхъ только выходила такая линія, какая вышла вышереченному посадскому, Роману Дубровину...

воронежскаго кадетскаго корпуса и небезызвѣстнымъ писателемъ и біографомъ поэтовъ Никитина и Кольцова, Мих. Ѳед. Де-Пуле, тогда редактировавшимъ (1862—63 гг.) „Воронежск. Губ. Вѣд.", Суворинъ помѣстилъ въ „Воронежской Бесѣдѣ" (тоже изданной Де-Пуле въ 1861 г.) разсказъ изъ народной жизни „Гарибальди". Еще раньше, съ 1858 г., Суворинъ сталъ помѣщать переводные стихи и мелкія статейки въ „Московск. Вѣстн.", „Русск. Дневникѣ", „Весельчакѣ" и др. Между прочимъ, имъ были посланы въ 1861 г. изъ Воронежа нѣсколько корреспонденцій въ „Русскую Рѣчь", подъ псевдон. *Василій Марковъ*. На корреспонденціи обратила вниманіе издательница журнала гр. Елиз. Вас. Саліасъ (писавшая подъ псевд. *Евгеніи Туръ*). Графиня предложила Суворину переселиться въ Москву и принять постоянное сотрудничество въ журналѣ. Алексѣй Сергѣевичъ согласился и проработалъ въ „Русской Рѣчи" до ея закрытія. Въ 1862 г. во 2-мъ № „Современника" мы снова встрѣчаемъ повѣсть А. С. Суворина („Солдатъ и солдатка", „Жизнь патріарха Никона" и др.); въ „Отечеств. Зап." (1863 г.) повѣсть „Аленка". Въ 1863 г. А. С. Суворинъ переселяется въ Петербургъ, гдѣ принимаетъ на себя обязанности обозрѣвателя журналовъ въ „Русск. Инвалидѣ" и дѣлается сотрудникомъ и секретаремъ въ „Спб. Вѣдом." Здѣсь Суворинъ пишетъ рядъ полубеллетристическихъ очерковъ текущей жизни, подъ псевдонимомъ *А. Бобровскій*. Во второй половинѣ 60-хъ годовъ Суворинъ мѣняетъ псевдонимъ и начинаетъ писать воскресные фельетоны, подписываясь *Незнакомцемъ*. Фельетоны эти писались бойко, не лишены были остроумія, затрогивали самые разнообразные вопросы, носили характерные признаки памфлета, т.-е. ядовитую брань и нападки на общественныхъ дѣятелей. Взгляды Суворина, какъ ближайшаго сотрудника „Спб. Вѣд." Коршевской редакціи, были взглядами умѣренно-либеральныхъ западниковъ, т.-е. людей золотой середины. Это открываетъ ему редакціонныя двери „Вѣстн. Европы", гдѣ онъ (1869—72 гг.) помѣщаетъ критическія статьи.

Въ 1874 г. Коршъ былъ устраненъ отъ редактиров. „Спб. Вѣд.", потому что газета, помимо „вреднаго направленія", вообще критически относилась къ классической системѣ воспитанія, что вызвало сильное неудовольствіе министра Д. А. Толстого. Суворинъ также долженъ былъ оставить редакцію газеты и перенесъ свои воскресные фельетоны въ „Биржевыя Вѣдомости" Полетики.

Въ началѣ 1876 г. Суворинъ, вмѣстѣ съ Влад. Ив. Лихачевымъ, небезызвѣстнымъ публицистомъ а впослѣдствіи (1885—92 гг.) петерб. городскимъ головою и сенаторомъ (1896 г.), пріобрѣтаетъ газету „Новое Время", *и съ этого момента* начинается второй періодъ литературной дѣятельности *Суворина*.

Прим. Н. Денисюка.

Онъ собралъ себѣ шайку и сдѣлался грозою богачей, подъ именемъ Худояра. Сердце его, однакоже, не лежитъ къ такой жизни, она противна ему:

Мнѣ ужъ давно шатанье надоѣло,
Давно хочу покинуть ножъ булатный:
И грѣхъ большой, и впереди-то пытка,
Да кнутъ, чтó по закону гнутъ. Не сладко.
Душа просила, и въ умѣ бродило
Не смертное убійство, не разбой;
Мой норовъ крутъ, душа моя не терпитъ,
Когда большой молодшаго обидитъ,
Подвластнаго гнететъ да давитъ властный.

Такъ говоритъ Дубровинъ. Ему милѣе было сидѣть дома, да торговать въ лавкѣ, да слушать веселый смѣхъ и рѣчи своей Олены.

Уйдешь со двора поутру, въ лавку сядешь,
А все съ ума нейдетъ Оленинъ голосъ,
А все въ ушахъ веселый смѣхъ звенитъ.
А тутъ сама бѣжитъ ко мнѣ, подсядетъ,
Прижмется вся, полой ее закрою
По самую по шею, только щеки
Алѣются, да черные сокольи
Глаза глядятъ изъ-подъ бровей собольихъ,
Огнемъ горятъ, какъ звѣзды, искры сыплютъ;
Идутъ купцы, идутъ бояре, смотрятъ,
Дивуются на насъ, глядѣть имъ любо,
Какъ ладно съ ней сидимъ мы и торгуемъ.

Вы видите, что Дубровинъ даже поэтъ: картинка эта очень поэтична. Воевода разрушилъ эту жизнь, хотя и не добился отъ Олены ничего. Въ скитаньяхъ своихъ Дубровинъ также остается вѣрнымъ своей женѣ и, наконецъ, рѣшается попытать счастья: не удастся ли ему хотя увидѣться съ ней. Онъ приходитъ въ родной городъ и укрывается у бывшаго губного старосты, богатаго дворянина, Семена Бастрюкова. У Семена, уважаемаго народомъ, есть сынъ Степанъ, забубенная головушка, то, что называется въ нашихъ пѣсняхъ, „удалъ добрый молодецъ“. Онъ кутитъ, увозитъ женщинъ и не подъ-шапку воеводѣ. Отецъ его, еще въ прологѣ, уѣзжаетъ съ челобитной въ Москву на безчинства воеводы. Оставшись одинъ, онъ разбираетъ высокій заборъ сада у посадскаго Власа Дюжого, чтобы повидаться съ зазнобушкой своей, Марьей Власьевной, сестра которой, Прасковья Власьевна, просватана за воеводу.

Замѣшкалась Марья Власьевна съ Бастрюковымъ, который уговаривалъ ее бѣжать (на что Марья Власьевна не соглашалась), и не поспѣла вб-время уйти изъ сада вмѣстѣ съ сестрою: въ садъ вошелъ воевода, вмѣстѣ съ будущими тестемъ и тещей, увидалъ онъ Марью Власьевну и, взявъ ее за руку бѣлую, возговорилъ:

Постой! Какія очи!
Нельзя налюбоваться, наглядѣться!
Я много видѣлъ на своемъ вѣку—
Такихъ очей не приводилось видѣть.
Красавица, ты изъ какой земли?
Кто породилъ тебя, кто возлелѣялъ?

Власъ.

Меньшая дочка, Марья.

Воевода.

Вы обманомъ,
Холопы, смерды, обошли меня:
Похуже сбыть товаръ—такъ воеводѣ,
Получше—дома приберечь. Я знаю
Купецкую замашку. Ты мнѣ ворогъ,
Ты плутовствомъ живешь, обманнымъ дѣломъ!

Читатель догадывается, что дѣло кончается тѣмъ, что Марью Власьевну просватываютъ за воеводу, а Прасковья остается. Марья хотѣла, было, бѣжать съ Бастрюковымъ, да ихъ накрыли, и воевода беретъ къ себѣ въ домъ невѣсту, подъ строгій присмотръ.

Что прикажете дѣлать? Бастрюковъ совершенно теряется и съ отчаяніемъ отправляется домой. Тогда слуги вѣрные совѣтуютъ ему обратиться къ Дубровину, не придумаетъ ли чего онъ, такая удалая головушка. Дубровинъ, подстрекаемый надеждой свидѣться съ Оленой, которая живетъ у воеводы же, берется устроить дѣло. Совершенно кстати, въ тюрьмѣ содержится за вѣдовство нѣкій Мизгирь, имѣющій вліяніе на суевѣрнаго воеводу, который, конечно, не преминетъ передъ свадьбой посовѣтоваться со своимъ колодникомъ. Мизгиря подкупаютъ, и воевода точно требуетъ его къ себѣ и встрѣчаетъ угрозой:

Пошлю къ Москвѣ, тамъ судъ коротокъ,—
Не волоча, сожгутъ тебя живого
За волховство.

Мизгирь.

Нѣтъ власти надо мною
Въ твоихъ рукахъ. Написана мнѣ въ книгахъ
Другая смерть. Суда не испугаюсь!
На гадинѣ я ѣду, погоняю
Ужомъ, самъ дюжъ, судей своихъ объѣду:
Судъ по суду, вѣкъ по вѣку ведется.
Посѣю макъ, разыдутся всѣ судьи.
Лишь тѣ сидятъ, что на меня глядятъ,
Меня ѣдятъ, да не съѣдятъ,—не смогутъ:
Медвѣжій ротъ имѣю, волчьи губы,
Свиные зубы.

Мизгирь, какъ видите, хоть и поглупѣе того колдуна, который не разставался съ Людовикомъ XI (см. „Квентинъ Дорвардъ", Вальтера Скотта), однако, малый все-таки не промахъ.

Онъ говоритъ, что воеводѣ надо уѣхать дня на два, что онъ, Мизгирь, наворожитъ медъ, который какъ только выпьетъ Марья Власьевна въ его, воеводино, отсутствіе, тотчасъ и загруститъ по немъ и затоскуетъ. Поручивъ строго блюсти за невѣстой, приставивъ къ ней съ этою цѣлью нѣкую вѣдьму, вдову Ульяну, воевода уѣзжаетъ въ ближній монастырь на богомолье. Бастрюковъ съ товарищами пользуется этимъ случаемъ: спаиваетъ всѣхъ сторожей; Дубровинъ помогаетъ ему со своею шайкой, которая была расположена недалеко же отъ города, видится съ женой въ воеводскомъ саду и вотъ ужъ говоритъ ей, чтобъ она вела скорѣй Марью Власьевну, и Марья Власьевна ужъ идетъ... сейчасъ „лобзанія, и слезы, и свобода", но вдругъ, какъ снѣгъ на голову, возвращается воевода, и начинается расправа. Бастрюковъ избѣгаетъ общей участи, но Дубровина съ товарищами вяжутъ. Начинается дѣло съ Марьи Власьевны, которой говоритъ воевода:

За что же ты хлѣбъ-соль мою и ласку
Совсѣмъ забыть хотѣла? И спасибо
Мнѣ за любовь-заботу не сказала,
Задумала покинуть людямъ на смѣхъ
И головѣ сѣдой на поруганье
Мой новъ теремъ. Аль ты не знаешь, Марья,
Что у меня женѣ прощенья нѣтъ...
За грѣхъ ея! И малъ ли онъ, великъ ли,
А ей не жить. Прощайся съ бѣлымъ свѣтомъ!
Ты не жена, такъ все равно невѣста:

Я не хочу, чтобъ мнѣ въ глаза смѣялись.
Мнѣ жаль тебя: такая молодая,
А умереть придется. Ты хотѣла
Повеселѣй пожить. Смѣяться любишь! (*Ласкаясь.*)
И у меня ты вдоволь насмѣешься,
И умирать тебѣ веселой смертью,
Красавица моя!

Опять щекотка! Воевода уходитъ съ невѣстой въ теремъ и начинаетъ ее тамъ щекотать. Марья Власьевна съ хохотомъ выбѣгаетъ изъ терема и несется по переходамъ, а воевода за ней. Смерть близка уже, бѣдняжка изнемогаетъ... Но вдругъ входятъ Бастрюковъ-отецъ, что́ съ челобитной ѣздилъ въ Москву, и *новый* воевода. Сцену наполняетъ народъ, и кончается все наиблагополучнѣйшимъ образомъ: Дубровина беретъ общество на поруки, Бастрюковъ женится на Марьѣ Власьевнѣ, а у стараго воеводы описываютъ имѣніе и велятъ ѣхать въ Москву. Въ заключеніе, староста говоритъ посадскимъ, чтобы готовили поминки, да несли на поклонъ новому воеводѣ. *Старые* посадскіе говорятъ:

— Ну, старый плохъ; каковъ-то новый будетъ?

А *молодые* посадскіе прямо рѣшаютъ вопросъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, заключаютъ комедію:

— Да надо быть, такой же, коль не хуже.

Въ этомъ короткомъ обзорѣ новаго произведенія Островскаго мы не коснулись ни характеровъ ни самыхъ поэтическихъ мѣстъ комедіи: рѣчи домового надъ уснувшею Марьей Власьевной, колыбельной пѣсни старухи-крестьянки надъ внукомъ и нѣкоторыхъ другихъ мѣстъ. Мы ни слова не сказали и о *Снѣ на Волгѣ*, снѣ, который снится воеводѣ въ крестьянской избѣ, гдѣ онъ остановился на ночлегъ. Передъ нимъ открываются то кремлевскія палаты, гдѣ подаютъ на него челобитную и назначаютъ новаго воеводу на его мѣсто; то Волга широкая, на которой раздается:

Внизъ по матушкѣ по Волгѣ,

распѣваемая Бастрюковымъ, Дубровинымъ и товарищами, которые ѣдутъ выручать изъ неволи Марью Власьевну; то раскрывается его воеводскій садъ, изъ котораго похищаютъ Марью Власьевну. На сценѣ это будетъ очень эффектно, потому что декоративно и напоминаетъ нѣсколько эффектный балетъ. Поэзіи тутъ мало, хотя авторъ на поэтичность *именно и* разсчитывалъ, рисуя эти сцены и соединяя въ

нѣсколько картинъ все разнообразіе тогдашней русской жизни. Замыселъ поэтическій очень хорошъ: тутъ и страшный мучитель, и ребенокъ въ люлькѣ, и старушка-крестьянка, напѣвающая унылую пѣсню, хватающую за сердце; и сцена, гдѣ просится на кормленіе съ этого унылаго люда; и удаль русскихъ молодцовъ, этихъ „удалыхъ разбойниковъ", которыхъ народная пѣсня, по понятной причинѣ, всегда идеализировала,—все это задумано хорошо, но исполненіе не совсѣмъ удачно и отзывается декораціей.

Проснувшись, воевода разражается страшнымъ монологомъ, въ которомъ злоба, накипѣвшая во время видѣнія, находитъ исходъ въ брани и насмѣшкѣ надъ самимъ собою, надъ своею глупостью. Старый волкъ попался на приманку и не можетъ этого простить себѣ:

Грызи зубами руки,
Да плачь теперь, свою башку сѣдую
Разбей о печку.

Воевода очень хорошо обрисованъ въ прологѣ: его рѣчь къ народу, который сталъ кричать на него,—рѣчь, въ которой и злая иронія сильнаго надъ безсильнымъ, и угроза, и наставленіе, не то ироническое, не то искреннее, и величаніе себя отцомъ подвластныхъ дѣтей, и заботы о собственной безопасности,—все выразилось тутъ ярко и превосходно, несмотря на короткость монолога. Послѣ этого монолога и того презрѣнія, которымъ обдаетъ воевода Бастрюкова, ждешь многаго отъ автора. Къ сожалѣнію, послѣдующія дѣйствія какъ-то ослабляютъ первое впечатлѣніе, и воевода становится похожъ иногда просто на мелодраматическихъ злодѣевъ, имъ же нѣсть числа. Изъ женскихъ личностей ни одна не выдается, кромѣ Олены, да и то не совсѣмъ. Лучше обрисованъ Дубровинъ. Въ комедіи много пѣсенъ, даже черезчуръ много; есть мѣста, вовсе ненужныя для хода драмы и только растягивающія ее въ ущербъ общей гармоніи. Стихъ вездѣ очень хорошъ, мѣстами поэтиченъ и образенъ, какъ могли это замѣтить читатели даже по нашимъ выпискамъ. Послѣ *Минина* новая драма Островскаго, во всякомъ случаѣ,—шагъ впередъ съ его стороны, хотя ожидалось, судя по разсказамъ, больше...

А. И—нъ (А. С. Суворинъ).

„Воевода, или Сонъ на Волгѣ“ [1]).

*) При появленіи въ печати комедіи г. Островскаго *Воевода (Сонъ на Волгѣ)* мы сказали о ней нѣсколько словъ, обѣщавъ тогда же познакомить съ нею читателей подробно.

---

[1]) „Голосъ“, 1865 г., № 125.

*) „Голосъ“ сталъ издаваться съ 1863 г., съ 1-го января, и былъ закрытъ въ 1883 г. Издавался онъ извѣстнымъ литераторомъ и общественн. дѣятелемъ Андр. Алекс. Краевскимъ. Газета имѣла большой вѣсъ и распространенность. Ее называли даже „русскимъ Times“. До 1875 г. первенство въ петербургскомъ газетномъ мірѣ колебалось между „Спб. Вѣдомостями“ В. Корша и „Голосомъ“, и, дѣйствительно, онъ имѣлъ въ 1877 г. 22,632 подписчика. Въ тотъ моментъ, когда была напечатана помѣщенная у насъ статья, „Голосъ“ занималъ видное мѣсто по своему вліянію и распространенности среди русскаго общества. Въ этотъ періодъ онъ являлся органомъ умѣренно-охранительнаго направленія, отстаивавшимъ „дѣятельную реформу“, но безъ „скачковъ и безполезной ломки“. Эта умѣренность въ требованіяхъ вызывала, однако, порицанія со стороны администраціи, указывавшей редакціи на статьи, въ которыхъ газета позволяла себѣ и „рѣзкія порицанія и неприличныя сужденія о правительственныхъ мѣропріятіяхъ; оскорбленіе всего дворянскаго сословія и лицъ, служащихъ правительству; превратное изложеніе историческихъ событій съ очевидною цѣлью возбудить безусловное сочувствіе къ лицамъ, противодѣйствующимъ правительству“. Венгеровъ довольно точно и въ немногихъ словахъ характеризуетъ направленіе „Голоса“: „Голосъ“ безъ всякаго преувеличенія можетъ быть названъ барометромъ общественнаго мнѣнія, и огромный его успѣхъ всего лучше показываетъ, какъ умѣлъ онъ поддѣлаться подъ вкусъ и требованія публики. „Голосъ“ умѣренно-либераленъ въ своемъ общемъ характерѣ, чуть-чуть подернутъ панславизмомъ при обсужденіи дѣлъ, касающихся братьевъ-славянъ, и нерѣшительно относится къ славянофиламъ. „Голосъ“ яро вооружается противъ классицизма, радикаленъ въ политикѣ и помѣщаетъ у себя передовыя статьи либеральнаго профессора государственнаго права (Дм. Градовскій). „Голосъ“ нападаетъ сильно на нѣмцевъ, послабѣе на жидовъ и слегка на прочія національности, проживающія между русскими, когда онѣ станутъ поперекъ въ чемъ-нибудь кореннымъ обитателямъ Россіи. „Голосъ“ предпочитаетъ не комментировать разныя „движенія“ среды учащейся молодежи, и политическіе процессы не вызываютъ на его страницы никакихъ или очень мало разсужденій. Литературная критика „Голоса“ во многомъ походитъ на таковую „Пет. Вѣд.“, но только отличается почти совершеннымъ отсутствіемъ полемическаго задора.

Если опредѣлять мѣсто, которое занималъ по своему направленію *„Голосъ“ среди* русской журналистики 70-хъ годовъ, то оно окажется

Исполняемъ теперь пока половину дѣла, т.-е. воспользуемся постановкою комедіи на сцену, чтобы взглянуть на нее со стороны сценическихъ ея достоинствъ и недостатковъ.

центральнымъ, рядомъ съ „Вѣстн. Европы". Правую сторону займутъ, во-первыхъ, органы И. С. Аксакова („День", „Москва", „Русь"), крайнюю правую—„Русскій Вѣстн." и „Московскія Вѣдом.", лѣвая будетъ занята „Отечеств. Зап." и „Дѣломъ" Благосвѣтлова.

Появившійся въ свѣтъ „Голосъ" въ моментъ начавшагося глубокаго разлада между обществомъ и правительствомъ, онъ по практическимъ соображеніямъ сразу же взялъ вѣрный тонъ: сталъ кланяться направо и налѣво. Вся задача издателя выразилась въ умѣньѣ ловко итти на компромиссы, съ одной стороны, имѣя въ виду запахъ правительственныхъ вѣяній и цензурныя строгости, а съ другой—требованія либеральнаго общества. Выходило плаваніе между Сциллой правительственныхъ предначертаній и Харибдой либеральныхъ подписчиковъ. Для того, чтобы имѣть во всякую данную минуту видъ органа, готоваго, съ одной стороны, не выходить изъ предѣловъ офиціальной истины, а съ другой—органа, сочувствующаго гражданскимъ скорбямъ общества, нужна большая сноровка, и Краевскій ее имѣлъ. У „Голоса" всегда было, на всякій случай, двѣ норы, куда онъ прятался, въ зависимости отъ практическихъ соображеній. У газеты Краевскаго были всегда большой тактъ, осторожность и дипломатическая солидность. „Голосъ" и за границей и, отчасти, въ странѣ считался офиціозною газетой, и онъ никогда никого не старался въ этомъ разувѣрить, а, наоборотъ, держалъ себя съ тою солидностью и сдержанностью, которая не оставляетъ никакихъ сомнѣній, что ему извѣстны всѣ сокровенныя тайны дипломатіи, что онъ имѣетъ таинственную возможность присутствовать на совѣщаніяхъ императоровъ и изъ первыхъ рукъ имѣть свѣдѣнія о секретныхъ бесѣдахъ Бисмарка, Горчакова и Андраши. Въ сущности, вся кажущаяся солидность и объективность „Голоса" вытекали изъ глубокаго индиферентизма и недовѣрія ни въ общественную ни въ офиціальную правду; подъ кажущеюся устойчивостью его взглядовъ покоилась не твердая общественная мысль, а простой расчетъ и, какъ выражался Щедринъ, „пѣнкоснимательство". „Голосъ" также охарактеризованъ и Некрасовымъ:

Дыбомъ становится волосъ:
Чѣмъ наводнилась печать,—
Даже умѣренный „Голосъ"
Началъ не въ мѣру кричать.
Ни одного элемента
Не пропустилъ, не задѣвъ,
Онъ положеньемъ Ташкента
Разволновался, какъ левъ;
Бдитъ онъ надъ Западнымъ краемъ,
Онъ о Россіи болитъ,
Съ ожесточеньемъ и лаемъ
Онъ обо всемъ говоритъ...

Умѣнье съ „ожесточеньемъ и лаемъ" говорить обо всемъ, не вызывая административныхъ каръ, было въ высшей степени развито у газеты Краевскаго

Написать что бы то ни было, придавъ этому чему-нибудь форму драмы, трагедіи или комедіи, конечно, не значитъ еще написать дѣйствительно драму, трагедію или комедію. Авторъ можетъ, пожалуй, дать своему произведенію одно изъ этихъ названій, но это не обязываетъ никого признавать произведеніе тѣмъ, чѣмъ назвалъ его авторъ. При чтеніи такого произведенія нѣтъ крайности придираться къ автору, почему онъ далъ своему произведенію такую или другую форму. Если въ произведеніе вложена идея, которой вы сочувствуете; если она выражена художественно; если дѣйствующія лица живы, вѣрны дѣйствительности; если удлиняющіе его эпизоды, вставленные въ произведеніе, придаютъ цѣлому оттѣнокъ мѣста и времени и исполнены художественно, и все это вмѣстѣ удовлетворяетъ васъ, какъ читателя,—какая нужда вамъ до внѣшней оболочки, до названія? Передъ вами литературное произведеніе—судите его по впечатлѣніямъ, которыя вы испытываете при чтеніи, и если впечатлѣніе хорошо, полно и сильно, то это лучшее доказательство, что авторъ былъ правъ, придавъ своему сочиненію ту форму, которую избралъ. Но какъ скоро произведеніе написано въ формѣ драмы или комедіи для исполненія на сценѣ, тогда—иное дѣло, и произведеніе, прекрасное въ чтеніи, можетъ оказаться окончательно плохимъ на сценѣ; примѣровъ этому не мало... Эта небольшая оговорка необходима намъ потому именно, что мы будемъ говорить о *Воеводѣ* исключительно, какъ о произведеніи, написанномъ для сцены.

Первое представленіе *Воеводы* дано было въ среду, 28-го апрѣля, въ бенефисъ г-жи Владимировой, въ Маріинскомъ театрѣ. Начнемъ съ того, что отдадимъ должную справедливость театральной дирекціи: она сдѣлала все, что отъ

За все время существованія „Голосъ" получилъ 20 предостереженій, 18 воспрещеній розничной продажи и 2 воспрещенія печ. частн. объявл., но все это падаетъ на періодъ редактированія газеты Бильбасовымъ; за время же Краевскаго „Голосъ" подвергся только шести предостереженіямъ. Съ 1871 г. редакторомъ „Голоса" становится извѣстный историкъ А. Бильбасовъ, и газета получаетъ умѣренно-либеральное направленіе. Съ этого момента „предостереженія" и воспрещенія розничной продажи начинаютъ сыпаться на голову редакціи какъ изъ рога изобилія. Наконецъ, изданіе было прекращено за „вредное направленіе, выражающееся въ сужденіяхъ о существующемъ строѣ" и въ томъ, что газета „прибѣгаетъ къ намекамъ, имѣющимъ цѣлью представить въ ложномъ свѣтѣ намѣренія правительства *относительно* реформъ послѣдняго двадцатилѣтія". *Прим. Н. Денисюка.*

нея зависѣло, для успѣха *Воеводы*. Обстановка пьесы такова, какой, со времени представленія драмы „Бояринъ Матвѣевъ", не было на русской сценѣ. Декораціи и костюмы превосходны; костюмы даже слишкомъ великолѣпны и не оставляютъ желать ничего лучшаго. Для хорового пѣнія призваны къ участію хористы русской оперы, музыка аранжирована прекрасно. Труппа наша бѣдна; но все, что въ ней есть лучшаго, участвовало въ пьесѣ. Словомъ—дирекція исполнила свое дѣло болѣе нежели добросовѣстно, и если пьеса будетъ держаться на сценѣ, то она многимъ будетъ обязана постановкѣ.

Теперь перейдемъ къ содержанію комедіи. Его можно бы передать въ нѣсколькихъ словахъ; но, чтобы приговоръ нашъ не показался голословнымъ, передадимъ подробно весь ходъ комедіи по порядку. Дѣйствіе происходитъ въ большомъ городѣ, на Волгѣ, въ половинѣ XVII столѣтія. Пьеса начинается прологомъ, а прологъ тѣмъ, что бирючъ объявляетъ царскій указъ, запрещающій государевымъ людямъ, старшимъ и меньшимъ, и всякаго чина людямъ, и сотскимъ, и пятидесятскимъ, и десятскимъ держать разбойниковъ и татей, и смертныхъ убійцевъ подъ страхомъ смертной казни. Сцена представляетъ городскую площадь и представляетъ очень хорошо: декорація эта дѣлаетъ честь г. Шишкову. Народъ, выслушавъ бирюча, по уходѣ его, начинаетъ острить: слыхали, молъ, не впервóй—и потомъ идутъ толки, что и впрямь развелось много воровъ и разбойниковъ, а воевода умѣетъ только дѣвокъ по клѣтямъ разыскивать, а съ воровъ сысканныхъ беретъ деньги и выпускаетъ, и что отъ его притѣсненій житья нѣтъ—пора бы на него челобитную писать. Выходятъ ключникъ воеводы и дворня съ метлами и подметаютъ дорогу для прохода воеводы; идутъ перебранки народа съ дворней; вбѣгаетъ шутъ воеводы и кричитъ благимъ матомъ, что воевода разбилъ ему голову костылемъ: начинаются новыя шуточки надъ шутомъ, и потомъ разсказъ шута, за что его побилъ воевода: оказывается, что шутъ вздумалъ неумѣстно пошутить надъ тѣмъ, что воевода на старости лѣтъ задумалъ жениться на молодой дѣвкѣ. Идетъ воевода; шутъ прячется въ толпѣ. Воевода останавливается и разсказываетъ своимъ приближеннымъ, какъ съ нимъ былъ случай на охотѣ, что конь его сталъ, ни съ того ни съ сего, какъ вкопанный, и только тогда пошелъ, когда воевода

перекрестился, обошелъ его кругомъ три раза и зачурался. Является отставной подьячій Жилка и, кланяясь воеводѣ въ ноги, приноситъ жалобу на людей бывшаго губного старосты, боярина Семена Бастрюкова, о боѣ, грабежѣ и увѣчьѣ да кстати и доноситъ на нихъ, что они и воры, и скоморохи, и картежники, и проч. Воевода обѣщаетъ разобрать дѣло, унять „людишекъ" Бастрюкова и идетъ въ соборъ. Изъ толпы слышатся отрывочныя бранныя слова на воеводу, который, при входѣ въ соборъ, останавливается и говоритъ къ народу длинную рѣчь, что они трусы, умѣютъ только изъ кармана шишъ показывать и что хоть онъ и крутенекъ, а все-таки ему, какъ власти, поставленной отъ Бога, слѣдуетъ покоряться точно такъ же, какъ и властителю доброму; потомъ приказываетъ начальнику стрѣльцовъ пошарить въ народѣ да переловить хоть праваго, хоть виноватаго, связать и свесть въ сторожку. Воевода уходитъ въ соборъ, а Баимъ, стрѣлецкій сотникъ, принимается исполнять приказъ воеводы, но встрѣчаетъ нежданно отпоръ; чей-то голосъ раздается: „Сюда, сюда, ребята! нашихъ бьютъ!" Готова начаться свалка, но входитъ бояринъ Бастрюковъ съ сыномъ и своими людьми и прекращаетъ ссору тѣмъ, что приказываетъ Баиму оставить народъ въ покоѣ, беретъ отвѣтственность передъ воеводою на себя и идетъ съ сыномъ въ соборъ. Является Романъ Дубровинъ, бѣглый посадскій, одна изъ жертвъ своеволія и насилія воеводы; его сначала не узнаютъ, и одинъ посадскій предлагаетъ даже связать его, какъ подозрительнаго человѣка, но Дубровинъ осаживаетъ его разомъ, намекаетъ на „краснаго пѣтуха"; другіе узнаютъ его, и изъ разговора оказывается, что Дубровинъ пришелъ развѣдать о своей женѣ, которую, по словамъ посадскихъ, послѣ его побѣга воевода взялъ къ себѣ, чтобы сдѣлать своею любовницей. Узнавъ, что было нужно, Дубровинъ уходитъ, и, вслѣдъ за тѣмъ, выходятъ изъ собора воевода съ приближенными, Бастрюковы и другіе. На площади воевода объявляетъ, что задумалъ жениться, и спрашиваетъ совѣта; свои поддакиваютъ, а Семенъ Бастрюковъ говоритъ прямо, что не дѣло затѣялъ воевода въ его лѣта. Оскорбленный воевода глумится надъ Бастрюковымъ, говоря, что совѣтъ мудрый, и такъ какъ Бастрюковъ совѣтуетъ не жениться, то слѣдуетъ жениться непремѣнно. Бастрюковы, *въ свою очередь*, оскорбляются; дѣло доходитъ чуть не до

драки; но воеводу окружаютъ свои люди. Бастрюкова удерживаютъ, а воевода уходитъ, приглашая всѣхъ, кромѣ Бастрюкова, на рукобитье. Къ оставшемуся Бастрюкову подходятъ лучшіе люди изъ посадскихъ и объявляютъ намѣреніе послать челобитную. Бастрюковъ одобряетъ и посылаетъ за Жилкою, котораго обѣщаетъ батогами заставить писать ее, если не согласится добромъ. Занавѣсъ опускается, и публика, прослушавъ весь прологъ со вниманіемъ, въ совершенномъ безмолвіи, привѣтствовавъ только по заведенному порядку выходъ г. Самойлова, исполнявшаго роль воеводы, остается и по опущеніи занавѣса въ безмолвіи и недоуміи, что̀ все это означаетъ и что̀ изъ всего этого имѣетъ выйти? Нѣкоторые, впрочемъ, предварительно не читавшіе комедіи, ожидаютъ, не послѣдуетъ ли преслѣдованій, тюремнаго заключенія, пожалуй, пытокъ и казни Бастрюкова, посадскихъ или самого воеводы, но скоро разочаровываются, потому что воевода, при всей своей свирѣпости и злобѣ, оказывается совершенною дрянью. Несмотря на намекъ автора въ прологѣ на великую осторожность и зоркость воеводы, который во время своего разсказа о случаѣ на охотѣ, замѣтивъ выдѣляющагося изъ толпы парня, приказалъ тотчасъ узнать, свой это или чужой,—оказывается, что воевода просто разиня.

Между прологомъ и первымъ дѣйствіемъ прошла цѣлая недѣля. Въ тотъ же день, какъ у воеводы произошла сцена на площади съ Бастрюковымъ, написана челобитная, вслѣдъ затѣмъ посланы ходоки въ Москву; туда же поѣхалъ съ дарами Бастрюковъ-отецъ, лицо очень замѣтное,—а воевода ничего объ этомъ не знаетъ и не вѣдаетъ. Положимъ, у него свадьба на умѣ, а все же, полагать надо, живетъ онъ не безъ сыщиковъ, которые должны бы ему все доносить. Очевидная несообразность.

Первое дѣйствіе происходитъ въ саду богатаго посадскаго, Власа Дюжого, на старшей дочери котораго женится воевода. Лунная ночь; Степанъ Бастрюковъ, разобравъ изгородь сада, выходящаго на Волгу, пробирается въ садъ со своими людьми, намѣреваясь увезти младшую дочь Дюжого. Изъ терема выходятъ обѣ дочери Дюжого, съ мамкой и сѣнными дѣвушками. Бастрюковъ съ однимъ изъ своихъ людей прячется въ старой банѣ, а прочіе, кое-какъ приладивъ на живую руку разбросанную изгородь, уходятъ за нее.

Тутъ движеніе пьесы прекращается на время, для изображенія передъ зрителемъ домашней жизни посадскихъ дѣвицъ XVII столѣтія. Сѣнныя дѣвушки поютъ, потомъ садятся на землю и вышиваютъ въ пяльцахъ (ночью-то!); идетъ разговоръ между мамкою и дочерьми Дюжого: оказывается, что старшая дочь, Прасковья, идетъ за воеводу и не очень объ этомъ горюетъ, а разсчитываетъ на веселое боярское житье; сестра ея, Марья, удивляется этому; мамка тоже; но потомъ обѣ желаютъ слушать сказку. Мамка начала, было, да не такую, какую хочется Прасковьѣ и Марьѣ: онѣ требуютъ любовную, да чтобы ничего не скрывать. Мамка боясь, чтобы не услыхала мать, рѣшается на это не иначе какъ съ условіемъ уйти подальше отъ терема въ малину, и всѣ уходятъ. Бастрюковъ со своимъ слугою Рѣзвымъ выходятъ изъ бани, и Рѣзвый даетъ знакъ условною пѣсней; входитъ Марья и ведетъ разговоръ съ Бастрюковымъ; оказывается, что они давно любятъ другъ-друга и видѣлись до сихъ поръ только черезъ изгородь, а теперь Бастрюковъ предлагаетъ ей бѣжать съ нимъ; но Марья—дѣвка не промахъ: она, во-первыхъ, уличаетъ въ обманѣ Бастрюкова, выдававшаго себя за посадскаго, а потомъ говоритъ, что у него много ворованныхъ дѣвокъ и безъ нея, а коли хочетъ, пусть женится какъ слѣдуетъ: тогда вези, куда хочешь.

Бастрюковъ бы и не прочь, да нельзя, потому что на старшей дочери женится заклятый врагъ его, воевода. Марья обѣщаетъ, что охотно не пойдетъ ни за кого; а если будутъ неволить, ну, тогда, пожалуй, разбирай изгородь, бери ее въ охапку и тащи домой. Слѣдуютъ горячія объясненія въ любви, обниманья, цѣлованья и пр. Слышны пѣсни—надо расходиться; но Марья, увидавъ шута воеводы, прячется въ кусты, а Бастрюковъ съ Рѣзвымъ опять уходятъ въ баню. Входитъ шутъ и, разсудивъ, что, прошатавшись съ *недѣлю*, онъ чуть не умеръ съ голода, и потому надо просить у воеводы помилованія, разсчитавъ также, что воевода, находясь у невѣсты, вѣрно, сдѣлался помягче, рѣшается воспользоваться этимъ счастливымъ случаемъ. Входятъ воевода и Власъ Дюжой съ женою Настасьей; воевода милуетъ шута, и движеніе пьесы опять останавливается, чтобы показать зрителю, какъ встарину принимали у себя въ домѣ воеводъ богатые посадскіе. Сцена эта нѣсколько оживляется выходками *Настасьи*, зазнавшейся бабы, которой выпало на долю

честь быть тещею воеводы. Г-жа Линская выполняетъ эту сцену прекрасно. Идутъ угощеніе и разговоры—движеніе совсѣмъ остановилось; но шутъ неожиданно даетъ ему толчокъ, наткнувшись въ кустахъ на Марью въ то самое время, когда воевода всталъ, чтобъ уходить. Испуганная шутомъ Марья бѣжитъ мимо воеводы, который, увидавъ ее, несмотря на ночь, хотя и лунную, но въ очень густомъ саду, какъ опытный по этой части, сейчасъ видитъ, какая она красавица и даже какіе у нея чудные, необыкновенные глаза, какихъ въ жизнь свою не видывалъ. Узнавъ, что это младшая дочь Дюжого, онъ приходитъ въ ярость, обвиняетъ Дюжихъ въ томъ, что они его обманули, ссунувъ ему съ рукъ худшую дочь, отказывается отъ нея и требуетъ, чтобы выдали за него младшую, около которой сладострастно увивается. Дюжой сейчасъ же соглашается; мать, было, заговорила противъ, но мужъ унимаетъ ее угрозами убить, если не замолчитъ, и всѣ идутъ въ хоромы порѣшать дѣло. Шутъ остается на сценѣ, неизвѣстно почему, но зритель сейчасъ же узнаетъ для чего—для того, чтобы было кому подслушать разговоръ вышедшихъ изъ бани Бастрюкова и Рѣзваго, которые, разсчитывая, что Марья какъ-нибудь урвется проститься съ милымъ, намѣревались сейчасъ же увезти ее. Шутъ бѣжитъ донести объ этомъ воеводѣ. Какъ умѣла такъ скоро вырваться Марья отъ обезумѣвшаго отъ страсти воеводы—неизвѣстно, но только, вслѣдъ за уходомъ шута, является она и рѣшается бѣжать съ Бастрюковымъ. Извѣщенный шутомъ, воевода приходитъ со всею дворней Дюжого и со своими людьми; слуги Бастрюкова разбираютъ изгородь, и Бастрюковъ ускользаетъ отъ преслѣдованія, а Марью успѣваютъ перехватить. Оказывается, что удалой Бастрюковъ со своими удалыми не сумѣлъ увезти дѣвки, готовой съ ними бѣжать, на что нужно было столько же времени, сколько и для того, чтобы бѣжать и безъ нея. Для этой неудачи Марья, сходя съ лѣстницы, испугалась будто бы потемокъ, при лунѣ, тогда какъ только что передъ этимъ сама гуляла по саду, и старый воевода сумѣлъ разсмотрѣть ея красоту и даже глаза—новая несообразность. Чтобъ уберечь Марью отъ новыхъ покушеній, воевода рѣшается перевезти ее до свадьбы въ свой отдѣльный дворъ, на что Дюжіе соглашаются.

Декораціи перемѣняются: изба во дворѣ Бастрюкова. Степанъ Бастрюковъ возвращается въ отчаяніи. Онъ обращается къ слугамъ, которые, какъ видно, преданы ему душой и тѣломъ, особенно Рѣзвый, и умоляетъ ихъ помочь его горю. Рѣзвый кается, что у нихъ во дворѣ скрывается Романъ Дубровинъ и, на выговоръ Бастрюкова, объясняетъ, что Дубровинъ не воръ, а обиженный воеводою человѣкъ, и что онъ имъ помочь можетъ. Зовутъ Дубровина, который берется помогать Бастрюкову увезти Марью; кстати, и у него есть расчеты съ воеводой: свою жену отъ него выручить. Дубровинъ предлагаетъ, прежде всего, выжить воеводу изъ города дня на два. Зачѣмъ? Вѣдь, ни Бастрюковъ ни Дубровинъ не знаютъ еще, что воевода рѣшилъ перевезти Марью къ себѣ; слѣдовательно, и Дубровину не предвидится однимъ разомъ сдѣлать два дѣла, т.-е. увезти и Марью и свою жену съ двухъ разныхъ дворовъ: со двора Дюжого—Марью, а со двора воеводы—жену. Еще несообразность! Какъ же выжить воеводу?

Въ тюрьмѣ содержится колдунъ Мизгирь, съ которымъ постоянно совѣтуется воевода; Дубровинъ предлагаетъ послать колодникамъ на хлѣбъ, а Мизгирю особо: „Отъ Романа, молъ, прислано". Дѣло, значитъ, улажено, можно бы и занавѣсъ опустить; нѣтъ, авторъ желаетъ познакомить зрителя съ тѣмъ, какъ молодые бояре гуляли со своей дворней въ старые годы, и вотъ начинается гульба: пьютъ и поютъ—и, вмѣстѣ съ тѣмъ, движеніе пьесы опять останавливается. Бастрюковъ узнаетъ только отъ Дубровина, что онъ знаетъ Худояра, атамана шатающейся близъ города шайки разбойниковъ, и изъявляетъ, удали ради, охоту поглядѣть на Худояра. Дубровинъ обѣщаетъ свести его и показать. Занавѣсъ опускается; десятый часъ на исходѣ, публика безмолвствуетъ; она недоумѣваетъ, когда и чѣмъ это кончится, потому что впереди еще цѣлые четыре акта. Второй актъ начинается въ свѣтлицѣ воеводы. Къ нему сгоняютъ всю дворню, и онъ отдаетъ приказъ убрать покои для пріема невѣсты, служить какъ слѣдуетъ будущей боярынѣ, но въ то же время и стеречь ее пуще глаза. Въ числѣ женской прислуги—Олена, жена Дубровина; когда вся дворня уходитъ, воевода останавливаетъ ее. Эта сцена нужна автору, чтобы показать зрителю, что Олена баба хоть и молодая, да не поддалась воеводѣ, который упрекаетъ ее

въ томъ, что она все волкомъ смотритъ, и велитъ своему ключнику стеречь ее, чтобъ не ушла, а она отвѣчаетъ, что некуда ей бѣжать: дворъ разоренъ, мужъ Богъ-вѣсть гдѣ, живъ ли, нѣтъ ли,—развѣ въ Волгу, да грѣхъ великъ, и что она останется навсегда у воеводы, съ которымъ ее Богъ разсудитъ. Олена уходитъ; приводятъ колдуна Мизгиря, снимаютъ съ него ручныя оковы и оставляютъ одного съ воеводой. Начинается совѣтъ съ нимъ воеводы; оказывается, что Мизгирь уже подговоренъ подсыльнымъ отъ Бастрюкова и потому совѣтуетъ воеводѣ уѣхать изъ города дня на два; онъ же заговоритъ медъ, который пусть выпьетъ невѣста, и тогда навѣрное полюбитъ воеводу и затоскуется по немъ. Воевода рѣшаетъ ѣхать на богомолье да, кстати, и поохотиться. Мизгирь заговариваетъ стаканъ съ медомъ, послѣ чего его уводятъ.

Вводятъ вдову Ульяну, которую воевода знаетъ за бабу нрава свирѣпаго, такого, что ее ни грозой ни лаской не возьмешь, и потому поручаетъ ея храненью и береженью невѣсту, весь домъ боярскій со всею дворней, обѣщаясь, разумѣется, за вѣрную службу наградить. Ульяна, взявъ, по приказанію воеводы, заговоренный медъ для поднесенія Марьѣ, уходитъ. Входитъ Жилка, и тутъ только отъ него узнаетъ воевода о томъ, что на него послана челобитная. Жилка содержался въ погребѣ у Бастрюкова и успѣлъ оттуда улизнуть; онъ успѣлъ, однако, узнать—сидя въ погребѣ-то—и о томъ, что Дубровинъ скрывается у Бастрюкова, и о томъ, что шайка Худояра пристала за пустынею, куда идетъ на богомолье воевода, который находитъ, что это очень кстати, потому что онъ, вмѣсто охоты, пойдетъ со стрѣльцами поискать Худояра. Даютъ знать, что пріѣхала Марья; идетъ пріемъ невѣсты и ея матери, и потомъ прощанье, при чемъ воевода поручаетъ шуту забавлять и развлекать невѣсту и уходитъ. Шутъ начинаетъ выкидывать колѣнца; но безполезно; Ульяна уводитъ Настасью смотрѣть подарки, Марья остается одна и съ сердцемъ кидается на шута, говоря, что онъ всему виною, и, если бъ у нея былъ ножъ, она зарѣзала бы его; шутъ струсилъ не на шутку... Входитъ Ульяна и уводитъ Марью. Какъ видите, пьеса во все это время двинулась очень мало впередъ, а времени прошло немало.

Декорація перемѣняется; публика безмолвствуетъ. Театръ представляетъ лѣсное ущелье; по немъ бѣжитъ рѣчка, неболь-

шой притокъ Волги; черезъ рѣчку перекинутъ мостъ, который съ дорогой пересѣкаетъ діагональю всю сцену; на авансценѣ пещера пустынника, направо шалашъ; за мостомъ налѣво видна гора, на которой монастырь. Декорація эта превосходна... На мосту нищіе поютъ хоромъ: прохожіе подаютъ милостыню. Выходитъ пустынникъ изъ пещеры за водою и говоритъ, что онъ скоро умретъ, что монахи его похоронятъ и будутъ поминать въ молитвахъ. Причаливаетъ лодка; изъ нея выходитъ Дубровинъ, а оставшіеся въ ней молодой Бастрюковъ и Рѣзвый плывутъ дальше. Пустынникъ вступаетъ въ разговоръ съ Дубровинымъ и упрекаетъ его въ злодѣяніяхъ, удивляясь, какъ сноситъ все это Богъ и люди. Дубровинъ отвѣчаетъ, что онъ не простой какой-нибудь воръ и не заурядъ-разбойникъ, что онъ рукъ не кровянилъ... Мудрено это что-то: предводительствуя шайкой разбойниковъ XVII вѣка и разбивая боярскіе дворы, какъ это видно изъ разговора Дубровина съ Бастрюковымъ, и когда самъ Дубровинъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, объясняетъ, кто его товарищи,—онъ чистъ отъ крови? Что жъ, онъ только командовалъ да смотрѣлъ, какъ другіе руки кровянятъ? Въ такомъ случаѣ, едва ли его выбрали бы атаманомъ въ тотъ вѣкъ... Какъ бы то ни было, но Дубровинъ говоритъ длинные монологи, объясняя пустыннику, что онъ вооружился противъ неправды и притѣснителей, воеводъ и судей; пустынникъ, въ свою очередь, говоритъ монологи нѣсколько короче монологовъ Дубровина, спрашиваетъ у него, кто ему дозволилъ стать надъ властью, и предлагаетъ ему поселиться лучше у него въ пещерѣ и молиться, но Дубровинъ не соглашается, хоть и говоритъ, что думалъ много надъ Волгой и съ соловьями рѣчи говорилъ, да не нашелъ по сердцу удалыхъ, а все голь кабацкая, убійцы, воры, виномъ и кровью пьяные, что онъ имъ не ровня, а потому онъ порѣшилъ бросить ихъ и сѣсть опять въ посадѣ, лишь только смѣнятъ воеводу. Пустынникъ примиряется съ Дубровинымъ, увлеченный и убѣжденный его монологами, и благословляетъ его. Но на публику эти монологи не дѣйствуютъ, несмотря на то, что въ нихъ выказывается протестъ, который публика вообще любитъ.

Виновата ли публика? По-нашему, нѣтъ, потому что монологъ не дѣйствіе, и монологамъ сочувствуютъ и аплодируютъ только при условіи, чтобъ они вытекали прямо

изъ дѣйствія, а не изъ одного риторства. Тутъ же зритель видитъ Дубровина, только говорящаго, но ничего не дѣлающаго и ничѣмъ не доказавшаго передъ зрителями своего права говорить такъ, а не иначе. Зрители знаютъ уже, правда, что его преслѣдовалъ воевода и жену у него отнялъ, да и то знаютъ по разсказамъ. Жену эту видѣли; участь ея, конечно, не отрадная, но и ея душевныхъ страданій зритель не видѣлъ: откуда же возбудится у зрителя особенное сочувствіе къ Дубровину? Ясно, что при этомъ говори Дубровинъ какъ Цицеронъ,—все это будетъ одно риторство и ничего больше. Пустынникъ уходитъ; входитъ есаулъ Дубровина, Щербакъ, и объявляетъ о предосторожностяхъ, принятыхъ имъ противъ поисковъ воеводы, а Дубровинъ, въ свою очередь, объявляетъ, что идетъ на дѣло, гдѣ надо быть одному и можетъ не вернуться: такъ, если онъ дѣйствительно не вернется, считать его мертвымъ, и казну его раздѣлить между товарищами. Скликаютъ еще нѣсколькихъ разбойниковъ изъ шайки; показывается Бастрюковъ, разбойники, было, кидаются на него, но Дубровинъ удерживаетъ ихъ и потомъ объявляетъ Бастрюкову, что онъ-то и есть самъ Худояръ. Потомъ начинается объясненіе Дубровина съ разбойниками, которымъ онъ то же говоритъ, что́ и есаулу, прибавляя только, что если онъ не вернется, то Щербаку быть атаманомъ. Разбойники ворчатъ, Дубровинъ выхватываетъ ножъ и унимаетъ ихъ; даютъ знать, что идетъ воевода—всѣ прячутся; Щербакъ же садится на камень, плететъ лапти и поетъ; на мосту въ то же время поютъ нищіе; идетъ бояринъ съ слугами и стрѣльцами черезъ мостъ; вдали слышенъ звонъ колоколовъ. Эта минута очень эффектна, и въ оперѣ она, обставленная музыкально, произвела бы фуроръ; тутъ же публика, утомленная цѣлымъ актомъ, не подвинувшимъ дѣйствія почти ни на шагъ впередъ, осталась совершенно равнодушною и безмолвствовала, когда опустился занавѣсъ. Хоръ, музыкальный эффектъ, колокольный звонъ, воевода въ своемъ богатомъ нарядѣ—весь этотъ эффектъ, какъ ненужный для движенія, прошелъ даромъ и совершенно справедливо... Но впереди еще цѣлые три акта.

Третьяго акта мы подробно разсказывать не будемъ; во всемъ этомъ актѣ пьеса дѣлаетъ одинъ только маленькій шагъ, да и то ненужный... Марья узнаетъ отъ Олены, что

Бастрюковъ и Дубровинъ задумали ихъ увезти и что для этого надо добиться отъ Ульяны подарками, чтобъ она ихъ выпустила вечеромъ въ садъ, подъ предлогомъ соловья послушать. Для чего это? Хороши удальцы, которымъ надо кусокъ въ ротъ положить. Зачѣмъ рисковать подкупать Ульяну, которую это могло возбудить къ большей осторожности. Олена-то развѣ не могла бы отпереть двери въ теремъ? Но автору, для очертанія домашней жизни XVII вѣка, нужно было домового вывести на сцену, и вотъ, зритель облегченъ на цѣлый лишній актъ.

Марья, наложившая на себя обѣтъ молчанія, подкупаетъ Ульяну цѣлою кучей подарковъ, которые одинъ за другимъ выноситъ изъ другой комнаты и, молча кланяясь ей въ поясъ, подаетъ. Сцена эта ужасно длинна, и только искусная игра г-жи Левкѣевой (Олена) могла оживить ее; публика въ первый разъ зааплодировала. Все, что предшествуетъ этому эпизоду,—только обстановка и обрисовка быта. Въ слѣдующей затѣмъ сценѣ Марья, мамка Дюжихъ и Ульяна засыпаютъ, и является домовой, говоритъ очень длинный монологъ, приголубливаетъ спящую Марью и сшибаетъ шлыкъ съ мамки... Совершенно непонятно, для чего введена эта сцена домового въ пьесу. Неужели опять для обрисовки домашняго быта? Эпизодъ этотъ въ чтеніи, конечно, поэтиченъ, но на сценѣ домовые вообще не удаются; миѳъ этотъ существуетъ въ народѣ, какъ нѣчто совершенно не поддающееся воплощенію, и пригоденъ развѣ только въ балетѣ. Тѣмъ не менѣе, сохранившееся ли впечатлѣніе отъ сцены съ подарками, или краткость третьяго акта, подававшая надежду на такую же краткость и остальныхъ двухъ дѣйствій, но публика, наконецъ, по закрытіи занавѣса, вызвала автора.

Переходимъ къ четвертому акту, который служитъ оправданіемъ прибавки въ скобкахъ къ названію комедіи *Сонъ на Волгѣ*, если въ этомъ придаточномъ заглавіи не было у автора другого умысла—какого-нибудь намека на сонъ, вообще, тогдашней эпохи нашей исторіи. Какъ бы то ни было, комедія г. Островскаго не послужитъ къ анекдоту, какъ подаетъ поводъ извѣстная трагедія г. Кукольника: „Рука Всевышняго отечество спасла“. Если господинъ, смотрѣвшій эту трагедію, остался недоволенъ ею, потому что *во всей трагедіи* никакой руки не видѣлъ, то онъ не могъ бы

сказать про *Воеводу (Сонъ на Волгѣ)*, что онъ сна не видѣлъ: сонъ воеводы, и даже не одинъ, а два сна, видѣли всѣ; но лучше бы ихъ не видѣть, потому что комедія сократилась бы на цѣлое страшно длинное дѣйствіе, въ которомъ, какъ на смѣхъ, дѣйствія, т.-е. движенія пьесы, не оказалось.

Дѣйствіе происходитъ въ постоялой избѣ, въ которой воевода остановился на ночлегъ послѣ богомолья, разыскивая Худояра.

Авторъ не поскупился обрисовкою постоялаго двора въ XVII вѣкѣ: сначала ужинаютъ бортники, потомъ садятся ужинать царскіе цѣловальники, идущіе съ рыбою, и, только когда они успѣли поужинать, прибылъ воевода. Начинается суматоха; воеводѣ дворня его готовитъ походную постель и гонитъ старуху-бабу съ люлькой, въ которой спитъ внучекъ; но свирѣпый воевода, вѣроятно, подъ вліяніемъ еще того, что ходилъ на богомолье, приказываетъ старухѣ остаться: „Ближе къ дѣтямъ, и ангелъ ближе, мѣсто благодатнѣй". Воеводу укладываютъ спать и уходятъ. Старуха поетъ колыбельную пѣсню и такъ сладко и такъ долго поетъ, что подъ нее готовы заснуть и зрители; но воевода начинаетъ бредить, зрители просыпаются, старуха клюетъ носомъ и все-таки поетъ. Воевода, побредивши, успокаивается; задняя занавѣсь поднимается: зрители, вмѣстѣ съ воеводой, видятъ часть кремлевскаго дворца, въ превосходной декораціи. Идетъ судъ да рядъ и очень послѣдовательно, хоть бы и не во снѣ. Большой бояринъ выслушиваетъ жалобы посадскихъ и Бастрюкова, принесшихъ челобитную на воеводу Шалыгина, выслушиваетъ и думнаго боярина, и думскихъ дьяковъ, и бредъ воеводы, вставляющаго, кстати, свои слова, наконецъ, просьбу двухъ бояръ, просящихъ пустить покормиться на воеводство, и остритъ насчетъ дьяковъ, насчетъ просящихся на воеводство, и, наконецъ, рѣшаетъ послать, для сыска и смѣны воеводы, боярина Поджараго. Словомъ, дѣло идетъ безъ малѣйшей запинки и путаницы, такъ, какъ оно, вѣроятно, съ такою же строгою послѣдовательностью шло въ московской думѣ и приказахъ въ тѣ годы, когда воевода видѣлъ этотъ сонъ. Видѣніе исчезаетъ, т.-е. опускается задняя занавѣсь, воевода просыпается и, замѣтивъ, что страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ, сбирается опять заснуть; но его начинаетъ тревожить другой сонъ: разыгрывается ревнивое воображе-

ніе старика, оставившаго невѣсту-красавицу на рукахъ хоть и свирѣпой, а все же бабы, которая, родясь, алтына не видала; воеводѣ не спится, онъ встаетъ, идетъ къ старухѣ, спрашиваетъ ее, не умѣетъ ли она ворожить; оказывается, что не умѣетъ, потому что „не о чемъ, а боярамъ и безъ ворожбы сполагоря живется". Такъ думаетъ глупая старуха, но не такъ на сердцѣ у воеводы, который, однако, опять ложится въ постель; старуха снова начинаетъ выть колыбельную пѣсню, которая усыпляетъ и старика-воеводу. Снова поднимается задняя занавѣсь; сѣни въ домѣ Бастрюкова; онъ гуляетъ съ Дубровинымъ и дворней; ихъ застилаетъ облако, потомъ все опять проясняется, и Бастрюковъ съ Дубровинымъ и дворней на Волгѣ въ лодкѣ; начинается пѣсня „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ" и между куплетами всѣмъ извѣстная игра въ атамана и есаула разбойниковъ, ведущихъ разговоръ; первый спрашиваетъ, что́ видитъ есаулъ, есаулъ отвѣчаетъ... и т. д. Мимо лодки, воеводы, уснувшей бабы и зрителей несутся берега Волги... Декорація опять отличная. Подходитъ теремъ; изъ него выходитъ Марья, невѣста воеводы, подноситъ всѣмъ въ лодкѣ медъ и садится на колѣни къ Бастрюкову. Видѣнье исчезаетъ; воеводу душитъ кошмаръ; онъ мечется, кричитъ и не можетъ проснуться; входитъ ключникъ, будитъ воеводу, который, спохватясь, наконецъ, что надѣлалъ глупостей, забравшись въ *такую даль* и оставивъ невѣсту, торопится одѣваться и требуетъ скорѣй коней и въ путь, чтобъ быть къ ночи домой. Занавѣсъ опускается. Публика, приведенная въ восторгъ сценой на Волгѣ, вызываетъ автора. Вызовъ этотъ можно объяснить только тѣмъ, что публика довольна была, что не заснула при помощи пѣсни „Внизъ по матушкѣ" и всей декораціи на Волгѣ и имѣла случай видѣть чужой сонъ наяву. Но вотъ, наконецъ, дѣло идетъ къ развязкѣ. Поднимается занавѣсъ, и начинается пятый актъ, который происходитъ въ саду воеводскаго двора. Всѣ предыдущіе разговоры лицъ, замѣшанныхъ въ развязкѣ, указываютъ и зрителю и читателю не только самую развязку пьесы, но и порядокъ, въ которомъ она должна совершиться. Предположенія Степана Бастрюкова и Дубровина, задумавшихъ опоить сторожей; подкупъ Ульяны Марьей, *чтобы* пустила ее въ садъ соловья послушать; явленіе домового, предсказывавшаго въ своемъ монологѣ Марьѣ, что ее

сдетъ отрадная жизнь съ милымъ дружкомъ, а не со ста-
ымъ мужемъ; сны воеводы, особенно первый, изъ котораго
ритель узнаетъ даже, кого именно пошлютъ на смѣну вое-
оды Шалыгина; послѣднія слова воеводы въ 4-мъ актѣ:
Домой живѣй, чтобъ къ ночи дома быть"; наконецъ, моно-
оги Дубровина, объяснявшаго пустыннику, что лишь бы
оеводу смѣнили, такъ онъ на посадѣ опять сядетъ на
ягло,—все это ясно указываетъ зрителю, что ему предстоитъ
ъ пятомъ дѣйствіи. Такъ, дѣйствительно, все и случилось,
акъ предположено, съ небольшими прибавками; въ первой
зъ этихъ прибавокъ—свиданіе Дубровина съ Оленой и
заимная ихъ исповѣдь, изъ которой оказывается, что они
стались вѣрны другъ другу: Олена сумѣла отдѣлаться отъ
оеводы, а Дубровинъ, какъ истинный герой добродѣтели,
е только рукъ не кровянилъ, но и красныхъ дѣвокъ не
аскалъ, а велъ дружбу только со своимъ борзымъ *кобелемъ*.
ценѣ этой предшествуетъ безконечно длинный монологъ
убровина, въ которомъ онъ разсуждаетъ, какъ-то встрѣ-
итъ его Олена и какъ ему быть съ нею; не везти же ее
ъ разбойничью шайку, гдѣ она увидитъ:

Грабежъ, дѣлежъ, питье, литье хмельное,
Да хриплый крикъ, да пьяный вопль, да драку;
Зубъ за зубъ брань, ножевые тычки,
Божбу, клятье, святыни обруганье.

Монологъ этотъ, какъ и быть должно длинному моно-
огу,—чистѣйшая риторика; но онъ, вмѣстѣ съ длинною сце-
ой свиданья съ Оленой, сдѣлалъ то, что замедлился побѣгъ,
успѣлъ пріѣхать воевода.

Вторая прибавка состоитъ въ томъ, что Дубровинъ, когда
е удалось увезти Марью и Олену, кидается на воеводу съ
ожомъ, но его схватываютъ и вяжутъ, а воевода ведетъ
арью въ теремъ, чтобы тамъ защекотать ее до смерти,
очно такъ же, какъ онъ защекоталъ первыхъ двухъ женъ,
о народному сказанью.

Сцена остается полна народа; мамка Дюжихъ начинаетъ
опить, что воевода защекочетъ Марью; всѣ остальные, какъ
и въ чемъ не бывало, пребываютъ въ спокойствіи, несмотря
а то, что слышатъ уже крикъ и хохотъ Марьи въ теремѣ.
то жъ Дубровинъ—герой добродѣтели, протестующій и
онологи говорящій? Тутъ хоть и связанному кстати было

бы сказать тираду къ стрѣльцамъ и холопамъ воеводы, что они молчаніемъ своимъ помогаютъ убійству. Кто знаетъ, можетъ-быть, межъ ними и нашелся бы кто-нибудь, у кого хватило бы сердца остановить убійство, особенно, если монологъ былъ бы силенъ... Впрочемъ, не оказалось нужды, потому что воевода, какъ въ теченіе всей комедіи дѣлалъ глупости и промахи, такъ и тутъ: бездѣлица—забылъ запереть за собою двери, чтобъ ему не помѣшали щекотать, да чтобъ и Марья не ушла! Марья сначала кричитъ и хохочетъ за сценой, потомъ, разумѣется, пользуется промахомъ старика и выбѣгаетъ изъ терема, проситъ помощи, проситъ, чтобъ ее спасли отъ смерти, но никто не шевелится. На ея счастье Степанъ Бастрюковъ, ускакавшій на лошади отъ преслѣдованія людей воеводы въ городъ, возвращается вмѣстѣ съ новымъ воеводою Поджарымъ, Семеномъ Бастрюковымъ, посадскими, стрѣльцами и пр. Марья бѣжитъ къ нему. Новый воевода, тотъ самый Поджарый (сонъ въ-руку), котораго предсказывалъ такъ положительно воеводѣ сонъ на Волгѣ, начинаетъ тутъ же судъ и расправу. Судъ идетъ гласный и устный, если не строго справедливый, то вполнѣ удовлетворяющій всѣхъ, кромѣ воеводы.

Насколько онъ удовлетворяетъ зрителей—не знаемъ, но намъ онъ кажется поэтическою вольностью, за которую мы благодарны автору, потому что, если бъ дѣло вести какъ слѣдуетъ, то пришлось бы выслушать по меньшей мѣрѣ еще два акта. Степанъ Бастрюковъ требуетъ, чтобъ его людей, какъ невиноватыхъ, отпустили, увѣряетъ, что они дѣйствовали по его приказу и онъ одинъ въ отвѣтѣ. Поджарый приказываетъ, не говоря дурного слова, отпустить слугъ Бастрюкова. Воевода требуетъ, чтобъ ему отдали его невѣсту, а Бастрюковъ требуетъ ее себѣ. Поджарый говоритъ, что въ царскомъ указѣ о дѣвкѣ нѣтъ ничего, и что объ этомъ надо спросить у отца съ матерью, однако, спрашиваетъ у Марьи: „Къ кому пойдешь?“ Та, разумѣется, отвѣчаетъ, что къ Степану Бастрюкову. Поджарый хочетъ все-таки спросить отца и мать, но Бастрюковъ настаиваетъ на своемъ, что онъ увезетъ Марью къ себѣ; Поджарый велитъ ихъ отпустить. Дѣло доходитъ до Дубровина; воевода говоритъ, что Дубровинъ хотѣлъ его ножомъ зарѣзать и ночью ворвался въ домъ; Дубровинъ не отрицаетъ факта, *но оправдывается* тѣмъ, что прищелъ за женой, которую

воевода насильствомъ взялъ, тюрьмой стращалъ и пыткой, да и самъ онъ былъ въ бѣгахъ отъ его же, воеводы, корысти и мученья. Поджарый спрашиваетъ у воеводы: правда ли? Воевода отвѣчаетъ: „Ты воевода, такъ и суди". Поджарый соглашается и дѣлаетъ допросъ посадскихъ; тѣ, разумѣется, стоятъ за Дубровина, и Поджарый отдаетъ Дубровина на поруки посадскимъ, на основаніи царскаго указа водворять бѣглыхъ на тягла, забывая, что Дубровинъ покушался на убійство. Воевода Шалыгинъ спохватился, наконецъ, что ему даже и указа царскаго не прочли: онъ постоянно заднимъ умомъ крѣпокъ. Ему читаютъ подлинникомъ, отъ слова до слова, царскій указъ, очень длинный и неинтересный для утомленнаго зрителя. Семенъ Бастрюковъ, посадскіе и даже шутъ дѣлаютъ Шалыгину свои замѣчанія, сообразныя съ обстоятельствами, и потомъ новый воевода идетъ описывать имущество Шалыгина. Является Власъ и соглашается отдать дочь за Степана Бастрюкова, отецъ котораго все время относительно этой свадьбы и слова не пикнулъ, точно не его сынъ собрался жениться. Дубровинъ же, какъ истинный представитель протеста противъ притѣсненія воеводъ, на спросъ посадскихъ, объявляетъ, что будетъ жить между ними, коли воевода будетъ хорошъ да смиренъ, а коль обидитъ, такъ опять убѣжитъ. Потомъ онъ уходитъ съ Оленой, утѣшая ее, что домъ поправитъ *и найдетъ чѣмъ жить*. Какъ видите, герой Дубровинъ, если рукъ не кровянилъ, то отъ поживы, добытой товарищами при помощи кровяненія рукъ, не отказывался. Онъ хоть и оставилъ часть своей казны для дѣлежа между бывшими товарищами, но и себя не забылъ...

Пьеса оканчивается тѣмъ, что старые посадскіе толкуютъ: „Ну, старый (воевода) плохъ; каковъ-то новый будетъ?" На это молодые посадскіе отвѣчаютъ: „Да надо быть, такой же, коль не хуже". Видно, нигилизмъ въ молодомъ поколѣніи не новость въ Россіи... Теперь спрашивается: что же все это такое? Можно ли признать во всемъ этомъ задатки для успѣха на сценѣ? Что все это можетъ имѣть свои литературныя достоинства, объ этомъ мы не говоримъ; но зрителю нужно дѣйствіе, движеніе, жизнь и живые люди, которые выступили бы передъ нимъ со всѣми ихъ страстями, побужденіями, увлеченіями и дѣйствовали, очерчивая себя сами дѣломъ, а не риторикою монологовъ автора или разсказами

другихъ подставныхъ лицъ о ихъ жизни и дѣяніяхъ. Что же мы видимъ на самомъ дѣлѣ? Воевода, по приказу автора, долженъ быть злой, стяжательный, притѣснитель народа и пр. и пр.

Но почему мы это знаемъ? Во всѣ пять актовъ, съ прологомъ, воевода, какъ воевода, не дѣлаетъ ни одного возмутительно-неправаго поступка, съ точки зрѣнія XVII вѣка. Посадскіе его поносятъ: онъ велѣлъ схватить хоть праваго, хоть виноватаго—послѣ разберемъ: правый укажетъ виноватаго; но какой же воевода въ то время поступилъ бы иначе? Народъ ворчитъ, что онъ воровъ и разбойниковъ выпускаетъ, а дѣвокъ на посадѣ мастерски разыскиваетъ; но мы не знаемъ и не видимъ перваго—это для зрителя только росказни; а что касается дѣвокъ, то одинъ примѣръ есть: это Олена, жена Дубровина. Но что жъ дѣлаетъ и Степанъ Бастрюковъ, которому Марья говоритъ, что у него на дворѣ „все краденыя дѣвки да молодки"? Это не мѣшаетъ, однако, тому же Бастрюкову сказать Дубровину, что онъ не боится разбойника Худояра, про котораго идетъ молва, что онъ народъ не грабитъ, а кладетъ оброкъ на богатыхъ, и помѣстныхъ дворянъ пугаетъ крѣпко, а не боится потому, *что живетъ въ порядкѣ*. Дубровинъ, онъ же и Худояръ, какъ видно, тоже находитъ, что Бастрюковъ живетъ въ порядкѣ, потому что сходится съ нимъ чуть не въ самую тѣсную дружбу. Или, можетъ-быть, это оттого, что Бастрюковъ укралъ не его Олену, а чью-нибудь Катерину? Онъ, правда, не пыталъ мужей и отцовъ краденыхъ имъ молодокъ и дѣвокъ: такъ, вѣдь, онъ зато и не воевода.

Что же еще сквернаго дѣлаетъ воевода Шалыгинъ? Распоряжается дочерьми Власа: сначала собирается жениться на одной, а потомъ на другой? Это точно нехорошо, самодурство скверное, но, какъ видно, для Власа Дюжого совершенно не отяготительное и совершается безъ всякаго почти насилія, потому что со стороны Власа не видно и тѣни протеста: онъ соглашается на все, даже безъ малѣйшаго признака борьбы или горечи; а потому особаго свирѣпства воеводы и тутъ нѣтъ. Что же касается Марьи, то въ XVII вѣкѣ кто же спрашивалъ согласія у дѣвокъ, за кого ихъ отдавать замужъ? и хоть ей и приходится итти за скверн*аго старичишку*, но ея горе можно считать дѣломъ случая,

въ которомъ не виноватъ Шалыгинъ, какъ воевода. Вѣдь, сестра ея, Прасковья, шла же за того же воеводу безъ малѣйшей печали? Все дѣло въ томъ, что у Прасковьи нравъ, у Марьи другой; но это не касается воеводы и не дѣлаетъ его хуже другихъ стариковъ, не воеводъ, которые женятся на молодыхъ дѣвкахъ противъ ихъ воли. Да и сама Олена и мужъ ея, Дубровинъ, являются передъ зрителями далеко не въ такомъ трагическомъ положеніи, которое вызвало бы въ зрителѣ отвращеніе къ воеводѣ. Олена сумѣла отстоять себя, и воевода хоть и стращалъ ее пыткой да тюрьмой, но кончилъ тѣмъ, что оставилъ ее въ покоѣ и только велѣлъ за нею строже присматривать, чтобы не сбѣжала, самъ не знаетъ зачѣмъ. Мучилъ ли Дубровина воевода, зритель не знаетъ и не видитъ, и передъ нимъ Дубровинъ все время является въ положеніи героя-мстителя, но не мученика. Наконецъ, воевода защекоталъ невѣсту; да это опять-таки не воевода дѣлаетъ, а человѣкъ, и это преступленіе могло быть совершено другимъ, точно такъ же, какъ и воеводою. Словомъ, зритель долженъ или вѣрить на слово автору, посадскимъ и пристрастному въ этомъ дѣлѣ судьѣ, бывшему губному старостѣ Бастрюкову, или признать, что всѣ они сами не знаютъ, за что озлились на воеводу.

Воевода, къ тому же, какъ мы видѣли, даже неуменъ, непредусмотрителенъ, неостороженъ: онъ постоянно дѣлаетъ глупости и ротозѣйничаетъ. Онъ даже не послалъ въ Москву поминокъ, для раздачи кому слѣдуетъ, чтобы парализовать посланное на него челобитье. Впрочемъ, и некогда было: о посылкѣ челобитной и отъѣздѣ Бастрюкова онъ узнаетъ только черезъ недѣлю, а тутъ и все дѣло такъ круто повернули, что въ девять дней успѣли съѣздить въ Москву, обдѣлать тамъ дѣла и привезти новаго воеводу. Скоренько что-то! Вѣдь, городъ-то на Волгѣ, тамъ, гдѣ шайки разбойниковъ бродили безнаказанно—слѣдовательно, не очень близко отъ Москвы; положимъ, хоть въ Ярославлѣ—ближе не было въ XVII вѣкѣ большого города на Волгѣ, кромѣ Твери, гдѣ разбойникамъ бродить было бы несподручно. Теперь, по шоссе, отъ него до Москвы 250 верстъ; положимъ, что гонцы дѣлали—ну, хоть по 70 верстъ въ сутки, ужъ никакъ не больше; почтъ не было; ѣхали, чай, верхомъ; слѣдовательно, менѣе трехъ съ половиною сутокъ не могли проѣхать, а бастрюковскіе возы съ подарками,

пожалуй, ѣхали и всѣ пять дней, столько же времени надо ѣхать новому воеводѣ изъ Москвы на воеводство: остается всего два дня на то, чтобы обдѣлать въ боярской думѣ, у дьяковъ, думныхъ бояръ, большого боярина и царя такое нешуточное дѣло, какъ смѣна воеводы.

Нѣтъ, какъ хотите, а это ужъ, капитальная несообразность.

Въ чемъ же главный сюжетъ комедіи? На чемъ она построена? Какая идея въ нее вложена? Почему она такъ растянулась? Гдѣ и въ чемъ заключается обиліе матеріала для пяти актовъ и длиннаго пролога? Вся идея комедіи, если только это можно назвать идеей, состоитъ въ изображеніи бытовой, внутренней, попросту, домашней стороны жизни воеводъ, бояръ, посадскихъ и народа въ XVII вѣкѣ.

Авторъ собралъ для этого кучу матеріала и, безъ разбора, почти сырымъ, нанизалъ его на акты, явленія и сцены и бросилъ зрителю: любо—смотри, не любо—ступай вонъ. Захвачены тутъ, повидимому, чуть не всѣ стороны жизни, но свелось все на то, чѣмъ постоянно отличался г. Островскій,—на домашнюю жизнь. Юридическая сторона—кормленіе, какъ принципъ тогдашняго воеводскаго управленія *),

*) Кормленіе на Руси существовало лишь до 1555 г., т.-е. момента, когда уголовная юрисдикція и нѣкоторыя другія функціи управленія перешли изъ вѣдѣнія администраціи къ выборнымъ „излюбленнымъ“ лицамъ: головамъ, старостамъ и цѣловальникамъ.

Кормленіемъ назывался способъ содержанія должностныхъ лицъ. Намѣстники, воеводы, судьи получали различные жизненные продукты, а впослѣдствіи денежныя суммы за отправленіе своихъ обязанностей. Отсюда понятно, почему каждое должностное лицо разсматривало свой постъ, какъ доходную статью, и соразмѣряло всѣ свои должностныя дѣйствія съ вопросомъ о размѣрѣ дохода въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ.

Въ тотъ періодъ исторіи, въ которомъ происходитъ дѣйствіе въ „Воеводѣ“ Островскаго, „кормленіе“ уже не существовало юридически и не являлось обязательною повинностью для населенія, хотя и практиковалось должностными лицами. Само-собою разумѣется, что въ такихъ случаяхъ оно разсматривалось уже, какъ обыкновенное взяточничество, и потому Островскій, знавшій исторію эпохи лучше, видимо, рецензента „Голоса“, не нарисовалъ въ своей комедіи „юридической стороны кормленія, какъ принципа тогдашняго воеводскаго управленія“. При назначеніи на воеводство „Наказъ“ требовалъ отъ воеводы, чтобы онъ „держалъ къ людямъ ласку, привѣтъ и „береженіе“. Въ концѣ XVII в. центральное правительство составило „статьи“ и разослало ихъ по тѣмъ округамъ, въ которыхъ воеводы наиболѣе злоупотребляли своею властью. Въ тѣхъ „статьяхъ“ было сказано, чтобы жители не слушались тѣхъ воеводъ, которые идутъ вопреки

не разработана нисколько и обнаруживается только *во снѣ* просьбою двухъ бояръ, Несытаго и Поджараго, пустить ихъ покормиться, да свидѣтельствомъ думнаго боярина, что они прохарчились въ Москвѣ. Какъ кормится на дѣлѣ воевода Шалыгинъ, не видно; во всей пьесѣ передъ зрителемъ не совершается ни одного факта, свидѣтельствующаго о грабительствѣ воеводы.

Наконецъ, самое главное, въ чемъ могла выразиться московская администрація,—тяжба посадскихъ противъ воеводы въ Москвѣ, борьба земства, въ лицѣ Бастрюкова съ воеводою, взяточничество дьяковъ думныхъ, подкупы воеводы,—все это заброшено совершенно и является лишь какъ намекъ, все въ томъ же снѣ. Объявленіе бирюча, чтобы не держали воровъ и проч., и чтеніе царскаго указа о смѣнѣ воеводы не рисуютъ нисколько передъ зрителемъ юридической стороны быта. Это только выписки изъ актовъ безъ приложенія и самаго малѣйшаго атома творчества. А на пѣсенки, сказки, домового, колдуна, попойки и проч. потрачено четыре пятыхъ пьесы, если не больше.

Что касается протеста народа, то все дѣло, какъ мы видѣли, ограничилось монологами Дубровина, признающаго себя неровнею своимъ товарищамъ-разбойникамъ и являющимся чѣмъ-то въ родѣ Карла Моора въ „Разбойникахъ“ Шиллера. Преданіе и исторія сохранили намъ иные типы, которые не брезгали и руки покровянить, когда ихъ одолѣвала горькая участь, и они бросали дома и женъ, чтобы съ ножомъ и кистенемъ въ рукѣ искать огражденія себѣ отъ неправды и притѣсненій. Такъ не для дѣтской же потѣхи вооружались они ножами и кистенями. Да и самъ Дубровинъ, рисуясь передъ самимъ собою и передъ пустынникомъ, отрицаетъ въ своихъ товарищахъ жажду къ исканію правды и хотя сколько-нибудь, хотя условно, честный протестъ. Онъ видитъ въ нихъ простыхъ воровъ, пьяницъ и убійцъ и больше ничего и только себя признаетъ героемъ народнаго протеста. Какъ бы то ни было и кто бы ни были эти разбойники, зрителю остается вѣрить Дубровину на-слово во

народнымъ и государевымъ интересамъ, а „чтобы тѣхъ воеводъ отъ такихъ вымышленныхъ и ихъ великихъ государей казнѣ и людямъ разорительныхъ поступковъ унять“, предоставлялось жителямъ право посылать на нихъ въ Москву челобитныя, „если онъ учнетъ что дѣлать черезъ тѣ статьи“.

Н. Д.

всемъ, что онъ говоритъ о нихъ и о себѣ, потому что ни онъ ни они не дѣйствуютъ. Дѣйствіе замѣняютъ монологи Дубровина.

Единственное проявленіе народнаго движенія—въ прологѣ, когда въ толпѣ сталъ шарить, по приказанію воеводы, стрѣлецкій голова, но движеніе чисто театральное и въ самомъ началѣ остановленное бывшимъ губнымъ старостой. Оно проходитъ незамѣтно для зрителя и потомъ забывается, затирается пѣснями, сказками, попойками и проч.

Итакъ, на чемъ же построена пьеса? Да ни на чемъ болѣе, какъ на вопросѣ: за кѣмъ быть замужемъ Марьѣ Дюжой—за воеводой или за Степаномъ Бастрюковымъ? Въ сущности, этотъ сюжетъ взятъ авторомъ произвольно; это не результатъ творчества, а просто нитка, на которую какъ сушеные грибы нанизаны обычаи и порядки домашней жизни XVII вѣка. Захватилъ-то авторъ, повидимому, много, и, можетъ-быть, ему точно хотѣлось изобразить всѣ стороны жизни, да съѣхалъ на одну домашнюю, и до того увлекся ею, что вычитаннаго имъ матеріала, внесеннаго въ комедію, хватило бы на пять комедій, вмѣсто одной: отъ этого ничему другому мѣста и не осталось. Драмы, движенія, полнаго, живого воплощенія лицъ—нѣтъ; всѣмъ пожертвовано для домового, колдуна, сказокъ и прочаго. Будь это въ двухъ-трехъ актахъ, почему бы и не посмотрѣть, какъ жили наши предки, но шесть длинныхъ актовъ, это—воля ваша—много и скучно.

„Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій“.

Драматическая хроника въ двухъ частяхъ, въ стихахъ.

*) Новое произведеніе г. Островскаго *Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій*, данное недавно на московской сценѣ, появилось въ печати въ 1-мъ томѣ „Вѣстника Европы“, составленномъ, какъ и всегда, чрезвычайно добросовѣстно и занимательно. Это новое произведеніе нашего даровитаго драматурга, безъ всякаго сомнѣнія, стоитъ выше „Пушкина“, о которомъ мы говорили весьма недавно, но составляетъ ли оно шагъ впередъ или шагъ назадъ послѣ *Воеводы*—это еще вопросъ.

Главныя дѣйствующія лица драмы—Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій, на которыхъ мы пока и остановимся, не беря на себя труда разсказывать содержаніе пьесы, такъ какъ это содержаніе слишкомъ извѣстно: г. Островскій очень рѣдко отступалъ отъ исторіи. Личность Самозванца необыкновенно благодарна для драматурга и не даромъ на ней останавливались не только русскіе драматурги, но и иностранцы, между прочими—Шиллеръ. Рисуя эту личность, драматургъ не скованъ исторіей—напротивъ, ему широкое поле для фантазіи, въ области которой, относительно Самозванца, до сихъ поръ блуждаетъ и самая исторія. Мы не станемъ останавливаться на попыткахъ русскихъ и иностранныхъ драматурговъ изобразить этотъ характеръ, такъ какъ эти попытки давно уже извѣстны, и обратимся прямо къ Самозванцу г. Островскаго. Самозванецъ г. Островскаго человѣкъ легкомысленный, довольно распутный, страстно влюбленный въ Марину и, притомъ, самозванецъ, склеенный отчасти по Костомарову, отчасти по другимъ изслѣдователямъ, которые выставляли его, какъ орудіе боярской партіи.

---

*) „Русскій Инвалидъ“, 1867 г., № 77. Статья А. И—на (А. Суворинъ).

Самозванецъ г. Островскаго и не Отрепьевъ, и не іезуитъ, и не настоящій царевичъ, а Господь его знаетъ кто; авторъ взялъ его такъ, какъ представлялся онъ послѣ споровъ гг. Костомарова, Бицина и другихъ. Результаты этихъ изслѣдованій и разсказываетъ намъ Дмитрій въ длинномъ монологѣ, мѣстами эффектномъ, обращенномъ въ отвѣтъ на презрительно-насмѣшливую рѣчь Грознаго, которая чудится ему. Очень хорошее начало монолога:

Сиротливо
Въ душѣ моей! Расписанные своды
Гнетутъ меня, и проч.

навѣяно словами г. Костомарова, въ „Смутномъ времени“ [1]: „Ему была душна суровая, постная московская Русь. Ему тяжело было жить во дворцѣ царей“. Затѣмъ Самозванецъ говоритъ, что вотъ поднимется грозный старикъ и станетъ упрекать его за самозванство презрительно-насмѣшливою рѣчью. На эту рѣчь Самозванецъ и отвѣчаетъ:

---

[1]) Небезынтересно для читателя, что самъ Костомаровъ говоритъ о позаимствованіяхъ Островскаго („Голосъ“, 1867 г., № 89):

„Въ послѣднее время, въ рецензіяхъ на явившуюся въ „Вѣстникѣ Европы“ драматическую хронику г. Островскаго: *Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій*, высказывалась мысль, что г. Островскій, при составленіи этой хроники, руководствовался первою частью моего сочиненія: „Смутное время Московскаго Государства“, напечатанною въ первыхъ двухъ книгахъ „Вѣстника Европы“ за 1866 годъ, подъ названіемъ: „Названный царь Димитрій“. Извѣстно, какъ нерѣдко возникаютъ и утверждаются подобнаго рода ошибочныя заключенія, на основаніи сходства видимыхъ признаковъ, когда не вникаютъ надлежащимъ образомъ въ причины такого сходства. Поэтому, чтобы не вкрались на будущее время какія-нибудь подобныя недоразумѣнія при оцѣнкѣ (болѣе достойной и зрѣлой, чѣмъ упомянутыя рецензіи) произведеній нашего талантливаго драматурга, я считаю долгомъ бъяснить, что весною 1866 года, когда мой „Названный царь Димитрій“ еще весь не былъ напечатанъ, артистъ И. Ѳ. Горбуновъ читалъ мнѣ эту драматическую хронику. Г. Островскій не могъ видѣть въ печати второй части моего сочиненія, а его хроника обнимаетъ именно тѣ событія, которыя изображаются въ этой второй части. Въ рукописи я не сообщалъ своего сочиненія г. Островскому, съ которымъ даже въ то время не былъ достаточно знакомъ. Сходство между драматическою хроникою и моимъ „Названнымъ царемъ Димитріемъ“ произошло, безъ сомнѣнія, оттого, что г. Островскій пользовался одними и тѣми же источниками, какими пользовался я. Смѣю думать, что нѣкоторыя изъ различій могли произойти оттого, что у г. Островскаго не было подъ руками такихъ источниковъ, которые были мнѣ извѣстны“. *Н. Костомаровъ.*

Я себя не знаю,
Младенчества не помню. Царскимъ сыномъ
Я назвался не самъ; твои (т.-е. Грознаго) бояре
Давно меня царевичемъ назвали
И, съ торжествомъ *и злобнымъ смѣхомъ*, въ Польшу
На бережонье отдали. Не самъ я
На Русь пошелъ; на смѣну Годунова
Давно зоветъ меня твоя столица, и т. д.

Самозванецъ перечисляетъ всѣхъ тѣхъ, кто назвалъ его царевичемъ:

Король меня царевичемъ призналъ,
Благословилъ меня на царство папа,
Царевичемъ зовутъ меня бояре,
Царевичемъ зоветъ меня народъ.
Усыновленъ тебѣ я цѣлой Русью.

Это мѣсто напоминаетъ прекрасный монологъ Самозванца Пушкина:

Тѣнь Грознаго меня усыновила,
Царевичемъ изъ гроба нарекла, и проч.

Самозванецъ г. Островскаго продолжаетъ:

Какъ сонъ припоминаю,
Что въ дѣтствѣ я былъ вспыльчивъ какъ огонь;
И здѣсь въ Москвѣ, въ большомъ дому боярскомъ,
Шептали мнѣ, что я въ отца родился,
И радостно во мнѣ играло сердце.
Такъ кто же я?.. Ну, если я не Дмитрій,
То сынъ любви иль прихоти царевой...
Я чувствую, что не простая кровь
Течетъ во мнѣ; войнолюбивымъ духомъ
Кипитъ душа—побѣдъ, коронъ я жажду,
Мнѣ битвъ кровавыхъ нужно, нужно славы
И цѣлый свѣтъ въ свидѣтели геройства
И подвиговъ моихъ. Отецъ мой, Грозный,
Пусти меня! Счастливый Самозванецъ
И царствъ твоихъ невольный похититель,
Я не возьму тиранскихъ правъ твоихъ—
Губить и мучить. Я себѣ оставлю
Одно святое право всѣхъ владыкъ—
Прощать и миловать. Я обѣщаю
Прославить Русь и вознести высоко,
И потому теперь сажусь я смѣло
На сей священный, грозный майестатъ.

Изъ этого монолога, которому недостаетъ только ссылокъ на Бера, Маржерета, Костомарова и пр., оказывается,

что Самозванецъ самъ не знаетъ, кто онъ, но знаетъ, однако, что онъ „счастливый самозванецъ“ (выраженіе Пушкина); въ сценѣ съ матерью, въ шатрѣ, онъ и не думаетъ скрывать, что онъ самозванецъ, и прямо говоритъ инокинѣ, что онъ будетъ ей вмѣсто сына. Сцена эта исторически не вѣрна: Самозванецъ свидѣлся съ матерью при всемъ народѣ, на глазахъ всѣхъ, а не въ закрытомъ шатрѣ, откуда онъ выходитъ, у г. Островскаго, къ народу, уже послѣ предварительныхъ совѣщаній съ Мареою. Иначе это и быть не могло, потому что Самозванецъ не былъ глупымъ человѣкомъ, а только глупый человѣкъ можетъ рѣшиться на такой грубый обманъ въ виду сомнѣвающагося еще народа, который, съ своей стороны, въ глупости тоже еще не обличенъ. Сцена эта одна изъ самыхъ неудачныхъ у г. Островскаго: ея историческая, жизненная неправда вышла съ глубокою художественною фальшью.

Мы видѣли, что Самозванецъ жаждетъ славы, хочетъ править милостью и прославить Россію; въ разговорѣ съ Басмановымъ онъ выражается рѣзко о правленіи, основанномъ на страхѣ:

Вездѣ, во всемъ вы властвуете страхомъ:
Вы женъ своихъ любить васъ пріучили
Побоями и страхомъ; ваши дѣти
Отъ страха глазъ поднять на васъ не смѣютъ;
Отъ страха гахарь пашетъ ваше поле;
Идетъ отъ страха воинъ на войну;
Ведетъ его подъ страхомъ воевода;
Со страхомъ вашъ посолъ посольство правитъ;
Отъ страха вы молчите въ думѣ царской!
Отцы мои и дѣды, государи,
Въ ордѣ татарской, за широкой Волгой,
По ханскимъ ставкамъ страха набирались
И страхомъ править у татаръ учились.
Другое средство лучше и надежнѣй—
Щедротами и милостью царить.

Всѣ эти черты заимствованы изъ сочиненія г. Костомарова. Далѣе Самозванецъ выражаетъ желаніе овладѣть короной польскою и итти на Константинополь; предсмертный бредъ его—о стѣнахъ Цареграда, объ Олеговомъ щитѣ,—все это (исключая, конечно, бреда) опять взято изъ Костомарова; подъ конецъ пьесы Самозванецъ забываетъ, что̀ говорилъ вначалѣ, и сознается Басманову, что онъ

плохой правитель, что внутреннее правленіе слѣдуетъ предоставить боярамъ.

А мы съ тобой (Басмановымъ) все лѣто воевать,
А зиму всю гулять да пировать.

Это ужъ противорѣчитъ и г. Костомарову и г. Соловьеву, которые указываютъ на очень многія хорошія черты въ дѣятельности Самозванца, какъ мирнаго правителя государства. Такимъ образомъ, за исключеніемъ этой послѣдней черты, да еще нѣкоторыхъ другихъ, второстепенныхъ, какъ, напримѣръ, отношеній къ Ксеніи („Замѣтилъ ты, Масальскій: въ слезахъ она становится красивѣй, чѣмъ такъ, безъ слезъ?"), Самозванецъ составленъ г. Островскимъ цѣликомъ по Костомарову. Въ вину драматургу мы этого не ставимъ, ибо извѣстно, что и Шекспиръ писалъ свои хроники, иногда буквально придерживаясь текста лѣтописей; Пушкинъ писалъ своего „Бориса Годунова", придерживаясь Карамзина; но и тотъ и другой представляли намъ цѣлые характеры, тотъ и другой давали волю фантазіи, оставаясь, однако, вѣрными исторіи и времени, которое они изображали; образъ историческаго лица сказался у нихъ послѣ изученія историческихъ подробностей, и затѣмъ они уже приступили къ работѣ, заставляя лицо дѣйствовать сообразно тому и другому представленію о немъ. Но въ вину г. Островскому можно поставить то, что онъ *странно* воспользовался источниками его. Самозванецъ представляетъ странную смѣсь противорѣчій, которую объяснить довольно мудрено. Быть-можетъ, образъ Самозванца сложился въ головѣ драматурга, перешелъ на бумагу и затѣмъ, вслѣдствіе новыхъ историческихъ данныхъ, первоначально драматургу не извѣстныхъ, подвергся измѣненіямъ и дополненіямъ, и, такимъ образомъ, противорѣчія не сгладились, и опредѣленность и заключенность характера ускользнули. Быть-можетъ, просто и то, что г. Островскій не понялъ источниковъ, заимствовалъ черты изъ нихъ для своего героя какъ попало, въ надеждѣ, что авось что-нибудь выйдетъ. У г. Костомарова Самозванецъ болѣе или менѣе понятенъ; вѣренъ ли онъ исторически—другой вопросъ, но мы видимъ передъ собою человѣка, который по образованію, хоть и довольно легкому, стоялъ выше современной русской дѣйствительности и задался мыслью передѣлать эту дѣйствительность, окружить

себя обаяніемъ славы побѣдителя, привлечь сердца народа милостью и щедростью. Онъ погибъ, потому что у него нехватило силъ для выполненія задачи и потому что онъ не понялъ своего народа. Онъ погибъ въ борьбѣ, однакожъ онъ—лицо драматическое; вопросъ о томъ, что онъ, отходитъ на задній планъ, во-первыхъ, потому, что этотъ вопросъ г. Костомаровъ успѣлъ такъ запутать, что онъ не поддается разрѣшенію, а во-вторыхъ, потому, что всѣ главнѣйшіе факты въ дѣятельности „названнаго царя Дмитрія" скорѣе говорятъ намъ въ пользу того, что онъ былъ Самозванецъ безсознательный, чѣмъ въ пользу преднамѣреннаго обмана. Во всякомъ случаѣ, передъ нами было живое лицо, которое дѣйствовало, радовалось, страдало, немного боролось, любило, развратничало и, наконецъ, погибло трагическою смертью. Лицо это возбуждаетъ симпатію въ читателѣ своею трагическою судьбой. У г. Островскаго Самозванецъ только говоритъ монологи, болѣе или менѣе хорошіе, болѣе или менѣе элегическіе; онъ вовсе не дѣйствуетъ, онъ проходитъ тѣнью по хроникѣ. Да иначе оно и быть не могло, при той неопредѣленности положенія, въ которое поставилъ г. Островскій своего героя: не то онъ Дмитрій, не то „сынъ любви или прихоти царевой", не то „счастливый самозванецъ". Г. Островскій, кажется, не выяснилъ себѣ достаточно различія, существующаго между историкомъ и драматургомъ; если историку позволительно входить въ разсмотрѣніе вопроса о такомъ загадочномъ, историческомъ лицѣ и оставлять этотъ вопросъ нерѣшеннымъ, предоставивъ просто самимъ читателямъ рѣшить его на основаніи данныхъ, представляемыхъ историкомъ, то драматическій писатель вовсе не долженъ задаваться такою задачей, а брать *извѣстное* положеніе, становить свое лицо на твердую почву: или онъ сознательный Самозванецъ, или настоящій Дмитрій, или Самозванецъ безсознательный—драматическое положеніе извѣстнаго лица возможно только при такомъ условіи, при такомъ только условіи возможна сознательная дѣятельность, сознательная борьба; если же лицо не Иванъ, не Петръ, не Алексѣй, а всего этого понемножку, или нынче одинъ, завтра другой, а послѣзавтра третій, то возможно ли уловить характеръ человѣка, возможно ли возбудить къ нему въ читателѣ или зрителѣ симпатію или отвращеніе. Великіе *художники не* впадаютъ въ такія грубыя ошибки: Пушкинъ

вывелъ сознательнаго Самозванца; у Шиллера онъ сначала безсознательный и потомъ узнаетъ свое настоящее происхожденіе—трагическое положеніе его во всѣхъ этихъ случаяхъ совершенно понятно.

Есть одна черта въ Самозванцѣ г-на Островскаго, которую авторъ старался выставить ярко; это воинственность, стремленіе завоевать Константинополь и выгнать изъ Европы турокъ; этою чертою авторъ словно хотѣлъ осмыслить фигуру своего героя. Но ему и это не удалось,—не удалось именно потому, что все это выражено слабо, отдѣльными намеками, словами; при всемъ стараніи г. Островскаго, читатель все-таки не видитъ, чтобъ это дѣло занимало сильно страстную натуру Самозванца. Г. Костомаровъ передаетъ намъ, что Самозванецъ преданъ былъ этому дѣлу, дѣятельно велъ приготовленія, лилъ орудія, училъ солдатъ, посѣщалъ литейныя; у г. Островскаго Самозванецъ только говоритъ, и то въ видѣ самонадѣянной шутки, что онъ выгонитъ турокъ изъ Европы. Другія дѣйствующія лица объ этомъ и не упоминаютъ, такъ что читателю и зрителю кажется, что Самозванецъ болѣе занятъ телятиной, чѣмъ походомъ на турокъ. Правда, самъ Самозванецъ о телятинѣ не говоритъ, но зато о ней говорятъ бояре, говоритъ народъ; для нея, для этой же телятины, и только исключительно для нея, выведенъ на сцену прогнанный съ царской кухни русскій поваръ.

Посмотримъ теперь на Василія Шуйскаго. Съ самаго начала онъ является намъ честолюбцемъ, смѣло разсчитывающимъ на тронъ; съ выхода своего на сцену онъ уже почти убѣжденъ, что Самозванцу не сдобровать, потому что онъ

Душой полякъ; какъ дѣвка малодушенъ;
Какъ малолѣтокъ падокъ на утѣхи;
Какъ скоморохъ безъ разума проворенъ;
Какъ пьяный дьякъ болтаетъ безъ умолка.
Онъ вскормленникъ прямой пановъ хвастливыхъ;

не чтитъ русской старины и святыни русской. Шуйскій рѣшается „умомъ, обманомъ, даже преступленьемъ“ добиться вѣнца. Передъ нами, такимъ образомъ, не просто честолюбецъ, а нѣкоторый злодѣй; таковымъ онъ особенно является въ слѣдующемъ монологѣ, произносимомъ передъ боярами-заговорщиками:

Борисовы ученики, мы Грознымъ
Воспитаны, и насъ не проведешь!
Не имъ чета! Вотъ мы умѣемъ править
Землей своей, вести народъ умѣемъ.
По выбору, и ложь и правда служатъ
У насъ въ рукахъ орудіемъ для блага
Народнаго. Нужна народу правда—
И мы даемъ ее; мы правду прячемъ,
Когда обманъ народу во спасенье.
Мы лжемъ ему: и мрутъ и оживаютъ
По нашей волѣ люди; *по базарамъ*
Молва пройдетъ о знаменьяхъ чудесныхъ;
Убогіе, блаженные пророчатъ,
Застонетъ камень, дерево заплачетъ,
Изъ нѣдръ земли послышатся глаголы,
И наша ложь въ народѣ будетъ правдой—
Въ хронографы за правду перейдетъ.

Изъ этого монолога вы узнаете, что Шуйскій читалъ нѣкоторыя произведенія XVIII и даже XIX столѣтій, хотя это и мудрено, ибо жилъ онъ во второй половинѣ XVI вѣка. Подчеркнутыя нами строки ясно свидѣтельствуютъ, что Шуйскій смѣется надъ чудесными знаменіями, надъ убогими и блаженными и проч. Шуйскій, стало-быть, не только не суевѣрный человѣкъ, но даже человѣкъ безъ религіи; злодѣй въ полномъ смыслѣ слова, онъ готовъ на обманъ, на хитрость, даже на преступленіе,—это онъ намъ прежде сказалъ; теперь онъ прибавляетъ, что онъ и человѣкъ безъ религіи, т.-е. безъ единственной почти узды, которая останавливаетъ грубаго, необразованнаго человѣка отъ всякихъ мерзкихъ дѣлъ. Правда, нѣсколько выше Шуйскій говоритъ, что, сѣвши на престолъ, ему придется бояться „измѣнниковъ, волжбы и чародѣйства", но это, должно-быть, онъ просто обмолвился или сказалъ съ ироніей, тѣмъ болѣе, что онъ тутъ же, черезъ двѣ строки, произноситъ: „Ха-ха, ха-ха!" Но, можетъ-быть, Шуйскій и въ самомъ дѣлѣ былъ таковъ, можетъ-быть, онъ въ самомъ дѣлѣ смѣялся надъ суевѣріемъ своего времени и надъ религіей? Конечно, можетъ быть; мы допускаемъ даже, что онъ въ естественныхъ наукахъ былъ силенъ; мы не допускаемъ только, чтобы подобный человѣкъ могъ такъ откровенно выражать свое profession de foi передъ боярами—передъ тѣми боярами, которые знали, что онъ стремился къ престолу, и готовы были признать его царемъ, съ извѣстными ограниченіями; мы не допу-

каемъ, чтобы хитрый, скрытный человѣкъ могъ говорить се это передъ своими будущими подданными.

Послѣ суда надъ Шуйскимъ, ссылки и возвращенія его, ояринъ вкрадывается въ довѣренность къ Самозванцу лестью поблажками всѣмъ его безразсудствамъ. Черта эта вѣрная, о авторъ и тутъ хватилъ черезъ край: лесть и поблажки Шуйскаго чрезвычайно походятъ на иронію,—и вовсе не онкую иронію, а довольно грубоватую, такъ что удивляешься, акъ этого не замѣчаетъ ни самъ Самозванецъ ни Басма-овъ. Затѣмъ о Шуйскомъ сказать больше нечего.

Мы еще остановимся на князѣ Голицынѣ. Онъ рекомен-уетъ себя съ перваго раза съ хорошей стороны, говоря оярамъ:

Да, настало время
Вздохнуть и намъ. Димитрій, Богомъ данный,
Видалъ иные царства и уставы,
Иную жизнь боярства и царей;
Оставитъ онъ татарскіе порядки;
Народу льготы, намъ, боярамъ, вольность
Пожалуетъ; вкругъ трона соберетъ
Блистательный совѣтъ вельможъ свободныхъ,
А не рабовъ, трепещущихъ и льстивыхъ,
Иль бражниковъ опричнины кровавой,
На всѣхъ концахъ Россіи проклятой.

О Шуйскомъ Голицынъ самаго дурного мнѣнія, но, когда оборъ осуждаетъ его, Голицынъ о немъ сожалѣетъ:

Шуйскій пригодился бъ,
Что ни толкуй! Онъ плутъ и пройдоха,
А все нашъ братъ—бояринъ, намъ онъ свой.

Къ Самозванцу онъ скоро охладѣваетъ и стоитъ за Шуй-каго, говоря, что его надо посадить на тронъ, взять съ его запись, и,

Когда языкъ ему и руки свяжемъ,
Пусть царствуетъ.

Когда жъ ему замѣчаютъ на это, что врядъ ли Шуйскій оддастся на такое условіе, Голицынъ говоритъ:

Ну, мы не будемъ плакать;
Тогда пошлемъ къ Жигмонту Владислава
Просить на царство: ѣшь меня собака
Невѣдомая, только не своя...

Кажется, во всемъ этомъ есть нѣсколько противорѣчій; ажется, все это мало гармонируетъ между собою; но авторъ

хроники думаетъ иначе: не замѣчая противорѣчій, онъ даетъ Голицыну кончить хронику слѣдующими правдивыми словами:

Крамольникъ онъ съ головы до пятокъ!
Бояриномъ ему бъ и оставаться,
Крамольнику не слѣдъ короноваться.
Крамолой сѣлъ Борисъ, а Дмитрій силой:
Обоимъ тронъ московскій былъ могилой.
Для Шуйскаго примѣровъ не довольно:
Онъ хочетъ сѣсть на царство самовольно,—
Не царствовать ему! На тронъ свободный
Садится лишь избранникъ всенародный.

Пусть читатели сами рѣшаютъ: много ли логики въ подобной характеристикѣ? О другихъ лицахъ хроники, не исключая Марины, говорить не стóитъ: всѣ они болѣе или менѣе блѣдны. Стихъ хроники превосходный; драмы въ ней нѣтъ; вся она состоитъ изъ отдѣльныхъ сценъ, плохо между собою вяжущихся, такъ что мы не знаемъ другой пьесы, которая была бы столько удобною для сокращеній, безъ всякаго вреда для смысла и съ большою пользой для читателей и зрителей. Слѣпые поклонники г. Островскаго даже въ его *Тушинѣ* находятъ великія достоинства; другіе же поклонники, хотя и менѣе слѣпые, называютъ *Тушино* ошибкою; мы склоняемся въ эту послѣднюю сторону и готовы считать *Дмитрія Самозванца и Василія Шуйскаго* второю ошибкой талантливаго писателя. Желательно, чтобъ онъ не дѣлалъ третьей...

А. И—нъ (А. Суворинъ).

„Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій“ *).

*) Авторъ хроники, заглавіе которой мы выписали, А. Н. Островскій, согласился, какъ о томъ извѣстили вчера въ газетахъ, прочесть новое свое произведеніе, украсившее страницы „Вѣстника Европы“, здѣсь, въ Петербургѣ. Чтеніе это назначено на 25-е марта, въ пользу литературнаго фонда. Оно наводитъ насъ на нѣсколько мыслей, которыми хотимъ подѣлиться съ читателями. Всякій, кто признаетъ за хроникой г. Островскаго значеніе одного изъ важнѣйшихъ литературныхъ явленій нашей эпохи (а такихъ лицъ, скажемъ мимоходомъ, немало, да число ихъ, полагаемъ, будетъ возрастать все болѣе, по мѣрѣ вступленія самой публики въ права критика, не очень высоко цѣнимыя ею теперь), поспѣшитъ, вѣроятно, на этотъ вечеръ для того, чтобы самому выслушать произведеніе въ устной передачѣ самого его автора. Если бъ можно было думать, что порицатели г. Островскаго, такъ легко обращающіеся въ печати и не въ печати съ капитальнымъ его трудомъ, имѣющимъ, по-нашему, значительную будущность впереди, пожелали бы узнать причины одушевленія и горячаго сочувствія къ нему его поклонниковъ, мы осмѣлились бы пригласить и порицателей на это чтеніе. Можетъ-статься, тутъ распознали бы они яснѣе художническія намѣренія автора и усмотрѣли бы легко тѣ творческія черты и подробности, которыя ускользнули у нихъ при чтеніи или просто заслонены были отъ ихъ глазъ *резонерскимъ* отношеніемъ къ произведенію. Вообще, хорошее чтеніе, болѣе даже чѣмъ самое удачное сценическое представленіе, помогаетъ добросовѣстному слушателю освободиться отъ предразсудковъ, застарѣлыхъ привычекъ мысли, любимыхъ, но не всегда состоятельныхъ пріемовъ сужденія и многихъ другихъ помѣхъ къ признанію замѣчательнаго произведенія и къ правильной его оцѣнкѣ. Тайну вліянія мастерского чтенія на умы

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“, 1867 г., № 83. Статья П. А.

и вкусы людей хорошо знаютъ англійскіе писатели, очень охотно прибѣгающіе къ чтеніямъ своихъ произведеній, какъ къ способу установить правильныя, дѣльныя и сочувственныя отношенія между собою и публикой. Кромѣ всего этого, въ настоящемъ случаѣ есть еще и другая важная задача для публичнаго чтенія, которая, вѣроятно, и у г. Островскаго будетъ стоять на первомъ планѣ. Ни одно литературное произведеніе такъ не нуждается въ устной хорошей передачѣ, какъ драма, все дѣйствіе которой вращается въ атмосферѣ поэзіи, всѣ явленія которой проглядываютъ сквозь оболочку этого лучезарнаго и чарующаго дѣятеля. Такова именно хроника *Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій.* Благодаря эпохѣ бурнаго политическаго одушевленія, выбранной авторомъ, что позволило ему оставить грубыя, жесткія, прозаическія черты народнаго и домашняго быта въ сторонѣ—вся хроника, отъ первой до послѣдней сцены, проникнута однимъ лучомъ поэзіи, сплачивающимъ всѣ ея части поистинѣ въ замѣчательное цѣлое. Не составляютъ исключенія и самыя народныя сцены, которыя, какъ извѣстно, у многихъ нашихъ драматурговъ служатъ иногда шутовскимъ, иногда наивно-сентиментальнымъ комментаріемъ къ исторической завязкѣ. Не иначе, какъ въ блестящей оправѣ поэтическаго изложенія, являются въ хроникѣ и всѣ свидѣтельства, указанія и намеки лѣтописей, сказаній и источниковъ. Мы должны были бы перебрать почти всю хронику, если бъ вздумали подтверждать слова наши примѣрами. Достаточно сослаться хотя на превосходное изображеніе боярскихъ партій и боярскихъ тенденцій посредствомъ живого, бѣглаго разговора, какой ведутъ между собою пять-шесть царедворцевъ у Краснаго крыльца, поджидая Самозванца изъ собора, или на всѣ сцены заговора у Шуйскаго, при чемъ авторъ влагаетъ послѣднему въ уста знаменитый монологъ о способахъ, которыми владѣетъ боярство, насаждать въ народѣ и даже въ отдаленномъ потомствѣ ложь, вмѣсто истины, и обратно, по произволу—монологъ, оправдываемый самою исторіей Самозванца, оставшейся для насъ неисповѣдимою загадкой. Русская исторія и чистѣйшая поэзія съ ея неожиданными и поразительными откровеніями идутъ, никогда не расходясь, рука-объ-руку въ хроникѣ, и это сочетаніе ихъ даетъ ей такое важное *значеніе, какъ образовательной* силы для воспитанія народ-

ныхъ массъ, что передъ нею, кажется намъ, въ этомъ отношеніи должны нѣсколько поблекнуть разсказцы о великихъ русскихъ людяхъ и всѣ узорочныя вышиванія нашихъ драматурговъ по канвѣ исторіи и преданій. Критики г. Островскаго отмѣрили себѣ особенно широкій просторъ при обсужденіи историческихъ лицъ и характеровъ, выведенныхъ хроникой. Они показали дѣйствительно замѣчательныя способности слѣдователей, хитрость, изворотливость, даже эрудицію и вдохновеніе, но не поколебали нисколько образовъ художника, потому что ихъ и не замѣтили. Иные изъ этихъ, впрочемъ, въ своемъ родѣ весьма искусныхъ цѣнителей объявили историческія лица хроники неподходящими къ тому типу и представленію ихъ, каковое долженъ вмѣнить себѣ въ обязанность всякій благомыслящій писатель, затрогивающій извѣстныя имена; они и ручались своимъ собственнымъ словомъ за достовѣрность предлагаемаго ими толкованія. Чего болѣе? Другіе упражнялись въ противопоставленіи другъ-другу различныхъ мѣстъ изъ рѣчей дѣйствующихъ лицъ, рѣчей, сказанныхъ въ различное время, и на этомъ основаніи объявляли характеры сбивчивыми и просто сколоченными наугадъ. Дѣло не обошлось и тутъ безъ назидательныхъ совѣтовъ; такъ, упрекали автора за сцену свиданія Самозванца съ матерью, ибо, по сказанію, встрѣча ихъ происходила публично въ каретѣ, при чемъ Дмитрій, отворивъ дверцы, просто повисъ на шеѣ Марѳы— не болѣе не менѣе. Правда, при такомъ требованіи грубой, формальной вѣрности исторіи, никакая драматическая хроника невозможна, но, можетъ-быть, во мнѣніи критика— это тѣмъ лучше и т. д. Мы не станемъ защищать здѣсь г. Островскаго отъ упрека въ созданіи хроники своей по Костомарову. Мы еще не позабыли упрековъ, которые въ свое время дѣлались Пушкину за рабское слѣдованіе Карамзину въ „Борисѣ Годуновѣ“, что́ не помѣшало этому произведенію остаться жемчужиною не одной нашей литературы, да притомъ же въ настоящемъ обвиненіи нѣтъ нисколько и правды. Оба наши почтенные дѣятели, поэтъ и историкъ, разнятся весьма сильно въ пониманіи и представленіи нѣкоторыхъ сторонъ польской и русской культуры, да и послѣдняя часть хроники была готова у Островскаго прежде, чѣмъ появились послѣднія изслѣдованія Костомарова въ печати. Нѣтъ—глубокая продуманность, смѣемъ

такъ выразиться, образовъ г. Островскаго доказываетъ, что они ему принадлежатъ всецѣло и исключительно. Конечно, мы не намѣрены разбирать здѣсь подробно лица и характеры Самозванца, Шуйскаго, Осипова, Калашникова и пр., но скажемъ одно: за абсолютную вѣрность всѣхъ ихъ исторіи и настоящему политическому своему характеру можно столь же мало ручаться, какъ и за всѣ противоположныя имъ представленія и толкованія; но они имѣютъ то преимущество передъ послѣдними, что, благодаря художническому чутью автора, они выносятъ на себѣ передъ нами цѣликомъ русскую жизнь давно прошедшихъ временъ, богаты поэтическими откровеніями души человѣческой и болѣе всѣхъ другихъ обладаютъ способомъ убѣждать читателя и зрителя въ *возможности* своего существованія въ дальнія эпохи нашей исторіи. Важная задача чтенія, о которой мы упоминали вначалѣ, должна состоять именно въ объясненіи этихъ образовъ... А затѣмъ, ходъ самой хроники въ разнообразныхъ переливахъ ея красокъ, свѣта и тѣней, крупныхъ очерковъ и мелкихъ подробностей, обнаружится въ устной передачѣ гораздо яснѣе и отчетливѣе, чѣмъ, вообще, допускаетъ сцена, гдѣ очень часто особенно ярко и рельефно выступаютъ торжественныя, великолѣпныя минуты драмы, а тщательная, мастерская подготовка къ нимъ пропадаетъ изъ вида. Вѣроятно, литературный фондъ, пользуясь благорасположеніемъ автора и готовностью его на всякое истинно-литературное дѣло, назначилъ предполагаемый вечеръ не съ одною цѣлью увеличить свою кассу, а вмѣстѣ съ тѣмъ и съ цѣлью дать средство выказать передъ публикой все богатство содержанія новой хроники. Да не подумаетъ читатель, что, говоря такимъ образомъ, мы не признаемъ уже никакихъ недостатковъ въ трудѣ г. Островскаго и слѣпы къ его случайнымъ погрѣшностямъ. Мы хорошо видимъ его слабыя стороны, которыя по большей части происходятъ, по нашему мнѣнію, отъ какой-то робости и колебанія автора передъ собственнымъ своимъ замысломъ, что́ помѣшало ему развить вполнѣ нѣкоторыя сцены и дорисовать нѣкоторыя положенія, но объ этомъ слѣдуетъ говорить обстоятельнѣе и подробнѣе, чѣмъ сколько позволительно намъ теперь въ нашей бѣглой замѣткѣ о предстоящемъ вечерѣ литературнаго фонда.

„Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій“ [1]).

*) Послѣ того, какъ и *Мининъ* и *Сонъ на Волгѣ* съ первыхъ же представленій упали на сценѣ,—новая пьеса г. Островскаго *Самозванецъ и Шуйскій*, напротивъ того, имѣла успѣхъ весьма удовлетворительный. Пьеса привлекла много зрителей; она казалась весела и игрива въ дѣйствіи; она оживлена картинами бальныхъ танцевъ при дворѣ

---

1) „Москва“, 1867 г., № 55. Статья Н. Б.

*) „Москва“, газета политич., экономическая и литературная. Изд. въ Москвѣ, 1867—68 гг., выход. ежедневно. Изд.-ред. И. С. Аксаковъ.

Извѣстный общественный дѣятель и публицистъ, А. И. Кошелевъ, примыкавшій по своимъ политическимъ и религіознымъ взглядамъ къ славянофиламъ (не раздѣляя, впрочемъ, ихъ убѣжденій о „гниломъ“ Западѣ), сталъ издавать журналъ „Русская Бесѣда“. Самымъ блестящимъ сотрудникомъ и соредакторомъ журнала являлся И. С. Аксаковъ.

Несмотря, однако, на принадлежность къ одной и той же славянофильской партіи, Кошелевъ и Аксаковъ были слишкомъ разные люди, получившіе слишкомъ разную общественную и умственную подготовку. Въ то время, когда Кошелевъ съ самаго ранняго дѣтства находился подъ вліяніемъ своего отца, бывшаго воспитанника оксфордскаго университета, подъ именемъ „либеральнаго лорда“, пользовавшагося всеобщимъ уваженіемъ московскаго общества, и матери—дочери француза-эмигранта, И. С. Аксаковъ находился всецѣло подъ вліяніемъ кружка славянофиловъ во главѣ съ братомъ Конст. Серг., не желавшимъ знать „петровскаго періода“ русской исторіи, проповѣдывавшимъ возвращеніе къ народу по всему фронту, возвращеніе во всемъ—въ языкѣ, одеждѣ, презрѣніи и ненависти къ иностранцамъ, открывавшей двери узкому, назойливому и наглому націонализму. Не желая знать никакихъ юридическихъ нормъ, К. Аксаковъ строилъ отношенія къ народнымъ массамъ на внутреннемъ единеніи и согласіи. Между помѣщикомъ и крѣпостнымъ никогда не долженъ, по его мнѣнію, стать клочокъ писанной бумаги; идеалъ крѣпостного права—любовное, заботливое отношеніе старшихъ къ младшимъ, не юридическая, а нравственная связь, по его мнѣнію, должна лечь въ основу взаимоотношеній всего русскаго общества, потому что:

По причинамъ органическимъ
Мы совсѣмъ не снабжены
Смысломъ здравымъ *юридическимъ*,

Лжедмитрія, забавными уличными сценами, эффектными выходами и картинами... Чего же больше? Отъ русской исторической драмы можно требовать больше этого; особенно мы въ правѣ требовать бо́льшаго отъ такого писателя, какимъ желали бы почитать г. Островскаго. Съ этой, болѣе серіоз-

---

Симъ исчадьемъ сатаны.
Широки натуры русскія;
Нашей правды идеалъ
Не влѣзаетъ въ формы узкія
Юридическихъ началъ...

Правда, И. Аксаковъ отклонялся то въ ту, то въ другую сторону отъ правовѣрнаго славянофильства, но его страстная рѣчь, независимость, неподкупность и литературная неустрашимость пугали цензуру и администрацію, и потому, кажется, ни одинъ органъ не терпѣлъ столько предостереженій и другихъ цензурныхъ скорпіоновъ, сколько ихъ перенесли журналы И. Аксакова. Въ 1852 г. Аксаковъ сталъ издавать „Московскій Сборникъ", но уже второй томъ былъ уничтоженъ цензурою. Въ 1859 г. онъ сталъ издавать газету „Парусъ", но увы, ему разрѣшили высказаться только до трехъ разъ, а на третьемъ нумерѣ газета умерла отъ цензурной цикуты; неутомимый борецъ въ 1861 г. начинаетъ издавать газету „День". Аксаковъ съ перваго же нумера (14-е октября) настраиваетъ оптимически свою лиру: пока еще все кругомъ „сыро, мокро, скользко; сѣрый туманъ какъ войлокъ облегаетъ небо; воздухъ тяжелъ и удушливъ; холодно, жутко, кругомъ грязь и слякоть"... но Аксаковъ не унываетъ; главное—православіе, самодержавіе и народность—и „Русь сладитъ съ болѣзнью. Народъ сохранилъ въ себѣ запасъ силы непотраченной, уберегъ свои коренныя начала, не уложился ни въ одну заготовленную форму заграничнаго издѣлія", и потому съ 19-го февраля осень навсегда исчезаетъ изъ обихода русской дѣйствительности, а путника „внезапно, сквозь туманную пелену воздуха, поражаютъ и приковываютъ и радуютъ взоръ" „озими, изумруды полей въ черной рамѣ осенней грязи, зеленые всходы будущей жатвы, молодые ростки добрыхъ, хлѣбныхъ зеренъ!.." Однако, картины пробуждающейся весны недолго веселили взоръ путника. Вскорѣ и для него и для „добрыхъ хлѣбныхъ зеренъ" настала печальная пора: въ 1865 г. газета „День" была запрещена... Аксаковъ снова проявляетъ всѣ свойства неунывающаго россіянина и начинаетъ въ 1867 г. издавать газету „Москва". Его взоръ снова радуютъ „изумруды полей въ черной рамѣ осенней грязи". „Благодаря тому простору жизни,—пишетъ онъ въ первомъ нумерѣ „Москва" отъ 1-го января,—который дарованъ нынѣшнимъ царствованіемъ", Аксаковъ желаетъ посвятить свои силы на служеніе странѣ. „Всякое движеніе общественной мысли, всякое проявленіе и укрѣпленіе общественной воли, другими словами—проявленіе и успѣхъ самодѣятельности русскаго общества, въ дѣлѣ ли такъ-называемаго самоуправленія, въ области ли самостоятельнаго духовнаго творчества или промышленной производительности—будетъ предметомъ особеннаго наблюденія и изученія для нашей газеты". Газета *будетъ вполнѣ* независима, и мнѣнія ея, конечно, далеко не всегда будутъ

ной точки зрѣнія, что̀ представитъ намъ его новая пьеса? И *Мининъ* и *Сонъ на Волгѣ* имѣютъ свои существенные недостатки, которые на сценѣ высказываются окончательно; но внутреннею своею стороной, серіозностью предположенной исторической задачи, хотя и не выполненіемъ ея, обѣ прежнія пьесы г. Островскаго, конечно, стоятъ выше его *Самозванца*. Новая пьеса г. Островскаго отличается чисто-внѣшнею историческою вѣрностью, грубой вѣрностью больше хронологическаго и топографическаго свойства... А угаданъ ли духъ эпохи? разгаданы ли внутренніе мотивы изображенныхъ событій? наконецъ, достаточно ли проникъ авторъ въ душу своихъ героинь и героевъ, чтобы вѣрно выставить ихъ какъ въ художественномъ, такъ и въ историческомъ отношеніи? Пьеса на все это даетъ отрицательные отвѣты. Вся она представляетъ характеръ какой-то компиляціи и притомъ, къ сожалѣнію, вся заимствована изъ компиляціи другого автора; мы говоримъ о статьяхъ г. Костомарова въ „Вѣстникѣ Европы" о смутномъ времени. Очевидно, что авторъ увлекся именно этими послѣдними статьями; онъ не задалъ себѣ трудной работы самому допроситься у исторіи объ истинномъ значеніи выводимыхъ имъ лицъ и эпохи. Здѣсь

совпадать съ мнѣніями правительства. „Намъ даже нѣтъ никакой надобности и домогаться этого согласія или безпокоиться по поводу несогласія. Такое положеніе указано намъ самимъ правительствомъ, отказавшимся, по крайней мѣрѣ, въ дѣлахъ внѣшней политики и передъ лицомъ всей Европы, отъ всякой отвѣтственности за политическія воззрѣнія, высказываемыя въ русской печати, отъ всякой солидарности съ нею". Сказано—сдѣлано. Аксаковъ начинаетъ „наблюдать и изучать", не безпокоясь по поводу „несогласія" съ офиціальною благонамѣренностью. Все было бы хорошо, но на первыхъ же порахъ газетѣ было объявлено предостереженіе, ибо, по мнѣнію цензурнаго комитета, „предоставленіе печати права обсужденія современныхъ вопросовъ и выраженіе мнѣній о правительственныхъ распоряженіяхъ не можетъ быть правомъ систематическаго обсужденія дѣйствій правительства и возбужденія къ нему недовѣрія и неуваженія". За первымъ предостереженіемъ не замедлило и второе за „статьи, исполненныя рѣзкихъ сужденій о существующихъ у насъ отношеніяхъ между церковью и правительствомъ". Такимъ образомъ, послѣ многократнаго внушенія въ томъ смыслѣ, что „лицо Европы" тутъ не при чемъ, газета была пріостановлена на 3 мѣсяца. Послѣ тринадцати внушеній и двукратной пріостановки въ 1868 г. „Москва" прекращена на осн. ст. 148 уст. ценз., ибо ея изданіе „ведетъ къ возбужденію вражды между населеніемъ и раздраженію противъ дѣйствій правительственныхъ властей, что̀ составляетъ злоупотребленіе печатнымъ словомъ, которое терпимо быть не можетъ".

Прим. Н. Денисюка.

не мѣсто вдаваться въ критическую оцѣнку труда г. Костомарова. Довольно сказать, что существенный его недостатокъ заключается въ слѣдующемъ: увлекаясь живописностью и драматизмомъ выводимыхъ событій, авторъ полной рукой черпаетъ изъ всевозможныхъ источниковъ матеріалы для своихъ картинъ и описаній, ничуть не заботясь о критической провѣркѣ этихъ источниковъ; онъ отдаетъ предпочтеніе не тѣмъ изъ нихъ, которые, послѣ строгой критики, окажутся вѣрнѣе передающими факты, а въ которыхъ болѣе представляется искомой имъ живописности и драматизма. Поэтому, при всей картинности и занимательности изложенія, сами выводимыя лица и сами выводимыя событія мелькаютъ въ умѣ читателя не только безъ строго опредѣленнаго выраженія, а еще и съ ясными чертами невозможнаго, ничѣмъ незамиреннаго въ нихъ противорѣчія; подчасъ они только невѣрны, а подчасъ и искажены совершенно. Авторъ какъ-будто даже избѣгаетъ—чуть-чуть не высказывая, что онъ это даже считаетъ мелочнымъ дѣломъ для историка—останавливаться на внутреннемъ разъясненіи тѣхъ личностей, поступковъ и событій, которые не сразу даютъ себя разгадать въ массѣ современныхъ, противорѣчивыхъ отзывовъ; онъ скользитъ по ихъ поверхности, лишь бы не нарушать плавности своего разсказа. А на ряду съ постоянными неточностями такого рода являются еще у историка—можетъ-быть, даже помимо его и совершенно невольно—такія искаженія, которыя имѣютъ уже своимъ источникомъ общее созерцаніе г. Костомарова, слишкомъ извѣстное, по части русскаго быта, русской старины, русской исторіи. Такъ, напримѣръ, Василій Ивановичъ Шуйскій выходитъ у него односторонне лукавъ и коваренъ, тогда какъ его соперникъ, самъ сорванецъ Лжедмитрій, выставленъ, напротивъ того, односторонне же умнымъ, и находчивымъ, и незлобивымъ, и вообще исполненнымъ всякихъ прогрессивныхъ доблестей. Односторонность такого рода, вольная или невольная со стороны автора, обнаруживаетъ даже словно такую задачу: склонить все сочувствіе зрителя или читателя на сторону сорванца Самозванца и дать непремѣнно заподозрить и возненавидѣть Шуйскаго. Всѣ эти недостатки историческихъ этюдовъ г. Костомарова, начиная отъ одиночныхъ невѣрностей и неточностей, которыя попадаются врозницу, то тамъ то тутъ, въ выводѣ лицъ и событій, до совершеннаго

искаженія en bloc цѣлаго событія или его существеннаго мотива,—повторяетъ теперь г. Островскій для публики, на сценѣ, въ драмѣ своей: *Самозванецъ и Василій Шуйскій*. Мы внимательно слѣдили за представленіемъ, могли даже записать, для удержанія въ памяти, нѣсколько отдѣльныхъ стиховъ его пьесы, и теперь, пока не прочитали ее въ печати, довольно будетъ ограничиться лишь общимъ указаніемъ на всѣ эти недостатки.

Театрально махали копьями и мечами обыватели Москвы, а польскіе паны и паньи плясали мазурку; театрально голосилъ Самозванецъ нѣчто въ родѣ, что *тѣнь Грознаго его усыновила*; наконецъ, театрально отъ перваго до послѣдняго выхода коварствовалъ и лукавствовалъ Василій Ивановичъ Шуйскій,—вотъ общее впечатлѣніе, которое производитъ новая пьеса г. Островскаго. По паденіи занавѣса вся эта интермедія проносится пестрымъ сномъ, не оставляя въ памяти ни одного глубоко-задуманнаго положенія, ни одной задушевной ноты. Всего оживленнѣе должна показаться уличная сцена, та самая, гдѣ пирожники, разносчики и всякій уличный сбродъ затѣваютъ ссору съ поляками, но сцена эта, не заключая какого-нибудь серіозно-индивидуальнаго выраженія, а забавная сама-по-себѣ, прошла бы одинаково весело и игриво во всякомъ другомъ мѣстѣ. Въ историческомъ отношеніи, какъ мы сказали, пьеса поражаетъ больше внѣшнею и грубою вѣрностью. Тѣ или другіе хронологическіе признаки, тѣ или другія подлинныя фразы, которыя записаны исторіей и повторяются стереотипно у всѣхъ авторовъ, выводившихъ Самозванца, соблюдены и тутъ во всей ихъ точности. Убіеніе Лжедмитрія, какъ извѣстно, произошло въ майскую ночь, — 17-е мая 1606 года значится и на афишѣ. Басмановъ первый извѣстилъ Самозванца о тревогѣ и пошелъ на смерть съ извѣстнымъ изреченіемъ: „Мятежъ! Я умру, а ты спасайся“, такъ происходитъ это и въ пьесѣ. Самъ Лжедмитрій, какъ извѣстно, кинулся въ толпу, махая мечомъ и крича: „Я вамъ не Годуновъ!“ Самую эту фразу: „Я вамъ не Годуновъ!“ повторяетъ и г. Вильде. Всѣ подробности и „историческія вѣрности“ такого рода соблюдены съ крайнею дипломатическою точностью; даже актеры, кстати и некстати, во всей пьесѣ напираютъ на нихъ съ особенною силой и какъ бы указываютъ на нихъ пальцемъ, чтобъ онѣ не затерялись

для публики. Но никакіе хронологическіе признаки неспособны повѣять на душу духомъ эпохи, когда и самая эта эпоха не разгадана душой автора; никакія отдѣльныя фразы, хотя бы и самыя подлинныя и записанныя во всѣхъ современныхъ источникахъ, не тронутъ зрителей, когда эти фразы насильственно вложены въ уста героевъ, ясное представленіе о которыхъ не успѣло сложиться въ творческомъ сознаніи самого автора.

Такая замѣчательная фраза, какъ „Я вамъ не Годуновъ!" глубоко знаменательна въ Лжедмитріи историческомъ. Этотъ самоувѣренный и несознательный обманщикъ, слѣпое орудіе тайныхъ, отчасти для него самого сокрытыхъ силъ, Лжедмитрій съ самаго начала, еще когда былъ въ Польшѣ, отличался неподдѣльною страстностью и негодованіемъ противъ Годунова; онъ всегда съ пѣной на губахъ произносилъ имя царствовавшей въ Москвѣ династіи и, заодно съ народомъ въ то время, клялъ узурпатора. При этомъ вполнѣ понятно, что, вылетѣвъ съ мечомъ въ рукѣ, даже во время бунта, онъ могъ грозиться народу такими словами,—и фраза „Я вамъ не Годуновъ!" при художественномъ возсозданіи этой таинственной личности получила бы глубокій смыслъ. Но гдѣ ея необходимость въ томъ Самозванцѣ, котораго себѣ представлялъ или, правильнѣе, даже не представлялъ себѣ г. Островскій и котораго выбивался изъ силъ передать на сценѣ г. Вильде? И эта и другія подобныя „подлинныя" фразы, вложенныя въ уста Самозванцу, безъ всякой внутренней необходимости, ничѣмъ не сгармонированныя въ общемъ его представленіи у автора, онѣ ничего не говорятъ читателю или зрителю, а пропадаютъ въ пьесѣ совершенно безслѣдно. Вообще, Лжедмитрій выставленъ у г. Островскаго точно такъ же, какъ и въ историческихъ этюдахъ г. Костомарова, безъ точнаго опредѣленія со стороны автора, какъ онъ его понимаетъ: кто онъ—сознательный ли воръ и обманщикъ, или самоувѣренный сомозванецъ, орудіе другихъ лицъ? Въ сценѣ съ матерью Мареой (г-жа Васильева) онъ ей напрямикъ признается, какъ чужой; точно такъ же и своей невѣстѣ Маринѣ (г-жа Ѳедотова-Познякова) онъ рекомендуетъ себя въ качествѣ простого шляхтича; наконецъ, въ длинномъ монологѣ передъ трономъ, въ этой задушевной исповѣди съ самимъ-собою, онъ также признаетъ себя бродягой и про-

ходимцемъ. Что все это не совсѣмъ вѣрно относительно исторіи, тутъ распространяться не мѣсто. Но важно указать, что все это не имѣетъ большого смысла въ самой драмѣ г. Островскаго, такъ какъ все это невѣрно и представляется непонятнымъ противорѣчіемъ относительно другихъ мѣстъ и мотивовъ, заключающихся тутъ же, въ пьесѣ. Всѣ эти добровольныя признанія въ воровствѣ и мошенничествѣ мало вяжутся съ другими сценами, гдѣ Лжедмитрій, искренно вѣрующій въ свою истинность, является великодушнымъ съ виновными въ его непризнаніи, даже обидчивымъ, если мнѣнія и молва праздной толпы представляются его приближеннымъ опасными и бросающими на него хотя бы тѣнь подозрѣнія,—оскорбленнымъ и уязвленнымъ въ своемъ самолюбіи, если сами приближенные передъ нимъ будто избѣгаютъ что-то выговорить до конца.

Василій Ивановичъ Шуйскій, послѣ Лжедмитрія, является главнымъ лицомъ драмы, и искусная игра г. Шумскаго выдвигаетъ его еще на первый планъ въ пьесѣ. Въ Шуйскомъ, какъ его представилъ г. Островскій, еще менѣе исторической и художественной правды, чѣмъ въ самомъ Самозванцѣ. Начнемъ съ первой. Всѣ наши учебники, правда, выдаютъ Шуйскаго за коварнаго и лукаваго интригана; почти всѣ выставляютъ его еще узурпаторомъ. Традиція, которой въ свое время подчинился Карамзинъ, перешла отъ него еще, какъ извѣстно, и къ Пушкину. Въ своемъ трудѣ, „геніемъ Карамзина вдохновленномъ“, поэтъ выводитъ Шуйскаго лукавымъ царедворцемъ. Карамзинъ, однако, слишкомъ хорошо зналъ исторію, а Пушкинъ имѣлъ слишкомъ поэтическую природу для того, чтобы выставить въ Шуйскомъ одно воплощенное лукавство; у обоихъ сохранены за Шуйскимъ и другія стороны его характера, живыя черты этой личности. У обоихъ въ Шуйскомъ угадывается тотъ, именно, бояринъ, а потомъ выкрикнутый царь, который безстрашно обличалъ Самозванца и голову свою клалъ на плаху; который именно въ минуты испытанія и невзгоды поражалъ всегда особеннымъ величіемъ духа; который и въ предательскомъ плѣну у Сигизмунда не посрамилъ мономаховой шапки, не погнулъ ее передъ холопомъ шляхтичей. Но у г. Островскаго, который, по преимуществу, увлекся даже не Карамзинымъ и не Пушкинымъ, а исключительно г. Костомаровымъ, Шуйскій выходитъ только лукавъ и кова-

ренъ; онъ преслѣдуетъ въ самомъ сверженіи Лжедмитрія только свои крамольныя цѣли и ничего больше. Дѣло „коварнаго“ Шуйскаго противъ прогрессивнаго Самозванца получаетъ еще, такимъ образомъ, въ драмѣ г. Островскаго, характеръ какой-то темной интриги въ ретроградномъ духѣ, какой-то вопіющей и возмутительной неправды. Все это болѣе чѣмъ невѣрно. Въ средѣ тогдашняго боярства Василій Ивановичъ Шуйскій дѣйствительно выдавался особнякомъ, и на немъ не даромъ всѣ простые люди останавливали свои надежды. Въ боярской интригѣ съ заговоромъ Самозванца В. И. Шуйскій съ самаго начала не принималъ никакого, хотя бы самаго малаго участія. Въ то время какъ Борисъ Годуновъ подозрѣвалъ уже всѣхъ бояръ въ солидарности съ этимъ гнуснымъ дѣломъ, и когда они явно передавались Лжедмитрію и явно накликали на Русь Литву, Шуйскій, напротивъ того, именно въ виду интриги съ Самозванцемъ, былъ наиболѣе преданъ Борису; объ руку съ нимъ тутъ можно только поставить развѣ Ѳ. И. Мстиславскаго; но тогда какъ этотъ былъ и простъ и робокъ, Шуйскій отличался и умомъ и твердостью. Поэтому, по поводу Самозванцева дѣла, и вначалѣ и въ концѣ, народная молва всегда отличала Шуйскаго отъ всѣхъ прочихъ бояръ; тогда какъ у всѣхъ у нихъ, по поводу этого дѣла, какъ это ясно обличалось для народа, рыльце было въ пуху, говоря языкомъ пословицы, за Шуйскимъ, напротивъ того, было его честное поведеніе относительно Самозванца, и весь народъ московскій видѣлъ его на плахѣ. Вотъ достоинство и неоспоримая заслуга Шуйскаго въ этомъ дѣлѣ. Совершается бунтъ на московскихъ улицахъ, обманщикъ убитъ и растерзанъ чернью... Кого Москва выберетъ въ цари? Шуйскому потомъ вся земля ставила въ укоръ, что онъ „сѣлъ на царствѣ, всей земли не спросяся; однакожъ, и всякій, говорившій такъ, хотя бы, напр., извѣстный Прокопій Ляпуновъ, не оспаривалъ въ этомъ случаѣ самыхъ правъ Шуйскаго, никто не оспаривалъ, что именно, однакожъ, на Шуйскаго указалъ бы, въ этомъ случаѣ, и всеземскій, всенародный голосъ. Остается послѣ этого лишь одинъ вопросъ: почему, однако, Шуйскій, если былъ увѣренъ въ выборѣ ото всей земли, почему онъ такъ поторопился сѣсть на царствѣ? Самый успѣхъ его избранія нельзя ли поставить ему въ вину и въ улику того, что

самое сверженіе Самозванца онъ задумывалъ лишь въ качествѣ узурпатора? Исторія того времени даетъ на этотъ вопросъ отвѣтъ самый категорическій, и, притомъ, въ совершенное оправданіе Шуйскаго. Дѣло въ томъ, что сама Москва въ ту минуту была поставлена въ необходимость поторопиться выборомъ царя, хотѣлъ ли, не хотѣлъ ли того Шуйскій; сама Москва нуждалась тутъ въ спѣхѣ. Припомнимъ, что въ то самое время, какъ въ Кремлѣ терзали трупъ „еретика-самозванца", вся провинція съ нетерпѣніемъ ожидала изъ столицы вѣстей о бракосочетаніи и вѣнчаніи своего „Краснаго Солнышка". Для Москвы, конечно, было достаточно какихъ-нибудь двухъ недѣль пребыванія Марины и поляковъ въ Кремлѣ, чтобы досыта наглядѣться на все безобразіе дѣла Лжедмитріева; Москва въ эти двѣ-три недѣли хорошо разгадала, что этотъ Лжедмитрій, вѣнчающійся съ Мариной, хуже турка, а не сынъ царя; Москва задумала покончить съ обманщиками въ одинъ ударъ. Но ей некогда да и нельзя было совѣщаться по этому дѣлу со всею землей; ей нельзя было переписываться объ „еретичествѣ" Самозванца и о необходимости бунта „со всѣми городы". Москва, повторяемъ, убила злодѣя въ то именно время, когда провинція съ восторгомъ ожидала восторженныхъ вѣстей изъ столицы, когда вся Русь, во всѣхъ концахъ, ликовала еще на первыхъ радостяхъ о томъ, что „Красное солнышко опять заблеститъ въ Москвѣ по-старому, по-бывалому". Понятно, что, только убивъ „царя", Москва спохватилась въ своей невольной и вынужденной оплошности передъ провинціей, передъ цѣлою Россіей; она, говоритъ одинъ современникъ-очевидецъ, спохватилась по пословицѣ, какъ кошка, зная, чье мясо съѣла. Не Шуйскій, а сама Москва почувствовала необходимость скорѣй покрыть дѣло бунта избраніемъ новаго царя тутъ же на мѣстѣ. Шуйскій, по необходимости одинъ онъ, представлялся кандидатомъ: его и „выкрикнули". Обстоятельства за ту минуту, скажемъ въ заключеніе, сложили все это дѣло именно такъ, какъ оно тогда совершилось; а лукавство Шуйскаго тутъ не при чемъ.

Наперекоръ всему этому, Василій Ивановичъ Шуйскій въ драмѣ г. Островскаго представленъ лукавымъ и коварнымъ до низости: ни одной черты живого человѣка не остается за Шуйскимъ, кромѣ лукавства; ни одного дѣла,

кромѣ крамолы. Самая казнь его за обличеніе Лжедмитрія, тотъ фактъ, что онъ обличалъ его, не убояся плахи, будто намѣренно скраденъ въ драмѣ и сведенъ на совершенное ничтожество. И Шуйскій въ этой пьесѣ не только лукавъ и коваренъ, онъ еще постоянно играетъ въ лукавство, онъ еще кстати и некстати кокетничаетъ своимъ коварствомъ; авторъ задалъ ему какую-то спеціальную задачу на показъ передъ публикой дивить и поражать всѣхъ этимъ своимъ мастерствомъ, въ которомъ у него нѣтъ соперниковъ. Поэтому, являясь искаженіемъ относительно исторіи, это самое лукавство еще и въ художественномъ отношеніи выходитъ неудовлетворительно. Оно форсировано, является какимъ-то воплощеніемъ безъ всякихъ другихъ живыхъ или индивидуальныхъ сторонъ,—оно выходитъ какъ-то приторно, рецептно и казенно, отъ начала и до конца скучно и утомительно. Г. Шумскій исполнялъ трудную задачу, заданную ему авторомъ, безподобно; онъ, конечно, всего менѣе виновенъ, если игралъ какое-то воплощенное коварство, а живого лица въ своей роли не давалъ слышать.

Оттого ли, что роль Марины исполняла г-жа Познякова и роль эта просто не подходитъ къ этой артисткѣ, оттого ли единственно, что самому автору роль Марины особенно не удалась, это лицо показалось намъ всѣхъ блѣднѣе въ пьесѣ г. Островскаго. Кромѣ того, что сцена свиданія шибко напоминаетъ извѣстную сцену у фонтана Пушкина, и тутъ повторенъ лишь тотъ самый мотивъ, который взятъ нашимъ поэтомъ. Вся пресловутая „гордость“ Марины тутъ выходитъ какъ-то ходульна и казенна. При той рѣзкости, съ которою выдается всюду въ исторіи Марининъ характеръ, при той яркости, съ которою ея образъ передаютъ намъ обильные источники того времени, можно бы было требовать отъ художника болѣе живыхъ красокъ, болѣе индивидуальности въ изображеніи надменнаго характера этой героини; у г. Островскаго эта надменность напоминаетъ театральную рутину. Однимъ изъ существенныхъ условій драмы, взятой изъ Русской исторіи, долженъ быть самый языкъ этой драмы, который былъ бы вѣренъ эпохѣ. Это не то значитъ, чтобы языкъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ былъ исполненъ мѣстныхъ оттѣнковъ и испещренъ идіотизмами. Языкъ, какъ все живое, безъ сомнѣнія, развивается съ каждымъ вѣкомъ, и было бы странно требовать,

чтобы въ наше время русскій писатель писалъ исторію тѣмъ самымъ языкомъ, который представляется какъ бы закаменѣвшимъ въ прошлыхъ столѣтіяхъ; не въ этомъ состоитъ и требованіе. Рѣчь человѣка—это самъ человѣкъ; всякое слово, всякое выраженіе, всякій образъ, передаваемый человѣческимъ словомъ, имѣютъ обаятельную связь съ самимъ говорящимъ; они даже, противъ воли говорящаго, оттѣняютъ и выясняютъ его личность, они проникаются его индивидуальностью. Понятно, слѣдовательно, что и слова и рѣчи, влагаемыя авторомъ въ уста своихъ дѣйствующихъ лицъ, должны быть именно таковы, чтобы вполнѣ имъ соотвѣтствовали, шли бы къ нимъ, чтобъ они сами въ себѣ заключали тотъ именно духъ и смыслъ, который присущъ самимъ выставляемымъ лицамъ. Иначе всякое уклоненіе отъ этого закона и несоблюденіе этого условія сейчасъ же прозвучитъ фальшивою нотой въ самомъ выставленіи того или другого лица. Было бы странно, напримѣръ, заставлять говорить нашихъ старинныхъ бояръ тѣмъ языкомъ, которымъ написаны хоть бы баллады Жуковскаго. Что касается до языка въ новой пьесѣ г. Островскаго, то на ряду съ мѣткими выраженіями и прямо русскими оборотами, съ пословицами и поговорками, этотъ языкъ переполненъ еще такими, то слишкомъ отвлеченными, то схоластическими выраженіями, что слухъ коробитъ... „Хоть руку на прощанье облобызать позволь!“ „Отри слезу!“ „Сомкни уста!“ „Держу сей мечъ и симъ мечомъ клянусь!“ „Навстрѣчу ласкъ горячихъ и объятій!“ „Свѣтила мнѣ звѣздою путеводной!“... Это ужъ изъ рукъ вонъ плохо въ русской исторической драмѣ, т.-е. въ такой, гдѣ самая дагерротипная вѣрность минувшей эпохи составляетъ немаловажную задачу. Кстати, почему г. Островскій пишетъ стихами? Стихъ, какъ это было ему замѣчаемо уже не одинъ разъ, имѣетъ свою собственную поэтическую, музыкальную правду, и необходимою для него стихіей представляется поэзія. Мы давно знаемъ г. Островскаго за даровитаго истолкователя гостинодворскихъ типовъ, за комика, за драматурга, пожалуй... Но съ какихъ поръ онъ самъ себя сталъ еще признавать стихотворцемъ-поэтомъ?

Н. Б.